ГЕОРГИЙ

ВЛАДИМОВ

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман Георгия Владимова «Генерал и его армия», посвященный событиям Великой Отечественной войны, был удостоен Букеровской премии (1995) и премии имени Сахарова «За гражданское мужество писателя» (2000). В центре повествования - судьба генерала Власова и немецкого генерала Гудериана. Автор приоткрыл завесу глухой секретности над некоторыми «неудобными» для официальной литературы эпизодами войны. Сразу же после появления, роман Г.Владимова стал громким событием и был причислен к лучшим произведениям о войне.

- Георгий Владимов
  -
  - Глава первая.
  - Глава вторая.
  - Глава третья.
  - Глава четвертая.
  - Глава пятая.
  - Глава шестая.
  - Глава седьмая.
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16

Георгий Владимов
Генерал и его армия

Простите вы, пернатые войска
И гордые сражения, в которых
Считается за доблесть честолюбье.
Все, все прости. Прости, мой ржущий конь
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, все величье
И бурные тревоги грозных войн.
Простите вы, смертельные орудья,
Которых гул несется по земле…

Вильям Шекспир, «Отелло, венецианский мавр», акт III

Глава первая.
МАЙОР СВЕТЛООКОВ

1

Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча покрышками, по истерзанному асфальту — «виллис», «король дорог», колесница нашей Победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент, мечутся щетки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.

Так мчится он под небом воюющей России, погромыхивающим непрестанно громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой, — свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели.

Подчас и для него целые версты пути оказываются непроезжими — из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху темной жижей, тогда он переваливает кювет наискось и жрет дорогу, рыча, срывая пласты глины вместе с травою, крутясь в разбитой колее; выбравшись с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, а позади остаются мокрые простреляннные перелески с черными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнивать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испустившие последний свой дым два года назад.

Попадаются ему мосты — из наспех ошкуренных бревен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, — он бежит по этим бревнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и еще колышется и скрипит настил, когда «виллиса» уже нет и следа, только синий выхлоп дотаивает над черной водою.

Попадаются ему шлагбаумы — и надолго задерживают его, но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он пробирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрохочет хвост эшелона.

Попадаются ему «пробки» — из встречных и поперечных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигналящих машин; иззябшие регулировщицы, с мужественно-девичьими лицами и матерщиною на устах, расшивают эти «пробки», тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали

угрожая жезлом, — для «виллиса», однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шоферы долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою.

Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих — кажется, пал он там, развалился, загнанный до издыхания, — нет, вынырнул на подъеме, песню упрямства поет мотор, и нехотя ползет под колесо тягучая российская верста…

Что была Ставка Верховного Главнокомандования? — для водителя, уже закаменевшего на своем сиденье и смотревшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени, с настойчивостью человека, давно не спавшего, пытаясь раскурить прилипший к губе окурок. Верно, в самом этом слове — «Ставка» — слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознесшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его — долгожданная стоянка, обнесенный стеною и уставленный машинами двор, наподобие постоялого, о котором он где-то слышал или прочел. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, кого-нибудь провожают, и течет промеж шоферов нескончаемая беседа — не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжелыми бархатными шторами, на восьмом этаже. Выше восьмого — прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном — водитель Сиротин не забирался воображением, но и пониже находиться начальству не полагалось, надо же как минимум пол-Москвы наблюдать из окон.

И Сиротин был бы жестоко разочарован, если б узнал, что Ставка себя укрыла глубоко под землей, на станции метро «Кировская», и ее кабинетики разгорожены фанерными щитами, а в вагонах недвижного поезда разместились буфеты и раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже Гитлерова бункера; наша, советская Ставка так располагаться не могла, ведь германская-то и высмеивалась за этот «бункер». Да и не нагнал бы тот бункер такого трепету, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы.

Вот тут, у подножья, куда поместил он себя со своим «виллисом», рассчитывал Сиротин узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться вновь с судьбою генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кой-чего у шоферов разведать — как вот разведал же он про этот путь заранее, у коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура, в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлеченном — Сиротин, помнилось, высказал предположение, что, ежели на «виллис» поставить движок от восьми местного «доджа», добрая будет машина, лучшего и

желать не надо; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у «доджа» великоват и, пожалуй, под «виллисов» капот не влезет, придется специальный кожух наращивать, а это же горб, — и оба нашли согласно, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще — много ли от них пользы, — коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства и, в этой как раз связи, намекнул Сиротину, что вот и у них в армии ожидаются перемены, буквально-таки на днях, неизвестно только, к лучшему оно или к худшему. Какие перемены конкретно, коллега не приоткрыл, сказал лишь, что окончательного решения еще нету, но по тому, как он голос принижал, можно было понять, что решение это придет даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше; может, с такого высока, что им обоим туда и мыслью не добраться. «Хотя, — сказал вдруг коллега, — ты-то, может, и доберешься. Случаем Москву повидаешь — кланяйся». Выказать удивление — какая могла быть Москва в самый разгар наступления — Сиротину, шоферу командующего, амбиция не позволяла, он лишь кивнул важно, а втайне решил: ничего-то коллега толком не знает, слышал звон отдаленный, а может, сам же этот звон и родил. А вот вышло — не звон, вышло и вправду — Москва! На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться — смонтировал и поставил неезженые покрышки, «родные», то есть американские, которые приберегал до Европы, приварил кронштейн для еще одной бензиновой канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали, — генерал его не любил: «Душно под ним, — говорил, — как в собачьей будке, и рассредоточиться по-быстрому не дает», то есть через борта повыскакивать при обстреле или бомбежке. Словом, не так уж вышло неожиданно, когда скомандовал генерал: «Запрягай, Сиротин, пообедаем — и в Москву».

Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, еще довоенные, планы, и беспокойно за генерала, вдруг почему-то отозванного в Ставку, не говоря уже — за себя самого: кого еще придется возить, и не лучше ли на полуторку попроситься, хлопот столько же, а шансов живым остаться, пожалуй, что и побольше, все же кабинка крытая, не всякий осколок пробьет. И было еще чувство — странного облегчения, даже можно сказать, избавления, в чем и себе самому признаться не хотелось.

Он был не первым у генерала, до него уже двое мучеников сменилось если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии; до этого, по мнению Сиротина, ни армии не было, ни истории, а сплошной мрак и бестолочь. Так

вот, от Воронежа — самого генерала и не поцарапало, зато под ним, как в армии говорилось, убило два «виллиса», оба раза с водителями, а один раз и с адъютантом. Вот о чем и ходила стойкая легенда: что самого не берет, он как бы заговоренный, и это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило немного иначе, «виллисы» эти убило не совсем под ним. В первый раз — при прямом попадании дальнобойного фугаса — генерал еще не сел в машину, призадержался на минутку на КП[1] командира дивизии и вышел уже к готовой каше. А во второй раз — когда подорвались на противотанковой мине, он уже не сидел, вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел отъехать куда-нибудь с открытого места; а тот возьми и сверни в рощу. Между тем, дорога-то была разминирована, а рощу саперы обошли, по ней движение не планировалось… Но какая разница, думал Сиротин, упредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговоренность, да только на его сопровождавших она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она-то и была, если вдуматься, причиной их гибели. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придется до десяти тонн истраченного металла, Сиротин же и без их подсчетов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой озноб безотчетный, который чем безотчетнее, тем верней тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз из самого вроде безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой ни то канавке перележать, за ничтожной кочкой, — а блиндаж-то и разнесет по бревнышку, а кочка-то и укроет! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не побываешь на передовой, но этот генерал передовую не то что бы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соскучиться, — значит, по собственной дурости погибли, себя не послушались!

С миной — ну, это смешно было. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощицу, под сень берез? Да хрена-с-два, хоть перед каждым кустом ему воткни: «Проверено, мин нет», — кто проверял, для того и нет, он свои ноги унес уже, а на твою долю, будь уверен, хоть одну «пэтээмку»[2] оставил в спешке; да хотя б он всю рощу пузом подмел — известное же дело, раз в год и незаряженная винтовка стреляет! Вот со снарядом было сложнее — на мину ты сам напоролся, а этот тебя выбрал, именно тебя.

Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнес на две, на три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды — как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая, да ты-то его свиста не услышишь, другие услышат — и сдуру ему покланяются. Однако зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? Да то самое, безотчетное, и задержало, вот что надо было почувствовать! В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками — но, может статься, всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мертвым? — и такая мысль тоже его посещала. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно еще хуже сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб; наука выживания требовала: всегда смиряйся, не уставай просить, чтоб тебя миновало, — тогда, быть может, и пронесет мимо. А главное… главное — тот же озноб ему шептал: с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же безотчетность… Где-нибудь оно произойдет и когда-нибудь, но произойдет непременно — вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен; лишь искушенный взгляд распознал бы за его лихостью, за отчаянно-бравым, франтоватым видом скрываемое предчувствие. Где-то веревочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьется и слишком счастливо, — и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговоренному.

Вот, собственно, о каких своих опасениях — ни о чем другом — поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки «Смерш», когда тот его пригласил на собеседование, или — как говорилось у него — «кое о чем посплетничать». «Только вот что, — сказал он Сиротину, — в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше — в другом каком месте. И пока — никому ни слова, потому что… мало ли что. Ладненько?» Свидание их состоялось в недальнем от штаба леске, на опушке, там они сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленную сосну и, сняв фуражку, подставил осеннему солнышку крутой выпуклый лоб, с красной полоскою от околыша, — чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе, — Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке.

— Давай выкладывай, — сказал он, — что тебя точит, о чем кручина у молодца? Я же вижу, от меня же не укроется…

Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах,

которые наука выживания велит держать при себе, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.

— Ничего, ничего, — сказал он без улыбки, тряхнув энергично своими льняными прядями, забрасывая их подальше назад, — это мы понимать умеем, всю эту мистику. Все суеверию подвержены, не ты один, командующий наш — тоже. И скажу тебе по секрету: не такой он заговоренный. Он про это вспоминать не любит и нашивок за ранения не носит, а было у него по дурости в сорок первом, под Солнечногорском. Хорошо отоварился — восемь пуль в живот. А ты и не знал? И ординарец не рассказывал? Который, между прочим, при сем присутствовал. Я думал, у вас все нараспашку… Ну, наверно, запретил ему Фотий Иванович рассказывать. И мы тоже про это не будем сплетничать, верно?..

Слушай-ка, — он вдруг покосился на Сиротина веселым и пронзающим взглядом, — а может, ты мне тово… дурочку валяешь? А главное про Фотия Иваныча не говоришь, утаиваешь?

— Чего мне утаивать?

— Странностей за ним не наблюдаешь в последнее время? Учти, кой-кто уже замечает. А ты — ничего?

Сиротин подернул плечом, что могло значить и «не замечал», и «не моего ума дело», однако неясную еще опасность, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было отстраниться, хотя б на миг, чтоб только понять, что могло грозить ему самому. Майор Светлооков смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим строгим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свите командующего, — место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно.

— Сомнения, подозрения, всякие мерихлюндии ты мне не выкладывай, сказал майор твердо. — Только факты. Есть они — ты обязан сигнализировать. Командующий — большой человек, заслуженный, ценный, тем более мы обязаны все наши малые силы напрячь, поддержать его, если в чем-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кусать. Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего что и говорить…

Кто были «мы», отвечающие за каждого человека в армии, он ли с майором или же весь армейский «Смерш», в глазах которого генерал в чем-то «пошатнулся», этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решался. Ему вспомнилось вдруг, что и

дружок из автороты штаба тоже эти слова обронил: «пошатнулся малость», — так он, стало быть, не звон отдаленный слышал, а прямо-таки гудение земли. Похоже, генеральское пошатновение, хоть ничем еще не проявленное, уже и не новостью было для некоторых, и вот из-за чего и вызвал его к себе майор Светлооков. Разговор их становился все более затягивающим куда-то, во что-то неприятное, и смутно подумалось, что он, Сиротин, уже совершил малый шажок к предательству, согласившись прийти сюда «посплетничать».

Из глубины леса тянуло предвечерней влажной прохладой, и с нею вкрадчиво сливался вездесущий приторный смрад. Чертовы похоронщики, подумал Сиротин, своих-то подбирают, а немцев — им лень, придется генералу доложить, даст он им прикурить. Неохота было свежих подобрать — теперь носы затыкайте…

— Ты мне вот что скажи, — спросил майор Светлооков, — как он, по-твоему, к смерти относится?

Сиротин поднял к нему удивленный взгляд.

— Как все мы, грешные…

— Не знаешь, — сказал майор строго. — Я вот почему спрашиваю. Сейчас предельно остро ставится вопрос о сохранении командных кадров. Специальное указание Ставки есть, и Верховный подчеркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали риску. Слава Богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе — ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережет? С отчаяния какого-нибудь, со страху, что не справится с операцией? А может, и тово… ну, свих небольшой? Оно и понятно до некоторой степени операция оч-чень все-таки сложная!..

Пожалуй, Сиротину не показалось бы, что операция была других сложнее, и развивалась она как будто нормально, однако там, наверху, откуда к нему снисходил майор Светлооков, могли быть иные соображения.

— Может быть, единичный случай? — размышлял между тем майор. — Так нет же, последовательность какая-то усматривается. Командующий армией свой КП выносит поперед дивизионных, а комдиву что остается? Еще поближе к немцу придвинуться? А полковому — прямо-таки в зубы противнику лезть? Так и будем друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или еще пример: ездите на передовую без охраны, без бронетранспортера, даже радиста с собой не берете. А вот так и нарываются на засаду, вот так и к немцу заскакивают. Иди потом выясняй, доказывай, что не имело места предательство, а просто по ошибке… Это же все предвидеть надо. И предупреждать. И нам с

тобой — в первую очередь.

— Что ж от меня-то зависит? — спросил Сиротин с облегчением. Предмет собеседования стал ему наконец понятен и сходился с его собственными опасениями. — Шофер же маршрут не выбирает…

— Еще б ты командующему указывал!.. Но знать заранее — это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иваныч минут за десять: «Запрягай, Сиротин, в сто шестнадцатую подскочим». Так?

Сиротин подивился такой осведомленности, но возразил:

— Не всегда. Другой раз в машину сядет и уж тогда путь говорит.

— Тоже верно. Но он же не в одно место едет, за день в трех-четырех хозяйствах побываете: где получаса, а где и все два. Можешь же ты у него спросить: а куда потом, хватит ли горючего? Вот у тебя и возможность созвониться.

— С кем это… созвониться?

— Со мной, «с кем». Мы наблюдение организуем, с тем хозяйством свяжемся, куда вы в данный момент путь держите, чтоб выслали встречу. Я понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать все как есть. Так это одно другому не мешает. У нас — своя линия и своя задача. Комдив того знать не будет, когда Фотий Иваныч нагрянет, лишь бы мы знали.

— А я-то думал, — сказал Сиротин, усмехаясь, — вы шпионами занимаетесь.

— Мы всем занимаемся. Но сейчас главное, чтоб ни на минуту командующий из-под опеки не выпадал. Это ты мне обещаешь?

Сиротин усиленно морщил лоб, выгадывая время. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда бы ни направились они с генералом, об этом будет известно майору Светлоокову. Но как-то коробило, что ведь придется ему сообщать скрытно от генерала.

— Это как же так? — спросил Сиротин. — От Фотия Иваныча тайком?

— Уу! — прогудел майор насмешливо. — Кило презрения у тебя к этому слову. Именно тайком, негласно. Зачем же командующего в это посвящать, беспокоить?

— Не знаю, — сказал Сиротин, — как это так можно…

Майор Светлооков вздохнул долгим печальным вздохом.

— И я не знаю. А нужно. А приходится. Так что же нам делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был — куда как просто! Чего я от тебя уже час добиваюсь, комиссар бы мне, не

думая, пообещал. А как иначе? Комиссар и контрразведчик — первые друг другу помощники. Теперь — больше доверия военачальнику, а работать стало куда сложнее. К члену Военного совета не подкатись, он тоже теперь «товарищ генерал», ему это звание дороже комиссарского, станет он такой «чепухой» заниматься! Ну, а мы, скромные людишки, обязаны заниматься, притом — тихой сапой. Да уж, Верховный нам осложнил задачу. Но — не снял ее!

Эта печаль и озабоченность в голосе майора, и его откровенность, да и бремя задачи, исходившей не от кого-нибудь, от Верховного, — все складывалось так, что Сиротину как будто уже и не во что было упираться.

— Звонить, ведь оно, знаете… У связиста линия занята. А когда и свободна, тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо, куда звонишь. Так до Фотия Иваныча дойдет. Нет, это…

— Что «нет»? — Майор Светлооков приблизил к нему лицо. Он враз повеселел от такой наивности Сиротина. — Ну, чудак же ты! Неужели так и попросишь: «А соедини-ка меня с майором Светлооковым из „Смерша“?» Не-ет, так мы все дело провалим. Но можно же по холостой части. В смысле — по бабьей. Эта линия всегда выручит. Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку.

Сиротину вспомнилось нечто рыхлое, чересчур грудастое и, на его двадцатишестилетний взгляд, сильно пожилое, с непреклонно начальственным лицом, с тонко поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчиненных барышень.

— Что, не объект для страсти? — Майор улыбнулся быстро порозовевшим лицом. — Вообще-то на нее охотники имеются. Даже хвалят. Что поделаешь, любовь зла! К тому же, у нас не женский монастырь. Вот в Европу вступим — не в этот год, так в следующий, — там такие монастыри имеются, специально женские. Точней сказать, девичьи. Потому как монашки эти, «кармелитки» называются, клятву насчет девственности дают — до гроба. Во, какая жертва! Так что невинность гарантируется. Бери любую — не ошибешься.

Сверхсуровые эти «кармелитки», в сиротинском воображении соотнесясь почему-то с «карамельками», выглядели куда как маняще и сладостно. Что же до той, грудастой, все-таки не представилось ему, как бы он стал приударять за ней или хотя бы трепаться по телефону.

— Зер гут, — согласился майор. — Избираем другой варьянт. Как тебе Зоечка? Не та, не из трибунала, а которая в штабе телефонисткой. С кудряшками.

Вот эти пепельные кудряшки, свисавшие из-под пилотки

спиральками на выпуклый фаянсовый лобик, и взгляд изумленный — маленьких, но таких ярких, блестящих глаз, — и ловко пригнанная гимнастерка, расстегнутая на одну пуговку, никогда не на две, чтоб не нарваться на замечание, и хромовые, пошитые на заказ сапожки, и маникюр на тонких пальчиках — все было куда поближе к желаемому.

— Зоечка? — усомнился Сиротин. — Так она же вроде с этим… из оперативного отдела. Чуть не жена ему?

— У этого «чуть» одно тайное препятствие имеется — супруга законная в Барнауле. Которая уже письмами политотдел бомбит. И двое отпрысков нежных. Тут придется какие-то меры принимать… Так что Зоечка не отпадает, советую заняться. Подкатись к ней, наведи переправы. И — звони ей откуда только можно. Что, тебя связист не соединит? Шофера командующего? Дело ж понятное, можно сказать — неотложное. Ты только — понахальнее, место свое в армии нужно знать. В общем, ты ей: «Трали-вали, как вы спали?» — и, между прочим, так примерно: «К сожалению, времени в обрез, через часик, ждите, от Иванова звякну». Много болтают по связи, одним трепом больше… Ну, и это не обязательно, мы в дальнейшем шифр установим, на каждое хозяйство свой пароль. Что тебе еще не ясно?

— Да как-то оно…

— Что «как-то»? Что?! — вскричал майор сердито. И Сиротину не показалось странным, что майор уже вправе и осерчать на него за непонятливость, даже отчитать гневно. — Для себя я, по-твоему, стараюсь? Для сохранения жизни командующего! И твоей, между прочим, жизни. Или ты тоже смерти ищешь?!

И он всердцах, со свистом, хлестнул себя по сапогу невесть откуда взявшимся прутиком — звук как будто ничтожный, но заставивший Сиротина внутренне съежиться и ощутить холодок в низу живота, тот унылый мучительный холодок, что появляется при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво — звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся трясины, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя миновало. Этот дотошный, прилипчивый, всепроникающий майор Светлооков углядел то, что сидело в Сиротине и не давало жить, но он же углядел и большее: что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, гибельное — и для него самого, и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме в заметной своей черной кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего «Юнкерса», это не бравада была, не «пример личной

храбрости», а то самое, что время от времени постигало иных и называлось человек ищет смерти.

Вовсе не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке человек делал бессмысленное, непостижимое: бросался врукопашную один против пятерых, или, встав во весь рост, бросал одну за другой гранаты под движущийся на него танк, или, подбежав к пулеметной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол и почти всегда погибал. Опытный солдат, он отметал все шансы уклониться, выждать, как-нибудь исхитриться. Было ли это в помешательстве, в ослепляющем запале, или так источил ему душу многодневный страх, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и как бы освобождение… А накануне — как припоминали потом, а может быть, просто выдумывали — бывал этот человек неразговорчив и хмур, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятанным взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Сиротин этих людей не мог постичь, но то, что их повлекло умереть так поспешно, было, в конце концов, их дело, они за собой никого не звали, не тащили, а генерал и звал, и тащил. Чего ему, спрашивается, не сиделось в скорлупе бронетранспортера, который был же рядом на пароме? И не подумалось ему, что так же картинно под те же пули подставляли себя и люди, обязанные находиться при нем неотлучно? Но вот нашелся же один, кто все понял, разглядел юрким глазом генеральские игры со смертью и пресечет их своим вмешательством. Как это ему удастся, ну вот хотя бы как отведет он в небе шальной снаряд, почему-то Сиротина не озадачивало, как-то само собою разумелось, хотелось лишь всячески облегчить задачу этому озабоченному всесильному майору, рассказать поподробнее о странностях генеральского поведения, чтобы учел в каких-то своих расчетах.

Майор его слушал не перебивая, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой прутик и передвинул на колени планшетку. Развернув ее, стал разглядывать какой-то листок, упрятанный под желтым целлулоидом.

— Так, — сказал он, — на этом покамест закруглимся. На-ка вот, распишись мне тут.

— Насчет чего? — споткнулся разлетевшийся Сиротин.

— Насчет неразглашения. Разговору нас, как ты понимаешь, не для любых ушей.

— Так… зачем же? Я разглашать не собираюсь.

— Тем более, чего ж не расписаться? Давай не ломайся.

Сиротин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного витиеватым изящным почерком, наклоненным влево.

— Тезисы, — пояснил майор. — Это я схемку набросал, как у нас примерно пойдет беседа. Видишь — сошлось, в общем и целом.

Сиротина удивило это, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору ничего такого, чего тот не знал заранее. И он расписался нетвердыми пальцами.

— И всего делов. — Майор, усмехаясь Сиротину, застегнул аккуратно планшетку, откинул ее за спину и встал. — А ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли.

Он вышагивал впереди, крепко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом ногами балетного танцовщика, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Сиротина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за остывшим уже соблазнителем и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась как могла.

— А кстати, — майор вдруг обернулся, и Сиротин едва не налетел на него, — раз уже нас на эти темы клонит… Может, ты мне сон объяснишь? Умеешь сны отгадывать? Значит, прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке. В уши ей заливаю — про сирень там, про Пушкина-Лермонтова, а под юбкой шурую вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. И все, ты понимаешь, чинненько, вот-вот до дела дойдет. Как вдруг — ты представляешь? — чувствую: мужик! Мать честная, с мужиком это я обжимался, чуть боекомплект не растратил. Что скажешь? В холодном поту просыпаюсь. И к чему бы это?

Сиротин, ошарашенный, распяливал лицо глупой и жаркой ухмылкой. Майор смотрел на него, вылупив простодушно голубые свои глаза и полуоткрыв рот. Не дождавшись ответа, он двинулся дальше, сам себе отвечая:

— А я так думаю — пора эту войну кончать. Скорей по домам — своих баб щупать. А то, наблюдаю, у всех уже шарики за кубики заходят.

Там, где тропинка впадала в просеку и где могли бы их увидеть вместе, он снова остановился.

— Ну, тебе направо, мне налево. Вот что я тебе скажу, Сиротин. Ты это, о чем мы условились, не рассматривай, как будто тебя употребили. У меня ведь в желающих сотрудничать недостатка нет. Так что я это тебе доверил как честь. Вижу, тебя коробит что-то. Понимаю. Но ничего, привыкнешь. Ты все обдумай как следует, прикинь, план себе наметь, как будешь со

мной работать. И приступай. Покеда!

Приступить Сиротину, однако ж, не выпало повода. Не пришлось никуда ездить с генералом — в последние дни тот сиднем засел в своем убежище, которое выбрал сразу после переправы, отдельно от штаба армии, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, и к нему туда подъезжали с докладами и из штаба, и с левого берега, и со всего плацдарма, теперь до того разросшегося, что его все реже называли плацдармом. Сиротин же только дежурил у «виллиса», и постепенно то мутное, гадливое ощущение, что испытал он в леске, рассеивалось, сменяясь избавительной надеждой, что надобность в нем у майора Светлоокова, может статься, уже и отпала.

Оно явилось опять, это ощущение, когда майор Светлооков, проходя по каким-то своим делам к генералу, призадержался возле Сиротина и, ткнув его легонько пониже груди своей планшеткой, весело пожурил:

— Ты что ж это мне девку изводишь? Жалуется мне на тебя.

— Какую девку?

— «Какую»! Зоечку. Охмурил, а не звонишь. Столько, говорит, я в него души вложила, а он прохиндеем оказался.

— Так ведь… об чем говорить пока?

— Вот, еще научи его, о чем с прекрасным полом беседуют. Ты позвони, а там видно будет. Позвони, позвони, не стесняйся.

И прошел, весело оглядываясь на оторопевшего Сиротина, заговорщицки подмигивая.

Два дня Сиротин собирался с силами и все же позвонил, позвонил этой Зоечке, с которой до этого едва ли десятком слов перекинулся, и теперь не мог вспомнить без жгучего стыда, от которого влажно делалось лицу, свой голос, то жидкий, то деревянный, свои косноязычные упреки этой Зоечке, что вот, мол, бывают некоторые, которые своих знакомых забывают, зазнались, а Зоечка-то и не зазналась ни чуть, Зоечка его моментально узнала и этого звонка очень даже ждала, и на каждый его попрек отвечала таким щебетом, что у него в ушах звенело. Едва сведя разговор к концу, он лишь потом сообразил, не без натуги, что она ведь ему и свидание назначила, предложила хоть сегодня улучить минутку и заглянуть.

Он шел к ней, робея и с чувством вины, как идут к начальству на выволочку. Зоечка и начала с выговора: завидя его из окна телефонного узла, из автобуса, к которому сходились с разных сторон провода, подвешенные на шестах и ветках, она выпорхнула к Сиротину и заговорила сердитым полушепотом, хотя и с улыбающимся лицом:

— Ты что ж это делаешь, недотепа! Сначала приходят, а уж

потом звонят. А ты все наоборот. Ни с того ни с сего: «Позовите мне Зоечку». Какая я тебе Зоечка, если нас вместе не видели? Вот тебе — первый прокол!

— Так мне ж так майор сказал, — стал оправдываться Сиротин.

— Тише ты, дурень. Так, да не так, — прошипела Зоечка, но тут же, однако, смягчилась. — Пройдемся, чтоб нас увидели.

Они сперва покружились по опушке, в пятнистой тени маскировочных сетей, дабы Зоечкины подружки-телефонистки, поглядывавшие из автобуса, могли себе уяснить характер их отношений. Из другого автобуса, где трещали пишущие машинки и сочинялась армейская газета, тоже на них поглядывали. Сиротин не находил, что сказать, Зоечка тоже не говорила, а только обращала к нему снизу вверх улыбающееся лицо. Со стороны показалось бы, что они от неожиданности встречи и нахлынувшего чувства просто не находят слов.

— Ну что, так и будем по одному месту кружить? — сказала Зоечка. — Хоть бы увлек меня куда-нибудь.

— Куда? — спросил Сиротин. И даже вспотел от своей глупости.

— Закудакал! С девушками не знаешь, как обращаться? Можешь меня взять за плечо. Господи, не за погон, а за плечо!

Рука Сиротина, и без того не чересчур чистая, сразу взмокла. По Зоечкиному фаянсовому личику промелькнула брезгливая гримаска.

— Ты хоть не тискай…

— Так чо, убрать? — спросил он так же глупо.

Она лишь сердито дернула плечиком. Несколько погодя, взяла его руку и обвила вокруг своей талии.

— Перемещать надо время от времени, а то, глядишь, приклеится. Только это надо делать украдкой, тогда похоже на правду. — Еще погодя, сбросила его руку совсем. — А вот теперь у нас другое настроение. Просто смотри себе под ноги вдумчиво и молчи.

В этот ясный предосенний день их могли видеть в разных местах среди редколесья, где новый плацдарм успел утвердить свою бивачную жизнь, прихватив себе то пространство, что зовется вторым эшелоном. Видели из столовой Военного совета, расположившейся в огромной палатке с завернутыми полами, где стоял общий длинный стол и рядом, под своим навесом, дымила походная кухня на дутиках; повар, в белой куртке и колпаке, и обедавшие офицеры-штабисты провожали влюбленную пару усмешливыми взглядами. Зоечка, мечтательно улыбаясь, склоняла голову к плечу Сиротина и покусывала травинку, порой

щекотала его этой травинкой по щеке.

Зенитчики, полеживавшие на травке возле своих счетверенных пулеметов, белыми животами к солнышку, тоже их видели — они хоть и накрыли глаза пилотками, но головы поворачивали вслед, все трое одновременно.

Могли их видеть возле танковых мастерских, где чинились под маскировочным пятнистым тентом две пригнанные из боя «тридцатьчетверки»; ремонтники, в черных промасленных комбинезонах, обстукивали кувалдами разрывы брони, пригоняли заплаты, приваривали их шипучей дугой от передвижного генератора; один, повязав тряпкой рот и нос, счищал надетой на палку скоблилкой с почерневшей башни комки прикипевшего горелого мяса.

Видели около медсанбата, нескольких таких же огромных палаток, недалеко не вместивших всех пациентов; койки и носилки плотными рядами стояли снаружи, под шумящими кронами; санитарки, делая спешные перевязки и уколы, привычно-ласково уговаривали стонущих потерпеть немного, и, невольно впадая в их тон, такими же причитаниями, почти бабьими голосами, разговаривали санитары-мужчины. У входа в крайнюю палатку, прислонясь к трубчатой опоре и зажав под мышкой желтые резиновые перчатки, торопливо-жадно курила врачиха в клеенчатом мясницком фартуке, заляпанном ржавыми потеками, порою оборачивалась внутрь палатки и хриплым осевшим голосом отдавала распоряжения, а порой по измученному ее лицу пробегала улыбка — когда она смотрела, как двое легкораненых, уже выздоравливающих, помогая один другому, осваивали тяжелый немецкий велосипед. Время от времени выносили в оцинкованных тазах и выплескивали здесь же, в бомбовую воронку, красную жидкость с комьями размокшей ваты. Шагах в десяти, присев на корточки, в такой же таз доил корову седой рыжеусый солдат в белесой заплатанной гимнастерке.

Кровавая и костоломная работа передовой шла безостановочно — то и дело подъезжали наполненные своим стонущим, слабо шевелящимся грузом телеги, бортовые машины и фургоны. И запахи смерти и страдания смешивались в чистом воздухе с запахами кухни, еды — от этого делалось особенно тяжело, тошнотно. Поморщась, Зоечка предложила:

— Ну все, программу выполнили. Можем теперь удалиться куда-нибудь в тихое местечко. Мне надо кой-чего дополнительно тебе сказать.

Так они пришли к той поваленной сосне, и Зоечка, усевшись на нее, сбросила наконец ей самой уже надоевшую улыбку и

аккуратно обтянула юбкой круглые коленки. Он подумал, что она здесь не раз уже побывала с майором Светлооковым, перед которым, наверное, не так уж прикрывала скрещенье ног.

— А ты… давно с ним? — глухо, пересыхающим ртом, спросил Сиротин.

— Что — «с ним»? — Зоечка поглядела на него поверх носа, отчего ее лицо сделалось надменным. — Живу, что ли?

— Работаешь, — смущенно поправился Сиротин.

— Надо ясно выражаться. Ты что думаешь — тут все вместе может быть? О, нет! Работать и спать — две вещи несовместимые.

— Это почему ж так? — Он искренне удивился.

— А потому. Фиктивных романов не бывает. Кто-нибудь обязательно по правде влюбится, и это всю конспирацию нарушит. У нас с ним характер работы такой, что этого — не нужно. С тобой — характер другой. Но мы же ни к чему такому, в общем, не стремимся, правда? Меня твоя личная жизнь не касается, а тебя — моя.

— Тем более что у тебя другой есть. Покуда жена далече. В Барнауле, съязвил Сиротин, сам немного уязвленный.

Тот, о ком он говорил, был едва не всей армии известный майор Батлук из оперативного отдела штаба, живописный полнеющий красавец-брюнет, любитель поесть и попить, а также попеть украинские песни — голосом ненатуральным, зато чрезвычайно громким.

— Ах, этот… — сказала Зоечка небрежно, однако матово-белые ее щеки стали медленно розоветь. — Это была ошибка. То есть, в общем… это тоже была работа. Его одно время подозревали.

— В чем? — Сиротин опять подивился: в чем уж таком могли подозревать майора Батлука? Разве что в уклонении от алиментов трем семьям.

— В ротозействе. Показалось, что есть утечка оперативных данных. Но выяснилось, что это ошибка. Во всех смыслах ошибка, — добавила Зоечка со значением и загадочно помолчала, и Сиротину показалось, что эти мгновения она все же посвятила воспоминанию о своем певучем майоре. — Я смотрю, ты все знаешь. Ну, в общем, я им действительно увлеклась. Мужчина что надо. Только самомнения много. На наш роман смотрел как на временный. Ну, может быть, так и надо смотреть. Потому что в Европе все равно все переменится.

— Как это?

— А так, очень просто. Это здесь мы у вас считанные, боевые подруги. А там вы себе баб найдете каких угодно и сколько угодно. И не только офицеры, а последние обозники. Даже кто из

себя ничего не представляет, ноль без палочки, у него ведь оружие, кто ж устоит. В общем, как майор говорит, Светлооков: «Спешите жить, девочки, надвигается на вас девальвация». Ладно, закруглимся. На первом плане должно быть дело. А романы — побоку.

Ему тоже — наверное, впервые в жизни, — говоря с женщиной, молодой и не совсем ему безразличной, захотелось перевести разговор на другое.

— И что тебя потянуло… к этой работе? — спросил он угрюмо.

— А что? — Она улыбнулась мечтательно. — Скажешь, тут нечем увлечься? Хотя бы сознание, что можешь большие дела делать, столько пользы принести… Ты об этом не думал?

— Я думал, каждый, куда его поставили, пускай свое делает как следует. И того с головой хватит.

— Ну, а мне этого мало. Что я такое? Телефонистка. Приложение к коммутатору. Ты тоже приложение — к «виллису». А майор мне такие перспективы открыл, что голова кружится, честное слово. Ты даже не представляешь, сколько в наших рядах скрытых врагов, как люди в большинстве настроены. Кто неправильно, а кто и враждебно. Иногда и высокие люди, с такими званиями, и орденов полно. Пока что они воюют, исполняют свой долг, и мы сейчас не можем ими заниматься вплотную. Еще не время. Пока что нужно о каждом узнать побольше. И с каждым работать — терпеливо, упорно и в то же время беспощадно.

— Он мне совсем другое говорил, — сказал Сиротин растерянно.

— Что же ты хочешь, чтоб тебя сразу во все тонкости посвятили? Я вот уже три месяца с ним… работаю, а он мне только краешек приоткрыл. Но и краешек — это, ого, как много! Просто у меня к этой работе сразу вкус проявился. Он говорит, что я даже, может быть, будущая Мата Хари. Такая была всемирная разведчица. Ну, а у тебя, значит, пока что вкуса не обнаружилось.

Явное и пугающее ощущение, что его уже втянули куда-то, откуда не так просто выбраться, отрезвило его.

— При чем тут «вкус»? — сказал он, нахмурясь. — Мы с ним совсем о другом говорили. Позаботиться, чтоб командующий себя риску не подвергал…

Зоечка поглядела на него искоса и насмешливо, но быстро ее лицо сделалось серьезным.

— Ну, кто ж спорит, чудак. Это такая задача, что по сравнению с ней все остальное чепуха, суета сует. Но мы же для

этого и встретились.

Он уловил в ее голосе разочарование. Как будто она совсем другого ждала от этого свидания.

Ей стало откровенно скучно с ним. Разбросав руки по стволу и приподняв плечики, так что на них изогнулись погоны, и вытянув скрещенные ноги в хромовых сапожках и нитяных, телесного цвета чулках, она вертела головой, поглядывая вверх, провожала глазами летящие клочья паутины и напевала вполголоса:

Дует теплый ветер, развезло дороги.
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…

…Она не знала, как права была. Через много лет она будет вспоминать этот ясный день бабьего лета, когда что-то не удалось ей, на что она рассчитывала; она впервые вспомнит об этом дне, войдя с армией в освобожденную Прагу и фотографируясь в группе друзей-«смершевцев» на многолюдной, усыпанной цветами Вацлавской площади, сама уже в лейтенантских погонах, с орденом и медалями на груди; она изредка, но все острее и грустнее будет его вспоминать потом лет восемь, исполняя работу, для которой так много у нее проявилось вкуса, что ее даже выдвинут в столичный аппарат; затем, когда надобность в ее ретивости несколько поубавится, и Зоечку выставят за порог аппарата, и ей придется избегать встреч с таким множеством людей, что проще окажется уехать из Москвы, она будет вспоминать этот день все чаще и чаще в чужом для нее городе, верша человеческие судьбы уже в ином качестве, — потому что вершить их составляет единственное ее призвание и потому что надо же куда-то приткнуть дебелую партийную бабенку, переспавшую со всеми инструкторами обкома, — поэтому в качестве расторопной хитрой судьихи, ценимой за ее талант писать приговоры, полные птичьего щебета и совершенно бесспорные ввиду отсутствия в них какой бы то ни было логики; она его будет вспоминать — опустившейся бабищей, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отечными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле, — вот этот солнечный день на днепровском плацдарме и этого парня, первого ею погубленного, и однажды четко сформулирует:

«Он был в меня влюблен!» — после чего ей все больше будет казаться, что между ними было тогда что-то настоящее, идеальное, кристально чистое, единожды даримое человеку в

жизни, что парень этот был и остался ее единственной, хоть и неизреченной, любовью…

Зоечка поднялась на ноги и потянулась, едва не до хруста, всей стройной, тонкой фигуркой, выгнув стан, перетянутый офицерским ремнем с портупеей.

— Мне пора, — сказала она, тряхнув прелестными пепельными локонами, свисавшими из-под пилотки спиральками. — Завтра опять встретимся, шифр надо согласовать. Сказал тебе майор?

— Говорил.

— Я кое-что там разработала, к завтрему закончу. У меня быстро освоишь. Да не боги горшки обжигают.

Он возвращался, сбитый с толку, с тревожной раздвоенностью в душе. Он думал о Зоечке с азартной самонадеянностью здорового парня — что наперекор всякой работе у них вполне может наметиться что-то другое, — и с опаской: как бы не сделать завтра какой-нибудь промах, не ступить уже ни на полшага в то зыбкое и пугающее, в чем она уже сильно погрязла и куда его тоже могло затянуть. Сохранить себя и ее вытащить — вот с чем он решил прийти к ней и объявить напрямик.

А назавтра — и случилось вот это, все преломившее: «Запрягай, Сиротин. В Москву!» Однако еще одна встреча была у них с майором Светлооковым последним в армии, кого видел Сиротин и с кем говорил. Разогревая мотор, он разглядел неясное отражение в лобовом стекле и обернулся. Майор Светлооков стоял за его спиной, чуть поодаль, смотрел на него своим простодушным взглядом и легонько похлопывал себя прутиком по сапогу.

— Вот, отбываем, — сказал Сиротин, разведя руками, отчего-то виновато. — Выходит, служба наша кончается?

— Знаю, знаю, — ответил майор. — С Богом, как говорится… А служба наша не кончается. Она начинается, но никогда не кончается.

Перебирая все это в памяти — сидя слева от генерала, во весь путь молчаливого и сумрачного, — Сиротин вдруг понял, с упавшим сердцем, что ведь, наверное, те разговоры и леске, у поваленной сосны, имели какое-то отношение к внезапному этому отъезду. И может быть, предупреди он генерала который ведь был ему не чужее этого майора Светлоокова и чертовой этой Зоечки! — признайся он тогда же, генерал предпринял бы какие-то свои меры, и отъезда, вовсе для него не радостного, могло и не быть. Но вместе со своим признанием Сиротин представил себе удивленный и брезгливый взлет генеральских бровей и бьющий в

лицо вопрос: «И ты согласился? Шпионить за мной согласился!» Чем было бы ответить? «Для вашего же сохранения»? А на это он: «Скажи лучше — для своего. О своей шкуре заботился!» И после этого ничего Сиротин бы не сумел объяснить генералу.

Глядя на дорогу, летящую в забрызганное слякотью стекло, он постигал то, чего не успел постичь по молодости: так не бывает, чтоб кто бы то ни было, вызвавшись разгрузить часть нашей души, разделить бремя, другую ее часть не нагрузил бы еще тяжелей, не навалил бы еще большее бремя. И еще одно постигал водитель Сиротин, изъездивший тьму дорог: если пересеклись твои пути с интересами тайной службы, то, как бы ни вел ты себя, что бы ни говорил, какой бы малостью ни поступился, а никогда доволен собой не останешься.

2

И эта же Ставка совсем иной представлялась генеральскому адъютанту, так же мало знавшему о станции метро «Кировская». Дорога шла под уклон, к мостку через невидимый еще ручей, с обеих сторон бежали полосатые красно-белые столбики — крохотный уголок земли, по которому война прошлась безобидно, — а за обочиной выстроились коридором бежевые стволы тополей, и, наверное, в этот миг воображению майора Донского открывался коридор Ставки, по которому он проходил с генералом, — вот, как сидел, позади и левее. Тот коридор был широк и сумрачен, с высокими сводами и весь выстлан ковровой дорожкой, в которой тонул тяжкий переступ генеральских сапог, только чуть позвякивали шпоры. Ноги адъютанта, упиравшиеся в железный вибрирующий пол «виллиса», явственно ощущали ворсистую мягкость той дорожки, трехцветной, как флаг неведомой республики, и мысленно он проходил по ней дважды: сначала — как генерал, посередине, наклонив голову, чтобы уж поэтому не кланяться знакомым встречным, а лишь бровями обозначать приветствие, — именно так ничего не ронялось из достоинства и покоряющей красоты, которой, что ни говори, исполнено поверженное могущество. А затем проходил и сам, шаг в шаг с генералом, не отдаляясь, чтоб это не выглядело отмежеванием. Ведь коридор полон глаз, офицеры из отделов и управлений показываются в бесчисленных дверях или пробегают мимо, прижав локтем папку с докладом. Не взглянуть на майора Донского они, естественно, не могут, и как же сильно они ему завидуют — его усталой, но и четкой походке, его полинялой гимнастерке с неяркими полевыми погонами, его утомленным, но

и спокойным глазам, повидавшим все то, о чем они только вычитывают из сводок. Больше, пожалуй, и не нужно поводов для зависти — никаких орденов, ни даже колодок, только гвардейский знак, но это ведь и неличная награда. Как-никак его судьба зависит от них штабных, тыловых, завидующих.

В приемной, обшитой дубовыми панелями и светло-зеленым линкрустом, вставал им навстречу величественный дежурный — не ниже полковника, принимал от них личное оружие и сопроводительные документы, после чего генерал усаживался ждать в кресло, отворотясь к окну, адъютант же, которому здесь уже незачем было находиться, понятными жестами показывал дежурному, что отлучается в курилку, а тот кивал в ответ, что вызовет при надобности.

В тот же час, когда за двойными дверьми того кабинета решалась судьба генерала, решалась и адъютантская — в просторной белокафельной курилке, где, надо полагать, стильные полумягкие стулья вдоль стен и никелированные, на подставках, пепельницы — и еще одна общая, малахитовая, на огромном низком столе черного дерева, — и где совершенно не пахнет ни табачным дымом, ни близрасположенным сортиром, и ровно гудит приточно-вытяжная вентиляция, не мешающая двоим-троим говорить вполголоса и так, что не обязательно слышно остальным. К этому часу следовало приготовить слова рассеянно-доброжелательные, улыбку сожалеющую и слегка ироничную, весь облик верного, исполнительного и знающего себе цену офицера для поручений, переживающего за ошибки начальства, но не так уж согласного за них отвечать своей карьерой. Не начинать разговора самому, ни о чем не спрашивать, но скромно войти, всем кивнуть глубоко и сесть отдельно или стать у окна — и не может быть, чтоб не заметили, не завязали бы разговора с милым застенчивым фронтовиком, выуживающим пожелтевшими заскорузлыми пальцами папироску из самодельного портсигара, на котором что-то интересное выколото сапожным шилом, а именно — скрещение штыка и пропеллера, перевитое гвардейской лентой, с надписью: «Давай закурим, товарищ, по одной» — и пониже: «Будем в Берлине, Андрюша!» С портсигара только начать и тут же его упрятать смущенно — баловство, плод окопного безделья. И чутким ухом ловить вопросы, из них-то и выуживая недостающие сведения насчет генерала, намеками, полувопросами дать понять, что готов принять братскую руку помощи, кто протянет ее — не пожалеет. Чего, в принципе, хотелось бы? Самостоятельности. Быть кем-то, а не при ком-то, осточертел этот горький хлеб. Конечно, остаться здесь он и не мечтает, хотя за ним кое-какой оперативный опыт, и если б

взялись его поднатаскать… но нет, мечтать не приходится, скорее мечтал бы — стать на бригаду, не обижен был бы и полком. Чертовски трудна задача — и всего час на нее, на переустройство всей жизни. Когда вызовет дежурный и узнается наконец, что там решено с генералом, поздно будет что бы то ни было переигрывать, придется покориться решению, принятому без тебя.

Длинным ногам адъютанта было тесно за спинкой водительского сиденья, приходилось колени скашивать к борту, и левое, упершееся во влажный брезент, сильно холодило; казалось, слякоть просачивается сквозь галифе, и от этого, вместе с брезгливостью к себе, возникала обида на генерала — за то, что в своем грехе или в своей ошибке не принимал в расчет участь его, майора Донского, всегда вынужденного примащиваться обочь и позади генеральского кресла. Жгла в который раз досада, что засиделся на этом месте, засиделся в майорах, когда надо делать свою игру. Вспомнилось, кстати, как обошел его генерал наградою за форсирование Десны — и как еще обидно обошел! Он передал с Донским личные инструкции командиру батальона, оборонявшегося на плацдарме; инструкции эти нельзя было доверить рации и передать по проводу, который еще не протянули, но и везти их самому тоже не было надобности, хватало сообщить их любому расторопному офицеру, переправлявшемуся на тот берег; Донской, однако ж, их никому не доверил, а переправился сам на плоту, под чувствительным обстрелом, и втолковывал их батальонному, вконец замороченному и полуоглохшему, покуда тот их связно не повторил. Потом, в тихой прохладной избе, он рассказывал генералу, с легким юмором и не выделяя себя, каких мучений стоило несчастному батальонному стоять перед ним в полный рост в неглубоком окопе, не моргая от близких разрывов и не втягивая голову в плечи. Генерал, сидевший в галифе со спущенными подтяжками и в нижней белой рубахе, слушал насупясь, отхлебывая молоко из крынки и шевеля пальцами босых ног, потом вдруг сказал: «Значит, говоришь, он кланяется? хотя Донской говорил как раз обратное. — А надо его к Герою представить, тогда кланяться не посмеет. Ты мне напомни завтра — в список его вставить». Получилось, рассказом о своих действиях Донской выхлопотал награду другому и еще обязан был про это напоминать; ему же, главному действующему лицу в рассказе, отвели его всегдашнее второе место. Однако то был лишь первый укол: напоминать пришлось не однажды, а чуть не десять раз — генерал все отмахивался: «Не до него сейчас, завтра напомнишь». В конце концов это надоело Донскому, и он сам позвонил в политотдел, чтоб не обошли там этого батальонного.

Ему ответили, что список уже дней пять как ушел в политуправление фронта и капитан Сафонов там есть, вставлен самим командующим. Донской только и нашелся пролепетать: «Это я и хотел проверить», — и всего обиднее было теперь вспоминать этот лепет.

Из темного своего угла он с неприязнью разглядывал мощный затылок генерала, с краснотою от воротника, и по привычке мысленно сажал на его место себя. Побывав в его естестве, адъютант несколько смягчался, поскольку приходил к выводу, для себя лестному, что сам он в подобной ситуации держался бы много лучше. Ну хоть не сидел бы всю дорогу нахохленной вороной, подумал бы о том, каким его запомнят спутники — на всю жизнь. Зачем-то же в старой армии гвардейские офицеры брились перед тем, как застрелиться, распивали перед дуэлью шампанское…

То было маленькой тайной адъютанта — ставить себя в положение генерала, пребывать в его сущности, как судно с погашенными огнями пребывает в чужих территориальных водах. Притом он генерала не копировал, не подражал его интонациям и жестам, это было бы примитивно, да и смешно: генерал был высок, но грузен, адъютант же отличался «типично английскими» долговязостью и сутулостью; лицо генерала было — откормленного кота, с фатовскими усиками ниточкой по всей губе, глаза — буркалы, не поймешь даже, какого цвета, адъютант же гордился своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка», глазами. По «внешним данным» он себе ставил плюсы, а генералу минусы, хотя и признавал за ним «очаровательную кабанью грацию с известной долей импозантности», а в поведении отмечал «обаятельную солдатскую непосредственность, временами переходящую в хамство». Он старался понять, так ли уж сложно быть тем, кому предназначено повелевать, и почему бы и ему не принадлежать к этой категории. Возраст был ни при чем, в его летах — слегка за тридцать — командовали полками, а то и дивизиями; стало быть, находились в генеральской должности. Да оно и выходило в девяти случаях из десяти, что он, Донской, поступил бы выигрышней генерала, сказал бы умнее, тоньше, выглядел бы привлекательнее. Наверно, и в последней ситуации, кончившейся отъездом из армии и о которой Донской был, правда, недостаточно осведомлен, он, пожалуй, не сплоховал бы, не дал бы легко свалить себя, превратить, по сути, в ничто. То есть генерал оставался еще при своих звездах и со свитой, но, в сущности, что он был теперь? «Восемь пудов чистого негодования и обиды», не более того.

Теперь, пожалуй, можно было подбить итоги, что адъютант и делал, в мыслях обращаясь к генералу на «ты». Честно сказать, жаль мне с тобой расставаться: со скрипом, но приспособился я к тебе. Гонял ты меня по-божески, с другим побольше было бы гону… но ведь побольше и славы! Ты и сам звезд не нахватал, и мне на грудь — одни «разновесы», а мог бы за ту же Десну и к золоту представить, все-таки — плацдарм, там время по-другому течет, за один час трое суток следует засчитывать. И при этом еще глазом не моргни, в позвоночнике не согнись, ведь тобою послан, тебя представлял. Сам теперь испытываешь, каково это, когда заслуг не отмечают. Это тебе наука вперед цени людей по достоинству. Но я не держу обиды. Я своего стиля не меняю. А стиль у меня — невозмутимость и скромность. Это надо ценить особо, эту незаметность замечать надо. И, между прочим, посторонний человек, майор Светлооков из «Смерша», тот заметил: «Хорошо держишься, Донской, скромно. Но надо, чтоб от твоей скромности пар валил — и прямо Фотию в глаза». Все же он тонкий человек, Светлооков, и наблюдательности не лишен, хотя, разумеется, дубина. Пар — это как раз для него, а настоящий аристократизм — о, это совсем другое!..

Как ни мечталось майору Донскому стать на бригаду, однако же со своим адъютантством приходилось мириться и, стало быть, находить в нем свой особый смысл. Среди немногих книг, которые он таскал в чемодане по своим фронтовым путям, были неполные «Война и мир», и то обстоятельство, что адъютант командующего был чуть не главным героем эпопеи и его любила чуть не главная героиня, определенно вселяло гордость. Из своего века князь Андрей Николаевич Болконский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу Донскому и одобрительно похлопывал по плечу. Что князь Андрей был небольшого роста и слабый, это Донской заносил ему в минус, а себе в плюс, по «усталому скучающему виду» и по «тихому мерному шагу» их достижения уже примерно сравнялись, но вот своим чертовским умением «по привычке переходить на французский» князь его оставлял далеко позади, хотя Донской себя оправдывал, что воюет не с французами, а с немцами. Оно, правда, и на немецкий «перейти по привычке» не выходило, но кое-что другое уже удавалось у князя при случае перенять: его манеру говорить с женщинами «с своим нежным и вместе высокомерным видом», а с мужчинами — «с спокойной властию в голосе» и вот в особенности «презрительно сощурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать)». Не сказать, чтобы со стилем всегда выходило гладко, все-таки князь

Андрей умел здорово его варьировать: с одними «морщить лицо в гримасу, выражающую досаду», других «ласково притягивать за рукав, чтобы тот не вставал»; у Донского это либо выходило невпопад, либо он отступал от стиля по забывчивости и в спешке, и весь эффект не то что пропадал, а был прямо противоположный. К примеру, хотелось ему перенять у князя его частенько упоминавшийся «неприятный смех», как бы это сгодилось при случае! Но, сколько он этот смех ни культивировал, а выходило либо наоборот, даже еще приятнее, и собеседники умилялись и расплывались ответными улыбками, либо уж так фальшиво, что взглядывали с опаской — не рехнулся ли. И вообще, обнаруживалось, к удивлению Донского, скорее печальному, что и война эта, и люди на войне были не совсем те, что в 1812-ом.

Взять того же майора Светлоокова, который с некоторых пор занимал его мысли даже посильнее кутузовского адъютанта. Вот кто загадкою был для Донского — хотя бы странным своим воздействием на генерала, да и всей своей непостижимо стремительной карьерой. Донской его знавал старшим лейтенантом, командиром батареи тяжелых гаубиц — должность как бы с трагическим ореолом, почти во всей ствольной артиллерии, бьющей с закрытых позиций, офицеры гибнут чаще солдат, поскольку свои НП[3] выдвигают обычно вплотную к противнику, в особенно же героических эффектных случаях вызывают огонь на себя. Со Светлооковым такого красивого случая не произошло, но корректировщик он был грамотный, славился быстрым счетом и изобретательностью. Как-то, застряв на передовой, Донской у него заночевал в крохотной землянке, вмещавшей лишь односпальные нары и столик; Светлооков был донельзя прост, мил, гостеприимен, выложил все свои припасы и выставил полфляжки водки-сырца, читал, приятно смущаясь, стихи собственного изготовления, говорил задушевно и романтично — о том, что никогда еще не жил такой наполненной жизнью, как в этой собачьей конуре, в ста шагах от немецких позиций, что у него со своими батарейцами, помимо телефонной связи, связь братская и как бы сверхчувственная. При таких обстоятельствах горючего не хватило, и Светлооков сбегал к старшине стрелковой роты и вернулся еще с пол фляжкою, к некоторому даже удивлению Донского: на передовой, да посреди ночи, водки очень не всякому отольют; Светлооков, как видно, был здесь свой и любим. В том, как он вел себя, не чувствовалось ни фанаберии бывалого окопника, ни заискивания перед чинами, Донской для него был не адъютант командующего, а желанный терпеливый слушатель, к тому же разбирающийся в литературе. Спать улеглись под утро, при этом хозяин уступил свои нары

гостю почти насильно, а сам улегся на полу, головою под столик, говоря, что так ему даже лучше: для головы — не лишняя защита.

Этой весной, когда стали организовываться в армиях отделы «Смерша», брали туда, кроме прежних особистов, и некоторых боевых офицеров с наградами. Желающих не много нашлось, большинство уклонилось; не уклонился, для всех неожиданно, старший лейтенант Светлооков. С братьями-батарейцами, заодно и с полной жизнью в собачьей конуре, он расстался без грусти и боли, одним объяснив, что «надо же и отдохнуть от грохота», другим — что «надо ж расти, тут, глядишь, через пару месяцев в капитаны выйдешь», а третьим совсем коротко: «родина велит». Месяца через два-три, и правда, он возвысился в звании, даже, сверх ожидания, перескочив капитана; новые начальники провели его в старшие же лейтенанты госбезопасности, а это уже соответствовало армейскому майору. Впрочем, настоящее его звание было как-то расплывчато: в малопонятных конспиративных целях, а скорее из чистого шерлокхолмсства, он появлялся в форме то саперного капитана, то лейтенанта-летчика, но чаще — все же майора-артиллериста.

Оставшись таким же простым, шутливым, он претерпел, однако, быстрые изменения. Как-то невозможно стало Донскому поверить, что это он некогда бегал за водкой и спать укладывался на полу, а нары предоставлял гостю. Не пополнев, он как-то больше места занимал теперь в пространстве — ноги ли разбрасывал пошире, локти ли раздвигал, но с ним стало не разойтись в дверях — прежде легко расходились. Еще и прутик его неизменный потребовал своего пространства, которое он со свистом иссекал замысловатыми траекториями. Со стихами тоже пошло успешно: уже так мило не смущаясь, он ими заваливал армейскую газетку «За счастье Родины», а как набралась солидная подборка, послал ее на отзыв Илье Эренбургу и получил определенное «добро», вкупе с советами учиться побольше у классиков — Пушкина, Некрасова. После этого в газетке даже отдельную рубрику завели — «Поэтическая страничка Ник. Светлоокова», — и он говорил, ухмыляясь, не совсем в шутку:

— А придется еще Светлову другой псевдоним искать, а то путать начнут.

Перед праздничными днями и в особо ответственных случаях газетку приносили на подпись к генералу. Тогда же являлся без вызова автор поэтической рубрики и с нетерпением ждал, когда генеральский красно-синий карандаш дойдет до его «Казачьей лирической» и отметит наиболее ударные строки:

Мы идем, любимая, в беспощадный бой,

Чтобы в дни победные встретиться с тобой.
С этой думкой радостной седлаю я коня.
Милая, хорошая, не забудь меня!

— По линии рифмы, — говорил генерал, — претензий не имею. Но я что-то не понял, товарищ Светлооков, вы в этот самый… беспощадный-то бой — пешим ходите или конным? Потом — вот они уже идут, а вы еще только седлаете…

Майор Светлооков красиво зарумянивался, весь его крутой выпуклый лоб вспыхивал и озарялся до корней белесых волос.

— Неудачный эпитет, товарищ командующий? Можно заменить.

У него в стихах каждое слово было «эпитет», а генерал, по-видимому, не знал, что это значит. Он вздыхал и подписывал номер.

И все же что-то странное, на взгляд Донского, установилось меж этими двумя. Наверное, генерал, хозяин армии, мог бы со Светлооковым выбрать и другой тон, кроме насмешливой, но безобидной пикировки, однако он неуловимо пасовал перед вчерашним старшим лейтенантом, а тот неуловимо, все раздвигая локти, осваивал новые пространства. Никто не знал точно границ его власти; должность его была — «уполномоченный контрразведки при управлении армии», но что значило это — наблюдает ли он за людьми штаба? или выше того контролирует штабную работу? Передвигался он вместе со штабом, вытребывая из его помещений для себя и своих сейфов отдельное и с надежными замками. Стал являться и на Военный совет — задавал обыкновенно два-три вопроса: сначала по своей, артиллерийской, части, попозже — с накоплением оперативных познаний — и о том, как увязано взаимодействие с поддерживающей авиацией и не слишком ли при таком-то продвижении оголятся фланги. Тут же присутствовавший начальник армейского «Смерша», полковник, не пресекал его любопытства: может быть, гордился такой дотошностью своего подчиненного, а могло быть, что подчиненный обрел над своим начальником некую тайную власть. Светлоокову терпеливо отвечали, не глядя в его сторону, что с авиацией увязано так-то и о флангах тоже побеспокоились, никогда не отвечал — сам командующий, но неизменно заканчивал совещание шуткой: «У товарища Светлоокова нет вопросов? Тогда — всем ясно». Но — как ни смешно было предположить — не от него ли сбежал генерал в разбитый вокзальчик на Спасо-Песковцах, чтоб вызывать к себе нужных ему людей, а у майора Светлоокова не

было бы частой причины туда являться?

С ощущением, будто задел едва зажившую болячку, Донской вспоминал давнишний, ранним летом, бой под Обоянью, когда впервые встретился с другим Светлооковым, не тем, с каким пили водку и говорили о стихах. Сложилась обычная ситуация, когда неясно, кто кого окружает. «Съезди-ка выясни, велел генерал, — кто там кого за причинное место ухватил», — выяснилось, что ухватили наши, но немцы этого не поняли и пытались зайти в тыл нашему вклинившемуся полку, отчего только углубились безнадежнее в клещи охвата. Связь восстановилась еще до прибытия Донского, и генералу уже обо всем доложили, Донского же кто-то позвал поглядеть на пленных…

Не было нужды адъютанту командующего идти в ту заповедную страшную зону, на неубранное поле, с еще краснеющими не впитавшимися лужицами, где бродили пожилые дядьки из трофейно-похоронной команды, легонько сапогами пиная лежащих. Все же он туда направился — повинуясь ли общему возбуждению от успеха или рассчитывая увидеть важных чинов, интересных для генерала, но не оказалось даже фельдфебеля, одни солдаты. Они стояли, тесно сгрудясь, человек восемь-десять, в окружении разгоряченных, но отчего-то примолкших победителей, не говоря им привычно-заученного «Гитлер капут», не говоря и между собою ни слова, и понуро смотрели себе под ноги, изредка поднимая злобно-затравленный взгляд исподлобья. Двоих мучили пулевые раны, однако они не стонали, а лишь, закрыв глаза, втягивали воздух сквозь стиснутые зубы. Никто не спешил им помочь, увести. При виде Донского пленные слегка оживились, взгляды сошлись на нем, на его погонах. Составив загодя подходящую немецкую фразу, он вдруг отчею-то понял, догадался, что она не понадобится, эти немцы его не поймут. Другие были у них лица, другие глаза, хоть на немецкий манер засучены рукава и расстегнуты на груди мундиры. Тот, кто позвал его, сыграл с ним невинную, но злую шутку, уготовил непредвиденное испытание. Он чувствовал тягучую, с каждой секундой все более расслабляющую растерянность, не знал, что приказать, о чем спросить этих пленных, которые как будто ждали от него вопроса — со страхом, но и с какой-то надеждой. Машинальное движение военного — оправить под ремнем гимнастерку — он продолжил другим движением, безотчетным и которого не ждал от себя: задвинуть пистолет подальше за спину, — и увидел, как застыли напряженно их лица в начале этого жеста и расслабились — в конце. И от этого еще больше он растерялся и не знал, что делать.

Тогда-то и подоспел на помощь к нему Светлооков — невесть

откуда взявшийся, подходивший не торопясь, с улыбкой, похлопывая себя прутиком по сапогу.

— Что ж оружие побросали, земляки? — спросил он, улыбаясь ободряюще, простецки, но с легким упреком. — С оружием надо было сдаваться, это бы вам зачлось. А так — и не поймешь: может, у вас его из рук выбили. Тогда — не считается, что сдались добровольно…

Легкое движение, неясный говор прошли среди пленных и своих. Светлооков был капитан, но, должно быть, внушила большее впечатление его гимнастерка американского желто-зеленого габардина, почему-то в нем признали старшего, все взгляды обратились к нему, к его веселой улыбке.

— А может, вы его и в руках не держали, оружие? Обозниками служили? Или же переводчиками? — Никто соврать не решился или не успел понять, спасительней ли такой вариант, и сам же Светлооков его отверг: — Дурацкие вопросы задаю. Таких ребят в обозе держать, когда они столько своих перестрелять могут, — не-ет, это не дело!.. Так что, земляки, молчать будем? Такая встреча радостная — и молчим. Самое время поговорить… Смоленские среди вас есть?

Двое пленных подались к нему, вытолкнутые безумием надежды.

— Гляди, понимают. — Светлооков, как сообщнику, подмигнул Донскому. — А среди вас, герои? Нешто смоленских не найдется?

Внимательно, испытующе он оглядывал лица своих, изгвазданные, в грязи, в копоти и в поту, с ярко блестевшими белками глаз, в которых еще доцветали злоба и азарт боя. Смоленские нашлись, и Светлооков их подбодряюще похлопал по плечам. Нашлись, с той и другой стороны, и калужские. Также и воронежские. Все больше людей включалось в захватывающую и зловещую игру, и Донской не знал, как пресечь ее, хоть и догадывался уже, к чему она приведет.

— Что ж, поговорите, земляки с земляками, — сказал Светлооков и прутиком показал куда-то мимо Донского. — Во-он в тех кустиках…

Донской, чувствуя на своей щеке горящие взгляды пленных, повернул все лицо к Светлоокову. И, понимая, как он сейчас бессилен, как нелеп и жалок, жгуче себя презирая, а все же переступая, переступая онемевающими подошвами, повернулся к нему весь, так что пленные оказались за спиною.

— Куда торопишься? — спросил он хрипло. Во рту появились неодолимая сухость и какой-то медный вкус. — Их допросить нужно… назначить конвой…

— Так я же и назначил, — удивился Светлооков. — Ты разве не слышал?

— Я не это имел в виду…

— Ты только в виду имел, а я уже распорядился. А куда тороплюсь? Тороплюсь, покуда ребятки горячие, с боя не остыли.

Все же у Донского еще было время, коротких несколько секунд, и будь это немцы, он бы знал и что приказать, и как этого Светлоокова все-таки поставить на место, а сейчас не знал и терял эти секунды. Кто-то там, за его спиной, рванулся бежать, послышались топот сапог и хрипение погони, борьбы, удары по телу и треск кустов, бессвязная мольба, замирающий стон, короткое безмолвие — и затем звенящий, убойный грохот винтовок. Ему казалось, вспышки тех выстрелов отражаются у него на лице — так внимательно, с любопытством, смотрел на него Светлооков.

— Там двое раненых, — сказал Донской с запоздалым слабым упреком.

Светлооков, не переставая глядеть в глаза ему, кивнул согласно.

— Вылечат их. Уже вылечили.

Все так же не оборачиваясь взглянуть, Донской лишь вытянулся во весь свой рост и, оказавшись выше Светлоокова на полголовы, слабым подергиванием плеч выказал ему все презрение, какое чувствовал к себе. И медленно побрел прочь.

Весь день была давящая тяжесть на душе, суетливо подрагивали руки, не хотелось есть, не хотелось даже курить. И не хватало духу пожаловаться генералу на Светлоокова, который преступно превысил свою власть, да еще так демонстративно, в присутствии адъютанта командующего. За подобную жалобу однажды уже досталось — самому Донскому. «Что ты мне жалуешься? — мгновенно рассвирепев, закричал генерал. — У тебя на поясе пистолет болтается или хрен запасной? Вооруженный мужчина жалуется! Чтоб я этого от тебя не слышал». К вечеру, однако, вернулась способность докладывать сухо, деловито и как бы между прочим, не высказывая личного отношения. То, как воспринял его доклад генерал, несказанно удивило Донского. Он слушал насупясь, но не перебивая, лишь несколько раз в продолжение рассказа взглянул на Донского почти умоляюще, как бы прося его не продолжать. Затем встал и заходил по комнате, странно ссутулясь и заложив руки назад, как полагается арестованному ходить под конвоем.

— Видишь ли, в чем дело, Донской, — сказал он после долгого молчания. Они, как бы сказать… не пленные. Конечно, нехорошо это — в смысле воспитательном, для солдат. Но для

них, пожалуй, лучше так. Чем еще суток десять трибунала ждать, да потом вся эта церемония… По мне — так лучше сразу…

Донской, обретя уверенность, осмелясь возражать, заговорил пространно, красиво и с задушевным пафосом — о том, что эти бессудные расправы, о которых он слышал доселе из чужих рассказов, а вот сегодня оказался свидетелем, расправы эти не только порочны в смысле воспитательном, но прежде всего не достигают цели, даже производят обратное действие. Предателей, перебежчиков нужно судить открыто, показательным судом, чтобы все видели, в чем их вина перед родиной и как глубоко падение. Но солдат-фронтовиков втягивать в исполнение, чтобы они участвовали в казнях ведь это не укрепляет, а разрушает психику. Улягутся в их солдатской памяти и штыковые бои, с распоротыми животами, с проломленными черепами, простится себе и тот раненый, которого ты в смерть добивал саперной лопаткой или каской, — то было в бою, не ты его, так он тебя, — но никогда не простится, не забудется бессильная жертва, схваченная за локти, чтобы ты мог спокойно взвести затвор, а прежде разбить ему губы в кровь или, сняв ремень, свободно замахиваясь, пряжкой крест-накрест располосовать лицо. Это не покинет тебя ни в снах, ни во хмелю, и до конца жизни будет маячить перед глазами. Озверевший садист может всего этого не предвидеть, или ему наплевать на последствия, но те, кому власть дана…

— Не дана, — глухо откликнулся генерал. И Донскому даже показалось, что он ослышался. Генерал уже не ходил по комнате, а смотрел не отрываясь в окно. — И ты вот что, братец… мне обо всем этом докладывать необязательно.

Донской умолк и более никогда об этом не докладывал. И с этого дня явственно зазвучали в нем слова, обращенные к генералу: «И ты такой же», что-то не слишком определенное, в чем были и понимание, и сочувствие, и легкая насмешка, и оправдание себя самого. Увы, есть такого рода страх, которому все подвержены без исключения, и даже — вооруженные мужчины.

А страх такого рода, посетивший его самого, вовсе не труса, все не выветривался. В столовой Военного совета он не мог заставить себя сесть рядом со Светлооковым, лишь украдкой, с неприятным чувством, поглядывал издали на его руки, точно бы это они держали тогда оружие, когда говорилось с ясной улыбкой: «Смоленские среди вас есть?..»

Но вот, несколько дней назад, Светлооков неожиданно оказался против него за столом и сказал вполголоса, глядя прямо в глаза:

— Охота мне, майор, с тобой посплетничать.

— Здесь? — почему-то спросил Донской, едва не поперхнувшись.

— Можно и здесь. Было время, мы стихи читали и водку до утра кушали. Но лучше в другом месте.

Странным показалось, что для «сплетен» он назначил свидание в леске, неподалеку от штаба, хотя мог бы, кажется, к себе пригласить, коли так дороги были ему воспоминания. И еще неприятно покоробила эта его уверенность, что Донской придет, куда ему укажут. В довершение всего он еще выговорил Донскому, когда тот с намеренным опозданием явился к поваленной сосне:

— Опаздываешь, адъютант. Это не годится. От бабы, что ли, никак оторваться не мог?

Для таких случаев князь-Андреева наука предусматривала, как отбросить это прилипчивое «ты», переменить навязываемый тон, — для этого следовало состроить на лице выражение, которое Донской мог бы сформулировать наизусть: «Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, коли вы не будете иметь достаточно уважения к самому себе, но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны».

— Простите, — сказал Донской с таким именно выражением, еще усиленным холодностью тона, — как вас по имени-отчеству? Не имел до сих пор чести…

— Николай Васильич. Как Гоголя, — ответил Светлооков готовно, не оценив этой холодности. — Садись, потолкуем.

Донской, однако, остался на ногах и то прохаживался, то останавливался против Светлоокова, не сняв фуражки, как сделал он, и не расстегнув воротника.

— Ты чего-нибудь понимаешь, Донской, что происходит?

— Что вы имеете в виду? — Донской все же не оставил усилий вернуться к допустимому «вы». — И где именно «происходит», как вы изволили выразиться?

— Ты чо это ершишься? — спросил Светлооков весело. — Вот, будем мерихлюндии разводить. «Не имею чести», «изволите». Кстати, можешь меня на «ты», мы вроде одногодки и в чинах одних. — Он вынул из кармана перочинный ножик и огляделся по сторонам. — Нагни-ка мне веточку.

— Какую веточку?

— Какая тебе понравится.

Донской, подернув плечами, пригнул ему вершинку молодого вяза. Светлооков ловко отхватил ее и стал выделывать прутик, срезая боковые побеги.

— Я понять не могу, какой у него следующий шаг, у Фотия. Ну, повезло ему с плацдармом, это все признают, а дальше что? Есть у него в голове план или же торичеллиева пустота?

— Я попросил бы!.. — сказал Донской, вытягиваясь. — Я попросил бы вас о командующем…

— Брось, — перебил Светлооков. — Тут тебя не слышат. Намерен он этот Мырятин брать или ему сразу Предславль подавай?

— Все возможно. Командующий наш — человек масштабный.

— Чепуха, — отрезал Светлооков. — Кто о Предславле не мечтает, не клянчит у Ватутина[4], чтоб позволили взять? И масштабные, и не масштабные все хотят и все могут. А только подавиться можно, хапнешь горяченького — а не проглотишь. Силенок-то у Фотия и на Мырятин не хватает, так ведь получается объективно? Считай, три недели армия топчется возле вшивого городишки.

— Простите, — Донской опять подернул плечами, — не предполагал, что и вопросы оперативные вас так живо интересуют.

— Меня все интересует. Потому тебя и позвал.

— Но вам, насколько я знаю, по роду деятельности доступны оперативные документы, даже совершенно секретные.

— Это когда они есть, документы. А когда их нету, еще не составлены? Как тогда?

— Что же может знать адъютант? Спросили бы у начальника штаба.

— Спрашивал. Начштаба он игнорирует, Фотий. Или же они в сговоре. А только ни хрена от начштаба путем не добьешься. Может и так быть, что Фотий его заранее не посвящает. А кого он вообще посвящает? Ты ж помнишь, чего он тогда, накануне переправы, с танками учудил. Переполох устроил во фронтовом масштабе: сутки никто не знал — ни в армии, ни в штабе фронта, — куда танковая колонна делась, шестьдесят четыре машины! Один он знал, да распорядиться не мог. Во дает! Собственные танки у себя, можно сказать, украл, только бы другим не достались. — Он поглядел искоса, снизу вверх, на Донского и быстро спросил: — А ты тогда — знал про эти танки, куда он их погнал?

— Ну, предположим…

— Знал все-таки?

— Простите, — сказал Донской, не отвечая на вопрос, — а что, у нас, в Тридцать восьмой армии, секретность подготовки отменена?

— Секреты секретами, а если б что случилось? В одном

«виллисе» ездите, всех поубивало — с кого тогда за танки спросить?

— Насколько я в курсе, вопрос был заранее согласован с командованием фронта.

— А насколько я в курсе, Ватутин перед представителем Ставки оплошал. На вопрос, где танки Тридцать восьмой армии, ответить не мог. То же и Хрущев — ни бэ ни мэ.

— Что ж, бывают у командующего и странности.

— Дурь наблюдается, одним словом?

— Ну, если вам угодно применить такой термин…

— Дурь — это хорошо, — перебил Светлооков. Он говорил: «храшо-о». Дурь, она способствует украшению генеральского звания. — Донской подумал, что этот афоризм, пожалуй, следует прихватить в свою коллекцию метких фраз. — Только что у него еще имеется, кроме дури?

— Знаете, не могу поддерживать в таком тоне…

— Брось! — сказал Светлооков, хлестнув себя прутиком по сапогу, отчего Донской слегка вздрогнул и выпрямился. — Еще раз говорю — брось. Ты же не попка, не чурка с глазами. И знаешь прекрасно, что и командармы вашим умом живут — штабистов, оперативников, адъютантов. Да, и адъютантов. Нет-нет, да подскажете ему чего-нибудь путное. Да еще внушите, что он это сам придумал, иначе же он из ваших рук не возьмет.

Майор Донской, по правде, не припомнил бы случая, когда бы он что-то подсказал генералу, но услышать это было лестно. И все же если не здравый смысл и его положение офицера для поручений, то по крайней мере хороший стиль требовал возразить.

— И вы не делаете исключения для генерала Кобрисова?

Светлооков посмотрел на него с простодушным удивлением в голубых глазах.

— А почему это для него исключение? Имеются и погромче командармы. Ты присядь-ка, — он похлопал ладонью по стволу, на котором сидел, и Донской, к удивлению своему, подчинился. — Что у тебя за преклонение такое? Да в твоем возрасте, при твоих данных, другие бригадами командуют. А то и дивизиями.

— Умишком, значит, не вышел.

— Умишка тут много не требуется. А просто мямля ты. И тем, кто тебе мог бы помочь, сам руку не протянешь. Ты хорошо держишься, майор, скромно. Но нужно, чтоб от твоей скромности пар валил. И прямо Фотию в глаза. Тогда он тебя оценит. А может, и нет… Я-то вот — безусловно тебя оценил.

Сердце Донского ощутимо дрогнуло. Было приятно узнать,

что за ним наблюдали пристально и так неназойливо, что он этого не замечал, и, однако ж, не замечая, совершенно естественно, произвел выгодное впечатление. Он понемногу оттаивал и проникался расположением к той силе, которую представлял новый Светлооков, к неожиданной ее проницательности, и вместе с тем испытывал некую почтительную робость перед ним самим, — которую, впрочем, все снобы испытывают перед людьми тайной службы.

— Вы сказали — «руку протянуть». Что это значит? Мы как будто и так делаем общее дело…

Светлооков опять хлестнул по сапогу — точно с досады.

— Все ты из себя непонятливого строишь. Ты же умный мужик.

— Предпочел бы все-таки, чтоб было четко сказано…

— Скажу. — Светлооков закрыл глаза, как бы в раздумье, и, широко открыв их, весело огляделся по сторонам. — Природа хороша тут, верно? Нам бы любоваться — может, последняя в жизни. А мы тут черт-те чем занимаемся, интригами… А ты вправду не знаешь, что он там решил насчет Мырятина? Брать его или обойти?

— Не знаю.

— Ни слова при тебе не говорил?

— Не говорил.

— Верю. И вообще знай — мы тебе верим. Ну, если скажет что про Мырятин — я про это должен знать. Сразу. Буквально через час.

Донской выпрямил стан и сделал строгое лицо. Ему показалось, что он уступает слишком рано — и оставленная позиция уже почти невозвратима.

— Вы понимаете, что вы мне предлагаете?

— Я-то понимаю, — сказал Светлооков, — ты пойми. Мы Кобрисова терпим, все же у него заслуги имеются. Может, я тут кой-чего зря про него, надо быть объективным. Он и заместителем командующего фронтом был, и он же армию формировал, это нельзя не учитывать. Но боимся, дров он наломает. Надо за ним послеживать неусыпно. Понимаешь? Предупреждать нежелательные решения. Ватутин не всегда знает, что у Фотия на уме, куда его завтра занесет. Он одно говорит, а делает другое. Он этим славится. Тут одна тонкость имеется… не знаю, известно тебе или нет. Он же из этих… ну, репрессированных.

Донской, со строгим лицом, важно кивнул.

— Знаю, — сказал он. Хотя услышал впервые. Однако он и не врал, в нем явственно прозвучало: «Ах, вот оно что!», словно бы

подтвердились его догадки и все наконец стало на свои места. — Но ему же как будто простили?

— А чего там прощать было? Ни за что попал. Да я не в том смысле, что ему не доверяют. Кто б его тогда на армию поставил? Но он-то себя обиженным считает, ему реванш нужен, реванш! Беда с этими репрессированными. Уже сказали ему: «Ошиблись, ступай домой», — нет, он вокруг себя сто раз перевернется, чтоб всем доказать, кто он и что. Почему он на Предславль и нацелился: Мырятин — это шестерка, это его не устроит, а там — туз козырный, как минимум две звезды — и на погон, и на грудь. А вдуматься — это же карьеризм чистый, надо же прежде всего о людях думать, о потерях. Одной дури и желания непомерного мало, еще талант нужен. И учет сил. Силами одной армии Предславль же не взять. Значит, надо координироваться с соседями. А он все хочет единолично. Не получится это — одному банк сорвать!.. Моя бы власть, я б таким командования не доверял. С кем один раз ошиблись — тот для нас уже пропащий. Но — где-то повыше нас думали. И вот приходится нам возиться. Поэтому и прошу тебя — помоги нам. Давай уж вместе как-нибудь…

— Как я понимаю, — сказал Донской, сочтя уместным сделать шажок к оставленной позиции, — одних ваших сил недостаточно?

Светлооков покосился на него с насмешливым одобрением.

— Ну, не управимся без тебя. Это хочешь услышать? Молодец, майор, научился цену себе набивать. Донской обошел эту похвалу, не подобрав ее.

— Могу я знать, кто такие «мы»? Это ваш «Смерш» или что-то другое?

— Одного «Смерша» мало тебе?

— Я только уточняю.

— А стоит ли уточнять? Чем дальше в лес — дорожка назад труднее.

Легко читаемую угрозу Донской пропустил; предприятие уже захватывало его, и голова кружилась не от страха — от возникающих перспектив.

— Бутылка вскрыта, — сказал он игриво, — надо пить вино.

— Это пожалста, — сказал Светлооков добродушно. — Хозяин — барин. «Мы» кто, хотел знать? Штаб фронта, ежели угодно. Некоторые представители Ставки. Такие, брат, инстанции, что вся твоя биография может круто перемениться. — И тут же быстро нахмурился. — Теперь понимаешь, что разговор у нас смертельно секретный? Вот про этот лесок ни одна собака знать не должна. Ни шофер Фотия, ни ординарец чтоб не

почуяли. У них, ты это учти, носы по ветру стоят.

Он передвинул на колени планшетку, и у Донского заныло под ложечкой от предчувствия, что ему сейчас будет предложено дать подписку и вряд ли он сумеет выкрутиться элегантно, не осердив Светлоокова отказом.

Донской кашлянул и сказал пересыхающим ртом:

— Понимаю, все сказанное оглашению не подлежит. Меня об этом даже предупреждать не надо.

Светлооков, разворачивая планшетку, усмехнулся едва заметно.

— Знаю, тебя не надо. Все торопишься, майор… Я тебе чистую карту приготовил, держи у себя в сумке. В случае чего — съешь. Здесь будешь отмечать все его задумки. Именно все. Он стрелу нарисует, после зачеркнет ты тоже нарисуй и зачеркни. И таким же цветом. Карандаши есть?

— Попрошу в штабе.

— Вот это не надо. Эх ты, стратег… На, держи. Все понял? Ходить ко мне, звонить — не надо. В столовой не садись рядом. Я сам назначу, где встретиться. Мог бы я тебе дать явочного человека — для экстренных сообщений. Но мы этой детективщины избежим, будешь только со мной дело иметь. Потому что тут все важно, мелочей в нашем деле нет.

Пряча карту — торопливыми и неловкими движениями, — Донской неуклюже пошутил:

— Теперь буду знать, как становятся агентами.

Светлооков, внимательно и хмуро наблюдавший, как он застегивает сумку, сказал сухо:

— Успокойся, ты еще не агент. До этого много воды утечет.

— И только тогда, — спросил Донской в том же своем тоне, — последует награда?

Светлооков резко поднялся и зашвырнул свой прутик в кусты.

— Пошли. Вот что я скажу тебе, Донской. Ничего конкретно я тебе не обещал. Мы этого не делаем. Это не значит, что мы заслуг не отмечаем. Но вот чего мы не любим — это когда с нами торгуются.

Было похоже, как если бы смазали небрежно по лицу — вялой, потной ладонью. Донской даже ощутил очертания этой ладони, загоревшиеся неудержимым румянцем.

Светлооков, шедший впереди, вдруг остановился и, взяв его за портупею, приблизил к нему враз переменившееся лицо с простодушно вылупленными глазами.

— Слушай, Донской. Ты у нас образованный, вон книжки в сумке таскаешь. Может быть, умеешь странные явления объяснять. Вот сны, например. Погоди плечами вертеть,

выслушай. Значит, такой сюжет — всю ночку я с бабой барахтаюсь. Не то, что она мне не уступает, а — вроде увертюры, удовольствие оттягивает. Потом же, ты ж знаешь, только лучше от этого. И значит, только-только я позицией овладеваю, еще не овладел, но к первой линии определенно пробился, все заграждения преодолел — и надо же! Оказывается, не баба это, а мужик! Что за плешь?

Молча, отупело Донской смотрел в эти простодушные изумленные глаза, где в самой глубине, в расширившихся зрачках, таилось что-то больное, зверино-тоскливое.

— Не объяснишь мне? — спросил Светлооков печально. — К чему бы это, а?

Донской, выпрямившись, приняв надменный вид, ответил брезгливо:

— Н-не знаю…

— Жалко! — Светлооков еще подержался за его портупею, поцокал языком и вздохнул. — Ну, тогда разойдемся. Счастливо! И кто ж мне это все объяснит?

Говорилось ли это всерьез или в шутку, но ощущение потной ладони на щеке не проходило, только еще усилилось. «Черт бы тебя побрал, с дурацкими откровениями!» — рассердился Донской, но тайный голос ему говорил, что откровения были вовсе не дурацкими, они имели какую-то цель, уже хотя бы ту, чтобы смутить его, дать почувствовать, что он опутан — мерзкой, тягостной, нерасторжимой связью.

Еще об одном вспоминалось теперь с неясной тревогой — о том, как впервые после той встречи в леске он вошел к генералу, в комнату вокзальчика, лучше других сохранившуюся, где на двери уцелела табличка под стеклом: «Комната матери и ребенка», где генерал спал и ел, откуда он командовал армией. Он сидел за столом, над картой, в черной кожанке, накинутой на белую рубашку, и, глядя на него со спины, на его напруженный раздумьем затылок, Донской вдруг отчетливо почувствовал странное свое превосходство над ним — превосходство ли тайного знания? скрытой ли силы, осознавшей себя? — и, кажется, впервые догадался, отчего так много значит для генерала какой-то вчерашний старлей. Да ведь он имел доступ, он знакомился с делом, он проник к подноготную, — может быть, прочел, какие применялись на допросах меры воздействия к подследственному и как тот себя вел, — вот в чем была его власть! Эту власть обретает даже читающий чужие письма к любовнице — как бы это ни осуждали моралисты. И то, что считалось зазорным когда-то, за что не подавали руки, отказывали от дома, били по морде подсвечниками, сделалось

теперь как бы графским титулом, княжеским достоянием. Ставило майора вровень с генералом, а чем-то и повыше…

Генерала тяготил его взгляд, это стало видно по тому, как он плечами привздернул кожанку, чтобы прикрыть затылок, и как резко прочертил изогнутую стрелу — так резко, что сломал карандашный грифель.

— Ах, ты… — Он длинно выругался и, полуоборотясь к Донскому, показал ему сломанный кончик: — Ножичка нет — очинить?

Не думая, Донской вытащил из бокового кармашка сумки отточенный красно-синий карандаш — и помертвел, встретив удивленный, поверх очков, взгляд генерала.

— Уже успел? Ловкий ты, брат. Умелец!

То была мелочь, о которой генерал, наверное, тут же забыл, снова углубясь в карту, но которая обозначила для Донского все тернии извилистой тропы, выбранной им чересчур поспешно.

Впрочем, он по ней прошел не далее первого шага. Оказалось, не так просто исполнить просимое Светлооковым. Не вычертив плана целиком, генерал свою карту от себя не отпускал и никому смотреть на нее не позволял. И Донскому пришлось испытать чувство унизительное, когда Светлооков, против их договоренности, вдруг сам подошел к нему в столовой — только, впрочем, спросить вполголоса:

— Насчет Мырятина есть решение?

— Нет, — быстро ответил Донской, косясь по сторонам.

Но людей из штаба не было в столовой. Два приезжих корреспондента, в полковничьих погонах, «отоваривали» свои аттестаты, шумно и придирчиво выясняя у начальника столовой, полагается ли им водка и по какой норме.

— Так я и думал. — Светлооков кивнул удовлетворенно и даже с каким-то торжеством. — А чем он вообще занимается?

— Читает Вольтера.

— Что-о? — У Светлоокова от мгновенного раздражения побелели глаза.

— Я не шучу — Вольтера.

— Ну-ну. Это хорошо. Это вот им скажи, — он кивнул на корреспондентов, — непременно вставят в свою писанину. А мне бы — чего посущественней. Если будет. Хотя — навряд ли…

Следовало ли так понять, что силы, нуждавшиеся в нем, Донском, уже обошлись без него? Или мечтательные размышления о ковровых дорожках Ставки все-таки имели какое-то основание?

…А «виллис», яростно подвывая, мчался под серым промозглым небом, и неудержимо адъютантские размышления

съезжали с ковровых дорожек к предметам иного свойства, о которых так сладостно думается в сырости и на ветру, — к стакану водки и тарелке дымящихся щей где-нибудь в тыловой комендатуре, к теплой постели с чистыми простынями, а перед тем, черт побери, к жаркому блаженству бани. Или же он принимался думать о радостях этого случайного отпуска, о том, что удастся все-таки побыть в Москве денька три-четыре и, может быть, оторвать у судьбы суровый роман, маленькое приключение с горьковатым привкусом неизбежной разлуки. А если оно и не состоится, эти три дня все равно пойдут на пользу — рыжая Галочка из поарма[5], которая все еще колеблется, непременно спросит, как он провел их, и можно будет ответить: «Ох, Галочка, лучше не вспоминать…» А если она спросит, не скучно ли было в Москве, можно улыбнуться многозначительно, утомленно: «Москва — живет!»

Эта Галочка, правда, слабо вязалась с расчетами на новое назначение, но обращался он все же к ней. Что-то ему говорило, что в эту армию он еще вернется. «Со щитом, — прибавлял он, — непременно со щитом!»

Князь Андрей, из своего века, подсказывал тоже недурной вариант: «Это будет мой Тулон!»

Глава вторая.
ТРИ КОМАНДАРМА И ОРДИНАРЕЦ ШЕСТЕРИКОВ

1

Что же мог думать о Ставке третий — ординарец, сидевший за спиной генерала? Какой он ее себе представлял — скуластый крепышок с лычками младшего сержанта, с замкнутым лицом, жестко обтянутым задубевшей кожей, со складкой на лбу, отражавшей сосредоточенность на невеселой мысли? А ничего он про эту Ставку не думал, не занимало его, где она там расположилась — в кремлевской ли башне, в глубоком ли бункере, и какие там стены и потолки; да хоть золотые, хоть и хрустальные; ему, Шестерикову, она хорошего не обещала, она была лишь тем местом, где генерала будут изводить дурацкими расспросами, издеваться над ним и насмехаться — ни за что ни про что. Заведомо все неприятности, готовые пасть на эту седеющую и лысеющую голову, казались Шестерикову несправедливыми, и он единственный мог бы заплакать от жалости к генералу, он и взаправду, хоть и без видимых слез, оплакивал его судьбу, а заодно и свою собственную.

Скорчась в тесном углу «виллиса», он держал на коленях вещмешок и противогазную сумку, набитые разными твердыми вещами, на ухабах его швыряло и колотило, но все было ничто в сравнении с тем сознанием, что лучшее в его жизни — кончилось; то, что делало ее осмысленной и стоящей страданий, теперь уж невозвратимо.

И, как перебираем мы в памяти первую любовь, давно отлетевшую от нас, день за днем, все ближе к сладостному ее началу, — так угрюмый Шестериков приближался к тому морозному дню под Москвой, когда их пути с генералом пересеклись. Удивительное то было пересечение! Кто бы это мог так распорядиться, расставить вехи, чтобы ни он, Шестериков, ни генерал не опоздали ко встрече, и еще столько потом сплести событий, чтоб не показалась им эта встреча случайной? Как-то в душевную минуту, за водочкой, он даже высказал генералу свое удивление по этому поводу, и вот что ответил генерал: «А знаешь, Шестериков, оно иначе и быть не могло. Три генерала, три командарма в твоей судьбе поучаствовали». Ну, двоих-то из них

Шестериков так и не увидел, а лишь своего командующего, Кобрисова, когда тот вышел в зверский мороз на крылечко избы, а Шестериков как раз и проходил мимо того крылечка, с котелком щей и с кашей в крышечке — для старшины своей роты.

За три дня до того батальон, в котором воевал Шестериков и где их осталось человек сорок, был причислен к армии, стоявшей на Московском полукольце обороны, — рассчитывали повидать столицу, за которую, может, и погибнуть предстояло, хоть отдохнуть в ней, отдышаться, да вот не вышло — и как хорошо, что не вышло! И мог бы старшина роты сам за своим обедом сходить, но прихворнул чего-то, лежал в избе под кожушком, глядя в потолок, — и хорошо, что захворал! Мог бы он кого другого послать на кухню, но Шестериков перед ним провинился, ответил грубо, и это ему вышло как наряд вне очереди, — и, Господи, как хорошо, что провинился! Ну, наконец, и генерал мог бы не выйти тогда на крылечко — в бекеше и в бурках, с маузером на ремне через плечо, готовый к дальнему пешему пути, — а вот это, пожалуй, и не мог бы, потому что был приглашен на коньяк, и не на какой-нибудь — на французский.

Он еще и не обосновался в той избе, и комната его пуста была, из хозяевых вещей оставили один топчан, все вынесли, а письменный стол из штаба еще не привезли, и связисты устанавливали телефон прямо на полу — от них-то Шестериков и вызнал потом все подробности.

Только подключили аппарат — заверещал зуммер, и генералу подали трубку. Телефонисты, проверяя качество связи, слушали по другой трубке, отводной.

— Рад тебя слышать, Свиридов, — сказал генерал. Звонил ему командир дивизии, полковник, с которым отступали полгода, от самой границы. Опережаешь начальство, в принципе, я тебе должен первым звонить[6]. Как ты там? Больше всех ты меня беспокоишь.

Свиридов спросил, с чего это он больше других беспокоит.

— Как же, ты у меня крайний. Локтевой связи справа у тебя же нет ни с кем.

Свиридов подтвердил, что какая уж там локтевая связь, правый сосед у него — чистое поле.

— Должна еще бригада прибыть, — сказал генерал. — Из Москвы, свеженькая. Вот справа ее и поставишь, я ее тебе отдаю.

Свиридов поблагодарил, но намекнул, что лучше бы дарить, что имеешь, а не то, что обещано.

— Рад бы, да сам пока обещаниями сыт, — сказал генерал. — Ну, докладывай. Может, чем утешишь…

Свиридов его утешил, что к нему на участок обороны

прибыло пополнение два батальона ополченцев из Москвы: артисты, профессора, писатели — одним словом, интеллигенция, очкарики, сплошь пожилые, одышливые, плоскостопных много, — а вооружил их Осоавиахим учебными винтовками, с просверленными казенниками, со спиленными бойками, выстрелить — при испепеляющей ненависти к врагу и то мудрено, только врукопашную. Еще у них по две гранаты есть, сейчас как раз обучают бросать — пусть не далеко, но хоть не под ноги себе. Знакомят некоторых, кто посмышленней, с минометом — мину они опускают в ствол стабилизатором кверху, но, слава Богу, забывают при этом отвинтить колпачок взрывателя.

— Ясно, — сказал генерал со вздохом. — Но настроение, конечно, боевое?

Свиридов подтвердил, что прямо-таки жаждут боя. Ни шагу назад, говорят, не ступят, позади Москва.

— Ясно, — сказал генерал. — Пороху, значит, совсем не нюхали. Но это же еще не все, Свиридов, должен же быть заградотряд.

Верно, Свиридов подтвердил, заградительный не задержался, прибыл батальон НКВД, да только он расположился во второй линии, за спиной у ополченцев, так что фронт растянуть не удается.

— А в первую линию ты их не приглашал?

— Как же, — сказал Свиридов, — ходил к ним, предлагал участок. Комбат отказался наотрез: «У нас другая задача».

— Аты ополченцев обрадовал, что бежать им некуда?

Да, Свиридов их обрадовал.

— И как отнеслись?

— Обиделись даже. А мы, говорят, бежать не собираемся.

— Правильно, — сказал генерал. — Назад не побегут. Что у них за спиной не одна Москва, а еще заградотряд имеется, это они не забудут. Поэтому, как немец напрет, они в стороны расползутся. И придется тогда уж заградотряду принять удар. Все хорошо складывается, Свиридов. Рассматривай этих энкаведистов как свой резерв. Им тоже бежать некуда. В случае чего они друг дружку перестреляют.

Свиридов помолчал и спросил:

— Не приедете поглядеть, как мы тут стоим?

— Да что ж глядеть… Хорошо стоите. Не сомневаюсь, ты все возможное сделал.

— Тем более, — продолжал Свиридов голосом вкрадчивым, — есть одно привходящее обстоятельство. В красивой упаковке. Из провинции Содпас. Парле ву Франсе?

— Что ты говоришь! — Генерал сразу взвеселился. — Ах,

проказник!.. Где ж добыл?

— Противник оставил. В Перемерках.

— Постой, ты что? Ты его из Перемерок выбил? Что ж не похвастался, скромник? Ай-яй-яй!

Но кроме «ай-яй-яй» упреков Свиридову не было. Оба же понимали, что лучше не спешить докладывать. Ведь это, глядишь, и до Верховного дойдет — а ну, как эти чертовы Перемерки отдать придется? С тебя же, кто их брал, голову свинтят.

Генерал положил трубку на пол, походил по горнице, бросил рядом с телефоном развернутую карту и, глядя в нее, опять трубку взял.

— Свиридов, тут их двое, Перемерок — Малые и Большие. Ты в каких?

— В Больших, Фотий Иванович, в главных. Малые пока у него.

— Ты это… не финти, ты мне скажи четко: выбил ты его или он сам ушел? Я тебя так и так к награде представлю, только по правде.

— Да как сказать? Желания у него особого не было за них держаться. Ну, и я со своей стороны помог. Во всяком случае — коньяк он забыл. Аж четыре ящика, представляете?

Генерал опять положил трубку, успокоился и снова взял.

— Знаешь, Свиридов… Пожалуй, мне твоя оборона нравится. Хорошего мало, а нравится. А может, он это… отравленный?

— На пленных испытали.

— Так ты и пленных взял? Ну и как?

— Согрелись. Дают показания.

Генерал поглядел в карту совсем уже веселыми глазами, уже как бы отведав того «привходящего обстоятельства».

— Слушай, а ты сам-то где сидишь?

— Да в Перемерках же. От вас километров шесть. Могу лошадей выслать.

— Все не приучишься «кони» говорить, Свиридов. Кони и у меня есть, только они с утра снаряды возили, пристали кони. Ведь не люди они устают…

— Так все-таки ждать вас? Опять же, День Конституции страна отмечает…

— Разболтались мы с тобой, Свиридов, — сказал генерал построжавшим голосом. — День Конституции выдаем. А враг подслушивает. У тебя все? До свиданья.

Генерал, заложив руки за спину, походил взад-вперед по горнице, погуживая себе под нос свое любимое: «Мы ушли от пр-роклятой погони, пер-рестань, моя радость, др-ро-жать!..», и стал против красного угла, разглядывая иконы.

— Это сей же час уберем, — поспешил к нему ординарец. — Это живенько!

— Зачем? — удивился генерал. — Чем они мешают?

— Мешают думать командующему, — тот ему отвечал молодецки, с восторгом в голосе. — Мысли отвлекают в ненужное направление.

Ординарец этот был, что называется, деланный дурак, то есть не от природы глупый, а для своего же удовольствия. Не рохля, а вполне даже расторопный, но говорил часто невпопад и еще очень этим гордился. Особо раздражало генерала, что он вместо «Слушаюсь» усвоил отвечать: «С большим нашим пониманием!» — и никак его было не отучить. Ответил и на сей раз, когда генерал велел ничего в красном углу не трогать, оставить как есть.

Уже закипая, поджав губы недовольно, генерал разглядывал темные лики Спасителя, великомученицы Варвары, Николы Чудотворца, — подержал палец над лампадкой, потрогал черное потресканное дерево киота.

— Вот это — как называется?

— Это? — Ординарец не понял еще, что осердил генерала, и отвечал также молодецки, с восторгом: — А это, Фоть Иваныч, никак не называется!

— Вот те раз! — даже ошеломился генерал. — Мастер их делал — может, три тыщи за свою жизнь, — и это у него никак не называлось?

— Ящичек — и все.

— Тьфу! — сказал генерал. — Подай мне бекешу. А шинель свою — оставь дома. И чтоб к моему приходу знал бы точно, как этот ящичек называется.

И ординарец, все понявши, только ему и ответил «большим нашим пониманием». Более генерал ничего от него не услышал и самого его не увидел никогда.

Настала минута Шестерикова вступить в сектор генеральского наблюдения с котелком и с крышечкой.

— Боец, подойдите, — услышал он голос с высокого крыльца, недовольный и обиженный, но это не к Шестерикову относилось, а к морозу, какого начальство, угревшееся в избе, не ожидало, — так уже должно было на кого-нибудь обидеться. Незнакомый грозный человек стоял, поеживаясь, подергивая плечами, картинно при этом расставив ноги в бурках и утвердив руку на кобуре маузера.

— Слушаюсь, товарищ командующий! — Шестериков подошел резво и доложился по форме, чему котелок и крышечка не помешали. Всю остальную жизнь он изумлялся, каким это

чутьем признал он под бекешей без петлиц не просто генерала, а — командующего, и объяснения не находил. Разве что маузер в деревянной кобуре его надоумил, какой он видал в кино у революционных братишек и комиссаров.

— Будете меня сопровождать, — объявил генерал, оглядывая серое небо. Автомат у вас полный? Пару бы дисочков иметь в запас…

Сердце Шестерикова стронулось и сладко покатилось куда-то. Все же он возразил, что связан приказанием — отнести обед захворавшему старшине. Генерал поморщился, но внял, согласно кивнул. И произнес волшебные слова:

— Валяйте. Я подожду.

С этими словами река судьбы генерала и малая речка Шестерикова начали сливаться в одно.

— Я по-быстрому, — обещал он генералу не совсем по уставу и, зачем-то ему показав котелок, метнулся исполнять это самое «валяйте».

— А сам-то пообедал? — спросил генерал вдогонку. И, отсылая дальше рукою, себе же ответил: — Хотя ладно, там нас накормят.

С крупного шага история перешла на рысь. Но не таков был Шестериков, чтоб еще пехаться до этого старшины, будь он неладен со своей хворобой, однако и вылить обед на снег он тоже не мог. Заскочив за угол, в проулок, он малость отхлебал из котелка через край, ссыпал в рот горсточки три каши, отломил полгорбушки хлеба и положил за пазуху, чтоб не обмерзла. Там еще когда накормят, успокоил он шевеление совести, а пока дела серьезные предстоят, не под кожушком лежать, считать тараканов на потолке. На его счастье, двое дружков из своей же роты топали по проулку, сопровождая местную деву и стараясь наперебой, с обеих сторон, ее насмешить. Шестериков напал на них диким коршуном и с ходу распатронил, отобрал два тяжелых диска, а взамен отдал свой неполный, заодно и обед им вручил — с приказанием от имени командующего доставить срочно. Спустя лишь минуту предстал он снова пред генералом — и в самое время успел: в заиндевевшем окошке углядел он продышанный уголок, а в нем чей-то обиженный и завидущий глаз — поди, ординарца, на которого генерал за что-то прогневался. И еще подумалось, что не к добру этот глаз окошко сверлит, — хотя и не верил Шестериков ни в понедельник, ни в число тринадцатое, ни в черного кота, но верил в порчу и сглаз.

— Уже? — спросил генерал и поглядел с одобрением на Шестерикова, готового к черту в зубы идти. — Ну, потопали.

И так-то они — хрум-хрум — начали свой путь по снежку:

генерал впереди, при каждом шаге отбрасывая маузер бедром, Шестериков — приотстав шагов на восемь. За околицей набросился на них степной ветер, стало уныло и даже страшновато, но генерал шага не убавлял, что-то его изнутри грело и двигало вперед.

Сперва шли по проводу, от шеста к шесту, потом кончилась шестовка, провод ушел под снег. Однако ж тропинка, пробитая связистами и всякими посыльными, ясно виднелась — со склона в низинку и опять на бугор, так что хрум да хрум — шли уверенно, и солнышко, хоть и туманное, а бодрило, а леса поодаль, хоть и черные, а не страшили неизвестностью. Поле и поле, Шестерикову было не привыкать. Да все ничего, только вскорости, едва версту отмахали, мороз начал под шинелькой продирать насквозь, сил не стало терпеть, не хлопать рукавицами по груди, по плечам. И сперва Шестериков стеснялся при генерале, но, видно, и тому мороз не нравился, то и дело он руки в перчатках прижимал к ушам, и этими-то моментами Шестериков и пользовался, а то терпел.

— Не там хлопаешь! — закричал ему генерал. Все же, значит, услышал. Там тебя молодость греет. Ногами, ногами тупоти. Тут главное — не упустить.

Шестериков и не упускал, но в ногах-то еще терпимо было, а вот душа заледенела.

— Большевистскую родную печать использовал? — спрашивал генерал, оборачиваясь с веселостью и некоторое время идя спиной вперед. — Газетку поверх портянок не намотал? А зря.

Так наставление советовало: читанное еще раз использовать — против обморожений, но Шестериков в эти чудеса не верил, печать он пускал на курево и по другому делу, а больше доверял шерстяному платку, который ему жена прислала — разодрать на портянки.

Генерал про платок выслушал и развел руками.

— Все гениальное — просто. Кто это сказал?.. И я тоже не знаю.

Потом он придержал шаг немного, чтоб Шестериков его нагнал.

— Ты в бильярд не играешь? Учти, кто в бильярд играет — на местности лучше ориентируется. Вот как ты думаешь, километра четыре прошли уже?

По Шестерикову, так и все десять отхрумкали, а в бильярд он не играл сроду, потому, наверно, и вовсе не ориентировался.

— Ничего, потерпи, — утешил генерал. — Еще полстолька пройти, и встретят нас в Больших Перемерках. Французский

коньяк пил когда-нибудь? Попьешь!

Генерал, видать, всю карту держал в голове, шагал без задержки, на развилке решительным образом вправо шагнул, хотя, отчего-то показалось Шестерикову, так же решительно можно бы было и влево. Но, пожалуй, это уже потом он себе приписал такое предчувствие, а на самом деле во весь их путь ни разу не догадался, что история уже притормозила свой бег, плетется шагом, а зато круто набирала ход — география.

Они с генералом шли в Большие Перемерки — и правильно шли, а идти-то им нужно было — в Малые. Свиридову, который по величине судил и с картою второпях не сверялся, в голову не пришло, что тут, как часто оно на Руси бывает, все обстояло наоборот. Малые Перемерки, возникшие после Больших, то есть настоящих, первых, и считавшиеся как бы пониже чином, понемногу раздобрели вокруг фабрички валяной обуви и давно уже переросли Большие, да названия уже не менялись; местные и так различали, а на приезжих было наплевать, и их это тоже не тяготило. Ну, и то правда, названия селам сменить — это же сколько вывесок надо перемалевать, да всяких бланков перепечатать, да и надписи переписать на тех ящиках, в которых малоперемеркинские валенки ехали во все концы отечества. Опять же, глядишь, захудалые Большие, в свой черед, подтянутся, стекольный заводик отгрохают и Малым, в Большие переименованные, опять догонять? А совсем другое название — откуда взять? Еще и похуже выйдет — в Стеклозаводе каком-нибудь жить. Вот разве одни, предположим, Ждановском назвать, а другие Шкирятовым или Кагановичами, так ведь на все населенные пункты дорогих вождей не хватит…

Уже сумерки начали сгущаться, когда они с генералом дохрумкали наконец и на задах этих Перемерок увидели встречных. Человечков тридцать высыпало. Но как-то не торопились подскочить, доложиться. Генералу это понравиться не могло, он им еще издали, шагов за полста, приказал сердито:

— Полковника Свиридова ко мне!

А встречные и тогда не зачесались. Переглянулись и отвечали со смехом:

— Карашо, Ванья! Давай-давай!

Генерал стал столбом и скомандовал Шестерикову:

— Ложись!

И только Шестериков упал, у одного из тех встречных быстро-быстро запыхало в руках впереди живота, и долетел сухой треск — будто жареное лопалось на плите. Генерал, свою же команду выполняя с запозданием, повалился всей тушей вперед. Не помнил Шестериков, как оказался рядом с ним и о чем в первый

миг подумал, но никогда забыть не мог, как, нашаривая в снегу слетевшую рукавицу, вляпался в липкое и горячее, вытекающее из-под генеральского бока.

— Товарищ командующий, — позвал он жалобно. — А, товарищ командующий?

Генерал только хрипел и кашлял, вжимаясь лицом в сугроб.

— Вот и бильярд! — сказал Шестериков, отирая ладонь о льдистый снег. Ах, беда какая!..

Но какая случилась беда, он все же не осознал еще. В голове его так сложилось, что это свои обознались спьяну или созорничали, придравшись, что им не сказали пароля. Таких дуболомов он повидал в отступлении — страшное дело, когда им оружие попадет в руки. И в ярости, чтоб их проучить, заставить самих поваляться на снегу, он выбросил автомат перед собою и чесанул по ним длинной очередью — над самыми головами. Дуболомы залегли исправно и открыли частый огонь, перекликаясь картавыми возгласами.

— Немцы, — вслух объявил Шестериков, то ли себе самому, то ли генералу.

И стало ему досадно, прямо до слез, за те патроны, что он выпустил сгоряча без пользы. По звуку судить, штук двадцать пять ушло. Впредь этой роскоши — очередями стрелять — он себе не мог позволить. И решительно переключил флажок на выстрелы одиночные. Как по уставу полагалось, раскинул ноги, уперся локтями в снег, приступил к поражению живой силы противника. Впрочем, он не думал о том, скольких удастся ему убить или ранить, он был уже опытный солдат, и перед ним были опытные солдаты, и он знал, что, когда перестреливаются лежа, на результаты ни та, ни другая стороны особенно не рассчитывают. Главное было — не дать им головы поднять, потянуть время, покуда они убедятся, что можно подойти спокойно и взять живыми. И, конечно, не мешало создать у них такое впечатление, что не один тут постреливает, а все-таки двое.

Он вытащил генеральский маузер из кобуры и, держа впервые такую красивую вещь, сразу сообразил, как вынимается обойма. В ней было девять патронов; он перещупал коченеющими пальцами их округлые головки, беззвучно шевеля губами: «Один, два, три…» — а дальше шли пустые пять гнезд, маузер был 14-зарядный. И, видать, генерал любил пострелять из него — для настроения, а может быть, и самолично кого в расход пустить, есть такие любители. Ну, что ж, подумал Шестериков, на то война, ему вот и самому захотелось парочку этих «дуболомов» срезать, едва рука удержалась. Только обойму-то надо ж было пополнить. В кобуре было место для обоймы запасной, но самой

ее не было. «Пару бы дисочков иметь в запас…» — вспомнил он с укором. Но и себя укорил — зачем отдал тем дружкам свой неполный диск, они до того своей девкой заняты были, что и не заметили бы, если б не отдал. И тотчас — с обидой, с завистью — вспомнил саму деву, которую они наперебой старались насмешить армейскими шутками, вспомнил ее разрумянившееся лицо, которое она, играючи, наполовину прикрывала пестрым головным платком, хорошо им сейчас в селе, в тепле, уже, поди, захмелившимся и напрочь забывшим о нем, которой невесть по какому случаю лежит здесь в снегу, задницей к черному небу, перед какими-то чертовыми Перемерками, бок о бок с беспамятным, безответным генералом, и перестреливается с какими-то невесть откуда взявшимися, как с луны прилетевшими, людьми. Но хорошо все-таки, подумал он, что хоть дружки эти встретились, да с полными дисками, дай им там Бог время провести как следует.

Посмотреть, не все в его положении было плохо, могло и хуже быть. Хорошо, что смазка не застыла и автомат не отказал в подаче, а теперь уже и разогрелся. Хорошо, что еще маузер есть, с девятью патронами. Хорошо, что немцы не ползли к нему, постреливали, где кто залег. Генерал тоже хорошо лежал, плоско, головы не высовывал из сугроба. Но одна мысль, тоскливая, то и дело возвращалась к Шестерикову — что уже с этими немцами не разойтись по-хорошему.

Бывало, когда солдаты с солдатами встречались на равных, удавалось без перестрелки разойтись — какому умному воевать охота? Но тут — как разойдешься, когда генерал у него на руках — и живой еще, дышит, хрипит. И эти, из Перемерок, еще при свете видели, кто к ним пожаловал, видели темно-зеленую его бекешу, отороченную серым смушком, и смушковую папаху разве ж с этим отпустят? Убитого раздеть можно, одежку поделить, а за живого — им, поди, каждому по две недели отпуска дадут. И сдаться тоже нельзя, стрельба всерьез пошла, уж они теперь, намерзшись, злые как черти! Его, рядового, они тут же, у крайней избы, и прикончат, а если еще убил кого или подранил, то прежде умателят до полусмерти. А генерала оттащат в тепло, там перевяжут, в чувство приведут, потом — на допросы. И если говорить откажется — крышка и ему.

Он отъединил опять ту обойму и выдавил два патрона, чтоб сгоряча их не истратить. Эти два он заложит в маузер перед самым уже концом — пробить голову генералу, потом — себе. Все-таки лучше самому это сделать, чем еще мучиться, когда возьмут, изобьют всласть, к стенке прислонят и долго будут затворами клацать — надо ж потешиться, перед тем как в тепло

уйти. Сперва он эти патроны запрятал в рукавицу, но там они сильно мешали и слишком напоминали о неизбежном, и он их сунул за пазуху. Тут его пальцы ткнулись во что-то твердое и шершавое — это в запазушном кармане хранилась его горбушка, уже как будто забытая, а все же — краешком сознания — памятная. Чувство возникло живое и теплое, но сиротливое, опять стало жаль до слез — что придется вот скоро убить себя. Он подумал — съесть ли ее сейчас? Или — перед тем? И почему-то показалось, что если сейчас он ее сжует, тогда уже действительно надеяться не на что.

А надежда оставалась, хоть и очень слабая. Постреливая одиночными — то из своего ППШ, то из маузера, — после каждого выстрела подышивая себе на руки и уже не различая, ночь ли глубокая или все тянется зимний вечер, он все же нет-нет да согревал себя тем мудрым соображением, что и противнику не легче. И когда же нибудь наскучит этим немцам мерзнуть на снегу, и плюнут они возиться с ним: за ради бекеши жизнью рисковать кому охота, а на отпуск — если генерал не живой — тоже можно не рассчитывать. Только вот уйдут ли в тепло все сразу? Народ аккуратный, оставят, поди, часовых и будут подменивать — хоть до утра.

Что-то надо было предпринять еще до света, хоть отползти подальше да схорониться в каком ни то овражке, либо снегом засыпаться. Генерала оставить он не мог, тот покуда хрипел, поэтому Шестериков, чуть отползя назад, попробовал его подтянуть к себе за ноги. Так не получалось: бурки сползали с ног, а бекеша задиралась. Он решил по-другому: толкая генерала плечом и лбом, развернул его головою от Перемерок и, на все уже плюнув, привстав на колени, потащил за меховой воротник. Протащив метров пять, вернулся за автоматом — его приходилось оставлять, уж больно мешал. И, произведя выстрел с колена, в снег уже не ложась, поспешил назад к генералу — сделать очередной ползок.

Меж тем в Перемерках начались какие-то иные шевеления — огонь вдруг зачастил, крики усилились, и Шестериков это так понял, что к тем, замерзающим, прибыли на подмогу другие, отогревшиеся. Уже не тридцать автоматов, а, пожалуй, сто чесали без продыху, и все пули, конечно, летели в Шестерикова. Это уже потом он узнал, что Свиридов, обеспокоенный слишком долгим путешествием генерала, сунул наконец глаза в карту и, с ужасом поняв, в какую ловушку пригласил он дорогого гостя, выслал роту — прочесать эти Перемерки и без командующего, живого или мертвого, не возвращаться. И, покуда та рота вела бой на улицах села, Шестериков ей помогал как мог и как понимал свою

задачу: оттаскивал генерала, сколько сил было, подальше прочь. Стрелять ему уже и смысла не было, за своим огнем немцы бы не расслышали его ответный, а вспышки его бы только демаскировали.

Когда пальба в Перемерках поутихла, они с генералом были уже далеко в поле, и поземкой замело их широкий след, а там и овражек неглубокий попался, куда можно было стащить умирающего и хоть перевязать наконец. Расстегнув бекешу с залитой кровью подкладкой, Шестериков увидал, прощупал, что вся гимнастерка на животе измокла в черном и липком. Из одной дырки, рассудил он, столько натечь не могло, и не найти ее было. Задрав гимнастерку и перекатывая генерала с боку на бок, Шестериков намотал ему вокруг туловища весь свой индивидуальный пакет да потуже затянул ремень. Вот все, что мог он сделать. Затем, передохнув, опять потащил генерала — по дну овражка, теперь уже метров за полста перенося и вещмешок свой, и маузер, и автомат, и вновь возвращаясь за раненым. Генерал уже не хрипел и не булькал, а постанывал изредка и совсем тихо, будто погрузившись в глубокий сон.

Еще до света слышно стало какое-то движение наверху, за гребнем овражка: рокот автомобильных моторов, скрип тележных колес, голоса — не ясно чьи. Шестериков с одним маузером отправился ползком на разведку. Оказалось, овражек проходит под мостком, а по мостку идет дорога. Еще не добравшись до нее, он замлел от радости, расслышав несомненную перекати-твою-мать, бесконечно знакомый ему признак отступления. А куда же отступать могли, как не на Москву, ведь Москва — рукой подать, к ней и движется вся масса людей, машин, повозок. Он не знал, что то было следствием удара 9-й немецкой армии, точнее — впечатлением от этого удара, опрокинувшим все надежды, что врага остановят подвиги панфиловцев и ополченцев и противотанковые рвы, отрытые женщинами столицы и пригородов. Впечатление, по-видимому, было внушительное: грузовики, переполненные людьми, неслись на четвертых, на пятых скоростях, сигналя безостановочно, от них в страхе шарахались к обочинам повозки, тоже не пустые, нещадно хлестали ездовые загоняемых насмерть лошадей, но, как ни удивительно, а не сказать было, чтоб так уж сильно отставали пешие — кто с оружием, кто без, но все с безумными, как водкой налитыми, глазами. Вся эта лавина — с ревами, криками, храпением, пальбой — текла по дороге, как ползет перекипевшая каша из котла, у Шестерикова даже в глазах зарябило.

Но явилась надежда.

Быстренько он вернулся к генералу и, выбиваясь из сил,

подтащил его поближе к мостку, чтоб на виду лежал; не могло же быть, чтоб не кинулись помочь, да хоть разузнать, в чем дело, почему тут генерал. Никто, однако, не кинулся, да едва ли и замечал постороннее.

Вдруг увидал он — милиционера, одиноко ссутулившегося на обочине, обыкновенного подмосковного регулировщика, в синей шинельке и в фуражке поверх суконного шлема, смотревшего на происходящее уныло, но без испуга, опустив руку с жезлом. Шестериков кинулся к нему с мольбою:

— Милый человек, останови ты мне машину какую или же повозку…

Милиционер только покосился на него и зябко передернулся.

— Мне ж не для себя, — объяснил Шестериков. — Мне для генерала. Вон он, можешь поглядеть, раненый лежит, сознание потерял.

— Чем я тебе остановлю? — спросил милиционер, не поглядев.

— Как то есть «чем»? Вон у тебя палка руководящая да пистолет. Шестериков забыл в эту минуту, что и у него маузер, а в овражке остался еще автомат. — Погрози, погрози им — неуж не остановятся?

— Ты это… — сказал милиционер. — Пушку свою спрячь. И не махай.

И он показал глазами на то, чего Шестериков не заметил впопыхах, — на человека, лежавшего шагах в пяти от него, на той же обочине, в шинели с лейтенантскими петлицами. Он лежал вниз лицом, откинув голую, без рукавицы, руку с пистолетом, рядом валялась окровавленная ушанка.

— Все грозился, — поведал милиционер. — Возражал очень: «Подлецы, понимаешь, трусы, Москву предали, Россию предали!» А они ему с грузовика очередь. Теперь, видишь, смирно лежит, не возражает.

— Что ж делать? — спросил Шестериков жалобно. И повторил свой довод: Кабы я для себя, а то ведь генералу…

— Он что, — милиционер покосился наконец, — живой еще?

Шестериков не уверен был, но тем горячее воскликнул:

— Дак в том-то и дело, что живой! Довезти б до госпиталя побыстрее…

Милиционер то ли задумался глубоко, то ли от безысходности примолк; его лицо, обветренное и от мороза багровое, движения мысли не выражало.

— А может, вдвоем попытаемся? — спросил Шестериков с надеждой, вспомнив наконец и про свой автомат. — Шарахнем по кабинке, а? Только заляжем сперва. Не очень-то нас это…

очередью.

— Это не метод, — сказал милиционер. Похоже, он это время все же потратил на раздумья. — Тут бы сорокапятку выкатить. Со щитком. Да по радиатору врезать! Сразу несколько тормознут. А так их, очередями, не вразумишь.

— Сорокапятка — это вещь, — сказал Шестериков, вспомнив некоторые моменты из собственного опыта. — Да где ж ее взять!

Милиционер еще подумал и развернулся всем корпусом к Москве.

— Ты вот что, — посоветовал он, — сбегай-ка, тут, метров двести, за поворотом, зенитная позиция. Они против танков стоят, но, может, для генерала один снаряд пожертвуют.

Перед тем, как сбегать туда, Шестериков вернулся к генералу — проведать — и ужаснулся новому удару судьбы. Всего на минутку оставил он генерала, но кто-то успел стащить с его головы папаху, а с ног — бурки, прекрасные, валянные из белой шерсти, с кожаной рыжей колодкой. Кто был этот необыкновенный, неукротимой энергии человек, кто и в смертельной панике ухитрился ограбить лежащего, да у всех на виду? И ведь не за мертвого же принял, видел же, что дышит еще!

Уши и ступни генерала уже побелели, и нечем их было укрыть. Шестериков развязал вещмешок, без колебаний вытряхнул из него кое-какие инструменты, курево, спички, мыло, моток ниток с иголкой и пару грязного белья. Это белье он подложил генералу под голову, прикрыв уши, а мешок напялил ему на ноги и затянул шнуром.

— Облегчили? — спросил, подойдя, милиционер. Он покачал головой и заметил мрачно: — А не умерла Россия-матушка, не-ет!

— Милый человек! — взмолился Шестериков. — Ты постереги тут, чтоб его хоть из бекеши не вытряхнули. Тогда уже пиши похоронку. — И так как он привык вознаграждать человека за труды, то подумал, что бы такое предложить милиционеру. Из содержимого вещмешка ничего, как видно, того не заинтересовало. — Тебе жрать охота?

— А кому не охота? — откликнулся милиционер угрюмо.

Шестериков, опять не колеблясь, достал из-за пазухи свою горбушку и, только малый краешек отломив, подал ее стражу. Тот ее принял, не благодаря, и это Шестерикову даже понравилось.

— Только ты недолго, — сказал милиционер. — Всем, знаешь, драпать пора…

…Зенитчиков оказалось двое: один — совсем молоденький и, как видно, не обстрелянный, весь в мыслях о предстоящем испытании, другой — постарше и поспокойнее, с рыжими гренадерскими усами. Шестериков спросил, кто у них за

командира, — по петлицам оба были рядовые.

— А нам командира не надо, — сказал тот, кто постарше, выуживая ложкой из консервной банки мясную какую-то еду. — Чего нам тут корректировать? — Он кивнул на зенитку, стоявшую стволом горизонтально — к повороту, из-за которого все ползла человеческая лава. — Как покажется коробочка — шарахай ее в башню и в бога мать. И спасайся как успеешь.

Банка у них, видать, одна была на двоих, и молодой внимательно следил, не переступил ли старший за середину. Старший ему время от времени ложкой же и показывал — нет еще, не переступил.

— Чего ж вам-то спасаться, — подольстился Шестериков, стараясь на еду не смотреть. — Вон вы какая сила!

— А это еще неизвестно, — сказал кто постарше, — станина выдержит или нет. Мы из нее по горизонтали не стреляли ни разу.

Просьбу Шестерикова они выслушали с пониманием и отказали наотрез.

— Ты погляди, — сказал молодой, — много ли у нас снарядов.

Снарядный ящик, из тонких планок, как для огурцов или яблок, стоял на снегу подле зенитки, и в нем, поблескивая латунью и медью, серыми рылами головок, лежало всего четыре снаряда.

— Только по танкам, — пояснил старший, — даже по самолету нельзя. Иначе трибунал.

— Братцы, — сказал Шестериков, — но тут же случай какой. За генерала простят.

Они пожали плечами, переглянулись и не ответили. Но старший все же подумал и предложил:

— А вот к генералу и обратись. К нашему генералу. Его приказ — может, он и отменит. В виде исключения.

— Вообще-то навряд, — сказал молодой. — Генерал, он больше всего танков боится. Но уж раз такой случай…

— А где он, ваш генерал?

Старший не повернулся, а молодой охотно привстал и показал пальцем.

— А во-он, церквушку на горушке видишь? Там он должен быть. Километров пять дотуда. Может, поменьше.

Шестериков поглядел с тоской на далекий крест, едва-едва черневший в туманной мгле морозного утра. Глаза у него слезились от студеного ветра, и никаких людей он близ той колоколенки не увидел.

— Что вы, братцы, — сказал он печально, — да разве ж до

вашего генерала когда досягнешь? — Он имел в виду и расстояние, и чин. — Да и есть ли он там? Может, его и нету…

— Где ж ему быть? — сказал молодой неуверенно. — Место высокое, удобное для «энпэ». Оттуда, считай, верст за тридцать видимо.

— Дак если видимо, — возразил Шестериков, — у него сейчас одна думка: скорей в машину и драпать. Они-то первые и драпают.

Так говорил ему полугодовой опыт, и зенитчики не возражали, а только переглянулись — с ясно читавшимся на их лицах вопросом: «А не пора ли и нам?»

Шестериков еще постоял около них, слабо надеясь, что зенитчики переменят свое решение, и поплелся обратно, к своему генералу. В этот час он был единственный, кто двигался в сторону от Москвы.

2

Между тем генерал, о котором говорили зенитчики и от кого исходил приказ — не тратить снаряды, под страхом трибунала, на какую цель, кроме танков, — находился в ограде той церкви и меньше всего собирался сесть в машину и драпать, хотя со своей высоты действительно видел все. При нем, впрочем, и не было машины, он сюда поднялся пешком. Три лошади, привязанные к прутьям ограды, предназначались адъютанту и связным, но стояли надолго забытые, понуро смежив глаза, превратясь в заиндевевшие статуи.

Со стороны показалось бы, что генерал в этот час был, что называется, на выходе — как бывает выход короля к своим приближенным, чтоб и на них поглядеть, и себя показать, как и у любого командира есть эта обязанность время от времени являться на люди — для одних тягостная, для других не лишенная приятности. Этот генерал, по-видимому, относился ко вторым, да и окружавшие не сводили с него преданных и умиленных глаз. Он резко выделялся среди них — прежде всего ростом, не уменьшенным, а даже подчеркнутым легкой сутулостью, в особенности же выделялся своим замечательным мужским лицом, которое, быть может, несколько портили — а может быть, именно и делали его тяжелые очки с толстыми линзами. Прекрасна, мужественно-аскетична была впалость щек, при угловатости сильного подбородка, поражали высокий лоб и сумрачно-строгий взгляд сквозь линзы, рот был велик, но при молчании крепко сжат и собран, все лицо было трудное, отчасти

страдальческое, но производившее впечатление сильного ума и воли.

Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно, и разве что наблюдатель особенно хваткий, с долгим житейским опытом, разглядел бы в нем ускользающую от других обманчивость.

Он прохаживался среди своих спутников, не суетясь, крупно ступая и сцепив за спиною длинные руки; от всей его фигуры в белом тулупе, перетянутом ремнем и портупеями, исходили спокойствие и уверенность, которых вовсе не было в его душе. Зенитчики ошибались: никакого НП здесь не было, не высверкивали из окон звонницы окуляры стереотрубы, которые могли бы только привлечь немецких артиллеристов, а ясности не прибавили бы. И что привело сюда генерала, он и себе не мог бы признаться. Скорей всего страх, рожденный непониманием происходящего, который еще усиливался в закрытом пространстве.

Ему вдруг невыносимо тесно стало в теплой избе, с телефонами, картами, столами и жесткой койкой за занавеской, тесно и в закрытой кабине «эмки», захотелось на простор, пройтись пешком, подняться хоть на какую-то высоту, хоть что-то понять и решить.

Несколько дней назад его, вместе с шестью другими командармами, вызвал к себе командующий Западным фронтом Жуков и, как всегда, мрачно, отрывисто и с неопределенной угрозой в голосе объявил, что, если хотя бы одной армии удастся продвинуться хоть на два километра, задача остальных шести немедленно ее поддержать, любой ценой, всеми наличными силами расширяя и углубляя прорыв. Семеро командармов приняли это к сведению, не делая никаких заверений, но, верно, каждый спросил себя: «Почему бы не я?» Про себя генерал знал точно, себе он сказал: «Именно я».

И вот, не далее как вчера, он попытался это сделать — силами двух дивизий — и попал немедленно в клещи вместе со своим штабом. Он испытал страх пленения, который и сейчас не утих, то и дело вспоминался с содроганием в душе, заодно и с чувством неловкости и стыда — оттого, что был вынужден по радио, открытым текстом, приказать всем другим своим частям идти к нему на выручку. Он успел унести ноги, он вырвался без больших потерь, но что-то говорило ему, что немцы и не могли бы создать достаточно плотные фронты окружения — внутренний и внешний, и, может быть, зря он поторопился наступление прекратить. Может быть, следовало идти и идти вперед?

Против этого как будто говорила вся эта паника на

Рогачевском шоссе, которую он видел отсюда: замыкая клещи вокруг него, немцы произвели внушительное впечатление и на его соседей. Однако он знал: эта паника могла возникнуть и от одного-единственного танка, появившегося, откуда его не ждали, к тому же еще заблудившегося. Наибольшего эффекта, и весьма часто, достигают именно заблудившиеся. В августе под Киевом он был свидетелем, как три батальона покинули позиции, не вынеся адского грохота и треска, доносившихся из ближнего леса, — как выяснилось, это несчастный итальянец-берсальер, сам обезумевший от страха, метался меж деревьев на мотоцикле… Все было возможно при той конфигурации фронта, какая сейчас сложилась к западу от Москвы, точнее — при отсутствии какой-либо конфигурации, когда противники не знают, кто кого в данный момент окружает. Так все-таки — зря он поспешил или не зря?

В эти его размышления ворвался громкий и возмущенный спор его спутников, осуждавших панику с негодованием людей, смотрящих на чей-то страх со стороны. Следует, доказывал один, послать туда роту автоматчиков и кой-кого из этой сволочи перестрелять, тогда остальные опомнятся. Другой же говорил, что, напротив, все эти люди, потерявшие своих командиров, ничейный резерв, который не худо бы присоединить к себе.

Генерал выслушал оба довода и сказал, легко перекрывая — и закрывая этот спор своим звучным, глубоким, рокочущим басом:

— Когда русский Иван наступает — спиной к ненавистному врагу, — у него на пути не становись. Сомнет!..

Он это сказал отчасти с восхищением, усластив последнее слово таким сложно-витиеватым добавлением, какие уже создали ему славу любимца солдат, первого в армии матерщинника. Спутники охотно смеялись, но сам он не рассмеялся, он удивился своему же неожиданному решению.

Еще не зная, прикажет ли он сегодня продолжать наступление, он уже четко себе уяснил, что против бегущих не выставит ни одного автоматчика, не истратит ни одного патрона. Лучше пропустить их мимо себя, а двинуться вдоль шоссе целиною. Есть даже некий оперативный смысл, своя изюминка — чтоб не было остановки в этом паническом бегстве.

— Что Иван опомнится и упрется, этого немец ожидает, — произнес он вслух. — А вот чего он не ожидает — кулака в рыло!

И это было первое правильное его решение.

Но пошла неожиданно метель, снег западал полого и так густо, что стало не видно лошадей у ограды, и он даже обрадовался поводу еще потянуть с приказом. Никогда еще в его

военной жизни не было такой кромешной неясности. Никаких разведданных о противнике, кроме самых общих, к тому же устаревающих с каждым часом; рассчитывать он мог лишь на интуицию, которую за собою признавал, на везение, ну и на смелость, наконец, о которой кто-то из Мольтке, старший или младший, а может быть, и Клаузевиц, высказался неглупо: «Помимо учета сил, времени и пространства, нужно же несколько процентов накинуть и на нее».

Он приказал, чтоб ему развернули карту. Поставив ногу на ступеньку паперти, он положил карту себе на колено и, сняв перчатку, огромной, костистой и красной от мороза кистью стряхивал с нее налетавший снег. Двое его спутников держали углы. Кажется, и они понимали, что он только тянет время, никаких подробностей карта ему не могла открыть, а то общее, что сложилось сейчас под Москвою, он видел и так. С севера, от Калинина, протянулась хищная, раздвоенная крабья клешня — танки Рейнгардта и Геппнера; с юга, от Тулы, нацеливалась другая клешня, еще того зловещее — танки Гудериана, и не могло быть решения безграмотнее, безумнее, чем ринуться в разинутый зев этих, готовых сомкнуться, клещей. Но — если б хоть иногда не выручало нас безумие, и только трезвый расчет был бы нашим единственным поводырем, жизнь была бы слишком скучна, чтоб стоило ее начинать. Было нечто, рассеянное в воздухе, не подтверждаемое, казалось бы, никакими объективными признаками и все же профессионалами угадываемое безошибочно, нечто, обещающее перелом, как обещает весну запах февральского снега. В жизни генерала, совсем недавней, три месяца назад, было и худшее, чем сейчас: когда пришлось свою армию, которой он командовал тогда, и остатки чужих разгромленных армий вытягивать из киевского «котла». Каким обещанием пахло тогда, что рассеяно было в воздухе? Нарастающее гудение земли, ревы сотен моторов, дымом застланный горизонт — все это вместе называлось «Гудериан» и появлялось, откуда меньше всего ждалось. Право же, появись оно вдруг из этой метели, он бы это не посчитал за чудо. Скорее чудом было, что удалось тогда вырваться, избегнуть стальной хватки клещей. Но ведь удалось же! Было везение, но было и умение не упустить его. Что ж, всего только и нужно сейчас — повторить чудо. И пришла робкая мысль — что еще какое-то событие должно случиться сегодня, какое-то знамение будет ему подано, обещающее удачу. Только бы — не упустить…

Он давно уже смотрел поверх карты, на выщербленные малиновые кирпичи притвора, на ржавые двери с тяжелым амбарным замком, на затертую, еле различимую вратную икону.

Вот что его тревожило: если все-таки продолжать наступление, он должен будет пройти правым своим флангом мимо северной клешни, подставить бок, а затем и тыл под танки Рейнгардта. Сейчас в восьми километрах отсюда шел бой за малую деревеньку Белый Раст, несколько дней назад отданную немцам. Два батальона моряков шли на смерть, чтоб только узналось — двинет Рейнгардт свои танки или примирится с потерей. Без этого, решил генерал, нельзя начинать.

В одиннадцать утра вынырнул из метели всадник, делегат связи, и доложил: Белый Раст взят, танки Рейнгардт не двинул.

Генерал не спешил что-либо сказать на это. Потому что известие ровно ничего не значило или почти ничего, он это понял в ту же минуту, как услышал. Больше хлопот доставляет противник, когда чего-то не делает, что, казалось бы, должен сделать, чем когда он действует — и можно оценить его действия и предсказать следующие. Не примирился, но и не двинул — потому ли, что не смог? Или какой-то иной был у него расчет, и отдать этот Белый Раст даже входило в его планы?

Делегат связи ждал, свесясь с седла и отогнув ухо на ушанке.

— Узнай-ка, — сказал генерал, — чей престол у этой церкви.

Лицо делегата не выразило удивления — но лишь оттого, что залубенело на ветру.

— Вопрос понятен?

Делегат вопрос повторил, но спросил, в свой черед, где это можно узнать.

— Об этом у начальства не спрашивают.

— Виноват, товарищ командующий. У кого прикажете узнать?

Генерал, одним краем рта, усмехнулся этой армейской хитрости.

— У любой бабки в деревне, на тридцать верст окрест. И можешь не проверять.

Делегат, взмахнув валенками, дал стремя коню и исчез в метели. Покуда он не вернулся, ни о чем существенном не было сказано ни слова, как будто ждали известия самого важного и главного.

— Узнал, товарищ командующий. И не у бабки, а у самого отца Василия в Лобне. Полагаю, оно надежнее.

— Так чей же престол? — спросил генерал нетерпеливо.

— Мученика Андрея Стратилата.

— И с ним?

Делегат связи смотрел отупело и медленно багровел.

— Одного Стратилата он тебе назвал? А сколько же было вместе с ним убиенных?

— Виноват, вот число запамятовал.

— Две тысячи пятьсот девяносто три?

— Точно!

Все посмотрели на окаменевшее лицо генерала, непроницаемо поблескивавшее очками.

— Это имеет какое-нибудь значение? — спросил, улыбаясь, начальник артиллерии, низкорослый и толстенький, но ужасно воинственный в своих скрипучих ремнях, с «парабеллумом», оттягивающим пояс, и с биноклем на груди. Фамилия у него была — Герман. Многие начальники артиллерии любят носить фамилию Герман.

— Значения никакого, — ответил генерал. — Кроме того, что это мой святой. И моего отца тоже.

— А Стратилат — это что значит? — спросил начарт. — Фамилия?

— Ты, конечно, безбожие исповедуешь? — генерал на него покосился насмешливо-добродушно. — Ну, а я, грешным делом, немножко верую. Теперь же это не возбраняется? — и, широко, даже несколько театрально, себя перекрестив замерзшей огромной кистью, сложенной в троеперстие, ответил на вопрос начарта: — Стратилат значит полководец, стратег.

— О, тогда это имеет значение. И очень большое. Разрешите поздравить?

— С чем же? Ведь мученик.

— Э! — сказал начарт. — А мы не мученики?

Начарт не знал, но генерал знал страшную историю Андрея Стратилата, преданного и убитого, со своим отрядом, теми, для кого он добывал свои победы. Предзнаменование было скорее ужасное по смыслу. «Значит, буду ранен», — решил генерал, но, не слишком устрашась будущей боли, понял, что этим лишь хотел бы отодвинуть худшее. Но ведь прежде, подумал он, Стратилат одерживал победы, а уж потом был предан и убит. В конце концов, может быть, это и справедливо, за чудеса приходится платить. Он спрашивал себя, готов ли он принести эту плату, но широкие его губы, деревенеющие от мороза, произнесли другое:

— Хотелось бы мне знать, что сейчас делается в башке у этого Рейнгардта!

Делегат связи, точно вопрос относился к нему, виновато развел руками. Начарт поднял глаза к небу.

3

А быть может, в эту минуту мрачный Рейнгардт, одетый в русскую безрукавку, горбился перед низким окошком избы, складывая и перемножая тридцать пять градусов мороза с тридцатью пятью километрами, оставшимися ему до московского Кремля. Он не потому не двинул свои танки, что потеря Белого Раста ничего для него не значила — так не бывает, когда уже в бинокль видишь само окончание войны, а потому, что был связан с южной клешнею планом одновременного охвата Москвы. Оси наступлений пересекались на Садовом ее кольце: где-нибудь на Таганке, или на Самотеке, или на бывшей Триумфальной, теперь — Маяковского, танкисты Рейнгардта и Геппнера должны были пожать руки танкистам Гудериана и тем завершить наконец столь затянувшийся блицкриг. Так было задумано — и так было близко!

Однако Рейнгардт знал: к этому дню движение немецких армий на всех фронтах приостановилось, и только Гудериан еще каким-то чудом двигался. 3-го декабря он перерезал железную дорогу Тула — Москва и шоссе Тула — Серпухов, осталось развязаться с самой Тулой. «Тула — любой ценой!» — сказано было фюрером, но, видимо, было не в натуре «капризного Гейнца» исполнять чьи бы то ни было предписания «любой ценой», было против его правил и всей его науки растратить свои танки в бесплодном ударе в лоб: за Тулу с ее оружейными заводами русские были готовы заплатить каким угодно количеством жертв. Их бронебойщики и бутылкометатели умирали так охотно, точно бы смерть была для них единственной целью в жизни. И, насколько Рейнгардт мог понять, Гудериан не сделал того, чего хотели бы от него и фюрер, и русские, он только дал своим танкам ввязаться в бой, дал русским послушать рев двухсот моторов, но встретились они — с его пехотными, конными и мотоциклетными частями, а танки он высвободил, как только он один умел, и длинным изогнутым рейдом обошел Тулу с востока. Она оказалась в мешке, и мешок этот все растягивался, и, кажется, Рейнгардт уже постигал своевольный замысел Гудериана: не Тула ему была нужна, а — Каширa. О, разумеется, Кашира, это чуть не вдвое ближе к Москве! При обстоятельствах чудесных, какие умел создавать или использовать «Быстроходный Гейнц», это мог быть один переход к окраинам русской столицы, один боекомплект, одна заправка баков, один суточный рацион экипажам. В любой час могла прийти весть о взятии Каширы, и это было бы сигналом Рейнгардту — начать и ему последний

бросок. И вот этого часа Рейнгардт ожидал с ужасом.

Его танки, не двигаясь с места, жгли ночами безостановочно последнее горючее, иначе б к утру не завелись моторы. В рубашки охлаждения вместо незамерзающего глизантина залита была вода — через час-другой остановленные моторы можно было считать погибшими. А еще потому нерассчитанно много потрачено было горючего, что давно стерлись шипы на траках гусениц, и буксование по гололеду стоило двойного, тройного расхода. Несколько дней назад на станцию Калинин пришел эшелон, груженный «особо ценным грузом». Не разбитый русской авиацией, не подорванный партизанами, он привез — вместо горючего, вместо глизантина, вместо новых гусеничных траков, вместо снарядов — отесанные плиты красного финского гранита: на памятник Адольфу Гитлеру в центре поверженной Москвы…[7] Так пожелать ли удачи Гейнцу или лучше бы о ней не услышать?

Впрочем, неизвестно, был ли бы Рейнгардт более мрачен или даже обрадован, если бы знал истину. В тот самый день, когда генерал Кобрисов, выслушав невеселый доклад комдива Свиридова, сказал ему: «Ты знаешь, мне твоя оборона нравится», — и, прихватив с собою Шестерикова, так легкомысленно отправился в гости на французский коньяк, в этот самый день да не в этот ли сумеречный час? — за двести километров к югу, за Тулой, накренясь на обледенелом склоне и также лишенный шипов, неудержимо сползал в овраг командирский танк Гудериана. Взвихренным снегом застлало смотровые щели, и долгое скольжение вниз в белой слепоте было мучительным, как тошнота. Еще тягостней, унизительней стало на душе Гудериана, когда танк наконец остановился — на самом дне. Ни словом не попрекнув водителя прусская традиция предписывала адресовать свое раздражение только вышестоящему, никогда не вниз! — он вылез через башенный люк и побрел по сугробам, ища, где бы выбраться. Танк, с задранной пушкой, медленно полз за ним.

А всего только час назад он был на позициях егерей своего 43-го армейского корпуса и возвращался оттуда обнадеженный, в душе его что-то пело, душа была тронута едва не до слез, но для записи в дневнике отстаивалось суровое, торжественное, римское: «Солдаты узнавали меня и приветствовали радостными возгласами».

Так оно и было. Этот его танк, выкрашенный белилами, лишь с желтыми крестами и черными именными литерами «О» на бортах, с качающимся над башней хлыстом антенны, так же медленно полз по дну неглубокой лощины — быть может, руслом вымерзшего ручья, — и с обеих сторон с пологих склонов

сбегались, сходились к нему солдаты. Стоя по пояс в люке, он оглядывал их лица, поднятые к нему с надеждой и вопросом, сам при этом немалым усилием сохраняя лицо таким, какое они привыкли видеть в лучшие дни, — крепкое лицо еще моложавого озорника, лукавое, но неизменно приветливое. А между тем он замечал и нечто кроме их лиц — грязных, заросших щетиной, тронутых обморожением, с конъюнктивитными красными глазами, — он видел разбросанные вокруг заметенные холмики, выглядывавшие из-под снега подбородки и носки сапог, иной раз ногу, согнутую в колене, скрюченные пальцы, засыпанные снегом глазницы. Случилось предельное и, наверно, необратимое: германцы перестали хоронить своих покойников! Их только оттаскивали от траншей сюда, в эту лощину. Он ехал и топтал гусеницами кладбище!

Но, кажется, живые были все-таки рады ему, он слышал возгласы, какие и хотелось ему услышать:

— Старик пожаловал…

— Молодчина, выглядит, как всегда…

— А может, не так все и плохо?..

— Сейчас он скажет… Кто же, если не он?

— Гейнц, не скрывай от нас ничего!

Они перестали верить своим офицерам, они верили только ему. Это был его батальон, в котором давным-давно, еще лейтенантом, он командовал ротой; здесь по традиции хранились его пилотка и пистолет, и он был произведен в «почетные солдаты»; здесь каждый день в его роте выкликал на поверках фельдфебель: «Гудериан Гейнц!» — и так же зычно откликался правофланговый: «Отсутствует по уважительной причине: командует нашей Второй танковой армией!» Эти егеря и он считались «Kriegskameraden»[8], и значит, они могли обращаться к нему на «ты» и спрашивать о чем угодно. Но, Боже, что сделалось с его батальоном! Это невозможно было признать за войско! Только редкие в полной форме — то есть в кургузых шинелишках, в каменных сапогах, уши прикрыты вязаными подшлемниками, большинство же — в пилотках, завернутых на щеки, или в русской драной ушанке, или обмотанные бабьим платком, в крестьянских тулупах или в женских шубках, кто в валенках, кто в резиновых галошах, набитых тряпьем и бумагой, кто даже в лаптях с онучами… Грязные, мучимые вшами, греющие руки под мышками, припрыгивающие с ноги на ногу, в глазах что-то собачье, слезливое, молящее, — так выглядели герои Польского похода, боев на Маасе и при Дюнкерке, победители Бреста, Смоленска, Орла!

Он приказал водителю остановиться, сорвал с головы шлем с

очками-«консервами» и черными капсулами ларингофона, стянул подбитые мехом перчатки, положил руки на обжигающую броню. Он знал, как говорить с солдатами, но нужно было, хотя бы отчасти, почувствовать то же, что и они.

Голос прежнего Гудериана разлетелся над ними, превратившимися в смердящий сброд:

— Солдаты! Я старался вести вас дорогой побед, и вы мне дарили эти победы. Я счастлив, что командую вами! Выше головы, нам есть чем гордиться. Бывало нам и пожарче, чем в этих русских снегах, ведь правда? Но ни про одну нашу победу никто никогда не мог бы сказать: «Им повезло». А вот вашему противнику, — он протянул руку туда, где находились не видимые ему позиции русских, — ему просто везет сейчас, везет отчаянно. Но это не значит, что счастье покинуло нас навсегда. Еще три дня — и все переменится, только нужно сделать одно, последнее усилие. Но, солдаты… Генерал может потребовать от вас лишь того, что возможно, что в пределах человеческих сил, о невозможном он вправе только просить. Вы измучены, вы заслужили отдых, и я обязан вас отвести в тыл. Но я не могу этого, мне сейчас некем вас заменить. И вот ваш старый Гейнц просит вас…

Он оглядел всю толпу и ничего не прочел на их лицах, задубевших от мороза, тупых, не способных выразить ни страха, ни уныния, ни даже покорной готовности умереть.

— …просит вас, — повторил он, прижав руку к груди, — покуда ваши товарищи наступают на другом участке, еще на три дня остаться в окопах. Подумайте хорошенько: быть может, кто-то из вас не доживет до четвертого дня. И любого, кто не захочет остаться, я отпущу. У меня язык не повернется упрекнуть его. Это все, солдаты.

Он слушал их молчание, вполне сознавая, что только оно и могло быть ответом на его призыв к последнему усилию. Мороз сжигал ему щеки и уши, леденящий ветер шевелил волосы и стягивал кожу на голове. Ему стоило усилий не вздрогнуть, не поежиться под меховым комбинезоном.

Но какое-то движение произошло в толпе, чуткое его ухо расслышало некую перемену. И вот чей-то хриплый голос произнес то, чего так напряженно он ждал:

— Какие могут быть разговоры, Гейнц. Конечно… Мы останемся.

Как будто общий вздох облегчения прошел по толпе, она смыкалась теснее вокруг его танка, и, сдавленные, вибрирующие от холода, их голоса звучали для него слаще любой музыки:

— Раз ты просишь, Гейнц, значит надо… Правда же, все, как

один, останемся?

— Ты мог бы и не просить, а потребовать. Ты же немец, ты знаешь святое слово «verboten»[9].

— Мы постараемся, Гейнц! Мы выбьем русских из их позиций!

— Я этого не прошу, — отвечал он, почти никого не видя, чувствуя в горле запирающий комок. — Только в своих окопах. И только на три дня. За это время придет пополнение, прибудут снаряды, горючее, вы наденете зимнее обмундирование. И отдохнете в тепле.

— Не слишком ли много обещаешь, Гейнц?

Это послышалось сзади, и он обернулся — резко и гневно. Некто маленький, чернобородый и носатый, похожий на итальянца, закутанный поверх шинели в рваное одеяло, — сердито хмурясь, зажав автомат под мышкой, простирал руки к створкам жалюзи, откуда веяло теплом двигателя.

Гудериан, рассмеявшись, сверкая зубами, показал на него рукою.

— Этому уже ничего не надо. Согрелся у моей задницы.

Тот, вздрогнув, убрал руки, смутился, но все уже смотрели на него с чем-то похожим на улыбки, и он тоже попытался улыбнуться.

— Как тебя зовут? — спросил Гудериан.

— Рядовой Вебер, господин генерал-полковник.

— Господин Вебер, зачем такие строгости? Меня зовут Гейнц. А тебя?

— Ну, Фридрих… Фридрих Вебер.

— Что ты говоришь! Неужели — Фриц?

Тот, еще больше смутясь, согнав улыбку, спросил с обидой:

— Не понимаю, что тут смешного?

— Ничего. Мой отец был Фриц. И мой брат — Фриц. Я смеюсь над тем, как тебя называют русские: «мороженый Фриц». По их понятиям, ты уже не вояка. Что скажешь на это?

И этот коротышка, такой с виду тщедушный — но, видно, из тех, кто показывает характер и в бою, и в постели, — вдруг закричал, трясясь от ярости, подняв руку со скрюченными пальцами, никак не сжимавшимися в кулак:

— Прикажи атаковать, Гейнц!

— Ну-ну, успокойся…

— Ты увидишь сегодня «мороженого Фрица»! Десять русских покойников, тепленьких, я тебе обещаю!..

Нет, это все-таки было войско. Тевтонский дух под ровными рядами глубоких касок, под штандартами на парадном плацу, в гулком шаге марширующих легионов — это чересчур просто!..

Они этот дух явили — за пределом отчаяния, вмерзая в сугробы рядом с мертвецами; они уже с мыслью простились когда-нибудь вернуться к жизни, но при первом же к ним призыве встрепенулись, воспрянули, как боевые кони при пении горна, и вот уже шли гурьбою за его танком и требовали, потрясая оружием:

— Поведи нас хоть сейчас, Гейнц!

— Мы согреемся в атаке!

— Помнишь, как было под Дюнкерком?

— А как форсировали Березину? То ли еще было!

…Что сказали б они сейчас, увидя, как он бредет по дну бесконечного оврага, указывая водителю, где положе, и уже заранее зная, что опять ничего не выйдет! Белый танк они бы, пожалуй, не разглядели в темноте, а лишь его самого в черном комбинезоне, кому-то куда-то указывающего рукой, — зрелище, наверно, диковинное, но и жалкое; тот, «мороженый», хорошо бы посмеялся в отместку.

Оставив все попытки, он забрался в танк и приказал выключить двигатель, а люк держать открытым, чтобы не упустить какой-нибудь случайной машины. Он не решался радировать о своем несчастье, десятки слухачей услышали бы его просьбу, которую нельзя было даже зашифровать, и, разумеется, разнесли бы по всему фронту. Скорчась в остывающей стальной коробке, боясь задремать и время от времени взбадривая экипаж, он все возвращался к тем егерям и думал о том, что солдатское обещание, которое он вырвал сегодня — нет, выманил! из их обмерзающих уст, его самого повязало путами и давит на него убийственной тяжестью. Генерал, повелевая солдату умереть, по крайней мере не обманывает его. Но он трижды убийца, когда обещает победу, в которую сам не верит.

Близко к полуночи случайная машина связи подобрала их и доставила в штаб 2-ой танковой армии, расположившийся в Ясной Поляне, имении Толстого. Белые башни ворот — как и впервые, когда он в них въезжал, — показались ему бастионами, которые всякий раз приходится брать заново, и, поднимаясь к усадьбе аллеей могучих лип, он чувствовал, что поднимается к самому значительному за всю его жизнь решению.

Адъютант и офицеры штаба, ждавшие его с докладами, помогли ему стащить комбинезон, и он поужинал с ними за семейным столом Толстых, отогреваясь коньяком и рассказывая со смехом о происшествии в овраге. Он знал, что об этом будут рассказывать в армии его словами и подражая его интонации. С тем он отпустил их спать, попросив, чтоб они, не зовя денщиков, убрали со стола и заменили все четыре свечи в подсвечнике.

Кроме того, он заказал связь с командующим группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалом фон Боком — как только представится возможным.

Несколько минут он просидел неподвижно, прислушиваясь к шорохам, скрипам и жалобным вздохам старого дома, к вою метели и окрикам патрулей, проникавшим сквозь плотные светомаскировочные шторы, затем встал, подошел к стенному зеркалу в потресканной овальной раме орехового дерева. Зеркало, в которое, наверное, любили смотреться дочери Толстого, отразило сухощавую, но и достаточно плотную фигуру 53-летнего генерал-полковника германских бронетанковых войск, в сером мундире с черным плюшевым воротником, с Рыцарским крестом на шее и особо ценимой наградой — дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, начавшее стареть мальчишеское лицо с серо-голубыми глазами и небольшими, пшеничного цвета, усами. Сейчас, когда лицо не для кого было делать, не выглядело оно ни улыбчивым, ни лукавым, а было измученно-серым. Вглядываясь в себя придирчиво, как женщина, он его умыл рукою, но только резче обозначились набрякшие потемнения под глазами. Затем рука опустилась, расстегнула две пуговицы мундира, проникла за обшлаг к левой стороне груди. Никто во всей армии, даже из самого близкого окружения, не знал, что бравый Гейнц, казавшийся воплощением здоровья духа и тела, в сущности, очень больной человек, подверженный внезапным обморокам и сердечным припадкам. Пока еще эту железную, но одетую в мягкое руку, сжимавшую сердце пугающим теснением, удавалось разжать двумя рюмками коньяка. Но рано или поздно следовало все же открыться врачам. Он собирался это сделать в Москве. Но из сегодняшнего оврага Москва ему показалась уж слишком далекой.

Взяв тяжелый подсвечник, он перешел в кабинет хозяина, к письменному столу, которые были теперь его кабинетом и его рабочим столом. Решение было ясно и почти готово, но, страшась его, отодвигая его в сознании, он решил прежде написать письмо жене. Он ей пожаловался на теснения в сердце, о которых она уже знала, описал подробно свои ощущения и попросил, чтоб она осторожно, без огласки, посоветовалась с врачом: И далее, почти без перехода, обрушил на нее жалобы совсем не медицинского свойства, точно бы фрау Маргарита Гудериан, его Гретель, одна во всей Германии, могла ему и в этом помочь. Впрочем, годы спустя, называя три вещи, которые «делают нашу земную жизнь священной», упомянет он — любовь к женщине, и это, несомненно, о ней, Маргарите Герне, с которой встретился двадцати пяти лет от роду, счастливым лейтенантом,

командиром егерской роты, и особо оценил ее способность быть верной подругой солдату, — кому же еще и было адресовать горестные признания?

«Мне самому никак не верится, — выводила его рука, — чтоб за два месяца можно было так ухудшить ситуацию, которая казалась почти блестящей!..» Ей предстояло узнать, что «наше командование слишком натянуло тетиву лука, оно требует от армии выполнения задачи, невыполнимой при теперешнем состоянии дорог, погоды, снабжения частей горючим, техникой, зимним обмундированием…» К ней, наконец, посылался вопль души, говоривший и о том, что ее Гейнц знает цену себе, своему умению, и о том, что резервы его умения исчерпаны: «Не могу же я один опрокинуть весь Восточный фронт!»

Но — откуда же взялось малое это словечко «почти», которое сама рука вывела и не решалась зачеркнуть? Не казалась ли ситуация блестящей — без всяких «почти» — в начале вторжения, хоть было известно заранее, и ему больше, чем кому бы то ни было, что русский «танковый аргумент» впятеро превосходит немецкий? «Зато, господа, — так ему передали слова фюрера, — у нас есть Гудериан!» И как кружила голову эта легкомысленная, в сущности, похвала!.. «Мой дорогой генерал-полковник, сколько дней вам понадобится разделаться с Минском?» — «Пять-шесть, мой фюрер.» — «Значит, я могу быть уверен, что вы там будете по крайней мере 28-го?» — «Да, мой фюрер.» Он ошибся — на один день: его танки и танки группы Гота были в Минске 27-го. Блицкриг с опережением на один день, пусть даже с запозданием на неделю, разве не блестяще?

Но еще весной, когда в Германии в последний раз побывала военная комиссия русских, и они, осматривая заводы Порше, спрашивали недоверчиво: «Неужели T-IV ваш самый тяжелый танк?» — закралось подозрение, что не в одном численном превосходстве дело. И уже в конце июня разнеслась весть о новом русском танке, превосходившем все, что знало до сих пор танкостроение. В это не хотелось верить, но первое же знакомство с плененным «русским Кристи»[10], под скромным индексом «Т-34», все сомнения опровергло. Поразило прежде всего изящество форм, наклонные плиты корпуса и башни, круглый ее лоб. Ни одной вертикальной плоскости, и какая приземистая посадка, и какие широкие, в полметра, гусеницы! — как не додумались до этого ни Кристи, ни Фердинанд Порше, ни он сам, наконец, кого считают создателем бронетанковых сил Германии! Ему не терпелось испытать «тридцатьчетверку»; сев за рычаги, он погонял ее по полю, изрытому окопами и воронками, пробил кирпичную стену, пострелял из пушки и обоих пулеметов —

башенного и курсового. Потом ее расстреливали из танковых пушек — она сопротивлялась активно, отсылая снаряды в небо, от попаданий под прямым углом оставались одни вмятины; только ударом сзади, в радиатор, удалось ее подорвать. Танк умер, но не загорелся — и значит, спас бы свой экипаж, — ведь он работал не на бензине, от которого немецкие танки полыхали кострами. Подойдя к этой чудо-машине, положив руку на теплую броню, он только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей растерянность, ошеломление: «На таком лимузине я бы объехал весь мир!»

Это нельзя было превзойти, это — увы! — нельзя было даже повторить. Немецким изобретением — дизелем — русские распорядились, как не смогли сами немцы: в алюминиевом исполнении, из некоего загадочного сплава, он получился компактным и легким и достаточно охлаждался в корме танка. Безвестному русскому конструктору удалось преодолеть то, что составляло нелепый, чудовищный парадокс Германии: легкие бензиновые моторы на танках и чугунные дизели — на самолетах, где они еще могли охлаждаться в скоростном потоке воздуха.

Бывая несколько раз в России, еще в двадцатые годы, в составе миссии генерала Лютца, он себе не составил впечатления, что русские смогут так вырваться вперед. Они охотно показывали свои заводы и полигоны, он присутствовал на маневрах в Казани, бывал и в Туле, по этому шоссе, что в двух километрах отсюда, неслись тогда кавалькадой машины, и майор Гудериан с командиром механизированного полка П. так мило, откровенно беседовали — оба, конечно, не предвидя, что когда-нибудь генерал-полковник Гудериан встретит и обнимет генерал-лейтенанта П., угодившего к нему в плен под Киевом. У вынужденного гостя за дружеским ужином он и спросил напрямую, как создавался русский танк и почему немцы о нем не знали. «Все очень просто, Гейнц. Его делали враги народа — значит, делали на совесть и, конечно, подпольно». «То есть?» — «Заключенные. В особом цехе паровозного завода в Харькове. Ваши агенты искали небось на Тракторном?.. А имя русского Кристи — Кошкин. Кажется, ему пришили троцкизм, а может быть, даже покушение на Сталина. Это, в данном случае, не важно. А важно, что у него были идеи и три хороших помощника. Многое приходилось делать впервые — и, конечно, не обошлось без русской смекалки. Когда имеешь крупповскую сталь, не задумываешься о формах; у них такой стали не было, а требовалось обеспечить непробиваемость — вот откуда наклонные плиты. Алюминиевый дизель — тоже от нужды: ты себе представляешь, сколько бы весил чугунный — при мощности

в пятьсот сил, да еще проблема охлаждения!.. Пришлось изобрести новый сплав. Тут главное стимул: как-никак дополнительное питание и каждый месяц свидание с женой, сутки в отдельной камере. В случае успеха обещали освобождение». — «И они его получили?» — «Кроме Кошкина. Он освободился сам. Слишком волновался на испытаниях, сердце не выдержало…»

Так этот безвестный Кошкин из своего заточения, теперь уже — из могилы, достал-таки его, известного всей Европе, с Рыцарским его крестом и дубовыми листьями. Так четверо узников, вдохновляемых мечтой о свободе и о второй миске похлебки, сотворили настоящее танковое чудо и заставили сжаться в тревоге сердце Гудериана! «Истинно говорится, — сказал он П., - не камнем и не железом крепка тюрьма. Она крепка арестантами. Пожалуй, рухнет она — без одного хотя бы узника-патриота». — «Не сомневайся, Гейнц, — ответил П., усмехаясь. — Кошкин у нас не один. У нас таких патриотов — сколько понадобится».

(Разговор о патриотизме продолжился после ужина. «Изба, где тебя поселили, Миша, — сказал Гудериан, — не имеет запоров. Часовые, случается, засыпают на посту. В какой стороне восток, можно определить по звездам, а впрочем, я подарю тебе компас. И можешь взять с собою двоих». П. размышлял минуты две — и отказался: «Кто же поверит, Гейнц, что я, генерал, ушел от Гудериана!» — «И ты, патриот, предпочитаешь чужую тюрьму?» — «Я предпочитаю тюрьму, — отвечал П., - трибуналу и стенке. Спросят, почему не разделил судьбу Кирпоноса[11], - и что я отвечу?»)

Но ведь были же — хотя все больше вводилось в бой этих «тридцатьчетверок», — были «котлы» Белостокский, Киевский, Брянский, были за полгода три миллиона русских пленных, из которых он мог половину отнести на свой счет. Что же это за страна, где, двигаясь от победы к победе, приходишь неукоснимо — к поражению?

Между тем он не мог не помнить, что на этом самом столе, за которым сидел он, лежала некогда рукопись, в которой объяснялось, что это за страна и откуда же черпает она такую силу сопротивления, когда уже всему миру и самой себе кажется поверженной и разбитой. Готовясь к вторжению, он читал эту книгу в числе материалов, относящихся к походам в Россию Карла шведского и Бонапарта, разыскал ее и здесь, в библиотеке усадьбы, но именно теперь, когда она его больше интересовала, он мог читать лишь урывками, по несколько минут перед сном. Все же одно место, подводившее итог Бородинскому сражению,

было у него заложено муаровой ленточкой, и он к нему возвращался и возвращался:

«Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все… солдаты французской армии… испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв ПОЛОВИНУ ВОЙСКА, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения… Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, — а победа нравственная была одержана русскими под Бородином… Французское войско еще могло докатиться до Москвы, но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть… Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника».

Из этих строк, так энергично звучавших на немецком, но, быть может, утративших в переводе свой подспудный, мистический смысл, он хотел извлечь урок для себя — и не мог извлечь, хотя шел так близко от дороги Наполеона и несколько раз ее пересекал. Он не испытывал наложения чьей бы то ни было руки, сильнейшей, чем его рука, не ощущал и нравственного превосходства советских генералов, так щедро бросавших лучшие силы на убой, без расчета и смысла, слишком оправдывая известное положение Альфреда фон Шлиффена, что и побежденный вносит свою лепту в дело твоей победы. Отдавая должное русским солдатам, их доблести, спокойной жертвенной готовности расстаться с жизнью, он в то же время твердо полагал, что они, в отличие от немцев, безынициативны, страшатся любой неясности, ведут себя непредсказуемо даже для них самих. То, поддавшись необъяснимому страху, сдаются овечьим стадом или бегут, не разбирая дороги, а то вдруг отчаянная горстка их вцепляется намертво в клочок земли, не стоящий не только их жизней, но одной капли крови. О защитниках Брестской крепости, сражавшихся только потому, что не могли поверить в бегство своей армии и не понимали, в каком они глубоком немецком тылу, об этой крепости, за которую фюрер все укорял его, потому что, видите ли, обещал Муссолини дать обед в ее стенах, он, Гудериан, говорил: «Значение этой крепости, неизмеримо вырастает, коль скоро мы ею интересуемся, и падает до нуля, когда перестаем интересоваться. Нужно у одного ее

входа поставить пулеметное гнездо и прожектор и у другого входа пулеметное гнездо и прожектор, самим же двигаться дальше».

Некоторые военные страницы Толстого он не мог читать без чувства неловкости за автора. Пренебрежение к «подхваченным кускам материи на палках» или к цене пространства, где размещены войска, еще можно было простить непрофессионалу, нельзя было ни простить, ни понять его упрямое непризнание войны как искусства, а не только бедлама, хаоса, в котором никто ничего предвидеть не может, а поэтому никакой полководец на самом деле ничем не руководит. Сколько страсти было потрачено — доказать, что Наполеон не руководил и не мог руководить ходом сражения при Бородине! И при этом автор забыл начисто, какой комплимент он уже отпустил Наполеону, когда описывал, как он с ходу, еще до начала сражения, атаковал конницей Шевардинский редут и тем заставил русских передвинуться к полю, которое «было не более позицией, чем любое другое поле в России» и на котором «немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства». Да после такого трюка, выигрыша позиции, Наполеону и не было нужды руководить самому, он мог все препоручить своим маршалам, а сам идти играть в карты или пить свой пунш. Ну, и если быть справедливым, то и своим названием Бородинская битва обязана ему, а то б она была — Шевардинская. Однако ж у автора не поднялась рука написать, что битва была выиграна Бонапартом — еще за двое суток до того, как она началась, — со скрежетом зубовным он признал только, что она была проиграна глупым русским командованием. Граф, верно, придерживался того расхожего мнения, что из двух генералов один побеждает просто потому, что должен же кто-то оказаться глупее. Остроты подобного рода не трогали Гудериана, знавшего к ним поправку: подозрительно часто побеждает как раз тот, кого заранее считали глупее.

Но один эпизод по-настоящему трогал его и многое ему объяснял — то место, где молоденькая Ростова, при эвакуации из Москвы, приказывает выбросить все фамильное добро и отдать подводы раненым офицерам. Он оценил вполне, что она себя этим лишила приданого и, пожалуй, надежд на замужество, и он снисходительно отнесся к тому, что там еще говорится при этом: «Разве ж мы немцы какие-нибудь?..» Что ж, у немцев сложился веками иной принцип: армия сражается, народ — работает, больше от него никогда ничего и не требовалось. Вот что было любопытно: этот поступок сумасбродной «графинечки» предвидел ли старик Кутузов, когда соглашался принять сражение при

Бородине? Предвидел ли безропотное оставление русскими Москвы, партизанские рейды Платова и Давыдова, инициативу старостихи Василисы, возглавившей отряд крепостных? Если так, то Бонапарт проиграл, еще и не начав сражения, он понапрасну растратил силы, поддавшись на азиатскую приманку «старой лисицы Севера», на генеральное сражение, которое вовсе и не было генеральным, поскольку в резерве Кутузова оставались главные русские преимущества гигантские пространства России, способность ее народа безропотно — и без жалости — пожертвовать всем, не посчитаться ни с каким количеством жизней. И что же, он, Гудериан, этого не предвидел? Где же теперь искать его Бородино?

Ведь он всячески избегал этих азиатских приманок, встречи грудь с грудью — как прежде всего остановки в движении; без движения не было «Быстроходного Гейнца», теряли цену его маневры охвата, клещей, рассекающие удары, быстрые рокадные перемещения, знаменитое его «вальсирование», «плетение кружева» — не теряя при этом контроля над всеми своими танками, держа их всегда «в кулаке, а не вразброс». А приманка спокойно дожидалась его — Киев, поворот армии на юг, к Лохвице, где его танкисты встретились с танкистами фон Клейста и своим рукопожатием замкнули «котел» с пятью русскими армиями. Более чем полмиллиона пленных — разве не блестящая победа? Но блицкриг имеет одну особенность: он не терпит изменений, даже изменений к лучшему. Было гибельным уходить с главного направления, на Москву. Почему же на том совещании в Борисове он согласился с фюрером, который вдруг перестал интересоваться Москвой и все внимание обратил на Киев и Ленинград? Почему оставил попытки переубедить, не пригрозил отставкой? Потому что — солдат? Нет, этого мало сказать. Ему и самому захотелось уйти с Ельнинского выступа, где русские оказали сильнейшее сопротивление и где как раз назревало генеральное. Ему и самому казалось, что «сбегать» на 450 километров к югу и вернуться — еще успеется до зимы. Не успелось. И не без оснований укорял его тогда Галъдер[12], этот сухарь, штафирка, профессор, в жизни не командовавший даже полком, к тому же ухитрившийся не присутствовать на совещании:

— Как вы могли, мой дорогой Гудериан, согласиться на это? Ведь вы были против такого решения. На какой крючок вас подцели?

Было дико и обидно слушать это Гудериану, который, единственный из генералов, осмелился возражать фюреру. Но именно потому, что это было дико и обидно, он, вскипая, отвечал

надменно и заносчиво, а главное, уже почти убежденно:

— Я два часа говорил с фюрером наедине, и он сумел меня переубедить. Я обещал ему и я исполню обещанное как можно лучше. Я сделаю невозможное возможным.

— Но в таком случае, мой дорогой Гудериан, сами же и планируйте вашу операцию. Позвольте Генеральному штабу к ней пальцем не прикоснуться. Мы не занимаемся наступлениями, которые относятся к категории «невозможных».

— Мой дорогой Гальдер, — отвечал Гудериан, уже взяв себя в руки, улыбаясь своей знаменитой улыбкой солдата, славного парня, — это как раз то, о чем я всегда мечтал. Чтоб Генеральный штаб занялся посильным для него, а к моим операциям пальцем бы не прикасался.

Сухарь и штафирка был, однако, прав — разумеется, не от избытка ума, а от унылого житейского понимания, что этой стране все на пользу, а прежде всего — ее бедность, ее плохие дороги, ее бесхозяйственность и хроническое недоедание в деревнях, недостаток горючего, мастерских, инструмента, корма для лошадей. Теми шестьюстами с лишним тысячами пленных русские оплатили главное для себя — время, они купили себе и дождливую осень, и нестерпимо холодную эту зиму, всю дьявольскую полосу невезения, в какой сейчас оказались немцы. И хорошо, если только время утеряно. А если — мужество? А если даже смысл вторжения?

«Я только солдат», — говорил он о себе, но чем-то должна же была вдохновляться его энергия, не одними же мечтаниями о фельдмаршальском жезле, и она вдохновлялась сознанием, что серой чуме большевизма не сможет противостоять дряхлеющая Европа, предел поставит — лишь сильная духом, отмобилизованная Германия. И он чувствовал себя острием меча, взнесенного отрубить все девять голов гидры, но, к сожалению… к сожалению, неповоротливую его рукоять держали другие. И не им это было заведено: генералы делают войну, политики делают политику. Как же втолковать тем господам в Берлине, которые не любят выглядывать из мира своих иллюзий, из скорлупы святого неведения, что здесь, в России, приходится заниматься и тем, и другим, и даже неизвестно, чем в первую очередь, приходится — страшно сказать — переосмысливать и самые цели войны? Как бы, к примеру, они отнеслись к словам старого царского генерала, которого он безуспешно приглашал в бургомистры Орла:

— Вы пришли слишком поздно. Если бы двадцать лет назад — как бы мы вас встретили! Но теперь мы только начали оживать, а вы пришли и отбросили нас назад, на те же двадцать лет. Когда

вы уйдете — а вы уйдете! — мы должны будем все начать сначала. Не обессудьте, генерал, но теперь мы боремся за Россию, и тут мы почти все едины.

При этом он был в мундире со всеми регалиями, пронафталиненном и со складками от двадцатилетнего хранения на дне сундука. И не отказывался поведать, как все эти годы он трясся от страха, что его генеральство откроется.

В те же дни было доложено Гудериану, что в камерах и подвалах городской тюрьмы найдены сотни трупов — узники, расстрелянные за день или два до падения города. Он приказал выяснить, кто эти люди и за что казнены. Ему пришлось, и не в первый раз, убедиться, что этот вопрос «За что?» конкретный для любого мясника из гестапо, — здесь звучит безнадежной абстракцией. Ни один из казненных не имел смертного приговора. Были, чаще всего, с 5-летними сроками, у некоторых они уже кончались, были и вовсе не имевшие приговора, только еще подследственные — в большинстве по делам о «вредительстве», «антисоветских заговорах», «контрреволюционных намерениях»…

Он приказал выложить все трупы рядами на тюремном дворе и открыть ворота для всего города. Он и сам явился туда, назначив себе пятнадцать минут, и терпеливо их отстоял у стены, близкий к обмороку. Все же он переоценил свои нервы, это оказалось еще ужасней, чем он ожидал, чем если бы эта массовая бессмысленная казнь совершалась на его глазах. Боевого генерала не поразишь видом и запахом мертвых тел, даже и в больших количествах, но до сих пор он их видел на полях боев, в безмолвии и покое уже свершившегося и необратимого. Невыносимее было видеть — живых, когда они в припадке горя и какой-то сумасшедшей надежды пытались что-то вернуть, оживить родные лица, уже тронутые разложением, лаская их, исцеловывая, обливая слезами. Но что потрясло его еще сильнее, было ужасней и смрада, и нескончаемого, не утихающего вопля — то, как смотрели на него самого: со страхом и ясно видимой злобой. Будто и он был к этому причастен или тем виноват, что мертвые глухи к отчаянным мольбам откликнуться. Явно, от него требовали уйти, и он бы ушел немедля, но дело касалось армии, за которой не было вины, и люди должны были это понять!

Между рядами, щедро крестя убитых и живых, похаживал священник в лиловой рясе, полненький, сивогривый, потертый русский батюшка, по всему видать — выпивоха и чревоугодник, но душою жалостливый и любвеобильный. Он всех оплакивал щедрыми непросыхающими слезами, то и дело утирая глаза и нос подолом рясы. Гудериан велел подозвать его и спросил:

— Почему ваша паства так на меня смотрит? Кто-нибудь им сказал, что это сделали мои танкисты?

Покуда переводили его вопрос, батюшка, всхлипывая и ежась от страха, смотрел снизу вверх на стройного генерала в черном плаще и фуражке с высокой тульей, на которой серебряный орел держал в когтях венок со свастикой. Кажется, все слова застряли у него в горле от вида могучих охранников, немедленно, как только он подошел, направивших на него винтовки. С этими парнями, тупыми — но, впрочем, готовыми умереть за него, — Гудериан ничего не мог поделать, они выполняли приказ фюрера, они головой отвечали за сохранность танкиста номер один.

— Говорите, — сказал Гудериан, — они вам ничего плохого не сделают. Но лучше, если оставите в покое вашу рясу.

Батюшка в ответ закивал и, не удержавшись, икнул от слез.

— Господин генерал, вы бы не хотели, чтоб вам отвечали грешные мои уста, но ответила бы душа, потрясенная горем?

— Так, — сказал Гудериан. — Только так.

— Никто не думает, что это сделали ваши танкисты. Но может быть, не случилось бы этого, если б не ваши танки?

— Вы хотите сказать: я наступал слишком быстро? Перерезал шоссе, не дал времени для эвакуации? Это мое ремесло, батюшка. Старинное и почтенное, Бог его не отрицает. Я только стараюсь делать свое дело как можно лучше. Но вы уверены, что, если бы я его исполнял хуже и у тюремщиков было время, они бы не перестреляли узников, а вывезли на грузовиках? Я почему-то уверен в другом: они бы сделали то же самое, а на машинах вывезли бы самих себя и свое добро — как можно больше.

— Кто и в чем может быть уверен, кроме Бога единого?

— И тем не менее вы мне бросили упрек. Хорошо, я его принимаю. Но тех, кто это сделал, вы не упрекаете, вы о них молчите. Как будто они механическое следствие, безрассудная слепая сила. Как ураган, как землетрясение…

Батюшка, озираясь на винтовки охранников, тяжко вздохнул, по лицу его, по глубоким морщинам поползли слезы.

— Да не обижу вас, господин генерал…

— Говорите все.

— …но это наша боль, — вымолвил батюшка, — наша и ничья другая. Вы же — перстами своими трогаете чужие раны и спрашиваете: «Отчего это болит? Как смеет болеть?» Но вы не можете врачевать, и боль от касаний ваших только усиливается, а раны, на которые смотрят, не заживают дольше.

— Значит, по-вашему, я сделал ошибку, что показал вам эти ваши раны? Лучше было бы скрыть их?

— Каждый шаг человека есть ошибка, если не

руководствуется он любовью и милосердием. И если будете честны перед собою, господин генерал, то признаете…

— Благодарю, — сказал Гудериан. — Не смею вас задерживать.

Он прервал — не священника, а переводчика, уже догадавшись о сказанном и зная, что могло бы этому батюшке и не поздоровиться — потом, за его спиною. Уже сделали стойку офицеры из отдела пропаганды, пописывающие доносы и на него самого в Берлин, — впрочем, аккуратно перехватываемые своим человеком в армейской контрразведке, — да и не было нужды выслушивать то, что было на уме у всех у них, плачущих, вопящих, причитающих, и что он знал и без этого. Ты пришел показать нам наши раны, а — виселицы на площадях? а забитые расстрелянными овраги и канавы? а сожженные деревни с заживо сгоревшими стариками и младенцами? а все зверства зондер-команд и охранных отрядов, все насилия и грабежи, совершаемые армией Третьего рейха?.. Слава о них обгоняла ход его танков и уже была здесь, на тюремном дворе, прежде чем он сюда явился. А могла ли не начаться — или хотя бы прерваться в каком-нибудь звене — эта извечная бессмысленная кровавая чехарда: сопротивление — кара за него — месть за кару — новая кара за месть — новая месть за новую кару?

…А ведь в Лохвице — той, что замкнула Киевский «котел», — его танк забросали цветами.

Рукоять меча держали другие — и они не расслышали слов кремлевского тирана, сказанных на одиннадцатый день войны тому самому народу, над которым он всласть наиздевался. А ведь, очухавшись, этот азиат сказал самое простое, гениальное, безотказное: «Братья и сестры!..» Может быть, потому не расслышали, что этими же словами так дешево бросался Гитлер; в устах угрюмого Иосифа Сталина они звучали весомей и обещали некую перемену. На самом же деле он ничего не обещал, не признал никаких своих преступлений и жестокостей, он только приспустил один флаг и поднял другой. Но и месяцы спустя Гитлер не заметил этой перемены флага — его разгневал наглый ноябрьский парад на Красной площади, но того, что он был обязан предугадать, он опять не расслышал, не внял речи, после которой ему противостояла уже не Совдепия с ее усилением и усилением классовой борьбы, противостояла Россия.

Всегда, до конца своих дней, считавший мифом «непобедимость русского колосса», Гудериан признавался себе этой ночью, что по крайней мере летняя кампания проиграна — в тот, одиннадцатый, ее день, когда из Кремля разнеслось набатным колоколом: «К вам обращаюсь я, друзья мои!..» — а в

Имперской канцелярии в Берлине это было пропущено мимо ушей. Так, верно, пропустил бы и Бонапарт, если б его лазутчики донесли ему, что, покуда он выигрывает позиции и ожидает на Поклонной горе ключей от Кремля, в это время — никем не предсказанная, не учтенная, сумасбродная «графинечка» Ростова без колебаний раздает свои подводы раненым. А между тем она ему объявила свою войну — и не легче войны Кутузова и Барклая!..

Но — Рубикон перейден, и время не повернешь вспять, к 21-му июня; что ж оставалось теперь, когда наступательные силы исчерпаны? когда изношены моторы и стерлись шипы? когда осталось горючего на два дня боев, на столько же — снарядов, и в кулаке только четверть прежнего количества танков, и нет надежды, что все это придет, хотя бы через неделю? Выполняя приказ фюрера, спешить экипажи и всех повести на отчаянный штурм? Это неплохо звучало бы для истории — «Ледовый поход Гудериана». И они — превосходные солдаты, они пойдут за ним куда угодно… Но пусть кто-нибудь другой погонит их в ледяную могилу. Что может Гудериан без своих танков?!

Его рука еще выводила в письме: «Ростов был началом наших бед…» — но он знал: что простилось фон Клейсту, не простится ему. Старик фон Клейст брал Ростов и был вышиблен из Ростова, но он не оставлял следов, он не писал приказов, не принимал кардинальных решений. Гудериан, на которого столько возложено надежд, обязан принять такое решение, на которое не отваживается Генеральный штаб, да уже и принял его, и знал, что приказ будет им написан сегодня. Он уже выбрал участок обороны, куда следовало отвести войска от Каширы и Тулы, — линия рек Шат, Упа, верхнее течение Дона, — с командным пунктом в Орле. Здесь укрепиться, перезимовать, а весною продолжить начатое — второй кампанией. Решение казалось ему здравым и единственно возможным, но какая же была насмешка судьбы, что именно он, гений и душа блицкрига, должен был здесь, в доме Толстого и за его столом, написать первый за всю войну приказ об отступлении! Приказ, грозивший ему отставкой, немилостью фюрера, вызовом на рыцарскую дуэль, злорадным торжеством многих его коллег из генералитета. И этот доставшийся ему жребий было не обойти.

С командующим группой армий «Центр» Федором фон Боком его соединили в пятом часу утра. Фельдмаршал еще не ложился, был крайне утомлен, говорил слабым голосом и рассеянно. Когда Гудериан поведал ему о своем решении, ответа не было так долго, что казалось, прервалась связь. Наконец фон Бок спросил:

— Где, собственно, вы находитесь?

— В Ясной Поляне, пятнадцать километров от окраины Тулы.

— Я почему-то думал — в Орле…

— Господин фельдмаршал, танковые генералы таких ошибок не делают. Я нахожусь достаточно близко от своих войск, чтобы видеть воочию страдания наших доблестных солдат. И я нахожусь в достаточном отдалении, чтобы наблюдать общую картину. Она — безотрадна.

— Я понимаю, — сказал фон Бок. — Я понимаю, почему вы так решили.

Гудериан все-таки ждал чего-то еще. И дождался:

— Скажите, мой дорогой Гудериан, вас там надежно охраняют? Вы хоть можете спокойно спать?

— Вполне, господин фельдмаршал.

— А я, знаете ли, хоть и в семидесяти километрах, а чувствую себя…

— Я желаю вам, господин фельдмаршал, — сказал Гудериан, — спокойной ночи.

Прерывая дерзко вышестоящего, он давал понять, что и не рассчитывал на его заступничество перед фюрером. Фон Бок ответил поспешно и даже как будто обрадованно:

— Доброй ночи, мой…

Гудериан положил трубку, не дослушав. Минуту помедлив, он дописал в письме: «Я меньше всего думаю о себе, гораздо больше меня интересует судьба всей Германии, за которую я очень опасаюсь». Затем положил перед собою чистый бланк с грифом командующего 2-й танковой армией.

Совершая свой поступок — может быть, высший в его жизни, — он чувствовал нечто похожее на смертное равнодушие бегуна, которому вдруг безразличными показались все почести, ожидающие его на финише, и ничтожным, бессмысленным — азарт первых минут бега. Никогда таких трудов не стоило ему написать несколько фраз.

— Да поможет мне Бог, — произнес он вслух, откладывая перо.

Приказ лежал на столе Толстого. Он заканчивался обычным «Хайль Гитлер!», оставалось лишь подписать его. А «Быстроходный Гейнц» все медлил, точно бы опасаясь, что когда эта бумажка будет подписана, он станет уже не господин ее, а покорный исполнитель. Но вдруг он увидел себя со стороны, сверху, бредущим по дну бесконечного оврага, указывая путь одному-единственному танку, бессильному одолеть совсем не крутой склон. И, уже не колеблясь, он расписался. Впервые обычная его подпись — без имени, звания, должности — показалась ему как бы отделившейся от него, чуждой всему, что

он делал до сих пор, чего достиг, чем прославился. Просто человек, голый и беспомощный, — Гудериан…

4

Этот приказ только рассылался в войска, но еще не приводился в действие, и советский генерал, находившийся в ограде церкви Андрея Стратилата, не мог о нем знать. Бездействие противника, выбитого из деревеньки Белый Раст, успокоения не принесло; в неожиданном и как будто покорном молчании Рейнгардта могли таиться и новый коварный замысел, и ожидание какого-то обещанного ему резерва, но и просто апатия, неохота посылать измученных солдат в метель и стужу на приступ. И, предполагая худшее, генерал то и дело гонял конного связного за полтора километра на свой КП в Лобню, к телефонному узлу, хоть проще уже было бы дотянуть провод сюда или самому туда вернуться. Чего так хотелось ему — отрешиться, подняться над суетой и неразберихой, — не вышло и здесь; неизвестность только пуще изматывала ничуть не отдалившимися угрозами. Здесь был он страус, зарывший голову в снег.

В последний раз ждали связного особенно долго, и он возник из метели почему-то спешенный, ведя коня в поводу. Рядом возник еще некто — в белом длиннополом тулупе, ушанке и валенках; на груди висел бинокль в новеньком футляре, плотно набитая командирская сумка моталась по бедру. Еще молодое, обожженное морозом лицо, с ямочками на щеках, выглядело как будто смущенным.

— Просятся до вас, товарищ командующий, — сообщил делегат связи. Говорят: заблудились маленько.

Пришедший с ним это подтвердил — охотно вспыхнувшей зубастой улыбкой и сказал, чуть разведя руками в перчатках, отороченных на запястьях белым мехом:

— Чего не случается… Виноват.

Генерал, убрав ногу с паперти, намеренно повернулся сначала к делегату и потребовал доклада о Белом Расте. Выслушивая внимательно — все о том же бездействии противника, — он боковым зрением не упускал пришельца. Скрипучая амуниция и слишком чистый тулуп не выдавали в нем фронтовика, но не мог он быть и порученцем из штаба фронта и тем более из Москвы, не так держался. «Морда, однако, у него командирская», — отметил генерал. И ощутил как бы крохотный толчок в сердце: не этот ли пришелец, стоящий в неловком ожидании, и есть то событие, которое непременно должно нынче

случиться, то самое, поданное свыше, знамение удачи?

— Итак, заблудились, — протянул генерал басисто, поворачиваясь наконец к нему. И деланно возмутился, играя богатым своим голосом: — Как же так? Не понимаю! И бинокль не помог?

— Однако, — возразил пришелец со своей охотной улыбкой, — все-таки вышли на вас. Если, конечно, вы — генерал Кобрисов. Не ошибаюсь?

Делегат связи стоял с невозмутимым лицом, поглаживая храп коню.

— Ошибаетесь, голубчик, ошибаетесь, — при том шутливо-драматическом тоне, в каком говорил генерал, его можно было понять двояко. — А я с кем имею честь?

Пришелец не чересчур поспешно вытянулся, изящно касаясь перчаткой своей пышной ушанки — много пышнее, чем у генерала.

— Подполковник Веденин, командир двести шестой отдельной стрелковой бригады. Прибыли в распоряжение генерал-майора Кобрисова.

— И что же с вашей бригадой? Не дай Бог, потеряли?

— Никак нет. Видите ли… Пунктом назначения нам были указаны Большие Перемерки. Впрочем, кажется, Малые… — Подполковник было потянулся к своей сумке, но по дороге к ней отдумал. — Ну, теперь уже не важно, мы и те, и другие как-то миновали. А вышли — вот, к Лобне. Просил вашего связного нас сориентировать — он вместо этого привел к вам…

— Умник он у нас, — сказал генерал насмешливо-одобрительно. — Да почему же «вместо этого»? Привел правильно.

Делегат связи, глядя так же невозмутимо, стал руки по швам. Конь, звякнув удилами, положил ему голову на плечо и всхрапнул.

— Сколько у тебя людей? — спросил генерал быстро и требовательно, вынуждая к ответу столь же быстрому:

— Два полка полного состава.

— Полного состава, — повторил генерал, как эхо. — Что, только сформированы?

— Свежие, товарищ генерал.

Подполковник отвечал таким тоном, как если б сказал: «Гренадеры! Орлы!»

— Свежие — значит, небитые. Так оно — на военном языке?

— Сибиряки, однако, — возразил подполковник.

— И что же? — Генерал к нему подошел вплотную и посмотрел сверху вниз с насмешливым интересом. — Как

понимать — это особая порода: сибиряки? Вы там, в Сибири, с медведями в обнимку ходите? Водку из миски черпаками хлебаете и живыми тиграми закусываете?

Спутники генерала готовно хохотнули, но он оборвал их, возвысив голос до командного, глядя сквозь толстые линзы пронзительно-сурово:

— Особых ваших сибирских преимуществ не наблюдаю. Заблудились вы, как малые дети. И благо еще, на противника не вышли походной колонной. Он бы вас отлично сориентировал — в гроб.

Подполковник, противясь распекающему начальству, как это принято в армии — одними пальцами рук в перчатках и пальцами ног в валенках, вытянулся еще попрямее, с потемневшим, построжавшим лицом.

— Прошу, товарищ генерал, указать наше расположение и поставить задачу. Если, конечно, вы — генерал Кобрисов. Если нет — прошу помочь исправить нашу ошибку. — Он поправился: — Мою ошибку.

— Твою, — подтвердил генерал. — А то ты все: «мы» да «мы».

И, отвернувшись, он стал прохаживаться по церковному двору, сцепив руки за спиною. Эта бригада, из двух полков полного состава, то есть верных три тысячи людей, была, как видно, обещана его соседу Кобрисову, чтоб чем-то заткнуть широчайшую брешь между правым флангом его армии и Рогачевским шоссе, и по всем военным законам, да просто по-соседски, следовало ее переправить по назначению, выделив ей — ввиду неопытности командира и полного незнания местности — проводника. Но чего они стоили сейчас, соображения соседства и даже, черт побери, дисциплины? Армия Кобрисова, по плану, не участвовала в наступлении и не принадлежала Западному фронту, это была одна из двух армий, которые Верховный наотрез отказался передать Жукову, а поставил на внутреннем полукольце обороны. Он оставлял себе этот резерв на тот случай, если танковые клещи Рейнгардта, Геппнера и Гудериана все же сомкнутся вокруг Москвы, — тогда, умирая, эти две армии позволят эвакуироваться ему самому и его сподвижникам из Политбюро и наркоматов, с их семьями и добром. Эту бригаду нельзя было выпросить у Кобрисова, нельзя было и у Жукова, можно лишь у самого Верховного — значит, ни у кого, разве что у Господа Бога. Но… не Им ли она и послана была ему сейчас — для тяжкого искушения: присвоить эти три тысячи молодых, крепких, неплохо как будто одетых и вооруженных, пусть и необстрелянных, но — сибиряков, охотников, стрелков! В случае успеха — когда те две армии и не понадобятся, — о, разумеется,

это простят. Но не пройди он хоть два километра — у какого же трибунальца будут еще сомнения насчет его вины и единственной за нее кары?

Мученик Андрей Стратилат, с выщербленной вратной иконы, смотрел погасшими тусклыми глазами и ничего ему не советовал, лишь напоминал о собственной страшной участи.

Командир бригады, замерев, водил взглядом за его похаживаниями, все другие тоже следили напряженно, и долее медлить было бы уже проявлением слабости.

Генерал подошел медленно к подполковнику и сказал, опустив взгляд:

— С Кобрисовым мы всегда договоримся. Поступаете в мое распоряжение.

— Не понял, товарищ генерал, — сказал подполковник. — Вы всегда договаривались, а сейчас только намерены договориться?

От ямочек на его щеках только сильнее теперь выделялись внушительные желваки. В нем как бы разжималась упрятанная до поры тугая пружина.

— О моих намерениях, — властно пробасил генерал, — прошу вопросов не задавать. В армии, согласно уставу, выполняется последнее приказание. Так что будь спокоен, ты не отвечаешь.

— По уставу оно так, — согласился подполковник, но тут же и возразил: И все же попрошу о вашем приказании сообщить генералу Кобрисову. Или, разрешите, я сообщу.

Это маленькое сопротивление подействовало на генерала противоположно только утвердило его в самоуправном, опасном для него, но, быть может, чем черт не шутит, и правильном решении — втором в этот день, после того как он не стал препятствовать бегству на Рогачевском шоссе и понял, что единственного не ожидает наступающий противник — удара «кулаком в рыло».

Впрочем, не столько об этом ударе думал он, сколько о том, чтоб подавить сопротивление стоявшего перед ним, когда посмотрел на часы и отчеканил:

— Вот что, подполковник. Объяви своим людям: даю им полтора часа отдыха. И — в бой.

Командир бригады, закусив губу, вмиг утрачивая свой румянец, еще секунду постоял в раздумье.

— Есть, полтора часа отдыха — и в бой…

— Дать ему коня, — сказал генерал. — Справишься?

Подполковник молча кивнул. Делегат связи отдал ему повод и подтолкнул в седло.

Упираясь сумрачным взглядом в спину всадника, очень

прямую, но с опущенными плечами, генерал представил себе, как дрогнут сердца этих трех тысяч, когда им объявят, что война для них начнется не через неделю, как они того ждали и готовились, а сегодня, сейчас, и как пронзит их всех сознание, что многие из них видят друг друга в последний раз. Он представил, как они прежде замирают от этой новости, встреченной в молчании, а затем понемногу в этой трехтысячной массе начинается движение — поначалу суетливое, потом все более осмысленное, спокойно-расторопное: приготовление к самому худшему, что должно было когда-нибудь случиться и вот случилось. А виной тому — слово, короткое, сорвавшееся как бы и невольно…

Но между тем какое-то движение началось и вокруг него самого: как в полусне, он слышал распоряжения и команды, кто-то отвязывал лошадей у ограды, вскакивал и отъезжал, другие раскрывали свои планшетки и сумки, доставали двухверстные карты, планы и боевые карточки; радист, как будто и не спросясь никого, распаковывал рацию, втыкал антенный штырь с лепестками-звездой, кричал в трубку: «Заря! Как слышишь, Заря?.. Седьмой будет говорить, передаю Седьмому!..» Никто ни о чем не спрашивал генерала, все происходило само собою, и вот из не видной отсюда балки донеслись тарахтенье и взревы — то заводились моторы пятнадцати танков, выделенных ему из резерва лично Верховным и называвшихся не по чину «дивизионом»; в разрывах и опаданиях метели стало видно, как в эту балку с дальнего холма стекает на рысях казачий эскадрон и выплескивается, совсем уже близко, на этот берег, чернея бурками, алея верхами кубанок. И с замиранием сердца, как прыгнувший с высоты, он осознал, что приказ продолжать наступление уже отдан им — или по крайней мере так именно понято неотменимое слово командующего, сказанное тому, давно уже отъехавшему, командиру бригады: «Полтора часа отдыха и — в бой!»

Были побуждения — все остановить, властным голосом всех вернуть на прежние места, сказать, что его не так поняли, совсем не то он хотел сказать. Но рот его, крепко сжатый, словно бы не мог разжаться, не могла, не смела гортань исторгнуть самые простые слова. И вместе с тем одна мысль, и окрыляющая, и парализующая, билась в нем, посылая толчками кровь в виски: что его поняли именно так, и приказал он именно то, что хотел — и не решался.

Если бы знать еще с утра, что судьба даст ему пройти в наступлении не два километра, на что он смутно надеялся, и не двадцать, о чем он даже мечтать не смел, но все двести километров — до Ржева — будет его армия гнать перед собою

немцев, этим рывком — от малой деревеньки Белый Раст на Солнечногорск — побудив и приведя в движение все шесть соседних армий Западного фронта!

Так минута его решимости и час безволия определили судьбу Москвы.

И хотя остальное уже не от него одного зависело, он навсегда входил в историю спасителем русской столицы — той, куда четыре года спустя привезут его судить и казнить, и все же никогда, никакими стараниями, не отделят его имя от ее имени.

Через неделю газеты всего мира заговорят о «русском чуде под Москвой», но в этот час оно показалось чудом, пожалуй, лишь одному человеку Шестерикову, стоявшему в совершенном отчаянии на обочине шоссе над своим умирающим генералом. Уже и милиционер отвалил, исполнив свой же завет: «Всем драпать пора». Все же, к его чести, он ту горбушку отработал — более ничего из вещей не было украдено, он даже нагреб на них сапогами отличительный холмик.

Другим таким холмиком, только подлиннее, был генерал. Однако ж, возле его рта еще оттаивало, и, значит, Шестерикову не пора было драпать.

Неожиданно сквозь завесу метели разглядел он поодаль, в поле, нечто неясное и странное, двигавшееся встречно движению по шоссе. Редкой цепочкой выплыло несколько танков, тащивших за собою сани, а в санях плотно сидели люди — в белых полушубках, в ушанках, в валенках, — держа к небу черные стволы автоматов. Белыми призраками, в маскхалатах, скользили друг за другом лыжники, с притороченными за спиною винтарями. И, как в сновидении, медленной-медленной рысью, разметывая сугробы, шли черной россыпью конники в мохнатых плечистых бурках; передний держал стоймя у ноги зачехленное знамя.

До сих пор Шестериков только убегал и прятался, и если б ему сказали, что он присутствует при начале великого наступления, он бы не то что не поверил, а не допустил бы до ума. Его озарила надежда — сугубо практическая: ближайший к нему танк, притом свободный от саней, полз в каких-то шагах тридцати, и он вовсе не был миражом, он рокотал двигателем, и черное облачко выхлопа реяло за его кормой; если изменили Шестерикову глаза и уши, так нос почуял знакомый запах работающего трактора. Это был танк, вещь убедительная, почище той сорокапятки, о которой возмечтали они с милиционером, и даже той зенитки с ее ненадежной станиной. И он кинулся наперерез, размахивая маузером, крича танку остановиться. Против слепой махины он себе сам казался муравьем,

размахивающим лапкой против сапога. Но чудо произошло: танк ход замедлил, и приподнялась крышка башенного люка; вынырнуло из-под нее юное лицо, под сдвинутым на затылок черным шлемом, и ворот комбинезона с лейтенантскими кубиками.

Мальчишка-лейтенант, выбравшись до пояса, оглядывался по сторонам горделиво и мечтательно, дыша открытым ртом. Он будто и не слышал Шестерикова, который бежал рядом вприпрыжку, вздевая к нему руки и выкрикивая свои мольбы. Однако, не ответив ни слова, лейтенант кивнул ему, приспустился в люк и что-то там скомандовал. Танк повернулся на месте и пополз к шоссе. Он пересек наискось кювет, но весь на дорогу не выполз, а, медленно вращая башню, перегородил путь, как шлагбаумом, длинной своей пушкой.

Для лейтенанта, картинно стоявшего в люке, это могло добром не кончиться, и Шестериков ему покричал поберечься, но тот либо не расслышал, либо по молодости не учел. Впрочем, стрельнуть не посмел никто, а первая же повозка остановилась, и лошади, как их ни нахлестывал ополоумевший ездовой, перед пушкою осадили, храпя и вылезая из хомутов. Бывшие в повозке, человек восемь, выскочили и пробежали, но ездовой своих козел не покинул, смотрел в страхе на лейтенанта, который молча, рукою, показывал ему на Шестерикова.

— Милый человек! — Шестериков бросился к ездовому, прижав одну руку к груди, а другой, по забывчивости, направляя на него маузер. — Пропустит он тебя, помоги только с генералом. Довези ты мне его до Москвы, до госпиталя, а там уж как Бог положит…

С натугой дошло до ездового, что снежный холмик и есть генерал. Другие сообразили живее и уже покрикивали руководяще: «Под мышки его бери, а ты под коленки…» — а там, не усидев, и сами кинулись помогать.

Шестериков уложил генерала на сено — головою вперед, к Москве, сдул с лица снег, подоткнул сена под затылок ему и под бока, сеном же накрыл ноги, обмотанные грязным бельем, хотел бы и перекрестить, но постеснялся ездового и лейтенанта, только махнул рукой танку. Пушка медленно отвернула, и ездовой, мига не теряя, нахлестал лошадей в галоп.

Шестериков подошел к лейтенанту, который, так ни слова и не произнеся, стоял в люке горделиво, едва только не подбоченясь.

— Слышь, лейтенант, а как мне тебя потом вспоминать? — спросил он и благодарно, и с немалым удивлением. — Ведь так ты меня, милый человек, выручил! И откуда вы, такие, взялись

тут? Все отступают, а вы наступаете…

То, что ответил ему лейтенант, перед тем как закрыть над собою тяжелую крышку люка, сказать правду, не произвело на Шестерикова особенного впечатления. Но время спустя он вспомнил эти слова отчетливо — и с горьким сожалением, что никогда никому невозможно их повторить:

— Запоминай, кореш: Двадцатая армия наступает! Командующий-то у нас Власов Андрей Андреич. Он же шуток не понимает, все всерьез.

Шестериков никогда не узнал, что лейтенанту этому уже не суждено было открыть люк самому. Встретясь через какой-нибудь час с головным отрядом 9-ой немецкой армии, его танк получил в башню снаряд, и хоть тот не пробил брони, но отколовшийся изнутри кусочек стали докончил дело, проникнув сквозь шлем и кости черепа в мозг…

Не узнал Шестериков и того, что люди, которых так неожиданно он разглядел сквозь завесу метели — десантники в санях, лыжники, всадники, сгодились только на то, чтоб нанести 9-ой армии единственный встречный удар — и едва не всем полечь, устлав широкое поле белыми полушубками и маскхалатами, черными плечистыми бурками. Но и 9-я армия остановилась. Но и ей не хватило сил двинуться дальше, переступив через их тела. Самое большее, чего она достигла — завладела ненадолго полем, которое было не более позицией, чем любое другое поле в России, и на котором немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства…

5

Успокоенный, Шестериков подобрал свой мешок, покидал в него все добро, туда же и маузер в кобуре и, закинув автомат за плечо, отправился в свою роту. Он шел той же дорожкой, по которой тащил генерала, а после и той, по которой они так резво хрумкали вдвоем, только теперь за версту обходя те чертовы Перемерки — и не зная, что там живых с оружием никого не осталось, одни перестрелянные немцы да кого они успели перестрелять. И не ожидал он от всей этой истории хоть какого-то продолжения.

Однако ж оно состоялось. Всю эту массу бегущих задержал-таки на развилке Рогачевского и Дмитровского шоссе своими пулеметами заградительный отряд, кой-кого — че-ло-вечков десять самых резвых, которые всегда первыми поспевают, — тут

же к стеночке прислонили и постреляли другим в острастку, а других — кого забрали для выяснения, а кого заставили на месте искупать вину, стаскивая с грузовиков и становя бетонные надолбы и сваренные из рельсов «ежи», в которых уже всякая нужда отпала, даже, наоборот, следовало от них шоссе очищать. Ездового же с генералом не только пропустили, но еще похвалили и записали все данные для представления к медали «За отвагу». И он эту медаль принялся отрабатывать так рьяно, что не успокоился, пока не домчал генерала до госпиталя, и помогал носилки тащить по лестнице, и в палату вносил, и в подробностях рассказывал дежурному врачу и комиссару госпиталя всю историю геройского ранения генерала и геройского его спасения из-под огня. При этом, пока не вскрыли «смертный медальон», он счастливо избег вопросов, как же фамилия его генерала и чем он командовал, называл его коротко и исчерпывающе — «наш генерал», а на расспросы, куда делись папаха и бурки, отвечал: «Э, ладно, что голову не потерял и ноги целы», — и такое было у него на лице, что лучше не спрашивать. В награду его накормили с водкой и выдали ему справку для патрулей, что прибыл в Москву, «выполняя задание своего командования», а такая справка была повесомее медали, которую он, к тому же, и получил-то тридцать два года спустя — из рук седовласого прихрамывающего военкома, при торжественном салюте пионеров-«следопытов» и в присутствии журналиста, написавшего потом заметку «Награда нашла героя».

Восемь автоматных пуль, вошедших в просторный живот генерала, прошли счастливо навылет, не затронув жизненно важных точек, к счастью и то оказалось, что он не поел перед своим ранением, обошлось без воспалений и нагноения, а мощная плоть обещала засосать все пробоины и разрезы — и вскоре уже выполнила обещание. Куда хуже оказалось у него с ногами, обмороженными едва не до почернения, даже стоял вопрос — не отхватить ли их по колено, но после многих и долгих консилиумов рискнули оставить, ограничась переливаниями крови и питательными уколами. Поместили его в палату для обмороженных, хоть и отдельную, но наполненную таким ужасным, тошнотным запахом гниющего заживо мяса, что он уже поэтому не мог не очнуться. А очнувшись, он почувствовал смертную тоску и обиду и стал вытребывать к себе запомнившегося ему солдата.

Генералу, конечно же, пересказали чудесную историю его спасения, довольно складную, но в которой для полной правдивости недоставало Перемерок и французского коньяка; он требовал не ездового, а то ли Шустрикова, то ли Четвертухина из

роты автоматчиков. За те дни, что генерал пробыл без чувств, его армия прошла километров сорок и связь с отдельными ее частями была такая, что ни дозвониться, ни запросить письменно, но генерал надоедал — и слабую запутанную ниточку размотали. Рота автоматчиков была одна в полку, находившемся прежде в том же селе, что и штаб армии; ни Шустрикова. ни Четвертухина в списках не оказалось, зато обнаружился Шестериков, от которого, правда, тоже не много осталось. И вот его, полуоглохшего, едва не утратившего рассудок, вытащили из мерзлого окопа, где ему и спать приходилось, зарывшись в снег или в золу костра, выдали ему другую шинель и ушанку, паек на три дня, продаттестат и предписание явиться в Москву, в военную комендатуру. С этим предписанием, где впервые в жизни увидел он свою фамилию напечатанной, хотя и с двумя подпрыгнувшими «Е», он на попутных машинах добрался до белокаменной, за которую чуть Богу душу не отдал и которую наконец увидел.

В волнении, какого отродясь не испытывал, шел он по Москве, иногда перелезая через неразобранные баррикады из бревен, трамвайных платформ и мешков с песком, минуя на перекрестках посты милиции с винтовками, ступил под своды вестибюля бывшего музыкального института, а теперь госпиталя для старшего комсостава, поднялся по мраморной лестнице — и едва не был сражен наповал тем смрадом, от которого генерал очнулся. Тут еще санитары выкатили ему навстречу из лифта каталку с горкой отрезанных конечностей, еле прикрытых окровавленной простынкой; от того разноцветного, что выглядывало из-под нее, Шестериков зашатался и закрыл глаза. Стараясь дышать пореже и ртом, он одолел тошноту, миновал, не заглядывая, двери общих палат и, добравшись наконец до отдельной, увидел своего командующего — несчастного, исхудалого, без кровинки в лице, но, как отметил броский и незаметный взгляд Шестерикова, с обеими ногами под одеялом. И первое слово генерала было при их встрече:

— Попили!

— Чего уж, — сказал Шестериков, стараясь улыбаться повеселее. Отложили до другого разу…

— Но зато, — сказал генерал, — теперича различать будем, где Большие Перемерки, где Малые. Верно?

— Да уж, не ошибемся!

Шестериков вытащил из мешка, который пронес-таки под белым халатом, маузер и подал его молча генералу. Генерал открыл кобуру, вытянул маузер за рукоятку и прочел гравированную витиеватую надпись на щечке.

— Кому-нибудь ты его показывал? — спросил он, не

поднимая глаз.

— Никому, — ответил Шестериков. — Иначе б забрали. Охотников много на такую вещь.

В последнюю фразу он вложил и другой, потаенный, смысл. Хорошая, уважительная надпись оканчивалась нехорошей фамилией — Блюхер. Генерал понял его и чуть усмехнулся:

— Стереть бы, да жалко. Дареный все-таки.

— Жалко, — сказал Шестериков.

Генерал отдал ему маузер.

— Пусть у тебя и побудет. Охотники и тут водятся.

День был свиданный, и генерал ожидал к себе жену, однако Шестериков, уже почувствовав себя как бы опекуном его, отсоветовал сюда ее пускать: незачем женщине солдатские запахи вдыхать, это ей не свидание, а мука. Генерал, удивясь, согласился и велел позвонить к нему домой. Так вышло, что с генеральшей, Майей Афанасьевной, познакомились по телефону.

— А, Шестериков! — отозвалась она приветливо. — Знаю, знаю, слышала. А как по имени-отчеству?

— А это, Майя Афанасьевна, потом, когда уже повидаемся. А покамест я при командующем, так что — Шестериков, и все.

— Ну-ну, — согласилась генеральша. И согласилась, что и в самом деле лучше не доставлять мужу стеснения.

В мешке Шестерикова среди прочих интересных вещей хранилась консервная банка со снадобьем, которое употребляли его предки при обморожениях лет двести: некий сложный состав из отвара корней и травок, гусиного жира, пчелиного воска и меда. Те мази, какими пользовали генерала, он забраковал, посоветовал не давать мазать сестрам, а чтоб оставляли баночку, а из баночки все выбрасывать. Мазал он сам, скрывая отвращение, затаивая дыхание на целую минуту, а потом, отвлекая генерала от страшного зуда и жжения, что-нибудь ему рассказывал из своей деревенской жизни, ну, и встречно выспрашивал осторожно про его жизнь. Поселился он здесь же, в госпитале, под лестницей, в каморке у истопника, здесь же и стал на довольствие, кормился в столовой по норме санитара. Норма была поменьше фронтовой, а выходило — получше, чем на фронте, где не каждый-то день горяченького поешь. Истопник же был по совместительству пожарник, стало быть, с телефоном, и Майя Афанасьевна в определенный час могла справиться, «как там наш».

— Наш ничего, — отвечал Шестериков. — Скоро запляшет. Уже у него ноги чешутся — плясать.

Еще не повидавшись с нею, он уже все вызнал: и что квартира у них на улице Горького — из четырех комнат, не считая

кладовки и «холла», — это слово и в госпитале говорили, зал был такой для ходячих, с шахматами и домино, и вот таким громадным Шестериков его себе и представлял, этот «холл», который не считался, — и что у генерала две дочки, шестнадцати лет и четырнадцати, одну, как и генеральшу, Майкой звать, а другую — Светланкой, в честь сталинской, и что — вот главное — сама генеральша родом деревенская, из-под Вышнего Волочка, и девичья у нее фамилия — Наличникова, а Майей она себя сама назвала, на самом же деле — Марья. Но, видать, от деревни своей она уже отщепилась, поскольку спрашивала Шестерикова, что вот генералов на дачные участки собираются записывать, по два гектара, в Апрелевке, так брать столько или не брать.

— Брать! — кричал в трубку из-под лестницы Шестериков. — Землю-то? Сколько дают, столько и брать!

Эта Апрелевка вошла в его голову и уж никак оттуда не выходила, заставляла ворочаться ночами на полу в истопниковой каморке, покуда тот, приняв кубиков двести медицинского спирта, похрапывал себе на топчане. Как думают о грозящем ранении или увечье, да с пущей еще тоскою, думал Шестериков о возвращении в родную пензенскую деревню. Нисколько не мечталось ему вновь увидеть поникшие ветлы над тихой, ленивой речкой, пройтись босиком по росе или лошадь погладить по бархатистому храпу да после, вскочив на нее без седла, проскакать с полверсты и вогнать в речку по холку. Все эти радости уже лет десять как отошли от него, с тех пор, как с отцовского двора пришлось свести в добровольном порядке и обеих лошадей и корову, а земли урезали до лоскутка, так что не жаворонка в небе слышно, а как сосед пыхтит, вскапывая гряды. Из двух сараев и то пришлось один снести — тесно и не положено два. Все же теперь общее — и значит, ничье. Своя только бедность и такая безысходная, лет на сто вперед, что руки опускаются, не знаешь, за что раньше хвататься, все ветшает, обваливается, линяет, все труды уходят в песок. Все безразлично стало, даже вот какого председателя выбрать. Да какого велят — самого сговорчивого с властями да покрикливее, а значит, самого никудышного, пустопорожнего мужичонку, а не найдется такого привезут откуда-нибудь. И никуда из этого не вырваться, не уехать, без паспорта на первой станции заберут, а справка от колхоза — самое большее на неделю, и ту выпроси, вымани. Вот так, отнюдь не поэтично, даже из мерзлого окопа виделся Шестерикову его родимый край, над которым вместо веселой гульбы, свадебных частушек и попевок, звяка поддужных колокольцев повисло в лунной ночи унылое, запьянцовское, хриплоголосое:

На селе собака лает.
Не собака — бригадир:
«Выходите на работу,
Не то хлеба не дадим…»

А вот Апрелевка эта, Апрелевка, ведь генеральская же земля, на нее кто посягнет, кто посмеет урезать? Два гектара — да на них такое можно развести, что десять семейств прокормятся и за забор не выглянут. Были бы руки при себе и малость бы силенок война оставила.

Меж тем генеральские ноги подживали, на них новая кожа нарастала розовенькая, как у недельного поросенка, — и однажды он встать решился, попросился — в душ. Едва довел его Шестериков, так его шатало от слабости, а там, в уютной кабинке, они оба разделись и даже попарились немножко, напустив из крана одной горячей. Генеральское тело поразило Шестерикова — и щедрой мощью, и белизною, и многими рубцами. Генерал воевал во всех войнах, какие вела Россия с 1914-го года, и с каждой войны привозил какую-нибудь рану. Даже на лбу у него из-под волос вытягивался шрам — от сабельного удара. Про каждое его повреждение можно было отдельно рассказывать, но он их все объяснял одинаково: «По глупости». Шестериков его помыл, как младенца, велел после этого посидеть, а сам при этом думал растроганно, что мог бы свою жизнь, все равно не сложившуюся, посвятить холе этого тела и этой непутевой и, как отчего-то показалось Шестерикову, по-своему настрадавшейся души.

Но вот настал день, когда генерал, с утра не ложась, а посиживая на койке, разглядывая розовые свои ступни, сказал мечтательно:

— Эх, мне бы коника сейчас, хоть какого. В седле бы я совсем ожил!

«Домой ему хочется. — На сердце Шестерикова потеплело. — Конечно ж, дома-то оно все быстрей заживет. Да где ж я ему коника достану?» Легче бы было с машиной, которую вызвали бы ему врачи, не возражавшие против досрочной выписки, — ан Шестериков и тут не оплошал. Ясным морозным утром, выйдя на крыльцо, поддерживаемый сестрами, генерал перед собою увидел коня. Даже трех сразу: на другом восседал гордый Шестериков, а на третьем тот, рогачевский милиционер, который теперь служил в Москве, в конном патруле. Случайно с ним встретясь возле комендатуры, куда ходил каждый третий день отмечаться, Шестериков его пожурил за преждевременный драп, тот в

оправдание ничего не привел, а зато душевно справлялся о здоровье генерала и вот — искупил вину, удружил с кониками.

Генерал обошел чалого конька вокруг, оглядел снисходительно его стати, попытался вскинуться в седло, но не вышло, пришлось его подсаживать с крыльца. Зато, оказавшись в седле, он так привычно, одной рукой, разобрал поводья, так — одним похлопыванием по шее — и успокоил, и взбодрил конька, что не понадобилось и каблука под брюхо, а только чуть повод отпустить — и он уже понес, понес косо, изгибая красиво шею, с места вскачь.

В ту зиму Москва была такова, что никто не обратил особенного внимания на трех всадников, проскакавших аллюром едва не по всей улице Горького — от Белорусского вокзала до Моссовета, — шли нестройной растягивающейся колонной ополченцы, поя негромко, точно бы про себя, «Священную войну»; шли суровые девушки в шинелях, сопровождая вчетвером громадную серебристую тушу аэростата, больше всего, казалось, озабоченные, как бы он их в небо не унес; извилистые и почти недвижные очереди мерзли у магазинов с заколоченными, заложенными мешками с песком витринами; никто не оборачивался на цокот подков, маленькая кавалькада с живописным генералом во главе проскакала точно бы по пустому городу. А все же генерал остался доволен — помолодел, разрумянился, глазами рассверкался — и возле дома, отдавая нехотя повод милиционеру, сказал:

— Ну, спасибо тебе, Шестериков.

Не сказал за свое спасение, не сказал за сохраненный маузер, за весь уход в госпитале, а вот за коника — сказал.

Майя Афанасьевна встречать на улицу не вышла, а, как бы опоздав, встретила на лестничном марше — в полураспахнутой каракулевой серой шубке, такой же шапочке-кубанке и с муфточкой на одной руке, — все тактически правильно, как отметил Шестериков, в ее годы она бы на морозе так румяно не выглядела. От природы блондинка, о чем свидетельствовали голубые глаза, она уже сильно красилась — в блондинку же, но прежняя несомненная ее красота не убыла настолько, чтоб дочки затмили мать; у них не было такого аккуратного, победно вздернутого носика, таких изогнутых и полных губ, такого лица, суховатого и крепкого, да и ладной такой фигуры. Дочки генеральские были вылитые генералы, и что хорошо было в нем — просторно, могуче, полновесно, то явно грозило их замужеству, хоть, впрочем, на генеральских-то дочек охотники найдутся.

Генерал, обцелованный всеми тремя, представил им Шестерикова:

— Это гость наш, не сильно его загружайте.

Генеральша, вынув руку из муфточки, ладошкой вниз, совочком, подала ее Шестерикову и, глядя широко раскрытыми глазами прямо в глаза ему, сказала для полного осведомления:

— Майя Афанасьевна Кобрисова.

А дочки, обняв так бурно, что он слегка зашатался, поцеловали с обеих сторон в щеки.

С этой минуты пошла у Шестерикова такая жизнь, какой он себе и представить не мог. Это она, сама жизнь — в облике генерала, — выходила к нему по утрам в столовую, облаченная в жемчужно-сиреневую пижаму, и, простирая руку к накрытому столу, возглашала, как о начале сражения:

— Сейчас мы будем завтракать. Прошу!

Сидя за общим столом и учась потихоньку, как следует вкушать хлеб наш насущный, чтоб не только себе было приятно, но и другим удовольствие на тебя смотреть, Шестериков решительно признавал, что если выпадают такие дни человеку, когда все ему нравится, так вот они ему и выпали. Ему нравилось, как в этой семье все любят и уважают друг друга и что генерал не упустит поцеловать дочек в темя утром и на ночь, нравилось, что Майя Афанасьевна неукоснимо укрепляла свои позиции, сидя дважды в день по часу перед зеркалом и никогда не являясь пред очи мужа распустехой, и что генерал ее за это особо ценит, нравилась даже и болезнь генерала — не какая-нибудь там кила с геморроем, а красивая, генеральская — «мерцание предсердия». Его, Шестерикова, и впрямь не загружали, да он сам рад был загрузиться: раз в неделю он со своим мешком и с чемоданом ходил за пайками, ежедневно убирал всю квартиру, ежедекадно мыл и натирал полы, все чинил, укреплял, подтягивал, понемногу вываживал генерала — сначала во двор, потом и по улице, по Тверскому бульвару. Его собственные позиции так укрепились в доме, что Майя Афанасьевна без его мнения уже не обходилась, говорила соседке по лестнице: «Мой Шестериков не рекомендует… Мой Шестериков, например, так считает…» — звала его к чулану и консультировалась, не выкинуть ли, скажем, старый диван. «Ни в коем разе, Майфанасин! Еще как захочется Фотий Иванычу на нем отдохнуть после принятия пищи. Все починим, всему место найдется!» Он держал в голове все ту же Апрелевку, где будет еще и «шале»… Насчет Апрелевки он не уставал напоминать, и всей семьей строились планы, какая будет дача и расположение сада и цветников, и где отвести места под гряды — салата, огурчиков, редиски. Романтический пейзаж при этом несколько нарушался, но, возражал Шестериков, «разве ж свое и покупное сравнишь? Тут каждый витамин тебе на месте!»

Ну, и сам он, хоть не говорил этого, но тоже выстроил в мечтах на этих двух гектарах домишко себе и непременно баньку, где будут они париться с генералом и вспоминать боевые дни.

Главным предметом изучения и забот был, конечно, сам генерал, включая в просторное это понятие и коллекцию его четырнадцати охотничьих ружей, из которых одиннадцать были дареные, и многие фотоальбомы, запечатлевшие всю его биографию. Шестериков их разглядывал все свободные часы, посиживая в кресле в том самом «холле», который оказался просто частью передней, только отделенной от нее раздвижной перегородкой с рифлеными стеклами. Сперва шли порыжевшие фотографии детства — маленький Фотя с двумя старшими братьями и тремя сестрами, с матерью, могутной и очень на него похожей, и с отцом, казаком станицы Романовской, невысоконьким и худым, но, видать, быстрым и дерзким. А вот Фотя на коне, без седла, в отцовской фуражке, налезшей на уши, рот распялен в улыбке, зубы лопатками. Вот первое горе — все семейство рядом с гробом отца, с напряженными вытянутыми лицами, глаза у всех какие-то рыбьи. Несколько лет спустя повзрослевший Фотий Кобрисов стоял, в гимнастерке и в фуражке с кокардой, возложив руку на плечо сидящему другу, такому же бравому и лупоглазому, оба — солдаты империалистической войны. Далее он один сидел, положа руки на эфес шашки, уже с теперешними усиками на пухлой еще губе, юнкер Петергофской школы прапорщиков. Потом шла Красная Армия: выпуск школы красных командиров, один ряд стоит, другой сидит, а возле ног у них двое лежат головами друг к другу, упираясь в висок ладонью, а локтем — в пол; Фотий Иванович сидит третий справа, немного отворотясь и выглядя мечтательно. Кое-какие снимки были отклеены, а на сохранившихся групповых некоторые лица то ли пальцем затерты, то ли бритвочкой выскоблены, так что вместо голов на плечах у них сидели белые шары. Множество было снимков конных — рубка лозы по верхушкам, препятствия, вольтижировка, стойка на дыбы — она же «свечка», но чем более повышался Фотий Иванович в званиях, тем его конь делался степеннее: меняя масти и стати, он полюбил сниматься в одной позе — ногу вперед выставя и к ней наклонясь изогнутой шеей. А вот и коня не стало, бывший кавалерист Кобрисов, в черном комбинезоне, приоткрывал над собой гробовидную крышку танкетки — шлем с угловатыми очками сдвинут к затылку, лицо чумазое и веселое, голова бритая «под Блюхера». И вот последние предвоенные: санаторий в Ялте, крыльцо с широкими ступенями и колоннадой, Фотий Иванович с Майей Афанасьевной, во всем белом и дочерна загорелые, стоят по разные стороны колонны и

как бы друг дружку, потерявши, высматривают; потом они у фонтана встретились и вот наконец рядышком сидят в гроте, увитом стеблями хмеля или плюща…

Одно лишь облачко реяло в безмятежном небе Шестерикова — то, которое набегало на чело генерала, когда он после завтрака читал газеты. Шло наступление, и сыпались награды, гремели имена Жукова, Власова, Рокоссовского, Говорова, Лелюшенко, а Кобрисова — не гремело, он себя в списках что-то не находил. Майя Афанасьевна так это дело объясняла соседке:

— А нас-то за что награждать? Мы ведь, по плану, и не должны были наступать, мы только подстраховывали. Вот если бы у них с наступлением не вышло, тогда вся надежда на нас. Но кто это сейчас помнит?

Генерал — тот помалкивал, только губу закусывал и пальцами барабанил по столу, но однажды все-таки не выдержал — когда прочитал, что к Власову, первому из советских генералов, допустили иностранную корреспондентку взять интервью для мировой прессы:

— Интересно, интересно! А не рассказал он ей, как он у меня бригаду украл?

Но, поостыв — и может быть, вспомнив про счастливое свое спасение, добавил рассудительно:

— Ну, если по справедливости… украсть-то он, конечно, украл, но распорядился неплохо.

Все же и ему — за дела наступавшей без него армии — слетела на петлицу звездочка, присвоили генерал-лейтенанта.

— Вспомнили! — сказала Майя Афанасьевна. — И на том спасибо.

Но если б его это успокоило! Именно с этого дня — как подменили генерала, ни весеннее солнышко не радовало, ни водка не пьянила, одно нетерпение во всем. И однажды утром из ванной, где брился, он со злым весельем в голосе прокричал:

— Шестериков, ты воевать — думаешь?

Все враз примолкли — и генеральша, и дочки, а сердце Шестерикова ощутимо стронулось и покатилось августовской звездой, оставляя замирающий след.

Но в свою армию они уже не вернулись, там утвердился новый командующий, бывший начальник штаба, так что послали генерала Кобрисова в ближний тыл, под Воронеж, формировать новую армию — вот эту самую, Тридцать восьмую. С нею сперва отступили от Дона чуть не до Волги и снова в Воронеж пришли, а оттуда, уже не отступая ни разу, дошли до Днепра и взяли плацдарм на Правобережье.

Жизнь Шестерикова при генерале была сравнительно теплая

и сытая, хотя и погибнуть случаи выпадали. Но ведь оттого и смысл был высокий в этой жизни, и ценилась она не за тепло и сытость, а именно за высокий ее смысл. По твердому Шестерикова убеждению, никто б на его месте не стоил того, что он, и сам он на другом месте стоил бы втрое меньше. Он не привык, он прирос к генералу, знал все причуды его и желания, как бы и несложные, а попробуй их предупреди. Сам генерал себя называл солдатом и привычки свои солдатскими, и только Шестериков ведал, каково этим привычкам потрафить. В морозы баня — чтоб пар до костей прошибал, в жару вода студеная — чтоб зубы ломило, щи — чтоб ложка в них стояла и не валилась, к обеду водки два стопаря, а лучше спирта чуть разбавленного, а после обеда семьдесят минут сна и чтоб муха не пролетела. Тут повертись, покрути задницей! И в избе, какая ни попадется, чтоб чисто было и натоплено и ничем бы не воняло, воздух бы свежий был, а фортка — затворена. Тяжко ли все это было Шестерикову? Ну, так тем и любимо!

Вот с каким человеком пришлось встретиться майору Светлоокову из армейской контрразведки «Смерш», вот кого пригласил он выкроить часок и прийти к нему «посплетничать». Свидание их было назначено неподалеку от штаба, в леске, майор объяснил подробно, как выйти к поляне с поваленной сосной, и еще попросил — генерала не извещать, поскольку тема беседы «деликатная». Шестериков не явился вовремя, как водитель Сиротин, и не опоздал, как адъютант Донской, он пришел загодя и понаблюдал из-за кустиков за майором, как тот, раскрыв планшетку, что-то там перечитывает и подправляет, почесывая лоб карандашиком. Затем подошел бесшумно, стал у майора за плечом и вздохнул. Майор, всполошась, выхватил пистолет, а планшетку не закрыл.

— Что бродишь? — спросил он, недовольный собою, что его смогли застать врасплох. — Так до смерти напугать можно.

— Чо ж пугаться, — сказал Шестериков, — район охраняемый. А я грибков тут поискать хотел. Командующий по грибкам соскучились.

— Не нашел?

— Где ж найдешь, дождика две недели не было. Одни опята, да ведь надоесть могут — без белого или хоть маслачка.

— Заботливый ты, — сказал майор, упрятывая пистолет суетливым движением, с лицом все еще недовольным и заметно растерянным.

Шестериков, не отвечая, уселся против него на травке, обхватив колени, и посмотрел в глаза майору смиренно и выжидательно.

— Печешься о командующем, — продолжал майор, захлопывая небрежно свою планшетку. — Я вижу, лучшего союзника не найти мне. Вот как раз об этом я и хотел с тобой…

— Насчет грибков?

— «Грибков», «грибков»! Меня нечто большее беспокоит. Здоровье командующего, общее состояние. Не нравится он мне последнее время. Нервничает, какой-то необщительный стал. Ты не находишь?

— Да вроде всегда такой был…

— Не скажи. Всегда-то он тон задавал, душою был армии. А теперь что-то гнетет его, места себе не находит. С чего это он себе КП отдельно от штаба выбрал? Уставать начал от людей?

— От чего ж еще так устанешь? — сказал Шестериков. — От них-то больше всего.

Какая-то неясная опасность подступалась к генералу, и Шестериков не мог понять, с какой стороны она грозит. Но он твердо знал, что с той стороны, где стоит он, Шестериков, эта опасность не подступится. Это он решил так же твердо и быстро, как в тот зверски морозный день у Перемерок, когда повалился рядом с генералом в кровавый снег и перевел флажок автомата на одиночные выстрелы.

— Скажи мне честно, — майор наклонился к нему с видом озабоченным. Девушка эта… не слишком его тогда к рукам прибрала? До сих пор, небось, переживает, что так с нею вышло…

— Это которая девушка? — спросил Шестериков, озабоченный не меньше.

— Ну, которая до переправы была… Надюша, сестричка. Ходила к нему уколы делать. И не одни там, поди, были уколы?

— Конечно, не одни. Давление еще меряла. Пульс тоже считала.

— И всего делов?

— Какой там «всего»! — отвечал Шестериков. — Медики — они жутко настырные.

— Особливо фронтовички, — смеялся майор, — особливо молодые, горячие. А между прочим, — опять он делался серьезным, — приказ Верховного, запрещающий кой-какие отношения ближе пятидесяти километров от передовой, не отменен. И генералов он тоже касается. Так что если кто проговорится…

— Ну, может, они на пятьдесят первый километр специально уезжали. Не знаю, меня с собою не брали.

Насчет «кой-каких отношений» генерала Шестериков не сказал решительного «нет», поскольку не знал, какие на сей счет сведения у майора. Проговориться сама же эта Надюша могла

подружкам, а какая-нибудь из них непременно была у него на крючке. О суровом приказе Верховного Шестериков слышал и знал, что этот приказ давно уже ни к кому не применяли. Однако ж могли применить, если есть он и если кому-то это понадобится. Поэтому решение он принял единственно верное: раз это тебе зачем-то нужно, тем более не скажу.

И майор Светлооков, быстро его поняв, свои поползновения с этой стороны — оставил.

— А что, сердце у него действительно барахлит? Пойми ты, не шашни меня волнуют, а его состояние. Спит он хорошо? Порошками не злоупотребляет?

Выяснилось, что сердце у генерала болит. Оно болит — за родину. Выяснилось, что спит он плохо, почти даже не спит, все печется об армии. Насчет порошков, правда, ничего не выяснилось.

— Лучше уж водки стакана два хлопнуть, — посоветовал майор. — А утром чайком опохмелиться — из бутылки с тремя звездочками.

«Ах, сука, — думал Шестериков, глядя на него ласково и со вниманием, я б тебе не три, я б тебе четыре зуба сейчас бы вышиб». Но отвечал он обстоятельно:

— Не уважают они этого — на ночь пить, а утром опохмеляться. Стопку одну за победу хлопнут — и то себя корят, что слабость проявили.

— Так, так, — сказал майор. — Ничего мы, значит, с тобой не выяснили? Или не откровенен ты со мной или плохо своего Фотия Иваныча знаешь. Понаблюдал бы внимательней, дело-то первостепенной важности, тут все готовы на помощь прийти, и я в первую очередь. Должность такая.

Шестериков кивнул глубоко и спросил с большим интересом:

— А что это — «Смерш»?

— Не знаешь? — удивился майор. — Первый раз слышишь?

— Слышать-то слышал, а вот не знаю.

— Ну, «Смерть шпионам», если тебе интересно.

— Как же не интересно? Ведь она же мне первому полагается, если я при командующем шпионом буду.

— Что значит «шпионом»? — раздражился майор, начиная уже розоветь. — То категория вражеская. А мы о проявлении заботы говорим. Как ты ее понимаешь настоящую заботу, а не формальную?

— А так и понимаю, товарищ майор: ночей не досплю, а ни одна гнида к Фотию Иванычу не подползет.

— Правильно, — сказал майор Светлооков.

Он улыбался широко, уже густо порозовевшим лицом, но

глаза ему плохо подчинялись, выдавали досаду и злость.

— Тоже думаю, что правильно, — сказал Шестериков.

Больше всего любил он кино про шпионов и контрразведчиков — «Партийный билет», «Ошибка инженера Кочина», да много чего было! — и вот сошел к нему главный персонаж тех фильмов, разведчик там или контрразведчик — пойди разберись, но только воспринимал его Шестериков совершенно иначе. Не то чтобы те лучше были, а этот хуже, то были евклидовы параллели, ни в какой точке не пересекавшиеся. С таким же самозабвением смотрел он комедии из колхозной жизни, где мордастые и грудастые бабы, заходясь от восторга жизни, с пением бодрых маршей вязали в снопы и копнили непонятную поросль, и если б его спросили, как же это соотносится с той жизнью, какую он знал мозолями и хребтом, он бы только заморгал удивленно: «Так это ж кино!» А впрочем, не исключал он и того, что где-то, может быть, и есть такие счастливые поющие колхозы, и люди там необыкновенные, которым повезло в тех местах родиться, где нас нет. Но насчет сидевшего перед ним он не обманывался нисколько. И если для шофера Сиротина «смершевец» этот был всемогущий провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полете, если для адъютанта Донского он был тайная, границ не имеющая сила, восходящая в сферы недостижимые, то для Шестерикова он был — лоботряс. Да уж, не более того, но лоботряс энергичный, из той породы, которая изувечила, выхолостила, обессмыслила всю жизнь Шестерикова и из-за которой любые его труды уходили в песок. Границы же власти таких людей, как Светлооков, он определял, не рассуждая, одним инстинктом травленого зайца: она там проходит, эта граница, где ты не допускаешь их к себе в душу, не отвечаешь улыбкой на их улыбку.

— Что ж получается? — спросил майор. — Не найдем мы с тобой общего языка?

— Да разве же не нашли? — услышал он спокойный ответ.

Кровавоглазая ненависть выглядывала из кротких голубых глаз Шестерикова — та ненависть, что подкидывала к плечу обрезы и поднимала на вилы охочих до чужого хлеба и заставляла свое сжигать, чтоб не досталось грабителям, и которая была обратной стороной любви — к мягкой родящей земле, к растущему колосу, к покорной и доверчивой, словно бы понимающей свой долг скотине, ненависть человека, готового трудиться и поливать эту землю потом, чтоб накормить весь свет, и у которого не получается это, не дано ему, не нарежут ему земли вдоволь, потому что от этого странным образом разрушится весь порядок жизни, позволяющий такому

Светлоокову холить свое мурло, писать бумажки, годные на подтирку, и чувствовать себя поэтому хозяином.

— Не наш ты все-таки человек, Шестериков, — сказал майор, перестав улыбаться. — Или не совсем наш.

— Ваш, — возразил Шестериков. — Ваш совсем. Именно что — ваш.

В печали, с какой он это сказал, слышался человек беспачпортный, крепостной, не могший никогда наесться досыта, ухватившийся за соломинку и почувствовавший, что и ту из его рук выдирают.

— Я понимаю, — сказал майор, — откуда это у тебя.

— Чего «откуда»?

— Обида на нас. Можно сказать, классовая обида. Думаешь, перед тем, как с тобой встретиться для беседы, я тебя всего не изучил? Что тебе сказать? Попал ты под колесо истории. Может, и несправедливо: ты ведь в кулаках не числился, а в подкулачниках, а это же почти что середняк, только идеология сходная. И какой ты, к чертям, подкулачник! Подумаешь, две лошади, да корова, да землицы малость. Много тогда было дров наломано. Но ведь это же партия сама тогда признала. Ты же товарища Сталина читал — «Головокружение от успехов»?

«Она-то головокружение свое признала, только не вернула ничего», хотел сказать Шестериков. Но промолчал. Такие слова лучше было не говорить, даже и с глазу на глаз. И хотелось понять, куда теперь клонит майор Светлооков.

— Срежь-ка мне веточку, — попросил майор, доставая ножик.

— Зачем?

— Жал ко тебе?

— Да чо жалеть, — сказал Шестериков. — Когда уж столько загублено…

Однако с места не сдвинулся. Ради майора что-то не очень хотелось ему шевелиться, вставать.

— Ладно, — сказал майор, — я сам.

Он потянулся к ольховому кусту, срезал ветку с покрасневшей уже кожицей, ловкими взмахами ножика стал выделывать прутик.

— Хочешь, Шестериков, я тебе всю твою классовую глупость докажу. Сам удивишься, до чего ж мы дураки бываем. Ты на своего хозяина молишься, хотел бы на всю жизнь к нему прилепиться, разве не так? А это у тебя — то же самое головокружение. Ты же про него не знаешь ничего. Вот такие, как он, и наломали дров тогда. И продотрядами твой Фотий Иваныч командовал, и раскулачивал в двадцать девятом, и бунты подавлял, и целые села переселял в места отдаленные. Родитель

твой, по моим сведениям, коллективизации особо не противился, а то, глядишь, почувствовали бы вы руку Фотия Ивановича! Где-то он недалече от ваших мест шуровал. И такой был служака — родного брата не пожалел бы. Ну, а теперь, конечно, общее вас сплотило, война…

И Шестериков, с уныло сжавшимся сердцем, почувствовал, что вот это правда. Чем же еще и заниматься мог генерал между своими войнами, чем вся армия занималась, на чем тактику отрабатывала! Выплыл в памяти и такой странный их разговор за водочкой, когда генерал выспрашивал настойчиво: «А все же мужичок принял колхозы?» — «Как не принять, Фотий Иванович, ежели обрезов не хватило». И генерал, насупясь, не поднимая глаз на него, а глядя в стопку, сказал: «Ну, выпьем, чтоб в следующий раз — хватило…» Вот что за этим «выпьем», оказывается, стояло!.. «А все равно, — подумал Шестериков, майору этому не верь». Ведь сколько лет уже это в нем звучало, как заклинание: не верь им! Не верь им никогда. Не верь им ни ночью ни днем. Не верь ни зимою ни летом. Ни в дождь ни в ведро. Не верь и когда они правду говорят!

Он поглядел на майора с грустью, с невольно навернувшимися слезами и сказал дрогнувшим голосом:

— А вам-то — какое до этого дело?

Майор Светлооков, словно бы не вынеся ни этого взгляда, ни дрожи в голосе, резко поднялся и хлестнул себя прутиком по сапогу.

— Все, закрыли тему. Значит, договоримся: о беседе нашей никому. Вообще-то молодец ты, Шестериков. Тайны начальства хранить умеешь.

— Служу Советскому Союзу, — сказал Шестериков.

Майор, похлестывая себя прутиком, пошел впереди по тропке, но вдруг остановился с таинственным видом.

— Слушай-ка, Шестериков, ты в снах-то, наверно, разбираешься. Вот к чему бы это: всю ночку снится, что с бабой возишься, и вдруг не баба это оказывается, а мужик? Что бы это значило?

— Понятное дело, товарищ майор, — сказал Шестериков с ласковой улыбкой.

— Скажешь, поменьше про это думать надо?

— И вовсе даже другое. А просто — погода переменится.

— Что ты говоришь!

— А вот так.

Более майор не обернулся ни разу, и разошлись, друг на друга не взглянув.

И вот теперь, трясясь на заднем сиденье «виллиса»,

Шестериков заново перебирал весь тот разговор в леске. Он чувствовал: от той беседы что-то зависело, тайными ниточками была она связана с внезапным отъездом генерала из армии, — и он искал, в чем мог бы укорить себя. Что он упустил? Какую позицию сдал? Кого предал? И находил, где и в чем сплоховал он, — в том, что майор Светлооков просил об этой беседе никому не рассказывать, и он — не рассказал. А может быть, это было важно для генерала, может быть, и не состоялся бы тогда этот их отъезд? Но и рассказать же он не мог — пришлось бы тогда выкладывать все до конца, а он не мог бы видеть лица генерала, когда бы сообщил ему все, что узнал об его подвигах. О продотрядах, о двадцать девятом «переломном» годе, о замирении бунтов, о переселении целых сел в места отдаленные. Через это Шестериков переступить не мог — и сам же переломил соломинку, за которую уцепился.

А ведь и тут он правду сказал, майор Светлооков: давней, затаенной мечтой Шестерикова было — служить генералу и после войны. На это вдохновляли его и те, московские, планы насчет Апрелевки, где как-то само собою выходило, что без Шестерикова не обойдется, и письма генеральши, в которых Майя Афанасьевна упоминала в конце: «А еще передай привет своему верному оруженосцу, и пусть он тебя бережет. Ну, и себя, конечно…» В частых мечтаниях он представлял себе — вот закончатся бои, отгремят салюты, и генерал, прощаясь, спросит его: «Ну что, Шестериков, куда ж ты теперь, к себе под Пензу подашься?» — «Нет, Фотий Иванович. — Так заведено было, что ординарец, один из всей свиты, звал генерала по имени-отчеству. — Нет, не под Пензу». «А почему же? — спросит генерал. — Ты ведь пензенский, из тех мест». — «Родом-то я оттуда, да никого у нас там с женкой из родни не осталось. Мать с отцом до войны еще померли, вы помните, а братан с сорок первого вестей не подает, не знаю — жив он, не знаю — нет. Я уж как-нибудь… — Здесь наберет он в грудь воздуху и выдохнет шумно: — …при вас останусь. Такое у меня решение. Не знаю, как вы».

Весь разговор был давно отрепетирован вот до этого места. Но дальнейшее его течение раздваивалось. По первому варианту продолжения — генерал удивленно вскинет брови и скажет, руками разведя: «Как же это при мне, Шестериков? Ведь я на покой ухожу. — А и правда, он после этой войны в отставку собирался. — Мне прислугу держать — по штату не положено». И тут возразить будет нечего, генерал был большой хлебосол, но деньгам живым счет знал. Ну, а без денег, на один прокорм пойти — не солидно.

По второму же варианту, от которого душа у Шестерикова

замирала сладостно, генерал растроганно улыбнется, даже слезу смахнет и скажет: «Значит, решено не расставаться? Так, что ли, Шестериков?» — «Да уж, Фотий Иванович, такие мы с вами боевые кони». И на том их мужской разговор кончится.

Теперь же, с отъездом, оба варианта отпадали напрочь. Их разговор не имел никакого продолжения. То есть, конечно, он спросит, генерал, при расставании: «Куда ж ты теперь, Шестериков?» — но вот ответить ему: «Как-нибудь при вас» — нельзя, невозможно. Потому что он спросит уже насмешливо: «Как так — при мне? Меня, может, в тыл направят. И ты туда захотел?» И это будет ужасно, тем более напоследок. Таким генерал и запомнит его, так и рассказывать будет: «Солдатик мой, ординарец, просился со мною в тыл. Так уж ему хотелось в живых остаться». И не объяснил бы ему Шестериков, что выбрал бы и пекло, только бы — вместе.

С каждым часом пути все тоскливее и пустее становилось в его душе и все очевиднее, что лучшее в жизни отходило прочь, назад, к тому зверски морозному дню под Москвой, когда он нес котелок со щами для захворавшего старшины, и еще не окликнул его с крыльца — но вот сейчас окликнет! грозный человек в бекеше и с маузером в деревянной кобуре.

Глава третья.
КОМУ ПАМЯТЬ, КОМУ СЛАВА, КОМУ ТЁМНАЯ ВОДА…

1

Если для адъютанта Донского, если для водителя Сиротина и ординарца Шестерикова все то, что случилось с генералом, случилось бесповоротно, то для него самого как будто еще продолжалось подвластное ему действо, которое он мог вновь и вновь переигрывать, ища и находя более выигрышные ходы. Вероятно, он занимался самым бесполезным делом — планированием прошлого, но в генерале Кобрисове эта работа происходила помимо его воли, к тому же он вынужден был ею заниматься. Мало того, что с каждым часом он все больше отдалялся от армии, потеря которой означала для него потерю всего, что, как ему казалось, привязывало его к жизни, но ему еще предстояло держать ответ перед Ставкой, претерпеть унизительную процедуру, которой не он первый подвергался: в непринужденной беседе, где ему отводилась роль наглядного пособия при разборе оперативной ошибки, рассказать, ничего не утаивая и не ища оправданий, о своих промахах, после чего ему на них с торжеством укажут и вынесут вердикт, им же самим подготовленный и разжеванный: «Вот за это мы вас и снимаем».

Он живо, в режущих глаз подробностях, представлял себе огромный кабинет, обшитый дубовыми панелями, длинный стол под зеленым сукном и Верховного, неторопливо похаживающего по ковровой дорожке, посасывая мундштук погасшей трубки и время от времени перебивая общий разговор язвительной репликой. Что рассказать им всем, поворачивающим головы вслед за его похаживаниями, жаждущим хоть за минуту предугадать его решение?

Не начать ли с того, как в один из последних дней августа возник в окулярах стереотрубы огромный город на том берегу, весь в грудах кирпича и обломков железобетона, дымящиеся развалины проспекта, наклонно и косо выходившего к Днепру, и черный ангел с крестом на плече, высоко вознесшийся над зеленым холмом, над кущами парка? Вернее, это так выглядело, как будто ангел, устав нести к реке тяжелый крест, упер его в землю комлем и отдыхал, привалясь к нему и опустив голову.

Далеко позади него, в синеватой утренней дымке и не погасших дымах вчерашней бомбежки, посверкивали позолотою луковки звонницы и четырех боковых куполов и гигантский главный купол, с дырою от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри. Нет, никакой Бог не искривил пути снаряда, но прав оказался древний строитель, верно, наперед знавший, что всему преходящему, сколько б его ни настроили потом, суждено погибнуть, а это — останется. Казалось, один его белый храм и высился целый над морем каменного мусора. Этого не объяснишь бережностью артиллеристов или пилотов, фугасы — свои и чужие — ложатся одинаково густо по всем квадратам, а церквам еще достается особо за их удобство для наблюдателей, но — секрет ли тут каменной кладки или заговоренность, а только снаряды, попадая в стены, не рушат их, лишь отбивают углы да просверливают дыры. Вот это — интересно им будет послушать? Или тут же перебьют насмешливо? А еще можно упомянуть лепнину старинных домов, повисшую над пепелищем, обнажившиеся пролеты лестниц и внутренность бывших жилищ, и над всем господствующее траурное сочетание — малиновую красноту кирпича и чернь окалины и копоти. И нужно ли добавлять, как все виденное обжигало глаза и как звенели в ушах толчки сердца?

Не совладав с волнением, он покинул окопчик наблюдателей и пополз с биноклем к пустынному пляжу, где еще сохранились красные, голубые, желтые, зеленые кабинки и лежаки, а возле спасательной станции — лодки с растресканными бортами, полузасыпанные песком или наполовину в воде. Распластавшись, как большая жаба, он вбирал в окуляры и в глаза все бывшее перед ним — плесы, заводи, островки с зарослями камыша и осоки, всю широкую серебристо-чешуйчатую ленту Днепра и — на том его берегу — завалы из бревен и мешков с песком, стволы орудий и крупнокалиберных пулеметов, башни танков, обложенных кирпичом и булыжником.

Он смотрел на руины без той горечи, какую обычно предполагают и о какой принято говорить. Он не видел Предславля довоенного, существовал для него только этот, теперешний, — и волнение его было иного рода. Само необозримое нагромождение развалин говорило о величине города — наверное, самого большого из отданных немцам. О древности его он вычитал из армейской газетки, где бывший историк, а ныне военный корреспондент рассказывал, приводя цитаты из летописи — и, поди, наизусть шпарил, не таскал же он эту летопись в полевой сумке! — что город основали трое братьев — Кий, Хорив и Щек — и сестра их Предслава; в честь ее и назвали братья маленькое поселение, еще не ведая — или все-

таки предчувствуя? — что же из этого поселения вырастет. Было нечто трогательное и волнующее в том, что великий город сберег имя женщины, от которой не то что костей, а пыли, наверное, не осталось; слышалось в ее древнеславянском имени предвестие, предчувствие славы, и невольно думалось, что и его имя как-нибудь свяжется с этим городом; где-нибудь там, под завалами, лежит его улица или даже площадь его — и тем оправдано будет, искуплено все горестное, унизительное, страшное, что было в его жизни. Он чувствовал жар в лице, дрожь вспотевших ладоней, сжимавших бинокль, и страшился что-то спугнуть; казалось ему, кто-то уже подслушивает его мысль, угадывает его вожделение, родственное охотничьему азарту при виде добычи, слишком большой для одного, слишком соблазнительной, чтобы другие на нее не позарились. Или это было сродни жаркому томлению любовника, слышащего в темноте шелест сбрасываемых одежд.

— Это я возьму, — сказал он вслух. — Моя будешь, овладею!.. — И, спохватясь, что сглазит удачу, добавил: — А как бы, однако, не увели девушку.

Рядом засопел подползший Шестериков, чем-то недовольный. И генерал, отдавая ему на минутку бинокль, сказал — то ли ему, то ли самому себе:

— Теперь, Шестериков, мы себя вести должны, как вкусная дичь. Которая знает, что она — вкусная. Видал, как она ходит? Ножку переставит — и оглянется. Еще шажок сделает — и оглянется.

— Все правильно говорите, — отвечал Шестериков, припадая к биноклю. — А делаете все наоборот. Зачем для вас окопчик вырыли? Чтоб вы голову выставляли — прямо под снайпера?

— Брось, ни одна птица не долетит до середины Днепра!

— Насчет птицы спорить не буду, а пуля — очень даже перелетит.

— Ты смотришь или не смотришь?

— Смотрю. И хоть бы плащ-палатку подстелили. Застудите грудь, кашлять будете.

— Пошел назад, — сказал генерал, отнимая бинокль. — Карту сюда тащи, быстро! И карандаш с циркулем. И этот… как его?..

— Знаю, — сказал Шестериков, отползая ногами вперед. — Курвиметор.

Генерал, снова и снова впиваясь взглядом в ангела с крестом, в золотящийся под облаками купол, в предмостные укрепления, спрашивал себя, повезло ли ему, что вышел со своей армией напрямую к Предславлю. Кто не мечтал, кто не просил командование фронтом, не писал прошений в Ставку, чтоб

разрешили взять Предславль? Чем ближе к нему придвигался фронт, тем больше ощущал генерал Кобрисов как бы давление на фланги своей армии — так в тройке пристяжные жмут на коренника, заставляя его сместиться, и только оттого он не смещается, что каждая из них уравновешивает другую. Выпало ему оказаться этим коренником — и лишь затем выйти к великому Предславлю, чтоб любоваться им через реку и не мочь ничего. Форсировать реку на виду у города, да даже и на десять километров выше или ниже по течению — мысль эта, хоть и казавшаяся безумной, а все же мелькавшая, сменилась при близком рассмотрении досадой на глупые свои мечтания. Здесь он положит половину армии — и не захватит ни метра земли на том берегу, даже и на малом островке. Свой «Восточный вал» немцы готовили долго и тщательно, здесь каждая руина стала ДОТом, орудийной позицией, пулеметным гнездом, не говоря о плавучих минах, выставленных на якорях под самой поверхностью реки. Высаженный батальон — если чудо ему поможет высадиться, — любой «Юнкерс» погребет одной бомбой, не чересчур тяжелой, и для метания он зайдет так низко над улицей, что его не упредишь. Если б хоть он располагался в низине, трижды желанный и треклятый этот Предславль, но он стоял на господствующих высотах, как и подобало стоять великому русскому городу, и в том были и вся красота его, и неприступность!

Так вывела генерала Кобрисова его судьба, или его кривая, к самому Предславлю, чтоб стоять перед ним в готовности — на тот невероятный случай, если б фельдмаршалу Эриху фон Штайнеру, командующему группой армий «Украина», вздумалось переправиться обратно и запереть с востока взятый уже плацдарм у села Сибеж. Вся задача Кобрисова и была — пусть Ставка это вспомнит, учтет! — лишь подстраховывать левого своего соседа, 40-ю армию Терещенко, вышедшего не напрямую, а на восемьдесят километров ниже по течению. Там посчастливилось найти излучину Днепра, капризно вильнувшего к востоку лет с полмильона тому назад, чтобы теперь подарить Терещенке неоценимую возможность — заявить свои права и на первый плацдарм, и на самый Предславль тоже. Щедрость подарка была еще и в том, что на всем протяжении правый берег Днепра выше левого и открытый, а в излучине он такой же низкий, овражистый и лесистый, не надо карабкаться на кручи, ни ломать голову, как укрыть высаживающиеся войска. Она так соблазнительно выглядела, эта излучина, для присутствовавших на совещании у командующего фронтом Ватутина, в Доме культуры села Ольховатка, на нее безотрывно как завороженные смотрели и сам

Ватутин, и представитель Ставки маршал Жуков, и командующие четырех вышедших на Предславль армий — трех общевойсковых и 1-ой танковой Рыбко. Тыча без конца в эту излучину палкой вместо указки, Терещенко страстно доказывал, что она подарена нам как бы самим Богом, — аргумент, иной раз действующий на грамотное начальство неотразимо, если высказывать его напористо и с восторгом, как умел Терещенко. К главному аргументу удачно пристраивались и дополнительные — вроде того, что этот участок берега, благодаря той же излучине, обстреливается нами с трех сторон. Куда ни кинь, а другого варианта и быть не могло, как захватывать плацдарм у Сибежа и Предславль штурмовать — с юга.

Один изъян этого варианта виделся сразу: все то, что пришло в головы наступавшим, могло же прийти и немцам, именно генерал-фельдмаршалу Эриху фон Штайнеру. На это возражение, высказанное правым соседом Кобрисова, генерал-лейтенантом Чарновским, ответ у Терещенко был готов: «Что ж, если мы сами предвидим то, что противник может предвидеть, значит, кой-чему научились». — «Денис Трофимович, это не ответ! — кричал запальчиво Чарновский. — Одного предвидения мало, не худо бы и новинку применить, если фон Штайнер о тебе заранее побеспокоился…» Но с быстрой, хищной улыбкой Терещенко парировал: «Василь Данилыч, чего ему, фон Штайнеру, меня-то пугаться? Скорее он про Чарновского думает, больше наслышан…» И все присутствовавшие, тоже с улыбками, поглядели на Чарновского, молодого, красивого, удачливого, самолюбивого Чарновского, о котором не столько фон Штайнер, сколько весь фронт был наслышан, что он прямо-таки засыпал письмами Ставку: «Никогда ни о чем не просил, об одном прошу — разрешить мне взять Предславль». Обосновывал он свою просьбу тем, что родился близ этого города, здесь учился, вступил в комсомол, здесь женился, и первые годы его службы здесь прошли, за этот город он жизнь готов положить и т. п. Он-то и давил на Кобрисова, как пристяжная на коренника, иной раз смещая его боевые порядки, заходя «по ошибке» на его полосу наступления. Напомнив о зависти оппонента и тем смутив его, Терещенко добавил уже серьезно: «Хочу заверить — вполне отдаем себе отчет, кто такой фон Штайнер. Не раз встречались. В общем-то недурной вояка». Так сказано было о генерале, которого его немецкие коллеги называли «лучшим оперативным умом Германии» и который, будь у него не столько сил, как у Терещенко, а вполовину меньше, изметелил бы его за несколько часов. Впрочем, то был стиль не одного Терещенко, но установившийся уже во всей армии — говорить о противниках

этак по-солдатски насмешливо, и были они — недурной вояка фон Штайнер, что-то кумекающий Паулюс, не совсем идиот Мантейфель. Хорошим тоном сделалось «презрение к врагу» — за то, что у него меньше танков, меньше орудий, что он в невыгодном положении, а у нас, почитай, шести-, семикратный перевес, — и он еще «рыпается». Когда же этот ослабший недотепа вдруг резал по морде или уходил изящно от окружения, тогда он был «гад ползучий» и «сволочь редкая».

Однако же доводы Терещенко возымели действие, а возражения Чарновского, а за ним и Кобрисова едва ли приняты во внимание. Между тем Кобрисов высказал то, что не оставило бы камня на камне от этих доводов. Каким огнем обстреливался с трех сторон предполагаемый плацдарм? Если ружейно-пулеметным, тогда, разумеется, три стороны предпочтительнее; для дальнобойной же артиллерии это безразлично — и стало быть, сибежская излучина не представляла особенного удобства в сравнении с любым другим участком реки, хоть прямым, хоть выгнутым наоборот, к западу. Далее, местности лесистой и овражистой легче укрыться, но куда труднее передвигаться; чем окажутся там, как не обузой бесполезной танки и бронетранспортеры, самоходные и возимые орудия? В полную силу можно задействовать лишь пехоту, но и ту — не в наступлении. Казалось, и Жуков, и Ватутин к этому прислушались, и однако ж Терещенко поглядывал на всех с победной ухмылкой, словно наперед зная, какое будет решение. Да и все знали самый главный его аргумент, не высказанный: этот кусок Правобережья можно быстрей захватить — и значит, много раньше доложить Верховному о форсировании Днепра. Этого жаждали с такой силой, что никакие возражения не могли перевесить, могли быть объяснены — и не без оснований — завистью к Терещенко, завоевавшему уже летучее прозвище — «командарм наступления».

«Сколько же нужно положить за такое прозвище? Тысяч сорок, не меньше?» — спрашивал себя Кобрисов, вглядываясь в худенькое, востроносое, всегда обиженное лицо Терещенко, в худенькую быструю фигурку, стянутую, точно спеленатую, узким кителем. Из всех генеральских доблестей славился он, несомненно, одной — неукротимой энергией, то есть умением бестрепетно гнать в бой мужчин помоложе себя и держать армию в руках, без промаха и с одного удара острым своим кулачком разбивая носы и губы подчиненным или колотя их по головам суковатой палкой. На укоры Ватутина он отвечал: «Я себя не щажу и других право имею не щадить». О том, как не щадит он других, свидетельствовали потери его армии, самые большие во

всем Первом Украинском фронте; о том, как не щадит себя командующий, говорила повсюду разносимая легенда, что спит он четыре часа, печась об армии и «всесторонне пополняя свое образование», которое он считал недостаточным, а потому заваливал политуправление фронта приглашениями московским ансамблям и списками заказанных лично для него книг. Были тут Клаузевиц и Шекспир, фон Шлиффен и Тургенев, оба Мольтке и Горький; славные эти имена, однако ж, не расходились с палкой и кулачком, ни с плевками в лицо. И летучее прозвище «командарм наступления» — кажется, им же и придуманное, — тоже помогало делу: кто б еще мог так смело запросить по пятнадцать, по двадцать тысяч пополнения — и кому б еще их дали так безотказно? И, наконец, кому б еще так легко простилось, когда Сибежский плацдарм оказался-таки ловушкой, старательно уготованной фон Штайнером, когда вся техника и впрямь увязла в лесах и оврагах, которые все наполнялись гниющими телами, а наступление никак не могло начаться? Ловушкою оказалось и все совещание в Ольховатке, где все коллеги Терещенко, не воспротивясь ему, взяли и на себя ответственность. Ловушкой оказался и доклад Верховному, тут же переменившему сроки взятия Предславля: не «до зимы», а теперь уже точно к празднику 7-го ноября. Сам же Терещенко не проиграл нисколько: не хватило сил заглотать, но уже за то, что укусил, он сделался генерал-полковником, и, провозись он теперь в Сибеже хоть полгода, в генерал-лейтенанты его уже не вернут. И странное дело, чем полней выявлялись все предвиденные опасности Сибежского плацдарма, тем горячее отстаивали этот вариант и тем больше посылалось туда, в ненасытную эту прорву, людей и техники. Почему-то так складывалось, что уже весь фронт обязан был работать на одного Терещенко, и когда очевидно стало всем и сам он перестал сомневаться, что одной его армии в Сибеже не управиться, ее не вытянули оттуда, но бросили ей в подмогу еще соседнюю 27-ю генерала Омельченко, а следом и почти всю танковую Рыбко. А Терещенко и здесь не сник, но с той же энергией выторговывал загодя, чтоб считалось, что главный удар по Предславлю наносит его армия, а обе другие будут вспомогательные. И похоже, вводилась единственно теперь спасительная тактика, которую Кобрисов про себя называл «русской четырехслойной»: три слоя ложатся и заполняют неровности земной коры, четвертый — ползет по ним к победе. Вступало и обычное соображение, что раз уже столько потрачено сил, то отступить никак невозможно, и может случиться, «вырвет победу последний брошенный батальон», — то самое соображение, которое погубило немцев в Сталинграде.

Что же до армии Кобрисова, пока не задействованной, он все чаще подумывал с беспокойством, что и от нее рано или поздно станут отрывать куски для той же ненасытной прорвы. И ту мысль, которая пришла ему в голову, когда он смотрел на черного ангела с крестом и на купол собора, сиявший чуть потускневшей или просто закопченной позолотой, следовало продумать и провести в дело как можно скорее. Эта мысль пришла к нему не сразу. Как ни странно, мысли предельно простые приходят к нам позднее, нежели сложные и громоздкие. Он объезжал накануне свои войска севернее Предславля — так назывался предлог поохотиться в днепровских плавнях, отдохнуть от суеты, остаться на несколько часов наедине с собою. Был канун сентября, и сентябрь чувствовал он в душе, которой уже год как минуло полвека, близился конец полноценной мужской поре, тот переклон холма, за которым уже только спуск. Он так остро ощущал подкравшуюся осень, с такой грустью различал ее начало в зеленой еще листве, в ярко синеющем небе, что даже подумалось: может быть, эта охота в его жизни — последняя?

Лучше не ждать, когда ослабнет зрение и уйдет твердость руки, а бросить сразу, чтоб не причинять Божьей твари лишнего страдания. Охота вышла неудачная — он подстрелил утку, но она, уже с зарядом дроби в теле, крича жалобно и печально, сделала еще несколько взмахов пробитыми крыльями и приводнилась далеко от берега. К ней не подобраться было и в болотных сапогах, и не было собаки сплавать за нею, да он бы, пожалуй, и не пустил собаку под пулю немецкого снайпера. Расстроившись, он уже больше не стрелял, но, может быть, тогда и пришла к нему эта мысль, когда, осторожно раздвинув камыши и глядя с досадой на умирающую утку, относимую течением, он взглянул поверх нее. Далекий и зловещий в своей тишине, тот берег нависал над узкой песчаной полосою, как геологический разрез, и был усеян черными оспинами стрижиных гнезд. На этих кручах не то что зацепиться, не на чем было и задержаться глазу, одни лысые холмы, тянувшиеся, быть может, на сотни верст, лишь кое-где изморщиненные расселинами, — из них в любую минуту могли ударить пулеметы. Они, однако, не ударили. Осмелев, он стоял совсем на виду, по колено в воде, и вдруг понял, что не так расселины придают тому берегу вид неприступности, как его нагота.

Нет, эта мысль еще не тогда зародилась в нем, он еще не почувствовал гулкие удары сердца, как в те минуты, когда увидел тот берег действительно неприступным, ощетинившимся тысячами дул предмостных укреплений. Понадобилось сначала увидеть его пустым, а затем укрепленным и мысленно убрать эти

укрепления, чтоб сердце вдруг застучало гулко и часто. Может быть, та напрасная утка, медленно уплывавшая, маячила в его памяти, когда он сказал себе: «Это я возьму!» — а Шестерикову сказал: «Мы должны себя вести, как вкусная дичь…»

Шестериков снова приполз — с картой и принадлежностями, но прежде заставил его перевалиться на расстеленную плащ-палатку. Всему, что ни делал с ним настырный Шестериков, генерал уже подчинялся безропотно, зная, что это будет разумно и правильно, а главное — что от него все равно не отделаешься, покуда он своего не добьется. Вот и под карту он догадался подложить твердое — крышку от ящика батарейного питания рации. Предславль на этой карте был обозначен, как и любой крупнейший населенный пункт — четырьмя неровными заштрихованными четырехугольниками, как бы «кварталами», разделенными белым крестом «проспектов», Сибеж — обозначался кружком с точкой. Генерал Кобрисов, с явственной дрожью в пальцах, вонзил иголку циркуля в белое перекрестье и стал раздвигать лапки, покуда вторая, с грифелем, не попала в точку кружка, обозначавшего Сибеж, а затем, сделавши полуоборот, тем же раздвигом циркуля перелетел над синей извивающейся ниткой водной преграды «р. Днепр», в северной ее части. И грифельная лапка попала в такой же точно кружок, в центральную его точку. Убрав руку, он прочитал название «Мырятин».

Оно ничего не говорило ему, кроме того, что называвшийся так населенный пункт находился на таком же расстоянии к северу от Предславля, что и Сибеж к югу. Пройдясь по извивам «р. Днепра» колесиком курвиметра, он получил результат почти такой же. Те же восемьдесят километров. Но то, что лапка воткнулась в самый центр кружка, показалось знаменательным. Сама судьба или Бог, как ни назови, подтвердили его решение. Но ведь и фаталист, бросающийся навстречу предзнаменованию, не только удачу предчувствует, но ощущает и холод в груди, страх неизвестности. Что-то в эту минуту сказало Кобрисову, что с этим безвестным Мырятином свяжется, быть может, и самое славное в его жизни, и самое страшное, не исключая и смерти. Он даже подумал, не свою ли могилу мы намечаем, когда кажется, что нашли искомую цель. Это двойственное ощущение — и захватывающее, и пугающее — продлилось недолго и вскоре погасло, почти забылось. И он прогудел дурашливым голосом:

Ты, подружка моя Тося,
Я тебе советую:
Никому ты не давай,

Шестериков, оторвавшись от бинокля, поглядел на него подозрительно.

— Ты все понял, Шестериков? — спросил генерал, проделывая снова операцию с циркулем.

— Ну, может, все-таки в окопчик сползем? — сказал Шестериков. — А то веселых-то чаще всего подстреливают.

— Какой окопчик! — вскричал генерал. — Нам только сейчас рассиживать! Дуем к машине скорей. Танки надо спасать, таночки! Пока этот злыдень, Терещенко, из-под носа не увел.

Как поздно он пришел к своему решению! Если б тогда он его высказал, в Ольховатке, — может быть, те, полегшие гнить по оврагам, остались бы живы? Нет, едва ли, они обречены были — своей гибелью доказать всю бесплодность затеи с Сибежским плацдармом. И они же, парадоксальным образом, укрепили «командарма наступления» — все только и заняты были, как ему помочь выбраться из авантюры, куда он и других втянул. Он и до этого, непонятно чем расположив к себе Ватутина, а через него и Жукова, брал от соседей, что хотел, — артиллерийские и минометные полки, танковые дивизионы и бригады — и возвращал потрепанные, поредевшие, до того измотанные, что их прежде всего следовало отправить в тыл на отдых и пополнить. Терещенко же, отдавая, и не думал их пополнять, все полагающиеся им пополнения он оставлял себе. В той же Ольховатке, когда уже все решилось с плацдармом и рассаживались по машинам, он громко, при всех, спросил Кобрисова — может быть, и в шутку, но шутку малоприятную:

— Ты бы мне, Фотий Иваныч, не одолжил дивизиюшку? Все равно они у тебя не задействованы.

— А какую б ты, Денис Трофимыч, дивизиюшку хотел? — спросил Кобрисов под общий добродушный смех. — Небось приглядел уже?

— Шестая гвардейская у тебя хороша.

— Что ж мелочиться? — сказал Кобрисов, отъезжая. — Ты бы уж всю армию у меня прихватил. Я с одним обозом повоюю.

А между тем перспектива с одним обозом и остаться не так уж далека была. Спешить надо было, спешить, ничего не отдать сейчас. И в особенности танки.

К вечеру сложился в голове предстоящий разговор с Ватутиным, но лишь глубоко за полночь адъютанту Донскому удалось соединиться с командующим фронтом, когда тот вернулся к себе в Ольховатку с Сибежского плацдарма.

Звонить же Ватутину на плацдарм, где он мог быть с Жуковым и Терещенко, разумеется, не следовало.

— Николай Федорович, — спросил Кобрисов тотчас после приветствия, карта перед вами?

— Ну, слушаю тебя, — Ватутин отвечал уставшим голосом и слегка недовольно. Карты перед ним, по-видимому, не было, но старый штабист, конечно, держал ее в памяти, со всеми населенными пунктами и расстояниями между ними.

— Там этот Мырятин видите? В семидесяти километрах севернее…

— В восьмидесяти, — сказал Ватутин. — Ну? Там же как будто Чарновский стоит.

Карты, значит, перед ним не было. Конфигурацию фронта он помнил, но не со всеми же стыками флангов.

— Еще не Чарновский. Еще я стою. Самым краешком правого фланга. Так вот, напротив этого Мырятина… Он там от берега километрах в десяти, что ли…

Кобрисов сделал паузу, чтоб вынудить Ватутина самому произнести:

— Хочешь взять плацдарм?

— Просил бы вашего разрешения. — Кобрисов почти видел, как его собеседник, озадаченный вопросом, расстегивает воротник, всегда теснивший ему короткую шею. — Николай Федорович, я же фактически бездельничаю. Зачем я против Предславля стою, как жених перед невестой? Да еще к присутствии родителей. Да еще — перед чужой.

Это, он знал, заставит Ватутина возразить, еще не закончив обдумывания.

— Как это — «перед чужой»? Невеста у нас — общая.

— А так бывает? — спросил Кобрисов улыбчивым голосом, но Ватутин шутку не подхватил.

— Ты не бездействуешь, Фотий Иваныч. Ты знаешь, зачем ты там стоишь. Если фон Штайнер затеет обратно Днепр пересечь да зайдет с востока на Сибеж…

— Не пересечет он. Такие фортеля Гудериан проделывал в сорок первом, а нынче бы и он не решился. Силы не те. Ведь он, фон Штайнер то есть, считайте, половину своих войск перед Сибежем держит.

Это был подготовленный реверанс Ватутину — что излюбленный им Сибежский плацдарм столько на себя отвлекает. На самом же деле фон Штайнер бросил туда одну дивизию — правда, не обычную полевую, а дивизию СС «Райх», численностью в сорок тысяч и усиленную шестью сотнями танков, которую можно было считать маленькой армией, — и все же только она

одна противостояла трем армиям советским. Но Ватутин не стал возражать, что не половину, а самое большее треть сил фон Штайнера связал Сибеж. Кобрисов ему загородил все возражения стеною лести, оставив в ней одну открытую дверцу — Мырятин.

— Что ж, Фотий Иваныч, оно не худо этот Мырятин иметь. Как дополнительный плацдарм, с угрозой Предславлю. Отнюдь не помешает. Но там же пустыня, берег лысый. Ты это учел? Ты же там, как слеза на реснице Аллаха, стряхнуть тебя с кручи — плевое дело.

— А вдруг не стряхнут? Вот вы же не ожидали, что я этот плацдарм попрошу. Тем более, может, и фон Штайнер не ожидает?

— Льстишь, — сказал Ватутин насмешливо. Но против еще одного реверанса тоже не возразил. — Ну, что ж, дерзай… А почему против Мырятина? Какой ни есть городишко, а подступы укреплены. Почему не севернее? Не южнее?

— А чтобы он думал, что я у него этот Мырятин хочу оттяпать.

Кобрисов держал в голове: «Чтобы вы все думали…»

— Резонно, — сказал Ватутин. — А ты его брать не намерен?

Кобрисов отвечал уклончиво:

— Я б не отказался. Да кто ж мне его задаром отдаст? — И, выдержав паузу, добавил: — Николай Федорович, я не брал городов, которые потом отдавать приходилось.

— Я это помню, — сказал Ватутин. — И ценю.

«Если бы так!» — подумал Кобрисов. Потому что больше ценили Терещенко, который всегда «замахивался по-крупному», как говорилось всем в назидание, который поспешил взять Харьков, чтобы вскоре же его отдать — не возвратив, разумеется, награды, полученной за взятие. Кобрисову же доставалось брать Обоянь или Сумы, те малые городки, которые никого особенно не обрадуют, не слишком прогремят в приказе Верховного, но о которых никто не услышит, что пришлось их оставить. Он был из «негромких командармов», кого мог отметить лишь проницательный глаз, умеющий читать скупые строчки: войскам генерала N «удалось продвинуться на 12 км… Удалось закрепиться…»

— При случае — возьму, — сказал Кобрисов, никак не намереваясь этого делать.

— Хорошо, Фотий Иваныч. Думай сам, по обстоятельствам. Я почему спросил — как бы не пришлось тебе слишком потратиться на этот Мырятин. Мы же главным делом о Предславле думаем — ну, и на твои силы тоже рассчитываем.

— Останется моих сил достаточно. Да я вот свою артиллерию

— тяжелую, гаубичную — на этом берегу оставляю. Будет из-за Днепра дуэль вести через наши головы.

— Ты уже себя за Днепром чувствуешь? — усмехнулся Ватутин.

— Честно скажу вам, Николай Федорович, — как бы приоткрыл свои карты Кобрисов, — я на ваше разрешение уже так настроился, что мой седьмой кавкорпус уже на подходе к переправе. И сам я одной ногой там, хоть через час отбуду…

— А если б я не разрешил?

— А почему б вы не разрешили?

Ватутин помолчал и спросил:

— Ладно. А как насчет танков?

Вот для этого-то вопроса — о танках, о шестидесяти четырех возлюбленных его «коробочках», «примусах», «керосинках», «тарахтелках», — и готовился весь разговор, и ответ на него был приготовлен — с долгим тягостным вдохом:

— Эхе-хе, танки… Я так думаю, они вам на Сибеже больше понадобятся.

— Что-то слишком ты добрый. Неужели от души оторвешь для Терещенки?

— Да ведь все равно отберете, — сказал Кобрисов безнадежно.

— Пока не отбираем…

— Отберете, наперед знаю. Я ведь для некоторых — копилка резервов. Как что, так: «Дай, Кобрисов, твоих таночков на недельку. Что там у тебя еще хорошенького есть?..»

— Возможно, что так оно и будет, — перебил Ватутин. — Но пока, я считаю, танков у Терещенко достаточно.

— Живут же люди! Танков у них достаточно! Николай Федорович, чего и когда на войне хватает? Только того, что применить нельзя.

На этот выпад — против Терещенко и всех, кто его поддерживал, — Ватутин отвечать не стал. Вместе с тем Кобрисов так настойчиво и с такой безнадежной печалью прямо-таки навязывал свои танки, которые на Сибеже применить нельзя, что уже невозможно было не отказаться от них наотрез:

— Я сказал: пока что они твои.

— Посоветуете их тоже переправить? — спросил Кобрисов с невинной ноткой готовности.

— Фотий Иваныч, ты мне только что про этот Мырятин сказал, и уже тебе советы подавай. Завтра обратись. Я подумаю. Может, еще какие соображения появятся. Желаю тебе успеха.

Легким раздражением в голосе он давал понять, что испрашивать советов это уже лишнее. Не надо переигрывать. И не

надо забывать: от подчиненного всегда предпочитают услышать готовое решение. Стало быть, главное указание, которого и добивался Кобрисов, он получил: не надоедать начальству. А что станет говорить начальство на следующий день, когда все произойдет по его раскладке, это он мог легко себе представить. И, зная хоть в малой степени участников разговора, был он не так уж далек от истины…

…В глубоком, под семью накатами бревен, штабном блиндаже на Сибежском плацдарме прогудел зуммер, и оперативный дежурный по штабу фронта доложил, что подвижные соединения 38-й армии генерал-лейтенанта Кобрисова производят скрытую рокировку в направлении — Мырятин. Сам командующий также отбыл к месту будущей дислокации. Три славнейших полководца — маршал Жуков, генерал армии Ватутин, генерал-полковник Терещенко — при этом известии подняли головы от карты.

— Чего это он? — спросил Терещенко. — Неужто плацдарм задумал взять?

— Просил разрешения, — сказал Ватутин. — Обосновал убедительно, я отказать не счел нужным.

— Но это же несерьезно, Николай Федорович! Да его же там за тридцать верст видно, как на ладони. Его же оттуда веником сметут. Обычная Фотиева дурь!

Однако Жуков, поглаживавший в раздумье свой массивный подбородок, вдруг быстро притянул карту за угол к себе и впился в нее цепким всеобнимающим взглядом.

— Не скажи, Денис Трофимыч, — возразил он, усмехаясь. — На войне многие большие дела начинаются несерьезно.

— А танки? — спохватился Терещенко. — Тоже он их на плацдарм перетащит? Зачем они ему — на голых-то кручах? Они нам тут нужнее.

И Ватутин не мог не вспомнить с досадой, как ему Кобрисов сам же предлагал свои танки для Сибежа, буквально их навязывал, а он — отказался. Но признать себя так легко обведенным вокруг пальца — при том, что он же сказал: «еще подумаю»! — Ватутин тоже не мог. И он приказал оперативному дежурному выяснить немедленно, где в настоящий момент находится танковый полк 38-й армии. Не более чем через десять минут оперативный дежурный позвонил снова и сообщил, что танковая походная колонна находится где-то в пути, движется предположительно в направлении — Мырятин.

— Что значит «где-то»? Что значит «предположительно»? — вскричал Терещенко обиженным петушиным тенорком, еле не выхватывая у Ватутина трубку. — Пусть запросит командира

полка, где он находится!

Оказалось, командира уже пытались запросить, но, видимо, ему запрещено откликаться на запросы некодированные. Как, впрочем, и всегда это полагается на походе.

— Но сам-то генерал Кобрисов, — спросил Ватутин, — может связаться с полком? Какой-то же шифр у них установлен?

Оперативный дежурный позвонил еще через десять минут и сообщил сведения еще более удивительные. Генерал Кобрисов связаться со своими танками не может и даже не знает, каким путем они идут к Мырятину. Выбор пути предоставлен на усмотрение командира полка. Танковые рации опечатаны и не работают даже на прием — во избежание провокационных приказов со стороны противника.

— Ну, Фотий!.. — вскричал Терещенко с некоторым даже восхищением. — Ну, артист! Сам у себя танки украл — только б соседям не отдать. Видали жмота, бандюгу?

Ватутин только вздохнул безнадежно. А Жуков, все так же усмехаясь, подмигнул Терещенко.

— А что делать, если соседи — такие же?

И все же, если исключить вопрос о танках, сообщение оперативного дежурного по штабу фронта не произвело на всех троих полководцев слишком сильного впечатления. Это был второй захват земли на Правобережье, который, конечно, должен был отвлечь на себя какие-то силы фон Штайнера, однако не столь значительные, чтоб сибежская излучина утратила свое значение главного исходного пункта для броска на Предславль.

В планы генерала Кобрисова это именно и входило.

2

Навстречу шли «студебеккеры», крытые брезентом, и на буксире тащили пушки с зачехленными дулами. На крутом закруглении шоссе водители весело орали «виллису»: «От ствола!» — и поспешно козыряли, разглядев генеральский погон. Под брезентом сидели солдаты в касках, держа оружие между колен. Они смотрели назад — и видели край неподвижного серого неба и землю, стремительно убегавшую от них.

Это были еще не обстрелянные солдаты и новенькие машины и 122-миллиметровые пушки, и генерал не мог не думать, что станется с ними там, на Мырятинском плацдарме. В его представлении все, что ни двигалось навстречу, направлялось, конечно же, на его плацдарм. Уже две понтонные переправы были наведены через Днепр, севернее и южнее Мырятина, и к двум

этим ниточкам стекалась река людей и техники. Подняться б ему на самолете, он бы увидел эту реку — шириною километров в тридцать: по дорогам и без дорог, полями и лесными просеками двигались колонны танков, самоходок, грузовики с пехотой, тянулись конные обозы с дымящими кухнями, санитарные автобусы и легковушки с той публикой, которая так охотно заполняет зону второго эшелона, когда передний край отодвинулся достаточно и не грозит подвинуться вспять.

Глупее и обиднее было не придумать: генерал Кобрисов оставил свою армию, он с каждой минутой все больше от нее отдалялся, с каждым оборотом колеса, и ни один человек в этой лавине войск, стронувшейся с мест и потекшей к Мырятину именно по его замыслу и воле, не мог бы о том догадаться, а мог лишь подивиться, отчего одинокий «виллис» так упрямо пробивается на восток, когда все движется, валит, течет — на запад. Он с этим еще не смирился и мысленно, не имея сил на что-то другое переключиться, продолжал командовать своей армией и втекающими в нее пополнениями, распределял войска, указывал им колонные пути движения, перемещал с пассивных участков на участки угрожаемые, намечал для артиллерии секторы обстрела и режимы огня — словом, проделывал ту работу, которую армия, с ее большими и малыми начальниками, могла бы, казалось, совершать и без него, а на самом деле, он твердо верил, никогда не совершает, как бы ни была сильна и опытна, но всегда питается от аккумулятора, который зовется командующим, движется его энергией, его нервами и бессонницей, его способностью вникнуть во всякую мелочь.

После звонка Ватутину и его разрешения занять плацдарм началось сколачивание переправочного парка, и прихлынули сведения, что вот у станции Торопиловка имеются у местных жителей полсотни деревянных лодок и штук тридцать резиновых «надувнушек», и еще партизаны обещали пригнать двести рыбачьих баркасов, а некий старик-рыболов принес удивительную весть, что на дне, близ берега, покоятся несколько танковых паромов, затопленных еще в сентябре сорок первого, которые можно поднять, залатать, оживить движки. И вот саперы, заголясь до кальсон, ныряют и привязывают к ним тросы, а потом их выволакивают машинами — полуторками и трехтонками, от которых шума поменьше, чем от гусеничных тягачей, — вот и об этом надо же напомнить, распорядиться, и чтоб сварщики латали их днем, упаси Бог ночью, когда за три версты видно прерывистое зарево дуги. Это потом прибудут понтонные полки и понтонеры наведут свою переправу — не прежде, чем хотя бы трем батальонам удастся закрепиться, переправившись на лодках, на

плотах, на бревнах, на бочках, обвязанных веревками, на пляжных лежаках и садовых скамейках.

А еще до тех батальонов малой группке — двадцати одному человеку в четырех лодках — предстояло скрытно, во тьме, высадиться на узкой полоске берега под кручей и, разведав, где находятся (и находятся ли?) немецкие позиции, подать сигнал. В эту группку — «штурмовую», или «группу захвата», подбирались люди, умеющие грести без плеска, способные не закричать от боли ранения, а коли тонуть придется — не звать на помощь; ее, если можно было, оказывали только безгласному, закричавший мог схлопотать удар веслом по голове. Этих «штурмовиков», или «захватчиков», напутствовал по традиции сам командующий, и составился уже обряд такого напутствия: их выстраивали перед шлагбаумом штабной деревни, он к ним выходил с начальником политотдела, с ними вместе выслушивал его призывы любить родину беззаветно, не щадя своей крови и самой жизни, затем обходил строй, самолично проверяя снаряжение, каждому пожимая руку, и предлагал напоследок: если кто в себе не уверен, пусть сделает два шага вперед. Это говорилось для украшения обряда; никто, разумеется, из строя не выходил: одни — потому что вошли уже во вкус и жаждали новых наград или 10-дневного отпуска, другие — были штрафники «до первой крови», а в таких случаях кровь им засчитывалась и когда не бывала пролита, третьи — этих «шагов позора» страшились больше самого задания.

В этот раз генерал Кобрисов от традиции уклонился — процедура вдруг показалась ему фальшивой и ненужной, только напрасно взвинчивающей людям и без того напряженные нервы, и он это испытывал на себе, чувствуя невнятный страх перед чем-то, связанным с этим Мырятином, — вместо построений и напутствий он позволил людям поспать лишний час после ужина или написать прощальные письма, в которых они всегда писали о себе в прошедшем времени: «Дорогие мои, помните, я был веселый, любил друзей и жизнь…» Поговорить он пожелал лишь с командиром группы, лейтенантом Нефедовым, и пригласил его к себе. Шестериков подал ужин на двоих, выставил фляжку водки и удалился в другую комнату, к телефонам. Еще четыре фляжки были положены Нефедову в мешок для всей группы.

— Нефедов, — сказал генерал, когда выпили по первой с топке, — ты сейчас главный человек в армии. Не я, а ты. Вся армия на тебя смотрит.

Нефедов, опустив глаза, сказал смущенно:

— Постараюсь оправдать…

— Повтори мне, пожалуйста, что ты должен сделать. Только

ты — ешь. Ешь и рассказывай.

Он внимательно смотрел, как 19-летний мужчина, с худым, большеротым лицом, с пробором в светлых волосах, непослушными от смущения руками режет мясо на фаянсовой тарелке, скрежеща по ней ножом.

Нефедов, как об уже состоявшемся, рассказал, что он бесшумно преодолеет водную преграду (он так и назвал Днепр «водной преградой»), — затем, высадясь на плесе, пошлет троих в разные стороны на кручу — разведать, на каком расстоянии от уреза воды (он так и сказал: «от уреза воды») находятся немецкие окопы или иной опорный пункт; по возвращении всех троих подаст сигнал фонарем: если все спокойно — длинными проблесками три раза, при опасности — серией коротких. Рацию — применит в случае окружения. Тогда, по-видимому, скорректирует огонь на себя.

— С лодками как поступишь? — спросил генерал. — Притопишь? Или песком засыплешь?

Нефедов быстро, по-птичьи, повернул к нему голову и ответил, глядя в глаза:

— Отошлю назад. Хотя мне каждый человек там нужен.

Это означало — он себе отрежет пути бегства. И предчувствие, что с этим юношей что-то плохое должно произойти, — предчувствие, впрочем, обычное для таких случаев, — пронзило генерала щемящей жалостью. Он подумал, что стареет и что нельзя ему поддаваться чувству, неуместному и не ко времени.

— Минус четверо, — сказал генерал. — Останется вас семнадцать.

— Девятнадцать, товарищ командующий. Лодки свяжем все вместе, хватит и двоих гребцов.

— А выгребут поперек течения?

— Назад — выгребут. Я бы и одного послал, но вдруг с ним что случится и пропали лодки.

— Что ты о лодках беспокоишься! Мы без них обойдемся.

Нефедов опять поглядел ему в глаза.

— Не в этом дело, товарищ командующий. Нам эти лодки там — не нужны.

Да, он так и хотел — отрезать себе пути бегства.

— Заместителя себе назначил? — спросил генерал, наливая по второй.

— Так точно… Конечно, товарищ командующий. Старший сержант Князев меня заменит. Я его проинструктировал.

— Ну… Дай Бог, чтоб не пришлось ему… тебя заменить. Давай за это.

Нефедов молча с ним чокнулся и подождал, покуда генерал пригубит первым.

— Лейтенант Нефедов, — сказал генерал, чувствуя прихлынувшую расслабленность, доброту, — возьми мне этот плацдарм. Очень тебя прошу. Ты, брат, не знаешь, что это для меня значит. И не надо тебе это знать. Думай обо всей армии. Как зацепишься, проси любой поддержки — артиллерией, авиацией. Найдешь нужным — батальон тебе в подмогу пошлю. Считай, что ты уже представлен на Героя Советского Союза. И еще четверо, кого ты сам назовешь. Остальные — все — к «Красному Знамени». Только постарайся, милый. В случае чего — ты знаешь, как меня вызвать по рации. Обращайся только к Кирееву. Это я буду Киреев. Так и требуй: «Киреева мне!»

Было что-то и впрямь неуместное, фальшивое в том, чего и как он просил у юноши, которому предстояло проплыть тысячу двести метров холодной быстрой реки, рискуя вызвать при всплеске сумасшедший сноп немецких осветительных ракет, и потом, на полоске берега, умирать от страха перед засадой, перед автоматной очередью, от которой не спрячешься под кручей, — тогда как он сам останется в чистой, покойной избе, где свет и тепло, и на столе ужин с водкой, и куда вскоре придет к нему та, которую он так напряженно ждет и о ком Нефедов наверняка знает, наслышан. Словно бы тоже чувствуя фальшь и его неловкость от сказанного, Нефедов ответил смущенно, не поднимая взгляда:

— Товарищ командующий, я все сделаю для Киреева…

Казалось, ему теперь хотелось бы уйти, побыть одному, только он не решается отпроситься. И генерал раздумывал, сказать ли ему про то, что оправдывало бы его самого, посылающего людей на гибель. Сказать или не сказать, что он сам переправится если не с первой ротой, так с первым батальоном? Он не помнил, когда пришло решение, — может быть, когда разглядывал в окуляры стереотрубы черного ангела с крестом и вдруг почувствовал, что перед ним, возможно, осуществление самой большой из его надежд? Или когда лапка циркуля ткнулась в сердцевину кружка и он сам ощутил еле слышный укол в сердце, как будто кто-то свыше дал ему знать, что с этим Мырятином свяжется для него, может быть, самое страшное? И может быть, наперекор этому страху он и решил включить в план операции свою гибель — как возможный или даже неизбежный ее эпизод. Скорее всего, им двигало суеверие, которое, он знал, противоположно вере, но голос, явственно прозвучавший в нем, обращался к Тому, о Ком до этого он не так часто задумывался всерьез: «Возьми тогда и меня, если не дашь мне удачи. Я сделаю

так, я под такой огонь себя подставлю, что Ты не сможешь меня не взять. Дай мне только доплыть. А живым меня с этого плацдарма не сбросит никакая сила!»

Вот что пришлось бы тогда рассказать юноше, который, наверное, счел бы это бреднями опьяненного мозга. Поэтому генерал сказал лишь:

— Чего мы еще с тобой не учли, Нефедов?

И тот откликнулся словно бы с облегчением:

— Товарищ командующий, в двух лодках мы кабель должны тащить для артиллерии. Но что это за кабель, вы бы видели! На нем живого места нет, сплошные обрывы. Кое-как они срощены, но не опаяны, изоляция прогнила. Ребята его обматывали газетами, промасленными тряпками, потом изоленты намотали, но мы ж его не посуху разматывать будем, а по дну. Суток трое он прослужит, а потом замкнет.

Генерал почувствовал, как его лицо и шея наливаются кровью стыда и гнева — на лоботряса, ледащую сволочь, которая так распорядилась, чтоб эти парни, которых завтра, может быть, на свете не станет, еще бы и мучились сегодня, латая и укладывая заведомо негодный кабель.

— Шестериков! — позвал он, не поворачиваясь и закрыв глаза, чтоб успокоиться. Шестериков явился молча и быстро, точно сидел у двери и подслушивал в замочную скважину. — Свяжешься с начснабом по связи, скажешь от моего имени: если через час не отгрузит им полтора километра кабеля целехонького, трофейного, в гуттаперчевой оболочке, есть у него… Какой тебе нужен, Нефедов? Четырехжильный или шести-?

— Лучше бы шести-. Будет потяжелее, но хоть не зря трудиться, второй, может, и не придется укладывать.

— Вот так, шестижильного, — сказал генерал. — Если не притащит в зубах и сам в лодки не уложит, со своими снабженцами толстожопыми, я из них жилы вытяну. А его — расстреляю завтра. Своей железной рукой. Перед строем. Понятно?

Шестериков, что-то не помнивший, чтобы генерал кого-то расстреливал своей рукой перед строем, тем не менее важно кивнул и удалился. Стало слышно, как он неистово крутит рукоятку зуммера.

— Что еще? — спросил генерал Нефедова.

— Все, как будто…

— Совсем никакого желания?

Нефедов повел худым плечом и, вертя в пальцах пустую стопку, сказал смущенно:

— Ну, если вы спрашиваете, товарищ командующий… Я бы

не хотел, чтобы из-за меня кого-то расстреляли. Я же понимаю, кабель у него на вес золота, и все требуют: «Дай километр! Дай полтора!» Хотел сэкономить человек. А этот, может, и не замкнет сразу, две недели послужит, а там переправа будет, по ней проложат…

— Ладно, — перебил генерал, насупясь. И было не понять, возражает он или обещает никого не наказывать.

Явился Шестериков, и генерал, поворотясь, уставился на него вопросительно.

— Погрузили кабель, — сказал Шестериков. — Давно, оказывается, погрузили.

— Когда «давно»?

— Два часа, говорят, как отправили. Ну, может, машина застряла…

— И что же он, не знает, что делать? — спросил генерал, опять впадая в сильнейшее раздражение. — Пусть на другой машине протрясется и эту вытаскивает, если вправду она застряла. Или перегружает.

— Так и обещал, — сказал Шестериков, отчего-то вздыхая. — Через два часа будет сделано.

Оба понимали, что кабелем этим только и занялись после особого приказания, и эти два часа начальник снабжения связи взял себе авансом. Черт, подумал генерал, все какое-нибудь вранье. Не получается без вранья воевать.

— Ты сам-то откуда, Нефедов? — спросил он, берясь опять за фляжку.

— Ленинградец.

— В институте там учился?

— В университете. На филологическом. Со второго курса ушел.

Он не добавил — «добровольцем», и это генералу понранилось.

— Фиологический — знаю, — объявил генерал. — Это где стихи учат писать. Счастливый ты человек, лейтенант!

— Почему счастливый?

— Ну… Есть у тебя профессия послевоенная. А у меня — нету.

— Но вы же… генерал.

— И что из этого? Генерал воевать должен. А что я после войны делать буду — не представляю… Я — человек поля. Поля боя. Научил бы ты меня стишки кропать. Тоже, небось, писал?

— Немножко…

— «Жди меня, и я вернусь, — продекламировал генерал. — Только очень жди…» Как там дальше? «Жди меня, и я вернусь —

всем чертям назло!»

— «Смертям», — поправил Нефедов.

— Любишь эти стихи?

— Нравятся, — сказал Нефедов, слегка заалев.

— И мне тоже. Хотя «смертям» — это хуже. С чертями-то шутить можно, а вот со смертями — лучше не надо. Он потому такой уверенный, Симонов этот, что не побывал у нас на плацдарме. Которого еще нет, но будет. Вот ты можешь так уверенно сказать: вернусь непременно, ждите?

Помня о своем решении, генерал чувствовал себя вправе так спрашивать и спрашивал он себя самого. Нефедов, не отвечая ему, заметил:

— Нет, он много по фронтам ездит, в отличие от других.

— По фронтам ездить — еще не воевать… А в отличие — от кого?

— Ну, вот… Луговского хотя бы…

— Володьку — знаю, — объявил генерал, мотнув головою. — Он у меня в гарнизоне выступал в тридцать девятом. И потом мы с ним пили. Вдвоем, представь себе. Ну, еще адъютант мой был, но быстро под стол уполз. А Володька — молодец. Всю ночь мне стихи читал. Одному.

И прочел, дирижируя фляжкой в одной руке и стопкой — в другой:

Так начинается Песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, бредущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны…
Звенит эта Песня, ногам помогая
Идти по степи по следам Улагая…

Он умолк, опустив голову, и было похоже, что сейчас заплачет.

— А дальше забыл… Пили же всю ночь. Как собаки.

— Что же с ним случилось? — спросил Нефедов. — Я слышал, его к нам не вытянуть, чтоб стихи почитал. На сто километров к фронту не приближается…

— На пятьсот — не хочешь? В Ташкенте окопался. Или — в Алма-Ате. Генерал и сам точно бы впервые задумался, что случилось с поэтом, таким мужественно-красивым и так звонко воспевшим мужество, доблесть, воинскую честь. Такой неодолимый ужас вселили в него первые московские бомбежки? Или война оказалась совсем не такой, как он ее представлял себе, вдохновляясь собственными стихами? Все же юноша задал вопрос

и ждал на него ответа, и генерал ответил: — Знаешь, Нефедов, нам его не надо судить. Вот я — куда только не совался. А что хорошего? Перед дождем все болячки ноют. И главное, все — по глупости. А если разобраться, так тоже со страху. Сам себе боялся признаться, что страшно мне. Мы же с тобой оба этого боимся, верно? А он не побоялся. Так и заявил: «Страшно мне. Я наперед знаю: меня там обязательно убьют…» Ну, и Бог с ним, незачем ему сюда ехать, пусть лучше сидит и пишет. — И, спохватившись, вспомнив, что произносит за другого то, чего тот, возможно, и не говорил, он разлил по стопкам и переменил тему: Кто же у тебя там остался, в Ленинграде?

— Никого. Мать успела с заводом эвакуироваться — еще до блокады, а отец тоже воюет. На Втором Белорусском.

— А девушка?

Нефедов стал медленно и красиво розоветь.

— Что девушка, товарищ командующий?

— Она успела?

— Да, только в другой город. За Волгой.

— Адрес ее — тоже оставил?

По заведенному порядку люди из группы захвата не брали с собою никаких документов, ни даже «смертных медальонов», все сдавалось отряжавшему их офицеру.

Нефедов молча кивнул, еще гуще краснея.

— Как зовут ее? — спросил генерал легко, не слишком интересуясь ответом.

Нефедов, опустив глаза, сказал с усилием:

— Разрешите, товарищ командующий, на этот вопрос не отвечать.

— Пожалуйста, — сказал генерал удивленно. — Хороший ты парень, Нефедов.

Ему почудилась там какая-то сложная драма, с размолвками, примирениями и кратким прощанием, которое, наверно, не обещало обязательной встречи, если останутся живы. У таких, как этот Нефедов, чистых, слишком густо краснеющих, слишком много души уделяющих своим девушкам, которые наверняка того не стоят, всегда с ними нелады. И никакая война, наверно, таких не переделает.

— Если с тобой там что случится, не дай Бог, — спросил генерал, награды кому переслать — ей или матери?

Нефедов опять быстро, по-птичьи, повернул голову и посмотрел в глаза.

— Я все написал, товарищ командующий. Награды — матери. А ей — пусть просто напишут.

— Ей напишут, — пообещал генерал, испытывая глухое

мстительное чувство к той, неназванной. — Я сам напишу.

Нефедов от этого еще сильнее смутился и ответил, кашлянув:

— Спасибо…

— На здоровье, — генерал поднял стопку. — И чего это мы с тобой раскаркались? Верней — я. Ничего не должно случиться. Давай — на посошок, тебе тоже отдохнуть не мешает. Ты из счастливых, Нефедов, так что все обойдется. Еще золотую звезду нацепишь, девушка за тобой убегается.

Нефедов, со стопкой в руке, почтительно кивнул.

В посошке принял участие и Шестериков, но отчего-то избегая глядеть на юношу. И каким-то сверхчутьем, пробившимся даже в захмелевшем мозгу, генерал понял, отчего он не смотрит. Он тоже знал, что таким, как этот Нефедов, честнягам и романтикам, войны не пережить, и вот пришло время этому подтвердиться. «Может, отставить его? Другого кого назначить, постарше?» подумалось на миг, но он воспротивился этой мысли. Войну и вытягивали эти девятнадцатилетние, эта прекрасная молодость, так внезапно для него вставшая на ноги и так охотно подставившая хрупкие свои плечи, и никем, никем этих мальчишек было не заменить. Лучше всего это солдаты понимали: сорокалетние отцы семейств, относясь к ним по-отечески добродушно, даже порой и насмешливо, слушались, однако, беспрекословно. Когда-нибудь скажут, напишут: эту войну не генералы выиграли, а мальчишка-лейтенант, Ванька-взводный. Вся иерархия страха, составлявшая суть управления войсками, опиралась в конце концов на него, единственного командира, который мог бояться противника больше, нежели начальства. Верховный давил на командующего фронтом, тот — на командарма, командарм — на комдива, далее устрашали нижестоящего командиры полка, батальона, роты, а на нижней ступеньке этой лестницы стоял тот, кому устрашать уже было некого, кроме своих пятнадцати-двадцати солдат, и кто ничем не мог заслужить привилегии — не идти в бой вместе с ними. «Так что же, — спросил себя генерал, — одного Ваньку-взводного отставить и такого же послать? Нет, войну не обманешь, что одному суждено, то и другому…»

Он быстро взглянул на часы, и, как ни старался, неуловимое это движение не укрылось от юноши. Тот быстро встал и, надев пилотку, откозырял. Генерал, грузно поднявшись, притянул его к себе, обнял худое тело и похлопал по спине. И ему, — да, верно, и юноше, — это показалось ненужным, лишним.

Потом, еле дождавшись, когда затихнут шаги Нефедова и закроется наружная дверь, он себе налил еще две стопки и выпил их быстро, одну за другой, тупо уставясь в угол и чувствуя, как

нарастает в нем напряжение ожидания.

Она не запоздала ни на минуту. Эта ее всегдашняя точность и нравилась ему, и претила: он не мог понять, дорожит ли она каждым мигом свидания или только спешит на вызов начальства. Но торопливый перестук ее каблучков по глиняному полу, когда она пересекала комнату с телефонами, отзывался в нем радостным гулом и, казалось, совпадал с ударами сердца. В такие мгновения он думал о том, что еще не стар и до старости далеко.

Шестериков, пропустив ее, затворил за нею дверь. Как-то негласно было заведено, что когда она приходила, скосясь набок от тяжелой брезентовой сумки с красным крестом, телефонисты сразу же удалялись и возле аппаратов оставался один Шестериков. Считалось, что командующего во время осмотра никакие звонки не должны были потревожить, разве что от Верховного. Ничто ни для кого давно не было тайной, но генералу Кобрисову хотелось думать, что некая тайна все-таки сохраняется, и люди из его окружения настолько преданы ему, что берегут эту тайну, а не только соблюдают все внешние признаки ее сохранения.

Свалив сумку на табурет, она взяла его за руку у запястья и задержала на полминуты, вглядываясь в свои наручные командирские часы с черным циферблатом, светящимися стрелками, красным секундником, — его подарок ей из американской посылки для старших офицеров.

— Что вы чувствуете? — спрашивала она озабоченно.

— Тебя чувствую, дочка.

— Я же серьезно.

— И я не шутя.

— Ну, давайте хоть помолчим, а то я собьюсь. Ну, вот… сбилась!

Глядя снизу на ее лицо, сосредоточенное, с закушенной нижней губой, он думал о том, что такие лица, пожалуй, не могут быть у девиц, переживающих свое девичество между войнами; лишь время войны накладывает эту печать мужественности и простоты, придает взгляду бесхитростный и гордый вызов. Но что станется с ее лицом лет через десять-двенадцать, — если, конечно, она до того лица доживет! — как будет оно проигрывать в сравнении с лицами невоенной поры, ухоженными, натренированными утаивать любые чувства! Ему вспоминались лица бывших девушек Гражданской войны, без конца выступавших с воспоминаниями, лица огрубелые и жалкие — оттого, что жизнь заполнялась лишь памятью о прошлом. Бывшее тогда кровавым, грязным и страшным, оно, отойдя, сделалось прекрасным, лучшим в судьбе. А настоящего, о котором тогда так

мечталось, не досталось им, чтобы создать новое лицо, с чертами по-иному прекрасными.

Сейчас ее лицо, не столь и красивое, было прекрасно своим выражением непритворной заботы — о нем, о нем! Совсем иное, чем у жены, оно и волновало его особенно этой непохожестью; эта темно-русая, темноглазая девушка, юница, с большим и по-детски припухлым ртом, была из другой жизни, и погружение в эту жизнь, в пугающую сладость измены, ему кружило голову. Не сдержавшись, он ее привлек, посадил на колени себе, обхватив тонкую талию, перетянутую широким жестким ремнем, с подвешенным к нему пистолетом, — этот маленький испанский браунинг «Лама» тоже он ей подарил. Всегда он ей дарил что-нибудь из военного снаряжения. С большей охотой он бы ей подарил парфюмерный набор («Красная Москва», других он не знал) или кружевную сорочку, но было невозможно кого-либо попросить, чтоб привезли из Москвы, а заказать снабженцам что-нибудь сверх того скудного, жалкого «ассортимента», что имелся на армейском складе для военнослужащих женщин, было ему еще недоступнее, чем ей; он не мог и поручить это Шестерикову; стало бы слишком ясно, для кого старается ординарец, который сам вполне устраивался без этого, и тогда уже, как считал Кобрисов, даже видимость тайны перестала бы сохраняться во всей армии.

— Что вы делаете? — мягко укорила она. — Я же должна вас прослушать, мне ваш пульс не нравится совершенно, опять перебои. И что с вами делать, просто ума не приложу. Просили, чтоб я вам что-нибудь принесла, чтоб не спать, или укол сделала, но вы же выпили…

— Так вот же и принесла. Нешто с тобой заснешь?

— Ну, вот… Что с вами поделаешь?

Сидя у него на коленях, она расстегивала китель на его груди, прикладывалась ухом к сердцу; в ее движениях, во всем милом, девически незавершенном лице не видно было никакого лукавства, игры — это и трогало его, и обижало.

— Да ты любишь ли меня?

— Но вы же знаете…

Как было понять ее покорность? Вы же знаете, что да? Или — что я это обязана сносить, потому что вы генерал, вы командующий, а я — лейтенант, медичка? И однако, при всей покорности, сколько ни возражал он, она упрямо звала его на «вы». Покуда одетые, никогда по имени, а только — «вы». Другое дело — в постели.

— Я шприц приготовила для укола, — сказала она грустно. — Ну, есть же какой-то порядок, режим, зачем же вы раньше

времени выпили?

— Раньше какого времени?

Она лишь потупилась, повела плечом.

— Ну, выпей и ты. Для порядка…

Он ей налил с размаху, с переливом, в свою стопку и поднес к ее губам. Она от запаха сморщилась, но слегка запрокинула голову, чтобы он мог влить всю стопку разом. Это он приучил ее так пить; в первые их свидания она непременно перехватывала стопку пальцами обеих рук и выпивала маленькими судорожными глотками. Выпив, она опять припадала щекою к его груди, и это служило как бы условным сигналом, частью прелюдии, после которой с нею все можно.

Господи, как будто ему с нею хоть что-то было нельзя! Как будто он это все не проделывал тотчас же, как она к нему входила, не дав ей хоть юбку стащить, не заботясь о том, как же она выйдет потом в измятой, — как и вообще не заботило его, скольких усилий стоило ей, при всех передвижениях армии, являться к нему всегда чисто вымытой и опрятно одетой, наглаженной; ее испуганные взгляды на дверь не понуждали его хотя бы накинуть крючок, а лишь задернуть полог в углу, где помещалась его походная койка, — хотя и этого можно было не делать, ничья нога не ступила бы сюда, миновав Шестерикова. Как много было потеряно — и ее движений при раздевании, трогательно готовных, и своего же горячего томления, всего прелестного, таинственного, о чем только и помнится потом, тогда как то, что он называл «делом», забывается напрочь. Сейчас ему горько было представить себе, как, наверное, безобразен был он с нею, и оттого особенно горько, что таким она и запомнит его. И может быть, в час другой, в другой постели, с кем-то другим, она, вспоминая его, вздрогнет с отвращением.

А впрочем, стыд за себя недавнего был недолог. Он и сейчас думал, что его решение, в которое он не находил нужным ее посвятить, освобождает его совесть от всех укоров. «Меня, может, завтра и не будет, — говорил он себе с почти детской обидой. — И это, может, в последний раз… Неужели же мне все не простится?» И раздевал ее торопливо и неумолимо, разгорячаясь все более от ее податливости, любуясь откровенно при свете керосиновой лампы каждой открывшейся пядью девического тела, а затем, не сводя глаз с нее, раздевался сам, гордясь, что и она тоже любуется им, робко притрагиваясь к его шрамам. Вскинув ее на руки, он не ощутил совсем тяжести, напротив — прилив сил от ожидания большей близости, и, задув лампу, понес свою ношу в угол, в темноту, поспешно, как если б кто хотел и мог ее отнять у него.

Потом, и впрямь, ничего запомниться не могло — от первых ее судорожно-робких объятий до последнего задыхания, до того, как она, выгнувшись с неожиданной силой, не опала наконец, сразу сделавшись расслабленным, потерявшим упругость пластом. Однако сознание его не затмилось ни на миг, в нем явственно промелькнуло сказанное кем-то: «Самая лучшая не может дать больше, чем имеет», — и он подивился очевидной ошибке или нарочитой лжи: так сказано теми, кто не знает, что взять, или взять не может. Невесть отчего довольный своим открытием, он, отвалясь, изредка и как-то машинально приникал губами и лбом к ее виску с пушистым завитком, как бы прощения испрашивая за извечную мужскую вину, и нехотя, хриплым голосом, говорил о чем-то, совсем не главном: кровать узка, звезды в окне какие высыпали, кто-то в углу скребется — не мышь?..

— Что же с нами будет? — вдруг спросила она, глубоко вздохнув.

Она смотрела в темный потолок хаты, и он скорее угадал, чем увидел, на ее глазах слезы — от унижения и опустошения? от счастливой усталости? или от любви, которой не суждено продолжиться нигде, никогда? Он провел по ее щеке ладонью, хотел привычное пробормотать: «Ну, что, глупенькая? Ну, перестань…» — но она быстро перехватила его руку своими обеими и приникла к ней щекой, потом губами, быстро целуя и всхлипывая.

— Что-то с тобой должно случиться… Я так боюсь за тебя, ты же безрассудный! Я просто вижу, как ты лежишь — на том берегу, сразу же за переправой, совсем без движения…

— На том — это еще ничего, — сказал он тем беззаботно усмешливым тоном, каким всегда так приятно мужчине говорить с женщиной, беспокоящейся о нем.

— На том, — повторила она, как эхо. — Нет, переправиться ты успеешь. Но далеко не уйдешь.

— Да что со мной случиться может?

— Не знаю. Разве бы я тебя не предупредила, если б знала?. А только ты со мною уже не будешь. Не дождусь я этого. Никогда.

Он хотел расспросить ее об этом предчувствии, — не потому, что слишком оно его пугало сверх предчувствий своих, но просто он знал, что звук собственного голоса успокаивает многих женщин, — как в комнату вдруг ворвался рев телефонного зуммера, и клацнула за дверью быстро схваченная трубка.

— Але, — сказал глухо Шестериков, должно быть прикрыв рот ладонью. Нет, не товарищ командующий. Отдыхают они… Отдыхают, говорю. Устали очень.

— Прохиндей, — сказал генерал, усмехаясь.

Она усмехнулась тоже.

— Мне скажите, если что важное, — говорил приглушенно Шестериков. — Это поглядим, надо ли еще будить. Доплыли, говорите?.. Фонарем посветили?.. Ладно, доложу. — И громко, явно для сведения того, кого просили разбудить: Значит, доплыли, дали сигнал… Сколько проблесков?… Два проблеска. Значит, еще не разведали, а только преодолели. Как разведают, три раза должны посветить… Шестериков принял, дежурный у аппарата. Будьте спокойны, мне ж трибунал, если не доложу… И вам всего наилучшего. Счастливо оставаться.

Он прокрутил отбой и чем-то громко зашелестел — должно быть, газетой.

Время, вспугнутое звонком и подхлестнутое вскачь этим первым сообщением, опять замедлилось, потекло в бесконечной, безысходно-мучительной благодарности ей, которая была так чутка и покорна, так хотела всю себя отдать. И, хотя усталость еще не прошла и силы не вернулись, он не мог не потянуться к ней снова, прижавшись губами и горячим повлажневшим лбом. Она отстранилась, насколько можно было, чтобы не прикасаться, пока не пришло время.

— Все-таки жалко, что я тебя не полечила, — так она объяснила свое движение. — Ты плохо к себе относишься, совершенно наплевательски к своему здоровью. А ведь уже возраст, никуда не денешься. И выпил зря так много… Много ведь выпил, да? Ну, согласись со мной.

— Угу, — сказал он. — Соглашаюсь.

Она вздохнула удовлетворенно и, помолчав мгновение, вдруг сказала с неожиданной страстью и сквозь слезы в голосе:

— Счастливая твоя жена!

— Чем счастливая? — он удивился. — Что я ей тут с тобой изменяю?

Он тотчас пожалел о сказанном, но она его слов как бы не услышала, простила.

— Как же не счастливая — с таким, как ты!

— С каким таким особенным?

— Нет, вовсе не в том дело, что генерал… Не в этом совсем…

— А в чем же?

Впервые она ему отвечала на вопрос, которого он не решался задать, и он боялся спугнуть ее, ждал продолжения. Но продолжения не было.

— Так в чем же?

— Разве я тебе не все сказала? — ответила она удивленнно и печально. И ты сам не видишь, какая я с тобой? Когда только

вхожу к тебе, у меня праздник, рук и ног не чувствую. А когда одна остаюсь и о тебе думаю, ну такая печаль, такая тревога за тебя, ведь ты же… совсем один! Такой одинокий, так тебя жалко. А тебе для меня и полчаса было много. Не потому, что заботы кругом и вздохнуть некогда, а просто я на полчаса и нужна. — И, смутясь, что укоряет его, чего раньше себе не позволяла, добавила мягче: Мне не за себя обидно, мне и так счастье. Обидно, что ты себя обкрадывал. С другой так не делай никогда. Обещаешь мне?..

…Все же он заснул ненадолго — может быть, на несколько минут, — как провалился в черную яму, без какого б то ни было сновидения, и проснулся от того, что всегда тревожит и будит человека воюющего — тишины. Она спросонья была пугающей, в ней таилось что-то зловещее. Но у лежавшей рядом юной женщины глаза были открыты, она стерегла его сон, и, значит, ничего особенно страшного случиться не могло, по крайней мере за то время, что он отсутствовал. Он к ней прильнул с ощущением своей неясной ему вины и благодарности за снисхождение, но резкий зуммер опять прорвался сквозь дверь, клацнула трубка, Шестериков приглушенно сказал свое «Але!» И громче, нежели нужно было собеседнику на том конце, стал переспрашивать:

— Три раза посветили?.. Ну, значит, разведали… Ты, это, и думать брось, что я не докладываю, мне жить еще не надоело. Только зачем будить, если порядок во всем? Благодарю от лица службы… Кто принял? Шестериков принял. Есть такой… Вот, теперича будешь знать… Постой, куда уходишь? Кабель они размотали? В воду не упустили? Надо ж прозвонить его, вдруг не действует, где ни то обрыв… Вот и займись… Ладненько, служим дальше. Как родина велит.

Трубка упала на рычаг, и время опять потекло медленно, можно было вновь жарко приникать друг к другу, переплетаясь, как стебли, но равенства и согласия в их любви, только что как будто достигнутых, уже не было, что-то иное вторглось и требовало своего места в его сознании, и она это чувствовала и с этим соглашалась, жалея его и только робко прося побыть с нею, не уходить так далеко. Однако далекий и как будто совсем посторонний образ маячил в его мозгу, образ тех, прячущихся на узкой полоске под обрывом, снедаемых страхом и все же делающих дело, для кого-нибудь последнее в жизни. И ему не давало покоя, что он что-то упустил и не может вспомнить, что еще следовало приказать, но вдруг опять властно заговорил Шестериков:

— Але, прошу назваться… Ну, считайте, Киреев говорит. Что

там шестая рота поделывает?.. Готова? Пускайте роту. С Богом. Людям объявили насчет наград? Пять званиев Героя на роту дадено, кто первым уцепится… Ну, лады.

— Что он делает? — спросила она испуганным шепотом.

— Ничего особенного. Командует армией. Ты мне его не сбивай.

— Что же одна рота сможет?

— Все правильно. Он дело знает. Сейчас батальон поднимет.

И, точно Шестериков мог это услышать, он уже опять кому-то звонил:

— Как там люди?.. Сладко ночевали, глазки слипаются? Кончай ночевать!.. Командующий, значит, так велели: людей накормить, а водки им не давать… «Почему», «почему»! Ну, сам же знаешь, река пьяных не любит. На том берегу по двойной примут…

Она вздохнула протяжно, как ребенок, спросила печально:

— Пора нам прощаться? — И, не дождавшись ответа, сказала решительно: Я с этим батальоном пойду.

Она не просила разрешения, это было ее дело, ее боевая обязанность, в которую он никогда не вмешивался. Он лишь подивился нежданному совпадению. Словно бы она обо всем догадалась.

Все же он еще раз хотел того, что могло быть последним. Он поймал себя на том, что не думает о ней, для которой это, быть может, уже не так желанно. Но и укорив себя, все же глухо повторил:

— Еще не пора. — Он вложил в эти слова двойной смысл, она поняла и головой коснулась его плеча. Он добавил: — Еще колонна должна объявиться.

— Какая колонна?

— Какая надо. Не забивай себе голову…

Было договорено, что танковая походная колонна, идущая к траверзу Мырятина по плавной дуге, объявится в эфире с половины пути. Для этого оставят там радиста, который выйдет на связь лишь через полчаса после ее ухода. Если его и засекут пеленгаторы, огонь обрушится на него одного. И возможный смертник, наверное, медлил надеть наушники, вытянуть антенну, дать свои позывные. Генерал его понимал, а все же изнывал от нетерпения, подступающего гнева.

Он поднес к глазам руку с светящимися часами, которые не снял. Ночь еще чернела в распахнутом окне, еще мерцали звезды, а время летело неумолимо. И вот взревел наконец зуммер, и Шестериков громче обычного заговорил в трубку:

— Объявился радист? Порядок, благодарю! — И, как бы

предупреждая вопрос генерала, сам спросил: — А не засекли его?.. Гляди-ко, фриц тоже не спит, службу несет… Да уж, пора будить. Щас доложу.

Но, положив трубку, продолжал сидеть, громко, как жестью, шелестя бумагой. А ночь в окне уже не была так не проницаема, как несколько минут назад, к ее черноте примешивалась робкая просинь. В том последнем, от чего невозможно было отказаться, он прощался с женщиной, как прощаются с жизнью, с самым дорогим в ней, искупающим все страдания, обиды, предательства судьбы. И она отвечала ему так же прощально, пусть без горячности, без стенаний, которые и хотелось бы ему услышать, но с таким глубоким, страстным, упрямым молчанием, как если б уже принесла последнюю жертву любимому и больше отдать было нечего.

И когда разомкнулись, долго не произносили ни слова, лежали в оцепенении, далекие друг от друга. Так же, в молчании, поднялись, и она смотрела на него, запрокинув голову, опустив руки. Он успел подумать, что от этой ночи, которая была уже на исходе, может быть, что-то останется — новая жизнь, и она ее понесет так же покорно, какой всегда была с ним. Но эту мысль, и пугающую, и внушившую гордость, перебил зуммер.

— На подходе уже? — кричал Шестериков. — Говорите, Торопиловку проследовали?.. Быстрые! И чего наблюдатели докладывают?.. Ни одной не потеряли?.. Значится, могу доложить — все целы коробочки, примуса, тарахтелки? Благодарность от лица службы!

Наклоняясь, опуская книзу чуть продолговатые колокольчатые чашки девических грудей, еще не утративших для него своей неповторимости и тайны, и значит, еще любимых, она подбирала с полу свою одежду, которой теперь больше стеснялась, чем наготы, грубую одежду не девушки, а солдата. Он порывисто к ней шагнул, вспомнив, что и ей сегодня то же предстоит, что и ему. Но больше думал уже о другом, о себе, об армии, изготовившейся к переправе, когда привлек к себе тонкое теплое тело, стиснул, поцеловал ее в лоб. И сказал, глядя уже куда-то сквозь стены, поверх ее темени:

— Береги себя, дочка.

3

Танки…
Танки…
Танки…

Как все удавалось ему поначалу, как ложилось в намеченные сроки!

Танковый полк прибыл еще до света и втянулся в длинный неглубокий овраг, выходивший косо, под острым углом, к Днепру. Устьем оврага была уютная бухточка, тихая заводь, куда могли войти мелкосидящие танковые паромы и опустить на песок свои ржавые искромсанные аппарели. И они уже с ночи сгрудились там, причаленные бортами друг к другу, легонько покачиваясь и поскрипывая. Приняв на себя все руководство переправой, он сам и присмотрел эту бухточку, и распорядился, чтоб просчитали течение и снос, да погнали бы в воду саперов с шестами — промерить глубины, и чтоб было с запасом, чтоб под тяжестью танков паромы бы не просели до дна.

Между тем правый берег молчал, и не было сигнала, что переправившаяся рота закрепилась, очистила хоть двести метров будущего плацдарма. Молчание это вселяло, как водится, тревогу, но могло быть и добрым знаком, что все идет по плану, и вот-вот прохрипит в наушниках веселый, блудливый голос: «Киреев! Ты, говорят, женишься? Когда ж на свадьбу пригласишь?» И с той же котиной ухмылкой ответят ему: «Женюсь, да невеста задерживается, долго марафет наводит…» Эту немудрящую конспирацию немцы, конечно же, сразу рассекретят, поднимется суматошный лай крупнокалиберных пулеметов, тяжкое уханье гаубиц, и покажутся недооцененной отрадой едва поредевшая ночная мгла, шелест осоки и камыша, обиженный вскрик чем-то потревоженной птицы.

Он ехал ухабистой дорогой, стелющейся по дну оврага, вздрагивая под своей кожанкой от предутреннего холодка, но больше от возбуждения и нетерпения, и одна за другой выплывали из сумрака темные громады — его «коробочки», его «керосинки», «примуса», «тарахтелки». Побитые, изгрызенные осколками, многажды латанные, покрытые копотью, они спрятали свои раны и шрамы под ветвями, еще не сброшенными с башен, привязанными шпагатом к стволам пушек. Вот что он упустил, пожалуй, — распорядиться, чтоб натянули над оврагом маскировочные сети. Но может быть, и не понадобятся они — если все сложится по его плану, танки уйдут к переправе еще в темноте.

Он обогнал две полковые кухни на конной тяге, передвигавшиеся неспешно от танка к танку; экипажи, не сходя с брони, а кто и прямо из люка, тянулись вниз с котелками, куда им щедро сыпали черпаком комковатое варево. Туман,

застлавший дно оврага, смешивался с дымом кухонь, с дизельным выхлопом, еще не успевшим рассеяться, пахло соляркой, мясной едой, лошадьми, — он втягивал эти запахи раздувающимися ноздрями и взбадривался, одолевая свой страх перед тем, что затеял он и что должно было вот сейчас начаться.

Появление командующего было до того неожиданным, что на него поначалу не обращали внимания, но все же срабатывал таинственный, ему не видимый телеграф, и где-то в середине колонны уже выходил ему навстречу командир полка — с чумазым лицом и, верно, красными от недосыпа глазами. Под шлемофоном различалась в полумраке темная челка, а по верхней губе продергивалась ниточка усов. Такого образца усики генерал Кобрисов привык видеть по утрам в зеркале, бреясь; у командира полка, при худобе лица и черных запавших глазах, они выглядели иначе и делали его похожим на грузина. Мода в 38-й армии, как уже не раз отмечал генерал, исходила от него; те, кто не мог его видеть, перенимали ее от вышестоящих, — и значит, он, а не какой-нибудь легендарный разведчик или иной герой, был самым популярным в армии человеком; это и приятно было сознавать, и отчасти раздражало: если каждый захочет походить на Кобрисова, мудрено отличиться самому Кобрисову.

Рапорт командира он выслушивал сидя, но не утерпел, выбрался из «виллиса», разрешающим жестом опустил его руку, вскинутую к шлемофону, затем поймал ее и крепко, порывисто стиснул, горячую и грязную.

— Ладно, с прибытием тебя, майор. Всех привел? Никого не потерял?

— С чем вышли, товарищ командующий, с тем и прибыли, — ответил командир уклончиво, смущаясь ли этого неуставного тисканья или оттого, что не все у него вышло без неполадок.

— Хорошо говоришь, только непонятно. Что значит «с чем вышли»?

Право, генерал не нашел бы, в чем его упрекнуть. Ночной рейд был проделан без опоздания, и это при том, что двигались без фар и габаритных огней; водители, выдерживая дистанции, ориентировались лишь на белый круг в корме впереди идущего, и это восемь часов без единого привала; чудо, что не заснул никто, не столкнулись, не повредили ни пушек, ни радиаторов.

— Товарищ командующий, — сказал майор, заминаясь, — я, помните, докладывал… Две машины у меня не вышли из ремонта.

— Ну? А что с ними?

— Я докладывал — башни не вращаются. Если помните.

— Как это не вращаются? Почему?

И, еще задавая свой вопрос, генерал вспомнил отчетливо, как в ответ на его приказ о передислокации этот командир ему пожаловался, что в мастерской все тянут с ремонтом двух машин. И вспомнил даже, в чем было дело. Снаряды, угодившие в стыки между башнями и корпусами, выбили зубья больших поворотных шестерен; этими зубьями, отскочившими внутрь, ранены были в одном танке башенный стрелок, в другом — командир; они, впрочем, успели уже вернуться из медсанбата, с зубьями же оказалось хуже, нежели с человеческой плотью. Приваривая их, не избегли коробления; малые шестеренки, набегая на сварной шов, застопоривались, и электромоторы поворота гудели и дымились. Замену снабженцы не подвезли, и башни просто опустили в гнезда и закрепили по курсу — от чего пушки, естественно, лишились горизонтальной наводки. Наводить их можно было лишь поворотом всего танка, что требовало немыслимой в бою согласованности между водителем и стрелком. Генерал, выслушав доклад, вскипел тогда: «Бардак у тебя вечный!» — и швырнул трубку. И казалось, его гнева достаточно, чтоб все наладилось срочно и с этими заклиненными башнями ему более не досаждали, но вот они выплыли снова — как первая и непредвиденная помеха.

— И ты их оставил? — вскричал генерал, отшвыривая руку, только что пожимаемую крепко и порывисто. — Два танка оставил! Ну, майор, удружил! Низко тебе кланяюсь…

Свою руку он вдруг ощутил чем-то запачканной, какой-то маслянистой дрянью, и брезгливо ею потряс. Донской, оказавшийся рядом, с невозмутимым лицом подал ему чистый платок. Генерал отер свою руку платком и швырнул его наземь.

— Век буду благодарить! — вскричал он едва не жалобно.

Донской молча кивнул, как будто это к нему относилось, и от этой нелепости генерал еще сильнее обиделся. В ослепляющем гневе он не находил, какие еще слова бросить в умученное лицо, ставшее ему ненавистным, да с трижды теперь ненавистными усиками. И еще больше гневило его, что лицо это было сама виноватость, даже как будто искривилось от сдерживаемых слез.

— Что кривишься! Плакать он мне тут собрался!

— Товарищ командующий, — робко воспротивился майор. — Да разрешите же объяснить… Я ведь как подумал…

— Чем ты «подумал»?

— …зачем нам на тот берег инвалидов тащить?

— Умник ты! «Инвалидов»! И хрен с ним, что башня не крутится. Он танк. У него еще мотор есть. И броня. Мне на том берегу любая колымага сгодится, только бы двигалась.

Ничего, разумеется, не решали эти два танка, но они грозили

стать началом в цепи непредвиденных осложнений, а цепь эта всегда начинается с дурацких мелочей. Всегда раздолбай найдется — испортить праздник. И хотя генерал понимал хорошо, что до праздника еще очень далеко и что командир этот вовсе не раздолбай и заслуживает не нагоняя, а благодарности, и даже есть резон в его оправдании — хотя бы суеверное нежелание начинать ответственную операцию с «инвалидами», — но не мог примириться, что уже какая-то мелочь вторглась в его план, а пуще не мог примириться, что у кого-то могли быть свои суеверия, кроме его собственных. Недопустимой роскошью казалось ему сейчас, чтобы у каждого в армии были суеверия.

— Товарищ командующий, — сказал майор, вытягиваясь и бледнея, что стало различимо даже в полумраке, — можете меня отстранить, если не справился. Но разрешите…

— Что-о?! — перебил генерал и в изумлении даже отступил на шаг, разглядывая его как будто впервые. И кажется, в эту минуту оба они поняли каждый свое. Майор — что можно было и взять этих «инвалидов», вреда бы они не принесли, а польза была бы, да хоть лязгу побольше и реву, а генерал что можно было их и не брать, пользы только и есть, что реву и лязгу. — Нет уж, иди воюй. С чем есть. И задачу мне выполни. А не выполнишь — под трибунал пойдешь…

Он кинул взгляд на платок на земле, которым только что отирал руку, и осознал, что притихшие экипажи наблюдают эту сцену — в сущности, безобразную, поскольку он распекал командира при подчиненных, — и наблюдают не столько с любопытством, сколько с угрюмым осуждением.

Огромный детина, и мускулистый, и полный, сидевший на броне с котелком между колен, звякнул ложкой, сам от этого звука вздрогнул и поспешил сказать:

— А может, и не придется, товарищ командующий, под трибунал? Выполним мы задачу. Неуж не выполним?

Генерал бросил взгляд на его добродушное, лунообразное лицо — и еще раздражился: зачем такого верзилу в танке держат, где и щуплому тесно, ему бы милое дело в пехоте, и рукопашной поработать. И тут же вспомнил, что бывает, приходится соединять разорванную гусеницу, и вот где пригождаются эти медведи. Вот этот луноликий, голыми руками взявши концы, багровея, стянет их и будет держать, покуда не вставят запасной трак, не просунут и не забьют кувалдою шплинты. Генерал живо себе представил верзилу за этой работой — и смягчился.

— А ты сиди там! — рявкнул он на луноликого, отчего тот еще сильнее вздрогнул и с грохотом уронил котелок.

Вылившееся варево — то ли жидкая каша, то ли густой суп —

поползло по броневой плите. И вдруг генералу стало жалко этих людей, в сущности прекрасно выполнивших первую задачу, и подумалось, что ведь это удовольствие — хоть поесть вволю за час до переправы — может быть, последнее в жизни луноликого.

— Котелок подбери, — сказал генерал, уходя к «виллису». И жестом остановил спешившего сесть Донского. — На кухне сказать, чтоб ему три порции наложили. Вишь, он какой у нас… дробненький. Расти ему надо. А до обеда еще ждать…

С внезапной грустью он почувствовал себя лишним среди людей, меньше всего нуждавшихся в его распеканиях и понуканиях. Усевшись и избегая смотреть на майора, стоявшего с видом виноватости и огорчения, он сказал примирительно:

— Ладно… С прибытием тебя. Там разберемся.

«Там» означало — на правом берегу.

«Виллис» понес его к кавалеристам, расположившимся на широком лугу, за рощей, которая их укрывала от наблюдателей с того берега. Разумеется, он не ждал увидеть эскадрон в строю, со знаменем и вздетыми «подвысь» клинками, но все же подивился открывшейся ему картине. Конников еще не начали кормить, и они, времени не теряя, кормили своих коней, то есть попросту их пасли на лугу. Разнузданные и не стреноженные, их кони разбрелись по всему лугу, еще серому в полумраке, тогда как хозяева покуривали, рассевшись группками на траве. От одной такой группки отделился и направился к «виллису», не чересчур спеша, командир эскадрона. Генерал, с заранее добрым чувством к нему, отметил кавалерийскую походку, слегка заплетающуюся, при которой особенно мелодично позвякивали шпоры, нарочито неуклюжее ступание чуть раскоряченных ног в легких, собранных гармошкою сапогах и не бренчащую, легонько рукой придерживаемую шашку. Остальные поднялись с земли, но цигарок и самокруток не притушили. В ожидании боя старые вояки не так уж внимательны к начальству, уже что-то иное над ними властвует, и генерала нисколько это не кололо, никакая объяснимая вольность; он с удовольствием оглядывал импозантную фигуру комэска, широкую в плечах, узкую в чреслах, чеканное загорелое лицо, чуть тронутое улыбкой, с удовольствием втягивая при этом всегда его волновавшие запахи конницы, без примеси солярки и выхлопа, запахи засохшего конского «мыла», навоза и мочи, перепревшей ременной сбруи.

Комэск, подойдя, изящно подкинул к фуражке руку с висящей на запястье плетью, другой рукой обхватив черные облупившиеся ножны. Фуражка была у него набекрень, пышный чуб выпущен, ремешок огибал самый кончик подбородка. На верхней его губе генерал обнаружил свои усики.

— Ну, как, отживающая боевая сила? — спросил генерал, опережая его доклад. — Ясен тебе твой крестный путь? Переправочных средств на тебя не хватило, самим придется плыть.

— Плыть так плыть, товарищ командующий, — отвечал комэск с шутливой покорностью судьбе. — Дело привычное.

— Жаль мне тебя, — сказал генерал, — уж больно ты красив. Что от твоей красоты останется?

— Обсохнем, — заверил комэск. — Еще красивше станем. Да не впервой же!

Генерал, проникаясь к нему любовью, несколько успокоился. И впрямь, не впервой ему, сукину сыну, и мокнуть, и обсыхать.

Увидя, что рапорт перетекает в беседу, подходили ближе другие конники. Кто-то, засмотревшись, налетел на шедшего впереди, кто-то споткнулся, зацепясь за свою же шпору. И по тому, как они смотрели на генерала, он безошибочно различал ветеранов и новичков из пополнения. Не то чтобы новички робче перед начальством, но в его словах, в его улыбке или хмурости ищут с тревогою ответа на предстоящее им, тогда как ветераны, познавшие настоящий страх, ответа ищут в себе и ни в ком другом; подчиняясь лишь своему предбоевому настрою, они точно бы выходят из всякого другого подчинения. Он понимал их неизбежную сейчас отрешенность, углубление в себя, но с безотчетной ревностью хотел бы напомнить им, что и от него они зависят не меньше, чем от своей планиды.

— Есть такие умники, — сказал он, возвышая голос, чтоб слышали и дальние, — в седлах норовят плыть. Как, понимаешь, подпаски деревенские, когда они коней купают в речке. Такого увижу — из маузера ссажу. Рядышком надо плыть. Как с братом родным или же с любимой девушкой в пруду. И за седло не держаться, а только под уздцы. Главное — не давать ему голову задирать. А то он волны пугается и кверху тянется, даже, бывает, «свечку» делает в воде. А из-за этого, бывает, захлебывается, тонет. Следить, чтоб у него только храп был бы над водой…

Он вдруг увидел, что пасшийся невдалеке жеребчик поднял голову и, вздев уши, внимает ему с интересом. В повороте красивой сухой головы, в косящих обиженных глазах ясно читалось: «И что ты мелешь? И вовсе я не задираю голову. И все-то я знаю, что со мной будет…» Право, казалось, он в самом деле знал, что с ним случится сегодня, бедный конек, неповинный ни в чем, вынужденный делить с человеком все его дела и глупости. Генерал даже осекся и с явным ощущением своей вины перед ним смотрел в укоряющие глаза коня, покуда тот, мотнув головою, не опустил ее низко к траве.

Этот перегляд, кажется, все уловили и разулыбались.

— Да не впервой, товарищ командующий, — сказал комэск. — Давно, что ли, Десну форсировали?

— То Десна, — возразил генерал. — Триста метров каких-нибудь. А тут, считай, километр двести…

— Ну, значит, четыре Десны, — подхватил с ухмылкою комэск и совсем уже нагло подмигнул: — Раз так, то, может, нам четверной положен боезапас?

— Я те дам «боезапас»! — закричал генерал. — Четверной ему! На том берегу — пожалста. Только доплыви сперва. До него, знаешь…

Но что сам он знал про тот берег, заслоненный темной иззубренной стеною рощи? По-прежнему оттуда не было ни звука. И казалось странным, что где-то за рекой, в пяти километрах отсюда, стоит тишина, хутора живут своей неспешной жизнью и только-только просыпаются, пастух собирает от дворов скот, женщина в платке, надвинутом на глаза, перебирая руками шток «журавля», тянет ведро из колодца. Он посмотрел в ту сторону, и следом посмотрели все. Черные лохмотья туч уже понемногу стали сереть, и можно было догадаться, что это не тучи, но облака. Пока не занялся рассвет, спешить нужно было, спешить…

Он чувствовал себя лишним и здесь. На самом деле это было не так, он всюду был нужен, только не затем, чтоб сообщать людям то, что они знали и без него, а чтоб войти в их настроение и передать им свое. И это-то значило много больше, чем его распекания и советы.

Он приказал везти себя к бухточке. Паромы уже покряхтывали движками, и как раз головной танк, задрав пушку, взревывая, круто вскарабкивался на аппарель. Гусеницы скрежетали по приваренным планкам, аппарель под страшной тяжестью вминалась в песок и взвизгивала истерично, едва выдерживая и яростные удары траков, и затем переваливание на палубу. Весь хлипкий паромчик ходуном ходил, покуда танк поворачивался на нем и устраивался поудобнее, раздирая дощатый настил. За ним, не давая барже успокоиться, выровняться в воде, уже наползал второй танк, изготавливался в очереди третий.

Генерал, даже привстав на сиденье, напряженно следил, не просядет ли паром до дна бухточки, но все обошлось, бодро и нетерпеливо всхрапнул движок, скрежетнул на прощанье песок плеса, и паром, покачиваясь, медленно тронулся в путь, как оторвавшаяся от берега льдина. Генерал беззвучно прошептал ему вслед: «Ну, с Богом!» — и поймал себя на том, как сильно ему хочется перекрестить эти три танка, уже понемногу сносимые

течением влево. Через миг они исчезли из виду, заслоненные высоким камышом. В ту же неизвестность отправлялся второй паром, и генерал его проводил с тем же сложным чувством тревоги и сумасшедшей радости, и одновременно с сознанием какого-то, ему самому не понятного, своего греха, а на третий он дал погрузиться одному танку.

— Въезжай давай ты теперь, — приказал он Сиротину. — Пошел!

Сейчас, сидя вот так же, справа от Сиротина, он вновь увидел, как тот оглянулся на него с удивлением и внезапным отчаянием, с лицом, на котором ясно написано было: «Что же вы с нами-то делаете?» Офицер, дежурный по переправе, со скрученным в трубку флажком, кинулся остановить непредусмотренный «виллис», но Донской так спокойно взглянул на дежурного, так красноречиво-убедительно выставил перед ним растопыренную ладонь, что тот сразу все понял: они переправляются тоже, и бронетранспортер охраны с ними, это оговорено заранее, странно, что дежурному это неизвестно. Не сильно удивился и Шестериков, только упрекнул со вздохом:

— И что было раньше не сказать? Чем я вас там кормить буду в обед?

Ни погрузку, ни миг отплытия память не удержала, а лишь то, как он уже стоял на палубе, уже плыл в неизвестность, расставив по-моряцки ноги и сунув кулаки в карманы черной своей кожанки, рядом с «виллисом», принайтовленным цепями к рымам на палубе, и в лицо, взбадривая и тревожа, ударял влажный и холодный речной ветер.

Понимал ли он вполне, что делает и зачем? Понимали ли это рулевой в рубке и старик-шкипер? Шестериков, скорчившийся на сиденье, и там же развалившийся Донской, вываливший через борт «виллиса» журавлиные свои ноги? Радист, выглядывавший из приоткрытого кормового люка бронетранспортера? Они посматривали на него украдкой, и он обострившимся боковым зрением улавливал их удивление, досаду, отчасти и злость. И если б кто спросил его тогда, зачем он здесь, он бы затруднился ответить. Сейчас, на пути в Ставку, он смутно сознавал, что совершалось тогда нечто значительное и оправданное, даже необходимое.

Генерал Кобрисов решил, что его гибель на Мырятинском плацдарме не только возможна, но даже, наверное, неотвратима; и он согласился с тем, что его косточки будут лежать где-нибудь на Мырятинском кладбище или в центральном парке этого городка, никогда им не виденного, но никакая сила не сбросит его живым с правого берега Днепра, если он только ступит на

этот берег, уже получивший название «плацдарм». А когда человек так ставит крест на собственной жизни — спокойно и просто, никого не оповещая, когда он не из слепого отчаяния и не для театрального эффекта вставляет в свои расчеты собственную возможную гибель, тогда зачастую случается, что ему удаются предприятия, казавшиеся безумными, в которые не смеет верить надежда и не надеется вера, тогда воды реки перед ним становятся твердью, и покоряются ему неприступные крепости и плацдармы.

Но как еще было до этого далеко! Два парома, отчаливших раньше, были опять на виду, и первый из них уже, наверное, пересекал ту невидимую вожделенную линию, которая зовется стрежнем и на прямом участке реки должна была находиться близ середины; в тишине натужливо стрекотали их состарившиеся движки, не заглушая при этом дремотно-ласкового подхлюпывания под бортом, — и в одно мгновение эта тишина оборвалась ревом и воем. То, что казалось уже преодоленным, встало перед ним новой преградой, и он сам едва не взвыл от обиды, от беспомощного гнева, когда увидел эскадрилью «юнкерсов», три тройки, стоявшие над его головою — так спокойно, точно у них была тут назначена встреча с ним. Они не летели, не плыли в небе, они именно стояли на месте, дожидаясь, когда он задерет голову и посмотрит на них, и затем тотчас же плавно сошли со своих мест, набирая скорость.

Первая тройка пикирующих штурмовиков «Юнкерс-87», у немцев именуемых «штука», а у нас получивших прозвище «лапотник», в аккуратном симметричном строю — один впереди, двое чуть приотстав, — прошла над паромом и вернулась, сделав красивый полукруг. За спиною, на своем берегу, торопливо затявкали скорострельные зенитки, роскошной басистой трелью разразился крупнокалиберный пулемет, но вспышки и облачка разрывов не помешали «юнкерсам» еще раз плавно уйти в боевой разворот для прицельного бомбометания или обстрела. Слишком рано он позволил себе только подумать: «Переживем…»

— …товарищ командующий! — уже давно кричал ему радист из чрева бронетранспортера, протягивая трубку. — Вас просят.

— Слушаю! — прижав к уху теплую трубку, он расслышал прерывистое дыхание и далекий лязг танковых гусениц. Что-то случилось и там, на правом берегу, куда он так спешил и где, казалось ему, группа Нефедова уже исчерпала свою задачу. — Слушаю!.. У аппарата!

— Кто? — спросила трубка. — Кто меня слушает?

— Я, — сказал генерал, не переставая смотреть в небо. — Кобрисов слушает.

— Как? — переспросила трубка хриплым и точно бы пересыхающим от жажды голосом. — Кобрисов? Я такого не знаю… Не вызывал. Не слышал такого Кобрисова.

Бог ты мой, он совсем забыл, кто он сегодня, забыл свое условное имя, и это ему показалось еще одним неучтенным препятствием. В придачу ко всем неожиданностям, он себя уже раскрыл — и немецкими слухачами засечен, у них это быстро делается, а связь с правым берегом вот сейчас оборвется, бессмысленно настаивать и глупо надеяться, что полуоглохший Нефедов узнает его по голосу.

— Нефедов! — закричал он, обрадованный, что нашел выход. — Мы же вчера с тобой гудели. Вспомни, родной, водку пили, стихи я тебе читал… Ну? Вспомнил?

Трубка еще секунды три помолчала и ответила слабым голосом:

— Плохо дело, Киреев.

Вот кто он был сегодня — и вылетело из головы. Все эти «юнкерсы» вышибли.

— Плохо дело, — повторила трубка. — «Фердинанды» тут у меня… Не предвидел, что объявятся. На хуторе скрывались, замаскированные… Восемь штук. А средства отражения какие? Гранаты, слава Богу, взяли противотанковые… Немного, правда. Бутылки с «каэсом»[13], штук десять, но это же близко надо подпускать… А с ними автоматчиков — до взвода. Если даже прибавил со страху — все равно у меня людей меньше…

Нефедов так себя раскрывал, поскольку и немцам было известно, какие у него «средства отражения». Самое страшное, что могло случиться, вот и случилось. Даже не так страшны были эти «юнкерсы», как упущенные воздушной разведкой «Фердинанды». Маскируемые, верно, копнами сена, вьшолзли эти самоходки-страшилища и поставили заслон его танкам. От удара их снаряда башню «тридцатьчетверки» вышибает из гнезда и отбрасывает чуть не на сто метров. А корпус… Какой там корпус! Погибли, погибли, еще не коснувшись берега, его «тарахтелки», «примуса», «керосинки». Против толстой брони «Фердинанда» что стоили их пушки! Зато его длиннющая пушка сделает из них обгорелые коробки. И он представил себе тупые рыла этих чудищ, уродливую заднюю посадку башни на корпусе, длиннейший хобот ствола с набалдашником дульного тормоза. И стало понятно, почему немецкая артиллерия не обрушилась тотчас на группу Нефедова, едва он себя раскрыл, не разворотила весь берег, который был же пристрелян заранее. Свои «Фердинанды» там, вот и весь секрет молчания. Нет, это невозможно было снести! Это было несправедливо! Ведь хорошо же все начиналось!..

— Нефедов! — закричал он в трубку молящим голосом, даже привзвизгнув. Задержи мне их! Любыми силами задержи!

— Какие у меня силы? — тем же усталым голосом сказал Нефедов. — Ну, постараемся, товарищ Киреев…

— А рота где же? Роту я тебе послал, под твое начало. У них и ружья противотанковые есть… Ну, и вообще — рота все-таки…

— Роту еще собирать и собирать. Где-то она пониже высадилась, течением снесло. Слышу, бой ведут… Слышу, но не вижу. И кажется мне… может, ошибаюсь, — загибается рота…

— Понятно, — сказал генерал упавшим голосом. — Понятно, милый… Ну, сейчас я тебе огонька подброшу, гаубичного. Свяжу тебя с ними, ты скорректируй…

— Слишком близко я их подпустил… Теперь только себе на голову корректировать.

— Что же ты так, Нефедов? Почему ж не разведал?

— Сам себя грызу… Но уж так.

В трубке послышался нарастающий лязг, в ухо ударило из нее грохотом, и генерал трубку выронил — в руки Донского.

— Любого огня требуй, — сказал генерал. Донской молча кивнул, ничуть не изменясь в лице. — Только скажи, чтоб поаккуратней работали пушкари. Никому в смертники неохота.

Но сам он понимал, что и Нефедов, и двадцать его людей, так благополучно одолевшие водную преграду и укрепившиеся на пятачке, уже вдвойне смертники. Если не «Фердинанды» их втопчут в землю, так свои щедрым огоньком — как его ни корректируй. Это же надо Нефедову выйти из боя и всю группу отвести… Возможно ли это? Или уже так втянулись, что не выйти? Так что же, соображал он лихорадочно, вернуть танки назад, пока не поздно? Скомандовать, чтоб задержали погрузку — тех, что еще не погрузились? Нельзя, невозможно, дело начато, и он должен был предвидеть продолжение. Да ведь и предвидел же, знал хорошо: весь ужас переправы — что она неотменима.

Сошедший на воду — должен ее переплыть. Или на дно пойти. Только одно было позволено ему, генералу, — самому вернуться. Не упрекнет никто. Ни своя свита, ни все те, кто расценивали как дурь его желание переправиться вместе с ними. Но себе он простит когда-нибудь — так много надежд связавший с этим плацдармом, жизнью поклявшийся?

Впрочем, ни одну свою мысль он не мог до конца додумать. Только что он все видел и слышал, как потревоженный зверь, еще минуту назад, еще несколько секунд назад, и вот уже все переменилось, и он, оглохший, с поплывшими в глазах радужными кругами, не мог понять, что за всплески запрыгали вдруг по воде, по лоснящимся волнам, приближаясь к борту

парома, зачем это его подхватили под руки и куда-то волокут Шестериков с Донским, и отчего вдруг, побелев лицом, отпрянул радист в открытом люке бронетранспортера, и как странно, съежась, скорчась на сиденье, прикрывает голову руками — руками! Сиротин.

Подняв лицо навстречу реву, он увидел, как один из «юнкерсов», утративший свою длину, свое крестообразное очертание, вырастает в своей ширине, в размахе крыльев, он пикирует, показывая подробности окрашенного лягушечьими разводами фюзеляжа, остекления кабины, обтекателей неубирающегося шасси — а вот его почему «лапотником» зовут, подумалось спокойно, даже слишком спокойно, — и стало различимо, как эксцентрично вращается широкий и тупой обтекатель втулки винта — почему-то красный, что же это за маскировка? И такие же красные украшения на крыльях… Какие там украшения! Вспышки из крыльевых пулеметов…

Пули цокали по броне танка и рикошетом, с протяжным пением, уходили куда-то. Вокруг парома на лоснящихся волнах вскипала дождевая пузырчатая сыпь.

Его силком тащили, пригибали ему голову, чтоб втолкнуть в люк. Он в этом увидел непереносимое унижение для себя и, мгновенно рассвирепев, рванулся из этих рук, ставших ему ненавистными.

— Сколько у меня истребителей? — закричал он, трясясь от гнева, который даже пересиливал страх. Лицо Донского, бледное, но внимательное, вбирающее неслышные слова, приблизилось к нему, к его лицу. — Я спрашиваю, сколько у меня истребителей!..

В эту минуту «юнкерс», достигнув опасной для него высоты, стал выходить из пике, снова показывая свою бесконечную длину и крестообразность, свое голубое брюхо, расчлененное стыками, пластинчатое брюхо громадного ящера, которое еще приближалось от «проседания», перекрывая небо. И вот, наконец, пронеслось оно — с ужасающим ревом. Под крыльями висели на кронштейнах две пузатые бомбочки. Почему не сбросил? Оставил для второго захода? Но этот-то — кончился?

Он упустил, что «штука» уходящая все еще страшна. Ибо, взмывая, она открывает обзор и обстрел воздушному стрелку, сидящему сзади. Но, к счастью, плывшие на паромах об этом не забыли. И задравши стволы, встречно его огню били по его фонарю из автоматов, винтовок, башенных пулеметов.

— Извини, Фотий Иваныч, — вдруг точно с неба послышалось, сквозь рев и треск перестрелки. — Ну, призадержались маленько, надо ж чайку попить перед вылетом… Сейчас я его уберу…

Радист из люка, откуда и исходил этот голос, протягивал генералу трубку радиотелефона. Генерал ее принял, не поняв толком, зачем она, если собеседник его и так услышал.

— Ты, Галаган? — спросил генерал, хотя ни треск в самой трубке, ни рев «Юнкерса» уже далеко за спиною не смогли этот знакомый голос исказить. Куда ж твои соколы подевались?

— У меня не соколы, — сказал Галаган с неба. — У меня — орлы. Ты их не порочь, они у меня обидчивые. Хлопцы, расходимся! Каждый себе дружка выбирает по личной склонности…

Краснозвездная шестерка — четверо «МИГов» и две «Аэрокобры», заканчивая взмыв в вышину, перевалив невидимый хребет, плавно и красиво расходясь веером, опускалась на «юнкерсов». Одна «кобра» была самого Галагана, другая — его ведомого. Ни больше ни меньше, как сам командующий воздушной армией вылетел на охоту.

— Хлопцы, прошу внимания! — командовал Галаган, живя полной жизнью. Вот этого, сто сорок шестого, который чуть Фотия Иваныча не обидел, не трогать, это мой… Надо его наказать примерно… Сейчас я морду ему набью…

«Славные же мы конспираторы, — подивился генерал. — Он меня Фотий Иванычем, я его — Галаганом. Уж будто не знают немцы, кто такой Фотий Иваныч. А про него — уже, поди, во всех наушниках вой стоит: „Ахтунг! В небе — Галаган!“».

Вся шестерка наших пронеслась над Днепром и вскоре вернулась, освещенная где-то уже всходившим солнцем, которого еще не было на земле и воде. «Юнкерсы» расходились в разные стороны; тот, что нападал, теперь, сильно накренясь, входил в разворот, чтобы уйти.

— По-английски уходишь, не попрощавшись? — возмутился Галаган. — Куда ж это годится? Не-ет, не уйдешь.

Немец, зная отлично, что в прямом полете «кобра» его настигнет легко и все спасение лишь в одном его преимуществе — маневренности, пролетел с километр и повернул обратно. Галаган со своим ведомым, пролетев много дальше, пропали из виду и показались не скоро. Пожалуй, теперь уже немцу было не до паромов с танками, обе свои подвесные бомбочки он сбросил как попало, совсем в стороне, только бы облегчиться; и не так страшны ему были все те, что плыли под ним по всей ширине реки, ничем не защищенные, такие удобные, ну разве что излишне разбросанные мишени; из этой игры он выключился вовсе, включился в другую игру, на другом этаже, в не лишенную увлекательности воздушную дуэль с русским асом, где ставкой была уже только собственная жизнь, а выигрышем — уйти от

смерти. Но на что надеялся немец? Что вот так и будет он уворачиваться от сверхскоростной, но неповоротливой «кобры», пока у нее не опустеют баки? Опять с ревом, буравящим уши и мозг, промчался «юнкерс» над паромом — так низко, что показалось, он ногою шасси сшибет с генерала фуражку. Верно, был у немца расчет, что преследователь остережется расстреливать его над головами своих. Он имел радио, но не знал русского — и не знал Галагана. Вот уж чего мог немец не опасаться, так это генеральских пулеметов. Расстрелять в воздухе — это не удовольствие было для Галагана, удовольствие было — набить морду…

Разогнавшаяся «кобра» настигла «сто сорок шестого» с таким избытком скорости, что можно было подумать, она либо опять проскочит мимо и придется возвращаться, либо врежется ему в хвост. Но, не долетев метров с полсотни, она вдруг взмыла круто, почти вертикально, и оттуда, с далекой высоты, переворотом через крыло повернула обратно, западала вниз, вниз, уже сомнений не оставляя, что вот сейчас расплющится об воду. Генерал Кобрисов, глядя завороженно, с колотящимся сердцем, все же упустил непонятным образом, когда же прекратилось падение и как оказался Галаган ровнехонько у «Юнкерса» за хвостом. Воздушный стрелок «Юнкерса» уже, видно, был ему не опасен — то ли убит, то ли кончились у него патроны; черный ребристый ствол пулемета задрался кверху и болтался из стороны в сторону.

Погасив свою сумасшедшую скорость, Галаган оставшийся излишек ее убрал взъерошенными тормозными щитками — и летел уже почти вровень с немцем, пристроясь чуть выше, метра на три, медленно опускаясь на него своим серебристым брюхом. Все же для рубки пропеллером еще оставался некоторый излишек, и, должно быть, не одному видевшему все это хотелось крикнуть в азарте: «Проскочишь!» — но замедленно, как в полусне, откинулись створки под крыльями, и вышли ноги шасси — как выпускает когти ястреб-тетеревятник над своей неминуемой добычей. Притиснутый к воде немец лишился единственного маневра, который может совершить преследуемый, — резкого клевка, ухода вниз. Перед «коброй» он был беззащитен совершенно. Плавное проваливание, удар ногою по фонарю кабины, и засверкали, крутясь, брызнувшие осколки плексигласа. «Кобра», приподнявшись, еще продвинулась вперед, опять провалилась и новым касанием снесла немцу лобовое остекление. Затем, приотстав, остекление заднее. Теперь над стесанным фюзеляжем торчала лишь одна черная голова пилота, вертясь и уклоняясь от новых ударов резиновой кувалды.

Когда простым и нежным взором
меня ласкаешь ты, мой друг,

мурлыкал Галаган в своей кабине; голос он имел среднего достоинства, но был, однако ж, большой любитель попеть «на охоте»,

необычайным цветным узором
земля и небо вспыхивают вдруг!

— Галаган, — уже взмолился Кобрисов, — и что ты там кувыркаешься, делать тебе не хрена. Уведи ты его, да и прикончи разом!

Галаган услышал, сдвинул назад фортку своего фонаря, помахал рукою в перчатке.

— Грубый ты, Фотий Иваныч, — отвечал Галаган. — Зачем же «разом»? Надо — нежно. И постепенно. Следующим номером нашей программы будем скальп снимать…

Оба исчезли из виду, и когда появились вновь, на немце уже не было его черного шлема — должно быть, сорвал его вместе с наушниками и очками, из страха не все увидеть и услышать. Встречный поток лохматил светлые, соломенного цвета волосы, голова пригибалась к приборной панели, и черная шина совершала над нею округлые пассы…

Во всем этом хватало безумия. Галаган не в пустом воздухе кувыркался, и не в пустом вели свой многоэтажный хоровод пятерка «МИГов» с восьмеркой «юнкерсов», а в прошитом, прожигаемом снарядами зениток с левого берега, очередями крупнокалиберных пулеметов; эти невидимые трассы вдруг становились видны, когда срабатывали дистанционные взрыватели и вокруг «юнкерсов» вспыхивали молочно-розовые облачка — оставалось изумляться меткости зенитчиков, ухитрявшихся пусть не попасть в немца, но и своего не задеть. Но вот одному из «юнкерсов» все же досталось — снаряд ему попал в корень крыла, и, отделясь от фюзеляжа, оно устремилось вверх, вращаясь в размашистой спирали, сам же «юнкерс» — тоже в спирали, только обратного вращения устремился к воде. При такой малой высоте пилоту и стрелку было не выброситься с парашютами; впрочем, и неизвестно было, что сделалось с ними при таком сотрясении, они свои фонари не открыли, падая, не открыли при ударе об воду, погрузились в прозрачной своей коробке и так и не вынырнули, покуда еще маячило над местом падения, как плавник гигантской акулы, другое крыло с черным

крестом.

Пришедшая от утопленника волна так накренила паром, что танк со скрежетом пополз боком к фальшборту, едва не обрывая слабые цепи. С грохотом откинулась крышка башенного люка, показалось искаженное ужасом лицо. Молоденький танкист не вынес этого особенного страха, и впрямь непереносимого в тесном пространстве и темноте, вылезти под пули ему было не страшнее, чем пойти на дно в муках удушья.

— Закройсь! — рявкнул на него генерал. — Ты мне тут не нужен пейзажем любоваться, ты мне там нужен целенький. Чего напугался — не выберешься? Жить захочешь — выберешься.

Лейтенант смотрел тупо, но понемногу приходил в себя, видя, как паром качнуло обратно и цепи, ослабнув, легли на палубу. Донской спокойно, ладошкой, ему напомнил закрыть за собою люк. И лейтенант, подчиняясь, уже улыбался трясущимися губами, смутясь своего греха. Выбраться при утоплении смог бы он один, башенному стрелку, сидевшему ниже, и тем паче механику-водителю судьба была захлебнуться.

Все, что происходило вокруг генерала, было как в полусне. Он кричал на танкиста, но как будто он только слушал и наблюдал, как кто-то другой кричит. И кому-то другому опять подали трубку из люка бронетранспортера, и он за этого другого должен был спешно решать, что делать. Нефедов ему докладывал, что «Фердинанды» уже занимают огневую позицию, уже вышли на прямую наводку, ожидают, когда подплывут поближе танки.

— Уходи! — кричал генерал. — Уходи с людьми подальше и корректируй. Больше ты же не сможешь, Нефедов! Ну, не совсем же у нас пушкари криворукие, авось что-нибудь смайстрячат…

Трубка не отвечала. Должно быть, полуоглохший Нефедов там соображал, что бы такое могли «смайстрячить» артиллеристы. А может быть, уже просто не слышал ничего…

— Что молчишь? — спросил генерал.

— Да вот думаю… Лучше ли оно будет — всю работу пушкарям передоверить?.. Не знаю.

И трубка замолчала надолго. Уже насовсем.

…А все же кто-то из них вынырнул, из экипажа утонувшего «Юнкерса». Неожиданно среди зыбей показалась его одинокая голова в шлеме и выпуклых очках, как будто поднялся из глубины обитатель дна, и первое, что он сделал, хлебнув воздуха распяленным ртом, — что было сил закричал. В его крике был пережитый ужас, неодолимая жалость к себе, обида на весь треклятый мир. Он кричал и плыл — торопясь, загребая широкими взмахами, выскакивая из воды чуть не до пояса, тратя много яростной энергии, да только не туда плыл, куда ему

следовало, плыл к левому берегу, до которого его не могло хватить, плыл навстречу тем, кто не должны были его пощадить, а должны были забить насмерть чем попало — прикладом, веслом, саперной лопаткой. Что-то случилось с его головой — он потерял всякие ориентиры или потерял зрение, или, проще того, не соображал протереть запотевшие, забрызганные очки, да просто сорвать их к чертям — и увидеть, что еще не потеряно спастись… А над ним, над всею переправой, преследуемый неистовым Галаганом, все носился затравленный «сто сорок шестой», уже, наверное, на исходе горючего, и, может быть, завидуя участи товарища по эскадрилье, мечтая хотя бы приводниться, как он, или, напротив, страшась такого приводнения, в котором так же мало было спасения, как и в воздухе, перенасыщенном ненавистью…

…Палуба вдруг пошла из-под ног. Это паром с разбегу уткнулся в песок плеса. Лишь тогда генерал, повернув голову, увидел нависавшую над ним, уходящую в небо кручу берега. Потревоженные стрижи выпархивали из своих нор и кружились стаями, не желая разлетаться далеко. Упали на плес аппарели, и выпрыгнувший все же из танка лейтенант, давеча испугавшийся, вместе с Шестериковым освобождали танк от его цепных пут. Механик-водитель из своего люка выглядывал — не пора ли ему рвануть.

И рванул-таки, не дожидаясь команды, еще не выдернув из палубы последний удерживавший его рым; гусеницы яростно отшвырнули назад визжащую аппарель, и паром, всплывая, отвалил от берега и закачался на волне, не давая сползти «виллису» и бронетранспортеру.

Латаная чумазая «тридцатьчетверка» шла уже по Правобережью, она шла под обрывом, узкой полоской, где было бы не разойтись двоим, она тыкалась в расселины, ища, где положе, где бы ей взобраться на кручу, а где-то высоко над ее башней еще, наверно, шел бой за ее спасение, горстка людей пыталась отвратить от нее бронебойные жерла «Фердинандов». Под кручей она еще была в безопасности, но что еще ждало ее наверху? Что там вообще происходило?

Генерал, не дожидаясь «виллиса», сейчас и не нужного ему, спрыгнул в воду, ему оказалось по пояс, и побрел к берегу, помогая себе взмахами рук, точно при косьбе. Пехота, попрыгавшая с плотов, его обгоняла, один кто-то его узнал, сообщил дальше: «Командующий на плацдарме!» — и другим тоже захотелось посмотреть на командующего, в кои-то веки достается такое увидеть солдату. А может статься, поглядывали, как бы не допустить погибели этого чудака, зная по извечному

русскому опыту, что новое начальство всегда хуже прежнего. Во всем, что он делал, тоже хватало безумия — куда теперь так спешил он? Донской и Шестериков разыскали для него тропку, взбегающую серпантином, пошли впереди него, они заранее его заслоняли от пуль, могших полоснуть с обрыва. По этой тропке, протоптанной, должно быть, жителями хутора, которые приходили сюда купаться или скотину пригоняли на водопой, он поднимался бесконечно долго, тяжело отдуваясь, обрывая сердце, от высоты уже начинало дух занимать, а в ноздри ударяли запахи гари, и едкий дым щипал горло; мучительно, тошнотворно пахло горящей резиной…

…Это догорали обрезиненные катки «Фердинандов», стоявших вразброс посреди клеверного поля, дальше пустого — вплоть до огородных плетней хутора. Там уже хозяйничали свои — наклоняли «журавль», с бодрыми возгласами доставали воду из колодца. «Правильное место я выбрал, — похвалил себя генерал. — Но что же они тут защищали? И как почувствовали, что я именно здесь высажусь с танками?» На некоторые вопросы никогда не находилось ответа, и он отвечал на них одинаково просто: «Война». Шесть обгорелых, подорванных чудищ с открытыми люками, покинутые своими экипажами «Фердинанды» выглядели по-прежнему грозно, но сталь их была мертва — это сразу чувствовалось. Всю жизнь имевший дело со смертоносной, поражающей или, напротив, защитной сталью, он каким-то чутьем, неясным ему, но безошибочным, определял сталь неживую, уже не способную двигаться, работать, исполнить свое назначение; даже казалось ему, она пахнет мертвечиной и вскорости станет разлагаться, как умершая плоть людская. Этой плоти, упакованной в черные комбинезоны, тоже довольно здесь было; ища спасения от невыносимого жара, от страха сгореть заживо, они нашли всего лишь более легкую и быструю смерть неподалеку от своих машин. Светлые волосы выбивались из-под шлемофонов, ветер их шевелил и овевал изжелта-черным дымом. Этот же волнуемый ветром клевер упокоил и свою «серую скотинку», тоже разбросанную прихотливо — кто к небу лицом, а чаще затылком, стриженным «под ноль», зрелище, столько раз виденное и к которому не мог он никогда привыкнуть. Между своими и немцами не было никакой нейтральной полосы; так близко сошлись в бою, что теперь иные лежали вперемешку. Один свой как будто пошевелился слабо, но, может быть, это лишь показалось генералу.

Живых осталось четверо. Трое из них успели уже после боя крепко хватить из фляжек, а может быть, и повредились в уме, говорить с ними было непросто. Лейтенанта Нефедова нашли в

мелком, наспех отрытом окопчике, где он едва помещался сидя, опираясь затылком на бруствер. Руки он прижимал к животу; под задранной гимнастеркой, измазанной в липкой земле, белели намотанные щедро и беспорядочно бинты. Глаза его были закрыты, бледные губы обкусаны, лицо осунулось и стало почти неузнаваемым.

Донской наклонился над ним.

— Жив, — сказал он уверенно. И спросил раненого: — Можешь поговорить с командующим?

Нефедов, с видимым усилием, приподнял веки. Глаза его где-то блуждали, смотрели как бы сквозь людей. При виде генерала едва обозначилось в них удивление.

— Так это вы с парома со мной говорили? — спросил он каким-то бесцветным голосом. — А я думал, с берега. И чего, думаю, шум у него такой? Ну, значит, лично будете принимать?..

Он опять закрыл глаза.

— Что он сказал? — спросил генерал. И тоже наклонился к раненому. — Что принимать, Нефедов?

— Плацдарм, товарищ Киреев, — ответил раненый. — Плацдарм… Или вы уже не Киреев?.. Там, на хуторе, еще два «Федьки» прячутся. Ушли. Вы уж как-нибудь их сами…

— Ты не беспокойся, — сказал генерал. И спохватясь, что еще что-то должен сказать, добавил: — Спасибо тебе, дорогой. Считай, ты уже на Героя представлен.

— Вам спасибо, — ответил Нефедов не скоро, и было не понять, улыбается он или кривится от боли. — Но мне уже не нужно ничего… Видите, схлопотал очередь… Теперь мне бы только покоя…

— Кого б ты еще назвал, четверых? — спросил Донской, раскрывая планшетку. — Кто, по-твоему, особо отличился?

— Никто. Мы не отличались… Мы все старались… Как я могу кого-то обидеть?

— Всем ордена будут. Но кто-то же больше всех сделал, — говорил Донской ласково-терпеливо, но и настойчиво. — Князев, заместитель твой? Еще кто?

— Старший сержант Князев погиб самым первым. У него бутылка разбилась в руке. При замахе. Может, пуля попала… Не знаю, не видел. Видел, как он горит факелом. И нельзя было потушить никак… Там он лежит, узнать его можно. Вы только осторожно тут ходите, вдруг кто стрелять начнет… в полусознании.

— Князеву посмертно, — сказал Донской, взглянув вопросительно на генерала. — Кого еще назовешь?

— Никого. Никому ничего не нужно посмертно. Я это хорошо

знаю. И мне тоже не нужно, когда умру. И если выживу — не нужно. Я слишком многое понял… Только говорить трудно… А помните, — он снова открыл глаза и тотчас закрыл, — вы написать обещали?..

— Что ты! — сказал генерал. — Жить будешь, Нефедов. Сейчас помогут тебе.

— Ох, ничем вы мне не поможете… Никто. И не спрашивайте меня… Можно, я просто так полежу?..

Все трое стоявших над ним распрямились. И генерал не знал, что еще сказать умирающему, чем ободрить. Вся его чудовищная власть — одного над сотнею тысяч — сейчас была бессильна не то что помочь этому парню выжить, но хоть уменьшить страдания. Даже такого простого он сейчас не мог — обратной переправой, этой наперекор, чтоб его доставили и сразу положили на стол и, может быть, что-то сделали.

— Шестериков, — сказал генерал, отведя его подальше. — Санитары должны бы прибыть, но что они знают? Сходи сестру разыщи, она с батальоном должна была переправиться. Его перевязать надо, бинты протекли, но мы же тут напортачим без нее. Может, его обмыть надо, а может, водой мочить — только загубим. Она — знает.

Шестериков молча кивнул и, закинув автомат за плечо, пошел к обрыву.

Генерал, расстегнув кожанку и сняв фуражку, медленно бродил по этому маленькому лагерю бессловесных. Никто уже не шевелился, и некого было спросить, как же здесь все происходило. Бой был коротким, скоротечным, и часа не прошло, как Нефедов сказал, что еще подумает, передоверить ли эту работу артиллеристам или же исполнить ее самим, обойдясь гранатами и бутылками. Как из восьми «Фердинандов» шесть были уничтожены, это на них читалось ясно, а двое ушли потому, наверное, что совсем лишились прикрытия пехоты. Вот все они лежат — семнадцать своих и, наверно, столько же немцев; судить по петличкам, это техническая обслуга была, механики, слесари-оружейники, они и не обязаны были идти в бой, у немцев это четко расписано, однако в тяжкую для их товарищей минуту похватали автоматы и попытались защитить свои «коробочки», свои «керосинки». Они тоже не отличались, они старались. Что ж, и они свой долг исполнили, ответили по-солдатски на вызов судьбы, но самим-то себе ответили они, зачем оказались здесь? Зачем пришли на чужую землю — и погибли, спасая железные коробки? Вот так, буквально, случилось казавшееся даже пошлым: «Люди гибнут за металл». Хватило ума хотя бы двоим экипажам уйти от безумия.

— Вернулся, — сказал Донской совсем рядом. Он, оказывается, все это время бродил следом, как тень. — За смертью тебя посылать, Шестериков!

Шестериков, взобравшись на кручу, шел и оглядывался куда-то назад, на Днепр. Он не спешил ни отозваться, ни подойти. И генерал никакие мог понять, почему так долго идет к нему Шестериков. Вдруг он сел на землю, стащил сапог, стал перематывать портянку. Наверное, что-то попало туда, камешек или песку насыпалось, но почему-то, покончив с одним сапогом, он принялся за другой. В оба сразу, что ли, попало ему по камешку? И еще долго, прыгая на одной ноге, он свой сапог натягивал. Сердце у генерала билось все тревожнее, а Шестериков все шел и шел к нему и никак не мог приблизиться.

Наконец он подошел и, не подняв глаза на генерала, сплюнул в сторону.

— Что скажешь? — спросил генерал. — Высаживается батальон?

Шестериков кивнул молча.

— Где ж сестра? Она с ними должна быть.

— Должна, да не обязана, — сказал Шестериков и опять сплюнул. Он еще никогда не позволял себе таких вольностей. Затем посмотрел наконец в глаза генералу. — Потонула сестричка, Фотий Иванович. И главное дело, никто не видал как. Смотрят, а уже и нету ее в лодке. Наверно, в голову попало. А то бы закричала.

— Как же это? — спросил генерал. — Как допустили?

— Переправа, — объяснил Шестериков.

Он сказал вещь бессмысленную, но все объясняющую. Генерал смотрел на него и ждал, что он еще что-нибудь скажет. Может быть, скажет, что это еще не достоверно, что вот сейчас все выяснят и доложат — и окажется, что ошиблись, она в другой лодке была…

— Все точно, — сказал Шестериков. — Ну, хотя бы не мучилась…

— Да откуда ты знаешь?

Шестериков лишь вздохнул покорно.

Генерал, оставив его, пошел к обрыву. То самое чувство влекло его, которое тянет нас посмотреть на чью-нибудь недавнюю могилу. А ведь все так недавно и было, еще звучал для него, не искаженный временем, печальный ночной шепот: «… вижу, как ты лежишь — сразу же за переправой, совсем без движения… далеко не уйдешь…» Но вот он стоял высоко над бездной, куда ее утянула тяжелая сумка, с которой она не могла расстаться, и он был невредим и мог идти дальше. Только одно

сбылось: «…ты со мною уже не будешь».

Хриплые вскрики ворвались в его сознание: «Взяли!.. Еще разок… Взяли!» Внизу, как раз под ним, артиллеристы поднимали «сорокапятку». Пехота им помогала. Два десятка людей, отягченных своей амуницией и оружием, голыми руками упираясь в ступицы колес, в станины лафета, в щит, а кто ухватясь за ребра дульного тормоза, хрипя от натуги, втаскивали пушку на крутизну плацдарма. Одолев метр-полтора, подкладывали под колеса камни и отдыхали, отирали пот из-под касок, поправляли шинельные скатки, держась за свою «прощай-родину» и отчего-то улыбаясь друг другу. Спохватясь через полминуты, наваливались снова. Было в этой картине что-то уже забытое человеком, из времен пещерных. «Это еще что, пушинка, — подумал генерал, — а вот как танки будем подымать тридцатитонные?.. А так же и будем». И надо было спешить, покуда не прочухали немцы, что «Фердинандов» больше нет, и не обрушили свой огонь на пристрелянный берег. Это чудо какое-то, что еще не спохватились! Найдя наконец чем себя занять, он скинул свою кожанку — прямо наземь, зная, что подберет Шестериков, — и стал закатывать рукава рубашки. Покуда не взойдут на плацдарм танки, не скажешь себе: «Дело сделано», переправа еще не состоялась.

Там, на востоке, куда обращал он взгляд, день уже занялся, но солнцу никак было не пробиться сквозь плотные мглистые облака. Лишь круглое скользящее посветление указывало, где оно сейчас находится. Он смотрел долго, не в состоянии вместить в себя все, что уже случилось в это утро и еще должно было случиться начинающимся днем, и глаза у него слезились. Он их потер руками и когда глянул снова, то увидел в облаках просвет, крохотное озерцо синевы, куда солнце проникло краешком и тотчас брызнуло золотым лучом. Он был устремлен вверх, к небесному хмурому своду, но ветер гнал облака, и луч повернулся в разрыве между ними, в проталине синевы, как огромная стрелка часов. Он сначала расширялся веером, но вскоре стал сужаться, с каждой секундой меняя цвет, покуда не сделался медно-красным.

Узким разящим мечом он опустился на воду, разрубив Днепр надвое, и светлая бликующая дорожка, пересекавшая реку, запламенела, окрасилась в красно-малиновый. По обеим сторонам дорожки река была еще темной, но, казалось, и там, под темным покровом, она тоже красна, и вся она исходила паром, как дымится свежая, обильная теплой кровью, рана.

Река крови текла между берегов, и все, что плыть могло, плыло в этой крови. Плыли конники, держа под уздцы коней,

возложив на седла узлы с одеждой и оружием. Плыли артиллеристы на плотах, везли свои «сорокапятки» и тяжелые минометы, упираясь ногами в мокрый настил, а руками крепко держась за свое добро, чтоб не утопить при накренении. Плыла пехота в лодках и на плотах, на связанных гроздьями бочках, на пляжных лежаках, на бревнах, на кипах досок, сколоченных костылями или обмотанных веревками, на сорванных с петель дверных полотнах и просто вплавь, толкая перед собою суковатое полено или надутую автомобильную камеру.

И плыли густо — наперерез им — убитые, по большей части — вниз лицом, а затылком к небу, и на спине у многих под гимнастеркой вздувался воздушный пузырь. Живые их отталкивали, отводили от себя веслами и баграми, стволом автомата и плыть продолжали.

Все живое — пестрое, шумное, нескончаемое — достигало плеса, цеплялось за кромку берега сапогами, копытами, колесами, траками гусениц и ползло, ползло по крутостям склона сюда, к нему, так вожделенно стремясь к унылому клеверному полю, с его мертвецами и сгоревшими «Фердинандами», — зловещая, отвратительная, но и прекрасная картина, от которой он не мог оторвать глаз.

Глава четвертая.
ДАЁШЬ ПРЕДСЛАВЛЬ!

1

Женщина переходила дорогу и остановилась, услышав недальний, из глубины лесной просеки, шум мотора. Приближался крытый брезентом «виллис», без номера и с маскировочными синими фарами, с белой левой частью бампера, а женщина знала по опыту, что фронтовые шоферы правилами не утруждают себя и очень не любят тормозить; особенно же не любят они, когда неизвестные перебегают им дорогу, да притом в лесу, и самое разумное — застыть на месте и переждать. Женщина так и поступила, опустив на асфальт ведра, полные грибов. «Виллис» налетел и промчался, обдав ее влажным ветром и бензинной гарью. На миг показалось полутемное его нутро, и сквозь забрызганное слякотью лобовое стекло она успела разглядеть сидевшего спереди крупного человека — нахмуренное его лицо, примятую полевую фуражку, две большие звезды на погоне.

В деревне, где жила женщина, увидеть генерала считалось к добру, хотя едва ли бы кто взялся объяснить, в чем бы это добро состояло. Однако ж, промелькнувшее видение прибавило ей настроения и чем-то отличило этот день из тысячи других. И так как «виллис» промчался в сторону Москвы, то она решила, что генерал, верно, туда едет за орденом, и пожелала ему самого главного из всех орденов, а по привычке подумала о нем как о возможном муже, с которым бы она жила в той далекой Москве, если б выпало ей там родиться и если б какие-нибудь счастливые обстоятельства их свели. Но, поскольку она Москвы не видела и не надеялась в ней когда бы то ни было побывать, то и представление о муже-генерале не удержалось в ее сознании, его заполнили другие соображения, главным образом о грибах, которые ей сейчас предстояло перебрать, почистить, отделить, какие для сегодняшней варки, а какие для засолки — горячей или холодной.

В свой черед, и генерал не миновал своим вниманием женщины под серым платком, в безразмерном ватнике и резиновых сапогах, стоявшей на обочине шоссе с полными ведрами, — это показалось ему доброй приметой, хотя он и не знал в точности, что она означала. И мысль его об этой женщине

была заурядной мыслью проезжего человека: что вот и здесь живут люди своей муравьиной жизнью, в которой нашлось бы место и ему — быть хотя бы мужем этой женщины, не старой и не молодой, а как раз ему по возрасту; здесь бы он затерялся, как песчинка в прибрежной отмели, укрылся от всех огорчений и забот, исполнил самое, может быть, естественное для человека — уйти от суеты мира, от слишком пристального внимания ближних. А может быть, и не было бы у него вовсе этих тревог, когда бы выпало ему родиться здесь, в нетронутой лесной глуши. А впрочем, война, которая и сюда докатилась и схлынула, все равно бы его достигла и отсюда вытянула, да и не его удел — укрыться от чего бы то ни было…

…Как ему и предсказывала та, о ком он напрасно старался не думать, он далеко не ушел от переправы. Его временное житье на отшибе, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, в двух километрах от Днепра, кончилось неожиданно и сразу, когда он услышал железное урчание и в проломе стены проплыл дульный срез танковой пушки, а следом вплыла и замерла высокая башня «КВ». Кажется, Хрущев завел моду высоким чинам разъезжать повсюду в танках признаться, не лишенную смысла: она и проходимость повышала, и сокращала нужду в большой охране. В этом танке наехал к нему Ватутин — как и он сам любил наезжать нежданно к своим подчиненным, чтобы застать все как есть. Напрасно ему казалось, что если не тревожить начальство новыми предприятиями, то все обойдется. Он забыл свое же мудрое изречение насчет вкусной дичи: она вызывает интерес не тем, что кого-то беспокоит, а тем, что вкусная.

Кобрисов, спешно застегиваясь, вышел встречать. С видимым трудом, при своей коренастости и тучности, командующий фронтом протиснулся из люка, но спрыгнуть молодо не решился. Кобрисов ему помог сойти — за что получил добрый совет:

— И ты бы вот так ездил, очень даже удобно. Хотя — ты моими советами пренебрегаешь.

Это он напомнил, что Кобрисов к нему не обратился в канун переправы, а поспешил свои танки угнать. Кобрисов склонил голову, что могло значить и признание своего проступка, и что победителей не судят.

— Духоты не люблю, — сказал он примирительно. — Люблю чистым ветерком дышать. — И добавил некстати: — Тоже и армия хочет видеть своего генерала.

— А я хочу видеть тебя, — возразил Ватутин слегка запальчиво. — Живого и не раненого.

Убежище Кобрисова — наспех отрытую щель под окнами — он осмотрел критически, заметил, что слишком близко к стене и

при бомбежке завалить может, не удержался и от других замечаний:

— Что у вас делается, генерал Кобрисов? Охранения — никакого. От самой переправы еду, и никто мой танк не задержал.

— Стало быть, знали, кто в танке едет.

— Ах, так…

— Да уж, догадались. А что вы моего охранения не заметили, за это я им, с вашего разрешения, благодарность объявлю. Умеют маскироваться и начальство зря не беспокоят.

Ватутин посмотрел на него с легкой усмешкой, едва скрывавшей раздражение.

— Занятный ты мужичок, Кобрисов. Ладно, веди в свои покои, посмотрю, как ты живешь.

Кобрисов его повел на второй этаж, в дальнюю угловую комнатку с табличкой на двери «Комната матери и ребенка»; там Шестериков поставил койку, письменный стол и табурет. Другая мебель здесь бы не поместилась, поэтому хозяин уселся на койку, гость же оседлал табурет, — не сняв кожанки и отклонив предложенный чай, тем подчеркнув спешность и кратковременность своего пребывания.

Не сказать, чтоб жилище Кобрисова ему больше понравилось.

— Что-то ты… слишком уж скромненько. Прямо, как студент, живешь. При штабе оно бы веселее…

— Да штаб мой еще не весь переправился. Как только окопается — тут неподалеку, в селе, — так и я переселюсь.

— Ага… А то уже слухи ходят, ты с людьми не уживаешься.

— Слухи, — сказал Кобрисов.

Ватутин долго смотрел на него синими глазами, слегка досадливо покусывая губы. Он в этот приезд заметно внимательней всматривался в лицо Кобрисова, желая, верно, прочесть в нем что-то новое и еще не открывшееся, либо то, чего раньше не замечал.

— Хочешь мое мнение знать? — спросил он.

— Весь внимание, Николай Федорович.

— С переправой тебе, в общем, повезло. Почти не встретил сопротивления. Противник здесь не имел резервов. Что, между прочим, соответствовало нашим предварительным оценкам. Это не значит, что нет твоей заслуги — хотя бы в выборе места. А все же еще две причины сработали: одна — что фон Штайнера все ж таки Сибежский плацдарм, который ты критикуешь, сильней занимает. А вторая — может быть, тут сыграло роль, что не сразу ты эту переправу затеял. Он уже, поди, считал, что мы тут не рискнем. А мы вот рискнули — разрешили тебе взять плацдарм.

Ну, и твоя заслуга тут тоже есть — напомнил, настоял…

Кобрисов дважды покорно склонил голову, не соглашаясь ни с первой причиной, ни со второй.

— Подозрительно мне, — сказал Ватутин, — когда ты соглашаешься. Все же загадочный ты мужик, Фотий… Но… Бог с тобой. Я не затем к тебе на пароме переправлялся, чтоб твое согласие испрашивать…

«А зачем ты переправлялся?» — подумал Кобрисов.

— А затем, — продолжал Ватутин, — чтоб сказать тебе: определись, Кобрисов. Определи свои отношения с соседями. Вот ты переправился — и глазом уже на Предславль косишь. Уже твоя армия правым плечиком вперед стоит и команды «Марш!» ожидает. Ну, так мы все и подумали сразу. Не буду тебя экзаменовать, как мальчишку, какой у тебя дальнейший план. А только о Мырятине ты всерьез не думаешь — как оно, между прочим, было бы по правилам. Это для тебя мизер. А напрасно, противник еще далеко не выдохся, он может вот именно тут подтянуть резервы. Я ни на чем не настаиваю, генерал Кобрисов. То есть я пока не настаиваю. Но грянет час, тебе этим городишкой станут глаза колоть.

— Что ж вы думаете, вдруг я Предславль возьму? С моими-то силенками?

— Прибедняешься, — сказал Ватутин. — Я тебя ценю… ценил до сих пор, по крайней мере, что ты все же не числом пытаешься воевать, а каким-никаким умением. Но «вдруг» у тебя уже точно не получится. Покуда стоял ты себе спокойно, где судьба определила, никого это не волновало. А ты — плацдарм берешь… Так что «вдруг» тебе одному не обломится. Но на свою долю… значительную долю в общей победе — ты теперь можешь претендовать. За успешную переправу. За дерзость. И вообще — пора тебе как-то приобщиться побольше к людям, в круг войти. Ты же любимцем фронта мог бы стать, не хуже Чарновского. Подумай об этом. И не уставай благодарить соседей. За вклад. За чувство локтя… или как там? В общем, солидарность прояви. Мой тебе совет. Не начальственный — дружеский.

— Спасибо…

— На здоровье. Это уж как водится…

Большей откровенности они бы достигли, прибегнув к водочке, но это для данных русских особей исключалось, поскольку один из двух, Ватутин, был непьющий. Среди генералов, каких только знал Кобрисов, этот выделялся не столько редкой работоспособностью, как этим дивным свойством. За что и считался «интеллигентом». Не так чтобы истый был трезвенник, мог при случае и пригубить, но к откровенности это

не больше располагало, чем «напиток полководцев» — чай.

И все же Кобрисов смог оценить расположение к нему начальства, когда оно, понизив голос, произнесло с грустью:

— Ты же знаешь, Фотий, мы со своими больше воюем, чем с немцами. Если б мы со своими не воевали, уже б давно были в Берлине…

Этими словами, подчеркнув интонацией и скорбной игрой лица, что они предел доверительности, он ее и закрыл. Откликнуться на них нельзя было иначе, как долгим вздохом и невнятными междометиями. А сколько еще хотелось спросить Кобрисову, как жгло ему язык: «Упрекали меня, что не замахиваюсь по-крупному. Ну вот, еще не замахнулся, даже и намерения не проявил — и что же? Нет у меня права на такой замах, все права — у Терещенки?» Но он предпочел — благодарить. И кажется, его благодарность не показалась Ватутину подозрительной. Значит, повел себя, как вкусная дичь.

Тотчас по отбытии командующего фронтом генерал Кобрисов достал свою карту с первоначальным эскизом, который он набросал сразу после переправы. Эскиз успел постареть: уже не один, а два плацдарма имела его армия на Правобережье, соединенных узкой, в полкилометра, полоскою берега. Между ними вклинивался «свиньей» передний край немецкой обороны; почти в центре этого треугольного выступа и находился Мырятин. И первой же мыслью Кобрисова было — ударить с двух сторон под основание выступа. Два глубоких охватывающих вклинения, так повернутых остриями друг к другу, чтобы где-то за Мырятином угадывалось пересеченье осей, создавали бы предпосылку окружения. Мысль была проста до примитива, но тем и нравилась Кобрисову. Она вполне удовлетворяла известному требованию Гинденбурга: «Наибольший успех нам обеспечивает простота замысла». Было здесь, правда, и осложнение, связанное с передачей оперативной инициативы противнику; пришлось бы ждать его ответных шагов, но на сей счет генерал Кобрисов беспокоился не слишком и говорил, сам себе подмигивая: «И подождем, куда тут торопиться…» Его замысел, помимо достоинств простоты, еще и успокоил бы тех, для кого надо было изобразить операцию. Эти клинья, вонзившиеся в оборону противника, хотя бы на том и застывшие, выглядели куда динамичнее линейного фронта; немцам они грозили «котлом», соседи — могли убедиться: человек поглощен операцией с решительной целью и большим размахом, о каком Предславле ему еще думать…

Вычертив эти две стрелы, он принялся раскладывать пасьянс. Всегдашнее горестное занятие генерала — что-то выкраивать из

дорогих ему, таких необходимых сил и средств, которых всегда не хватает! Не хватает людей, орудий, танков, самолетов, снарядов, горючего, водки, жратвы, черта, дьявола. (И, конечно, всегда баб не хватает!..) Счет шел уже не на дивизии на полки; разведанные силы противника большего и не требовали, но жаль было и полков! С болью в душе он выделил на каждое вклинение по три отдельных стрелковых полка, усиленных противотанковыми артдивизионами. Еще покряхтев, вспомнив, что скупой платит дважды, добавил по пулеметному батальону. Записал себе — попросить у Галагана хоть по две эскадрильи штурмовиков. Танков — рука не поднялась хоть один отдать из шестидесяти двух. «Выкуси! сказал он тому неведомому, кто на них рот разевал, все требовал и требовал. — И на том спасибо скажи!»

Особенной скрытности он не добивался, напротив — командирам полков ведено было не таить приготовлений. Он даже прибавил к своему замыслу пошуметь танковыми моторами, полязгать, пострелять, а затем незаметно их вывести и уже бесповоротно обратить на Предславль! Была надежда, что окружения и не понадобится, слишком очевидна его неотвратимая угроза, и всяк здравомыслящий должен бы загодя унести ноги из «мешка».

Но, когда обрели его изогнутые стрелы материальное воплощение, когда шесть полков, с боями не чрезмерно кровавыми, — а местами, в лесах, и вовсе без боев, — углубились под основание Мырятинского выступа, вдруг выявилась эта странность в поведении противника: он не выказал жгучего желания унести ноги из «мешка». Он как будто вообще не принял всерьез угрозу окружения. Воздушная разведка не отмечала признаков эвакуации, ни приготовлений к ней. Командиры полков докладывали об ожесточении обороны, каждый километр забирал все больше усилий и жертв. Такой прыти — и такой неосторожности! — не ожидалось от немцев после Курской дуги. Всякий час тревожился Кобрисов, что клинья увязнут совсем и повторится ситуация на Сибеже. И речи уже не будет о том, чтобы и Мырятин тебе, и Предславль, но либо то, либо другое. А скорее то. От него станут требовать и ждать, чтобы он как-то вышел достойно из авантюры, в которую влип, или бы уже продолжил свою операцию до победного исхода, и он будет бросать и бросать войска, не видя конца этому, ни дна ненасытной прорве, и вся надежда будет, что вырвет победу последний брошенный батальон…

Он ломал голову: с чего вдруг так вцепились немцы в заштатный городишко? Что прикрывает собою этот, с позволения сказать, опорный пункт? Какой оперативный замысел на него

опирается? А не могла ли то быть еще одна ловушка фон Штайнера, чтоб тут увязли русские — и не помышляли о броске на Предславль? Красную тряпку бросили быку — топтать ее в ярости. Задним числом казалось Кобрисову, что и тогда было что-то пугающее в подозрительной простоте замысла. Некое коварство таилось в ней — как в вечном двигателе, который оборачивается инженерным абсурдом: не только не работает, но даже с трудом выводится из инерции покоя. Он клал перед собою снимок фельдмаршала, едущего по приволжской степи на танке, высунясь из люка по грудь, вглядывался в полное холеное лицо под черной пилоткой, с надменною складкой рта, усиками «лопаточкой», посверкивающим в глазу моноклем. Эти усики под фюрера и монокль в сочетании с башнею танка не говорили о слишком оригинальной личности, но был же он и впрямь недурной вояка. «Что же это ты мне уготовил, братец Эрих?» — спрашивал Кобрисов, и тут же закрадывалось подозрение: да, может статься, ни черта не уготовил братец Эрих, не мог же он предвидеть, что возникнет плацдарм раздвоенный, что приедет Ватутин со своими советами, что Кобрисов и сам, еще до этого, на всякий случай, станет набрасывать свой эскиз. Просто, сложилось так. Но — откуда же такое ожесточение? Что их там держит, не помышляющих ни о каком отступлении?

В конце концов он понял, что его пугало. Он знал о численности войск противника, но не знал их состава. А могли же быть в Мырятине части СС, которым отступить не позволяют соображения престижа. И перебежчиков от них не дождешься — ввиду причастности к операциям карательным. Так пришла мысль, что позарез нужен пленный. И коли дело касалось, скорее всего, духа армии, то безразлично было, какого чина ему добудут. Право, какой-нибудь обозник свидетельствует об этом духе даже выразительней.

И буквально через час, как адъютант Донской заказал «языка» разведотделу штаба, сообщили, что вот есть свеженький, взят неподалеку от наших позиций, утверждает, что шел сдаваться. Впрочем, к допросу еще не приступали.

— И хорошо, что он у вас не допрошенный, мне такого и надо, — сказал генерал. Уже допрошенный «язык», он знал, только и думать будет, как бы не разойтись с первоначальной версией. — Гоните его сразу ко мне, с переводчиком.

Начальник разведотдела возразил, странно помявшись, что переводчик не потребуется.

— Он что, — спросил генерал, — и по-русски лопочет?

— Только по-русски и лопочет, ни на каком другом. Так он утверждает.

— Не понимаю… Он из местных, что ли? Или же дезертир какой?

— Не из местных, товарищ командующий. И не дезертир. С его слов — наш будто бы. Ручаться не могу.

Ничто не предвещало особенной неожиданности, когда пленного доставили, и генерал направился к нему в другое крыло вокзальчика, в комнату, очищенную от обломков и даже со вставленными стеклами, где он принимал подчиненных. При виде него вскочил коренастый, невысокий ростом, круглоголовый парень в пятнистом комбинезоне, назвался то ли Лобановым, то ли Барановым, генерал не разобрал. Пленный был очень напряжен и, наверное, оттого взрывчато заикался.

Встал от окна еще кто-то, освещенный сзади, сказал несколько игриво:

— Все тот же вездесущий майор Светлооков. Разрешите поприсутствовать, не помешаю. — И, прежде, чем генерал мог бы ответить, пояснил, усаживаясь: Пленный как-никак за мной числится, за нашим отделом.

Генерал возразил было, что у него и у «Смерша» интерес к пленному разный, и, может быть, лучше бы допрашивать раздельно, но затруднился, говорить ли со Светлооковым на «ты» или на «вы». Так повелось в армии, что сверху нисходило отеческое «ты», а встречно восходило сыновнее «вы» — в зависимости от чина-звания, не от разницы в летах. Так разговаривал он с Ватутиным, годами намного младшим. С майором Светлооковым тоже сложилось на «вы», но при тоне игривом, когда это и выглядело как шутка. Серьезного же разговора у них покуда не было, к тому же генерал не знал толком, в какой мере подчиняется ему этот майор. Говорилось о двойном подчинении «Смерша», о «тесном контакте» с госбезопасностью, но, похоже, истинно и признавали они только ее министра Абакумова.

— Не возражаю, — сказал генерал угрюмо и на себя же рассердился — за то, что Светлооков и дожидаться не стал его разрешения. Побарабанив пальцами по столику, за которым сел напротив пленного, генерал успокоился и задал вопрос неожиданный, но очень естественный в армии: — Кормили тебя?

Пленный опять вскочил, оглядываясь в растерянности на Светлоокова. И обещавший не вмешиваться Светлооков ответил за него:

— Не извольте беспокоиться, товарищ командующий. Они там отобедамши.

— Где «там»?

— Там, откуда прибыли. У противника. И двух часов не

прошло.

Пленный было рот раскрыл что-то сказать, но лишь кивнул согласно.

— Поведай, — сказал генерал, — как попал в плен. Как из него бежал.

На Светлоокова он не смотрел, и пленный, который был весь внимание и звериная напряженность, это заметил, стал говорить уже не так заикаясь, а главное, с видимой жаждой выговориться.

Поведал он про то, чего все же не ждал генерал от своих нещепетильных соседей, что переполнило уже налитую до краев кровавую чашу Сибежского плацдарма. В довершение всей авантюры попытались ее исправить новой авантюрой — воздушным десантом, и столь массированным, какого еще не видывала история войн. Общего числа пленный, естественно, не знал, но свою воздушно-десантную бригаду назвал пятой, из чего генерал мог заключить без большой ошибки, что пять их, поди, и было задействовано — число, предпочитаемое дураками… К могучему замаху еще добавилась тонкая идея десанта ночного, «под покровом темноты» — будто немцам составило бы тяжкий труд рассеять этот покров прожекторами, осветительными ракетами, висячими бомбами-лампионами! И отсюда пошли все беды. Выбросить пять бригад решено было за одну ночь, в крайнем случае за две, не имея аэродромов ближе, чем за двести километров от Днепра, не имея и самолетов в достатке. Это какой-нибудь 40-местный ЛИ-2 или же буксировщик планеров должен был за ночь несколько рейсов совершить, несколько взлетов, посадок… Так спешили, что задачу десантникам ставили за час до взлета, а обдумывали ее на лету. Так спешили, что в экипажи набрали пилотов, не имевших опыта ночных вылетов; выдержать нужную малую высоту они и не старались, от огня зениток и ночных истребителей уходили повыше и увеличивали скорость, и людей разбрасывали по огромной и неизведанной площади. Падали в воды Днепра — и тонули многие, не сумев еще в воздухе освободиться от стропов. Падали, ослепленные прожекторами, на немецкие боевые порядки, падали навстречу трассам зенитного огня, на многажды пробитых, на сгорающих куполах парашютов. Самых удачливых относило благодетельным ветром к своему левому берегу, и уже свои наверняка заподозривали дезертирство из боя, которое, и впрямь, не так сложно для десантника, наученного управлять падением и сносом. Те же, кто приземлялись все-таки в заданном месте, должны были его обозначить кострами и ракетами, но вскоре и немцы из противодесантных отрядов стали разжигать костры и пускать свои ракеты. Иной же связи не было: из опасения, как бы

радисты не попали в лапы врага с секретными радиоданными, решили их не сообщать до приземления, и эти коды и позывные летели отдельно, в других самолетах, и на земле не суждено им было воссоединиться с бесполезными рациями, которые оставалось только разбить да выбросить.

Это и рассказывал десантник-радист, еще не вполне исчерпавший умом всю меру изумления головотяпством.

— У нас же вся кодировка была под ключ, а голосом — так у меня микрофона нету, не велели с собой брать, — говорил он с не прошедшим, неизжитым отчаянием. — Ну, что… ну, я могу открытым текстом: сюда, мол, не сбрасывайте людей, тут засады кругом… Но кто ж мне поверит, когда я радиоданных не имею, кодов не знаю, своих позывных? У комбата все, а где он, комбат?

— Действительно, — подхватил майор Светлооков, — кто ж тебе поверит. Ты же всего наблюдать не мог. Или кто-нибудь потом рассказал тебе?

Десантник от этих слов осекся и вновь замкнулся. Между тем виделся человек очень не робкого десятка, кто побывал в передрягах и находил в них прелесть и смысл жизни, из тех, кто воевать умеет и любит. Было что-то звериное в его мощной тренированной фигуре, взрывчатая кошачья сила и ловкость, которые у генерала вызывали симпатию и молодецкое желание побороться с ним, и, наверно, была прежде горделивая осанка человека, ценимого командирами и знающего себе цену, привыкшего изъясняться, не утруждаясь выбором слов. Но, видимо, в этот раз испытал он то, что уже превысило меру его храбрости и сломило ее; может быть, на всю жизнь оставило неизгладимый устрашающий след.

— Так, — сказал генерал, — рацию ты разбил. Дальше что?

Неожиданно для него десантник не ответил сразу, а потупился в пол и, вцепясь обеими руками в края стула, выговорил с усилием:

— Не разбил, товарищ командующий. Тут ведь как вышло? Покуда падал, страху натерпелся — как вспомнишь, так вздрогнешь. А приземлился — хорошо, на поляну, не на деревья. Руки-ноги целы, не ободрало нигде. И тащило меня недолго, купол погасил быстро. И вроде никого кругом, можно и расслабиться. Ну, развернул рацию — хоть что-нибудь услышать, наушники надел, работаю. И не услышал, как они сзади подкрались, человек пять. Вдруг наушники с головы срывают и в рожу — стволы: «Хенде хох!» Я и ножичек не успел вынуть.

— И автомат пришлось отдать, — сказал майор Светлооков.

— Взяли автомат, — сказал десантник. — Я только потянулся — сапогом дали под челюсть…

Он показал рукою, куда ему дали, там лиловел кровоподтек. А легкая его усмешка показывала, что схлопотать по морде, хоть и сапогом, не такая уж для него трагедия. Майор Светлооков заглянул сбоку и покачал головой.

В какую из минут, не уловленных генералом, парень стал губить себя? Когда, поддавшись его доверительному тону или просто не смея лгать командующему, решил говорить правду — что не разбил рацию, как предписывалось, не отстреливался до последнего патрона, не резал врага финкой, не рвал зубами? Да, это все поводы для «смершевца» сделать стойку. Но только он ее раньше сделал — когда рассказывалось о десантировании, о котором рассказать солдатской массе невозможно, немыслимо, выглядело бы клеветой на командование, злобной антисоветчиной. Как часто людям приходится отвечать за то, что они не могут не рассказывать о грехах других людей, и как охотно эти другие перекладывают на них свои вины! Только формулировку подобрать. В сущности, за любым обвинением политического свойства всегда стоял чей-нибудь личный интерес — и непременно шкурный. И уж эти мастера себя выгородят перед Верховным и награды себе отхлопочут — можно ведь из любого головотяпства выйти с достоинством: «В ходе операции советские воины проявили массовый героизм, мужество и стойкость». И все ведь чистая правда, кто-то же проявил, сплотился в группу, в отряд, оказал сопротивление. А все другие будут уже к ним подстраивать свои легенды. Только вот этот парень не озаботился запастись легендой. И значит, был обречен, еще когда прыгнул в ночную темень, если не раньше — когда всходил по трапу в самолет.

— Что с теми было, кто отстреливался? — спросил генерал. — Удалось им оборону какую-то организовать?

— Я, когда повезли меня, видел — вешали на стропах. На ихних же стропах. Ну, забавлялись. Несколько тяжелораненых или кто ноги поломал свалили в кучу, забросали хворостом и зажгли. Крик стоял жуткий. На весь лес. И мясом пахло горелым.

— А тебя, значит, везли, — сказал Светлооков.

— А меня везли, — повторил десантник. И вдруг взорвался: — Что же я, п-просил их меня в-везти, ш-што ли? Я им п-продался, да? С-служить п-пооб-бещал? Лучше бы меня т-тоже п-повесили? Или — с-сожгли? С-скажите уж п-прямо!

— Это скажут тебе, — ответил майор Светлооков. — А что лучше, что хуже для тебя — это сам решишь. — И, как бы спохватясь, добавил: — Виноват, товарищ командующий. Я, наверно, мешаю?

«Не „наверно“, а мешаешь!» — хотелось генералу рявкнуть.

Но, допустив первые вопросы и реплики Светлоокова, почему было вдруг упереться на этой? Противника останавливают на дальних подступах, на ближних — еще удастся ли?

С той же доверительностью в тоне и как бы не слыша Светлоокова — что казалось ему сейчас лучшей тактикой, — генерал опять обратился к десантнику:

— И куда же они тебя повезли?

— В город повезли.

— В какой город?

Десантник потер лоб тылом ладони, словно бы мучительно вспоминая.

— В этот… В Мырятин.

…Как помнилось генералу, некую обожженность лица и всего тела испытал он сразу при этом имени — от предчувствия, что вот сейчас откроется тайна, которую он был обязан узнать, перед тем как вычерчивать свои вклинения и раскладывать пасьянсы. И кто виноват, как не он один, что разведка ему этой тайны не раскрыла? Он ведь не ставил разведке вопроса, что за люди обороняют этот городишко, — хоть и блуждала мысль о духе армии.

— Почему в Мырятин? — спросил он. — Зачем?

Десантник исподлобья взглянул на него с удивлением.

— Так там же русские, — сказал он. — Русские там.

И генерал явственно ощутил на своем вспыхнувшем лице давящие взгляды десантника и Светлоокова.

— Что, пленных туда согнали? Концлагерь? — спросил он оторопело, где-то на краешке сознания зная ответ, но стараясь его отогнать, заклясть, чтоб именно то оказалось, о чем он спрашивал.

Десантник помотал головой.

— Я что-то не видел, чтоб под конвоем держали. Вполне даже свободные они. Сами батальоны сформировали, сами и на фронт выступили, никто не гнал. И меня тоже не шибко принуждали. Сказали: «Ну, раз ты русский, то вот пусть русские с тобой и разбираются. И спасибо скажи, что не к хохлам тебя везем, к самостийникам, они б тебе дружбу народов вырезали на пузе. Или где пониже…»

— Ты говоришь — формирование у них батальонное. И сколько же батальонов, хоть приблизительно?

— Вроде бы, говорили, десять или одиннадцать воюют уже. А тот, что в городе формировался, куда меня воткнуть хотели, тоже почти укомплектован был, и оружие им раздали, только форму еще не подвезли. Были — кто в чем перебежал. Некоторые в штатском — кто из местных влился.

— Форму какую? Немецкую?

Вопрос так поразил десантника, что он даже не ответил. И это и было ответом.

— Я не надел, — сказал он, помолчав. — Не надену, говорю, хоть к стенке ставьте. Ну, тоже не настаивали: «Поживи с нами, приглядись. Может, надумаешь…»

— Кто командует ими, не слыхал? — спросил генерал. Он ждал услышать о Власове.

— Как кто? — сказал десантник. — Немцы. Командирами батальонов — немцы поголовно. И заместители ихние — тоже.

— Они что, по-русски говорят?

Десантник пожал плечами.

— Ну, может, десяток знают команд. Много, что ли, надо Ивану?

— А над этими немцами — кто?

— Другие немцы.

— А еще выше? Какой-нибудь генерал?

— Генерала я не видел, но, в общем, тоже фриц какой-то. Один раз, когда уже мы на позициях были, оберст приезжал инспектировать. По-нашему полковник. Чего-то гавкал, но непонятно было, ругался он или, наоборот, хвалил.

— Значит, воюют, говоришь, — сказал генерал. — А обстановку знают они? Что окружение им готовится?

— Знают. Говорят об этом.

— Почему ж не уходят?

Десантник снова пожал плечами. Они как бы вспрыгивали у него — должно быть, сильно гуляли нервы.

— Так приказа же не было… Как отходить? Обязались приказы исполнять, если форму надели, иначе — «эршиссен», расстрел. Как немцам. Назад — ни пяди!

Генерал хотел спросить про заградительные отряды, о которых говорилось на политбеседах, но спохватился, что такой вопрос опасен для десантника, точнее — ответ на него, если окажется отрицательным.

— Значит, ждут приказа, а его все нет?

— Когда я уходил, все ждали — вот-вот. Но, похоже, забыли про них где-то там, на самом верху…

Вот это и была — и как проста! — вся «ловушка», уготованная братцем Эрихом. И это в голову не могло прийти, хотя о скольких «забытых» приходилось слышать. Забывали роты и батальоны, забывали дивизии и корпуса, целую армию забыли в «мешке» у села Мясной бор близ реки Волхов — ту самую, 2-ю Ударную, которую досталось вытягивать Власову. В панике от грозящего окружения, улепетывая на штабных «виллисах», забывали

приказать батальону прикрытия, чтобы и он отступил. Зато не забывали кинуть в бой хоть знаменную группу, где всего-то три человека — знаменосец и ассистенты. Не забыли в одной из его дивизий погнать в огонь ходячих раненых из медсанбата — в халатах и кальсонах, не позаботясь раздать хоть какое оружие, только б заткнули прорыв… И случилось чудо: эти безоружные остановили немцев. Настреляв с четверть сотни тел, немцы вдруг покинули захваченные высоты, а там подоспели конники и оттеснили их совсем. Взяли их командира, как раз тоже оберста, и генерал Кобрисов потребовал его к себе. «Почему вы отступили? — спросил он строго. — У вас такие были позиции, вы же с этих высот одними пулеметами тут дивизию могли разогнать к чертям собачьим!» Оберст посмотрел на него печально и даже с какой-то жалостью и ответил кротко: «Господин генерал, мои пулеметчики — истинные солдаты, у меня к ним никаких претензий. Но расстреливать безоружную толпу в больничных халатах этому их не обучили. У них просто нервы не выдержали — может быть, впервые за эту войну». Много дней спустя генерал еще продолжал размышлять, как бы он поступил с теми, кто заслонился телами раненых. Прошло первое желание, от которого горела и сжималась ладонь: расстрелять своей рукой перед строем, и в конце концов он нашел возмездие другое: выстроить в две шеренги друг против друга, срывать награды с опозоренных кителей и тут же их прикалывать к госпитальным коричневым халатам. Он даже поделился этим желанием с начальником штаба — и был тотчас возвращен с небес на землю: да эти бесстыжие в Президиум Верховного совета пожалуются, который их награждал, и все им вернут, а ему, Кобрисову, укажут строжайше на самоуправство. Да уж, чего не случалось в эту войну, но чтоб забыли своих бережливые немцы, не бывало на его памяти. А вот забыли и они. Впрочем, не своих — русских. Точнее — «русских предателей».

— Могу, если надо, — сказал десантник, — насчет вооружения рассказать…

Генерал встал и заходил по комнате.

— Про это не надо мне. Ты лучше расскажи: как тебе удалось бежать?

Подспудная мысль была — дать парню шанс выставить и себя в хорошем свете. И смутно чувствовалось, что тем самым он участвует в игре, навязанной присутствием Светлоокова. А всякую игру они выигрывают заранее.

— Да ничего особенного, — сказал десантник, — не держали. Десять дней я у них пробыл, «карантин» прошел, как они говорят, ну, спросили: «Не надумал с нами остаться?» А когда сказал, что

нет, братцы, не надумаю никогда, не спрашивали больше. Попросил автомат вернуть — вернули, только диск дали пустой: «Вдруг ты еще по нам пальнешь». И на прощанье сказали: «Встретимся в бою — не жалуйся». — Он помолчал, вспоминая что-то, и добавил: — У меня впечатление, товарищ командующий, что драться они будут как звери, а на свою судьбу — рукой махнули… Никакого просвета впереди, и ни к чему душа не лежит, кроме водки. И — крови. Песня у них есть боевая, вроде гимна: «За землю, за волю, за лучшую долю берет винтовку народ трудовой…» А поют печально, чуть не со слезами…

— За сердце берет, правда? — вставил Светлооков. — Я вижу, грустное было расставание.

Десантник посмотрел на него долгим взглядом и сказал, с горечью и обидой:

— Точно, товарищ майор, грустное. Потому что еще сказали они мне: «Зря возвращаешься, тебе дорога назад заказана. Раз ты с нами какое-то время побыл и вообще в плену, веры тебе не будет. И еще радуйся, если проверку пройдешь и дальше воевать пустят». Вот не знаю, правду сказали или нет…

— Я тоже не знаю, — сказал Светлооков. — Не бог я, не царь и не герой. Другие будут решать…

Повисло молчание, которое генерал не знал как прервать. И даже почувствовал облегчение, когда Светлооков спросил:

— Нужен вам еще пленный, товарищ командующий?

Генерал, отвернувшись и заложив руки за спину, ответил:

— Мне все ясно.

Ему самому было ясно, что никакой иной разговор при третьем невозможен.

Светлооков, не вставая, сказал десантнику:

— Ступай к машине. Скажешь конвойным, я задержусь на пару минут. Видишь, я тебе доверяю, что все будет без эксцессов…

Десантник, поднявшись, вытянул руки по швам и обратился к генералу:

— Разрешите идти, товарищ командующий?

В его голосе ясно звучало: «И вы меня отдадите, не заступитесь?» Генерал, повернувшись, увидел взгляд, устремленный к нему с отчаянием, мольбой, надеждой. Он хотел подойти и пожать руку десантнику и вдруг почувствовал, что не сможет этого сделать при Светлоокове, неведомое что-то сковывает ему руки, точно смирительная рубашка.

— Счастливо тебе все пройти, — сказал генерал. — И доказать… что потребуют.

Десантник молча вышел, и было слышно, как он медленно,

точно бы сослепу нащупывая ступеньки, спускается по лестнице. В разбитом вокзальчике насчитывалось, наверное, пять-шесть обширных пробоин — и по меньшей мере столько же возможностей не выйти к подъезду, где дожидался восьмиместный «додж» с конвоирами «Смерша», а тем не менее майор Светлооков уверенно знал, что все обойдется без эксцессов, этот десантник, могший бы справиться со всем конвоем, покорно сядет в «додж» и поедет навстречу выматывающим допросам, фильтрационному лагерю и всей, уже сложившейся, судьбе. В который раз показалось генералу диковинным, как велика, необъятна Россия и как ничтожна возможность укрыться в ней бесследно. Да если и выпадает она, человек всего чаще от нее отказывается как от выбора самого страшного.

— Парню отдохнуть бы, — сказал генерал, не глядя на Светлоокова. Нервы подлечить — и в строй. Я б таких в своей армии оставлял. Какой комбат от него откажется?

— И какой чекист не проверит? — прибавил Светлооков.

— Да уж, это как водится у вашего брата… И долго его… щупать будут?

— От него зависит. Насколько откровенен будет. Мы же с вами не знаем, товарищ командующий, почему так легко отпустили его. Главного-то он не сказал — почему это его одного в Мырятин повезли, к землякам? А он — руки поднял.

Генерал, выбирая фразу безличных местоимений, спросил раздраженно:

— Откуда это известно?

— Ну, это ж элементарно, — сказал Светлооков. — Кто не поднял, тех ликвиднули.

— Что же, если его с ними не вздернули, не сожгли, так он уже виноват? Ему, значит, задание дали шпионить? Или пропаганду вести? Чепуха собачья…

Светлооков поднялся на ноги и, наматывая на руку ремешок своей планшетки, посмотрел на генерала простодушными голубыми глазами.

— Вот интересно, товарищ командующий. Возмущаемся, что кого-то виновным назвали: это, мол, должен трибунал решать. А невиновного — это мы сами определим, тут ни контрразведка, ни трибунал нам не указ. Нелогично, правда же? Не осмелюсь я ни обвинять кого, ни оправдывать; пусть уже, кому там виднее, головы ломают… А разговор тут интересный был, я лично много полезного извлек. Вот насчет Мырятина и этих… перебежчиков, перевертышей, в общем — власовцев. Как я заметил, и вас это интересует. И, насколько судить могу некомпетентно, операция у вас получается красивая.

Похвала эта была генералу, как режущий звук по стеклу, и операция тотчас показалась ему уродливой, бездарной.

— И вот подумалось, — продолжал Светлооков, — хорошо бы, если б командование, планируя ту или иную операцию, учитывало бы наши интересы, я о «Смерше» говорю. Как-то бы согласовывало с нами… Мы, например, очень были бы заинтересованы в окружении.

Генерал, чувствуя подступающий непереносимый гнев, сказал медленно:

— А в том, какие потери будут при окружении, тоже вы заинтересованы? Не дождетесь вы, чтоб я с вами согласовывал свои операции.

— Жалко… — Светлооков вздохнул смиренно и, вытянувшись, прищелкнул каблуками. — Виноват, не подумал. Разрешите идти?

После его ухода чувство обожженности еще усилилось. С некоторых пор труднее было генералу остаться наедине с собою, чем вынести самых назойливых. Своя вина жгла сильнее, чем мог бы кто другой его упрекнуть: сегодня открылось ему то, с чем он так не желал встречи, надеялся, что его-то обойдет стороной. Как же он проглядел, не предчувствовал? И ведь это не были те малые группки, те как бы и случайные вкрапления среди немецких частей, о которых приходилось слышать еще до Курской дуги, еще при первых движениях армии от Воронежа, — нет, перед ним предстала организованная сила, составившая, может быть, костяк обороны.

Никак не предвиделось это более года назад, когда впервые услышалось: «Генералы Понеделин и Власов — предатели», когда прозвучали страшные слова: «Русская Освободительная Армия», страшные таившейся в них обреченностью, гибельным упрямством смертников — и, вместе, слабым упреком тому, кто, все понимая, в этом гибельном предприятии не участвует. Вскоре посыпались с самолетов аляповатые листовки — одновременно и пропуск в плен, и «художественная агитация»: Верховный с гармошкой приплясывал в тесно очерченном кругу, где помещался один его сапог, изо рта летели веером слова попевочки:

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья…

Был приказ офицерам и солдатам эти листовки сдавать политработникам, за хранение и передачу грозила высшая мера. Никто их особенно и не подбирал, еще меньше хотелось хранить

их. Но вскоре посыпались другие листовки, где был посерьезнее текст и на которых предстало сумрачное, очкастое, закрытое лицо Власова. Оно было скуластое, с широким носом, простоватое, но и чем-то аристократичное. Из роговой оправы очков смотрели пронзительные, внимательно изучающие глаза, большой рот — не куриное, обиженно поджатое гузно, говорил о силе, об умении повелевать. Из такого можно было сделать народного вождя.

Понеделина генерал Кобрисов не знал, а с Власовым, своим подмосковным спасителем (от чего было не откреститься), он встречался в Москве, на слете дивизионных командиров, где была всем в пример поставлена власовская 99-я стрелковая дивизия, занявшая первое место по Союзу. Дивизия Кобрисова, входившая в Дальневосточную армию, тоже оказалась среди лучших, так что сидели рядом в президиуме, и Власов его отчасти удивил, слушая произносимые речи с блокнотиком, вылавливая Бог весть какие жемчужины, когда все другие позевывали. Потом оказались — не случайно — рядом на банкете. Называлось это, правда, не «банкетом», а «командирской вечеринкой»; была она как сомкнувшиеся волны над ушедшими ко дну; имена тех, кто не выплыл, и тех, кто еще барахтался на плаву, не произносились, тосты поднимались за Красную армию, за ее «славное прошлое и победоносное будущее»; настоящее пропускалось, но похоже, был здесь молчаливый реквием по отсутствующим, и каждый, поднимая бокал, заклинал судьбу, чтоб его миновала чаша сия. Ждали на слет Сталина с речью, он не явился. «Не почтил, — сказал Власов. — Занят. Ну, ему сейчас работы для ума хватает». Сам он выглядел счастливцем, который своим отличием избег общего жребия, и дал понять, что и Кобрисову так же повезло.

Пивал Андрей Андреевич крепко, а нить разговора не терял и мог вполне здраво продолжить, о чем говорилось стрезва. Виден был ум, оснащенный эрудицией, отточенный чтением; свою речь он пересыпал цитатами из Суворова и других полководцев российских, не расхожими пословицами, из них теперь чаще вспоминалось: «Каждый баран за свою ногу висит». Он уже давно не сомневался, что воевать предстоит с Германией, и война эта будет самым тяжким испытанием для советской России. Похоже, что и пакт с Риббентропом его в том не поколебал. «Удобнее, чем сейчас, момента у них не будет, — сказал он, имея в виду все то, о чем не говорилось. — А у нас — неудобнее». И не только не ошибся Власов в своем предвидении, но и более других оказался к испытанию готов. В те месяцы 1941-го года, когда все попятилось на восток, и было лишь два исключения из всеобщего панического бегства — либо в плен попасть, либо в окружение, — на 37-й армии Власова держалась вся оборона Киева, и свою

армию он не потерял, вывел ее и остатки других из грандиозного киевского «котла», где сгинуло более 600 тысяч. Так отдавать города, как Власов отдал Киев, так ускользнуть из мертвой хватки Гудериана и фон Клейста — значило дать понять и своим, и немцам, что не все лучшие выбиты предвоенными «чистками», осталось еще на кого возложить надежды. Второй раз прогремел он под Москвой — и Кобрисов не мог не оценить всей дерзновенной красоты его авантюрного решения, безумного самонадеянного рывка — без разведданных, в метель, наугад, с прихватом чужой бригады, за что при неуспехе он бы еще неумолимее был поставлен к стенке. И скорее этот рывок спас Москву, чем те сибирские дивизии, сбереженные Верховным, которые пороху не нюхали, но почему-то должны были оказаться боеспособнее отступавших фронтовиков. В третий раз уже ждали от Власова чуда — когда Верховный, по совету Жукова, послал его спасти 2-ю Ударную, которую так бесполезно, бездарно сгубили на Волховском плацдарме, рассчитывая ценой ее гибели сорвать блокаду Ленинграда. В третий раз чудо не удалось ему. Знал ли он, летя сквозь плотный зенитный огонь в полуокруженную армию, что ничем ей не поможет? Здесь при оценке Власова руководствовался Кобрисов не точными данными — их не было, — а той сочувственной легендой, какие складывались вокруг удивительного генерала. Говорили, что на Волховскую операцию смотрел он обреченно, как на заведомое поражение, и лишь надеялся, что Верховный позволит ему армию распустить и прорываться на восток малыми группами. Верховный таких полномочий не дал, Власов их взял сам — и в предатели попал уже с этого шага, а не тогда, когда то ли священник, то ли церковный сторож навел немцев на его убежище. Пожалуй, на церковников, подозревал Кобрисов, возвели напраслину, скорее всего выдали советского генерала советские крестьяне, которым было за что возлюбить Красную армию и ее славных полководцев, — начиная с Тухачевского, а пожалуй, и пораньше, с Троцкого. И должно быть, не испытали эти крепостные большего злорадства, чем когда прогудело басисто из глубины храма: «Не стреляйте, я — Власов».

Еще в июле, из Винницы, едва разменяв второй месяц пленения, призвал он русский народ к борьбе со Сталиным. А в январе заявил в Смоленском манифесте: свергнуть большевизм, к сожалению, можно лишь с помощью немцев. «К сожалению» было при немцах и сказано, с этим он в Смоленске выступал в театре, о русской победе с немецкой помощью отслужен был молебен в соборе, вновь открытом, бывшем при большевиках складом зерна. В апреле — была поездка в Ригу, во Псков, посещение Печерского

монастыря, игумен ему кланялся до земли, в театре две тысячи устроили овацию. В штабе немецкой 18-ой армии сказал, что надеется уже в недалеком будущем принимать немцев как гостей в Москве. Советские газеты называли его троцкистом, сотрудником Тухачевского, шпионом, который и до войны работал на немцев, на японцев. Кобрисов, которому случалось быть «лакеем Блюхера» и продавать родину японцам, всерьез этого не принимал. И от него не укрылось, что Власов не называет немцев хозяевами, но лишь помощниками, гостями в России, пытается дистанцироваться от них, даже как будто добивается впечатления, что свои манифесты пишет едва не под пистолетом.

Вот что смущало: свои отважные антибольшевистские речи, свои эскапады против Верховного стал говорить Власов, когда попал в плен. А если бы не попал? Так бы и восходил по лестнице чинов и наград со своими потаенными обидами? Да, кажется, и не много их было, он даже фразу особо выделил в первом своем открытом письме: «Меня ничем не обидела советская власть». По способностям своим дослужился бы до генерала армии, до командующего фронтом, а то и до маршала, заместителя Верховного, вровень с Жуковым. Вот разве очки помешали бы, выдавали, что много читает. И ростом не вышел — именно своими чуть не двумя метрами. Для малорослых недокормышей, из кого и вербуются советские вожди, был бы всегда чужой. Кобрисов, и сам-то высокий, в этом ему сочувствовал. Ну, ничего, очки объяснились бы наследственной близорукостью, а при хорошем росте так выразительны поклоны. Но вот попал в плен — и принял иную роль так, будто всю жизнь к ней и готовился, выдал всю правду-матку. Право, больше бы в нее верилось, если бы сам перешел. Нешто так трудно перейти, имея верного человека в свите? Никогда не подвергая такому испытанию, Кобрисов тем не менее отчего-то уверен был, что, позови он с собою Шестерикова, тот пойдет, не спрашивая ни о чем, ну разве что — взять ли диск запасной к автомату. Вот что, наверно, следовало сделать Власову уйти с десятком людей и обрасти армией. При его имени, славе, облике военного вождя могло бы это удаться — объединить разрозненные, но уже сложившиеся части: казачьи, украинские, белорусские, грузинские, калмыцкие легионы.

Не «жалкая кучка иуд, продавшихся за тридцать сребреников», вдруг «захотела возврата к прошлому»; измена была столь массовой, что уже теряла свое название, впору стало говорить о второй гражданской войне в России. Ну, так и вести ее надобно — под своим знаменем, не выбирая между Сталиным и

Гитлером. Власов же решил сыграть прозревшего в плену, под влиянием нового (старого, эмигрантского) окружения — и было, впрямь, что-то наигранное в его бурных откровениях. Позволил себе стать, каким его хотели видеть, — вот что политика делает с людьми, даже сильными и талантливыми. Был игрок, а стал игрушкой.

Генералу Кобрисову, по его должности, полагалось знакомиться с документами, недоступными даже и высокому офицерству, чаще всего — их выслушивать в чьем-нибудь чтении, сделав при этом брезгливое лицо, насупясь, ни с кем не встречаясь взглядом. Читали обычно начальник политотдела либо Первый член Военного совета, по-старому — комиссар, в одинаковой предустановленной манере, что даже делало их похожими. В свое чтение они вкладывали толику актерства, какие-то места выпячивая карикатурно, где-то и похохатывая — и как бы приглашая к своему хохоту слушателей, а где-то возвысясь до пафоса грозного возмущения. И заползала Кобрисову лукавая мысль, что такое чтение, может статься, производит обратное действие, и кое-кто в прочитанном кое с чем согласен, кое-что разделяет. Чтобы в том убедиться, надо было поднять глаза и всех слушающих оглядеть, но этого он не делал ни разу. Ведь та же лукавая мысль могла посетить не одну лишь его голову, и кто-то же мог его в ней заподозрить, как он других.

Уже за то, что Кобрисов измену Власова считал роковой ошибкой — скажи он кому об этом, — он был бы тотчас отставлен от армии, лишен звания и наград и в лучшем случае послан камень дробить в Казахстане, а то и в шахты Воркуты. Ошибка же, по его мнению, была в том, что нельзя было оказаться с немцами — и не потому, что те не дали — и не дадут — сплотиться в решающую силу. Ошибка была — что хотя б на время стали рядом с теми, кого уже увидел народ палачами и мучителями. Если сумели им все простить и быть заодно, значит — такие же! И эту свою ошибку не понимал Власов, как и того, что уже опоздал он со своей РОА. После Сталинграда, после Курской дуги, не видя, не чувствуя, что Верховный уже эту войну выиграл и вся масса народа на фронтах и в тылу принимает его сторону, Власов, сам руку приложивший к его выигрышу, пообещал, что закончит войну по телефону! То есть он позвонит Жукову, Рокоссовскому, друзьям по академии, с которыми так откровенно говорили, — и они ему сдадут фронты! Здесь уже стало видно, в каком состоянии находится Власов — боевой генерал, разучившийся понимать, что такое война, русский, разучившийся понимать Россию!

По-человечески это понятно было Кобрисову, который умел

поставить себя в положение другого — с тем, разумеется, непременным чувством превосходства, с каким оставшийся верным долгу смотрит на переступившего долговую черту. Не раз он примерялся к положению Власова и даже находил иным его действиям оправдание. Но зачем, спрашивается, позвал за собою этих курносых, пухлогубых, лопоухих, сбитых с толку, раздавленных немецким пленом — после всего, что изведали от власти родной, рабоче-крестьянской, — если ничего дать им не мог, кроме громкого своего имени? Идея была так заманчива, кто не мечтал вернуться в Россию во главе армии! Но вот прошло более года войны — и говорит десантник, что русскими батальонами командуют немцы, и не он один это говорит, — что же, через немцев ниспосылает приказы своим войскам пленный генерал? Стало быть, нет у Власова армии в России, и все эти русские, объединяемые огульно под его именем, на самом деле — никакие не «власовцы».

С Власовым все было ясно, его ждет петля. Батька его достанет. Не ему, а себе не простит Верховный, что полтора или два миллиона неразумных детей замахнулись оружием на Отца народов, и поймет он это так, что был еще слишком мягок с ними. Об их участи не мог не задумываться Кобрисов, и сам-то перед ними виновный. Они «продали родину»… А — за что продали? За такой же обрушенный окоп, за атаку по грязному чавкающему месиву, за спанье в снегу или в болотной жиже, за виселицу при поимке (ведь в плен не берут!) или скитания по чужим землям — когда придется из России уходить? Тех, кто хотел остаток жизни прожить хорошо, комфортно, кто покинул родину в тяжкий для нее час, — тех не было перед Кобрисовым, не было в секретных документах «Смерша», ни в донесениях политотделов. Были те, кто не покинул. Вот эти, в Мырятине, отказавшиеся уйти от окружения, не покинули ее! И при этом — разве не знали они, что имя «предатель» — издревле позорно в русском народе, и никогда не будет им прощена измена? Какой же долг обязаны были они исполнить, или — какая боль их вела, если не остановило, что в веках будут прокляты и никогда не дождутся благодарности? Ведь если б чудо случилось и они победили — какая была бы обида народу, что сам он не справился, помогли иноземцы, притом — враги, оккупанты!

К людям, ставшим за черту, его влекла тайная тяга, сильнейшее любопытство, как влечет посмотреть на лицо осужденного, которому вот через час класть голову под топор. И как хотелось хоть одного из них посадить против себя и расспросить, разговорить наедине, благо тут не требовался переводчик. Но слишком хорошо он знал, что это несбыточно. Не

дадут ему этого. Не он будет расспрашивать этих людей, а майор Светлооков. И не затем нужен он и его армия, чтоб тешить свое любопытство, выясняя мотивы их греха.

А зачем он нужен? Чтоб их изловить, скрутить, поставить на колени, пригнуть их повинные головы к земле, которую «продали»? Сказал же осторожный Ватутин: «Мы со своими больше воюем, чем с немцами». Что это было? Невольно вырвалось, что сидело в уме? Ведь он был начальником штаба Киевского округа, служил вместе с Власовым, не мог о нем не задумываться. Впрочем, не он один сейчас задумывался, что страшнее войны гражданской быть не может, потому что — свои. Древнейшее почитание иноземца — в русских особенно сильное, до раболепного преклонения, — не всякому позволит сделать с ним то, что со своим можно. Как, в сущности, скоро остывает злость к пленному немцу, и как ожесточается к «своему». Зеленым огнем загорелись глаза у Светлоокова в предвкушении «священной расплаты». Право, нет на Руси занятия упоительнее!

Горячим летом 1942-го, после сдачи Ростова и Новочеркасска и приказа 227, «Ни шагу назад», как соловьисто защелкали выстрелы трибунальских исполнителей! Страх изгонялся страхом, и изгоняли его люди, сами в неодолимом страхе — не выполнить план, провалить кампанию — и самим отправиться туда, где отступил казнимый. Так обычен стал вопрос: «У вас уже много расстреляно?» Похоже, в придачу к свирепому приказу спущена была разнарядка, сколько в каждой части выявить паникеров и трусов. И настреливали до нормы, не упуская случая. Могли расстрелять командира, потерявшего всех солдат, отступившего с пустой обоймой в пистолете. Могли солдата, который взялся отвести дружка тяжелораненого в тыл: «На то санитарки есть». А могли и санитарку, совсем молоденькую, которая не вынесла вида ужасного ранения, ничего сделать не смогла, сбежала из ада. Ставили перед строем валившихся с ног от усталости, случалось — от кровопотери, зачитывали приговоры оглохшим, едва ли вменяемым. И убивали с торжеством, с таким удовлетворением, точно бы этим приблизили Победу.

…И вот однажды пришел из боя лейтенант с одиннадцатью солдатами, остатком его роты, и сказал, что есть же предел идиотизму, что с такой горсткой людей ему не отбить высоту 119, и он их губить не станет, пусть его одного расстреляют. Лейтенант Галишников — так звали обреченного, генерал его имя запомнил. Он сам наблюдал этот бой из амбразуры дивизионного НП и видел, что не выиграть его, по крайней мере до темноты; можно лишь всем полечь у подошвы той высоты, чтоб исполнился приказ 227. Но наблюдал не он один, с ним вместе находился в

блиндаже уполномоченный представитель Ставки, генерал Дробнис, с многолюдной свитой. Эта свита вполне бы составила доброе пополнение тем одиннадцати измученным солдатам. Но известно же: в атаку идти — людей всегда не хватает, а зато их в избытке, где опасность поменьше. И чем дальше от «передка», тем народу погуще, тем он смелее и языкастей. Вот и свита Дробниса, наблюдая в хорошие немецкие цейссовские бинокли, критиковала неумелые действия ротного: все-то он толчется у подошвы, которая немцами хорошо пристреляна, велит людям залечь, тогда как надо броском преодолеть зону обстрела. И они прямо-таки вскипели негодованием, когда стало видно, что он отступает.

Генерал Дробнис распорядился позвать его в блиндаж. И лейтенанта Галишникова привели — черного и потного, едва шевелившего языком. Он опирался на автомат, как на посох, и все порывался то ли присесть, то ли прилечь и уснуть.

Генерал Дробнис был грозою генералов и умел нагонять на них страх, не будучи ни полководцем, ни корифеем-штабистом, ни сколько-нибудь сильной личностью; он был цепной пес Верховного и выказывал ему собачью преданность такого накала страсти, что Верховный устоять не мог, он тоже имел слабости и прощал Дробнису, за что другой бы угодил под высшую меру, как несчастный Павлов. Расстрелять Дробниса могли за один только Крым, куда он был послан спасти положение и для этого наделен полномочиями, которые его ставили вровень с командующим Крымским фронтом; разумеется, Дробнис его подмял, воителя способного, но мягкотелого, и раскомандовался сам, чем сильно помог Манштейну справиться одной своей 11-ой армией с четырьмя советскими. Сказывали, прощение у Верховного Дробнис выслужил, став на колени, плача и клянясь, что жизнь у него отнять могут, но не отнимут его преданности любимому вождю, и не так смерть ему страшна, как расстаться с предметом его любви преждевременно. Будто бы нагадали Дробнису, что умрет он за три недели до Верховного — и, значит, будет избавлен от горя пережить его, и не так много потеряет счастья жить в одно время с ним. Это поразило Верховного до глубины души. Командующего фронтом он отстранил, а Дробниса, все по той же слабости, крепко пожурив, пообещав ему в следующий раз ближе познакомить с товарищем Берия, назначил представителем Ставки. Суждено ему будет за войну побывать в членах Военных советов семи фронтов — и нигде не прижиться, всех командующих отвратить интригами и наушничеством Верховному, доведя до слезных молений: «Уберите его!» И Верховный, вздыхая, куда-нибудь его переместит, другому командующему в острастку, чтобы не зазнавался. В то лето

Дробнис, кочуя по всем фронтам, появлялся неожиданно с командой старших офицеров разного рода войск и проводил волю Верховного. Битье командиров по мордасам, не принося ощутимого успеха, из моды уже как будто выходило, да, впрочем, генерал Дробнис этим и не пользовался, уважая свой статус комиссара; он другое делал, для кого-то даже и худшее: командира, по его мнению, не справлявшегося, тотчас отставлял и временно, до приказа Ставки, назначал кого-нибудь из своих. Этими полномочиями он пользовался размашисто, и простирались они вплоть до комдивов.

Боевые генералы признавались, как страшит их лицо его, с заросшими густо углами лба, красными сверлящими глазками, крючковатым носом, патрициански надменной отвислой губою — таким, верно, было лицо Нерона, лицо Калигулы. Страх наводила его речь, всегда таившая угрозу, раздраженно вскипающая при малейшем ему возражении, мгновенно переходя в злобное, и непременно капитальное, обвинение. Ввиду малого роста носил он сапоги на высоком каблуке и не снимал пошитую на заказ фуражку, с высоким околышем и приподнятой тульей. Такие обычно еще и ненавидят «длинных».

И вот перед ним предстал высокий нескладный юноша, с изможденным лицом, без конца моргая запорошенными землей глазами, в порванной, без пуговиц на груди, гимнастерке, со сбившимся набок ремнем. Всем в блиндаже, щеголеватым, отглаженным, он был такой чужой, а более всех Дробнису — и кажется, не испытывал перед ним страха, по крайней мере большего, чем только что испытал на высоте 119, после которого уже ничем его нельзя было напугать.

Дробнис это учуял, однако ж он был психолог и знаток человеков, то есть знал, что напугать всегда можно, и знал, чем напугать.

— Ну, что, вояка? — сказал он со смешливым презрением. — И сам высшую меру заработал, умник, и бойцов своих под монастырь подвел.

— Чем? — точно бы очнулся лейтенант Галишников. — Чем я их подвел?

— Ну, как же! Верховный, кажется, предельно ясно выразился: «Ни шагу назад без приказа высшего командования».

А люди по чьему приказу отступили? Ты для них — высшее командование? Всем — штрафная рота, вот что ты им сделал.

Лейтенант Галишников медленно разомкнул запекшиеся губы:

— Все же не смерть…

Генерала Дробниса это позабавило:

— Я же говорю — умник. Он думает, что там санаторий! Курорт!

Вся свита взвеселилась тоже. Лейтенант Галишников угрюмо склонил голову, так постоял секунды две и вдруг вскинул автомат. Показалось, он сейчас всех посечет, кто был в блиндаже. Свита похваталась за свои кобуры.

— Нате, — он на обеих ладонях, как на подносе, протянул автомат Дробнису. — Берите ваших людей, вон у вас их сколько. Атакуйте! Может, у вас получится.

Генерал Кобрисов успел подумать — его пристрелят сейчас же, в блиндаже, не дожидаясь трибунала. Однако ж Дробнис сказал спокойно и не повысив голоса:

— Это ты неплохо придумал. Только я, видишь ли, не в твоем возрасте — в атаки бегать. Мне уже, слава Богу, пятьдесят четыре. И мои люди другие обязанности исполняют, которые на них родина возложила. Поэтому вот что мы сделаем: сейчас мой человек возьмет твоих людей и покажет, как это делается. Как высоты берут, когда хотят их взять. А потом, с чистой совестью, мы тебя расстреляем. И напишем родным твоим: «Лейтенант Галишников расстрелян за трусость». Идет? Или, может быть, передумаешь, сам пойдешь?

Лейтенант Галишников молча помотал головой. Взгляд Дробниса обшарил всю свиту, задержался на самом молодом и младшем по званию. Был он полнотел и статен, с округлым ясным лицом, со смешливыми ямочками на щеках, в движениях нетороплив и слегка небрежен, но точен.

— Майор Красовский, — сказал Дробнис, — примите у него оружие.

Улыбчивоглазый майор, хоть и привыкший к причудам хозяина, все же взял автомат с некоторой оторопью, вмиг переменившись лицом. Он улыбался, но какой-то натужной улыбкой, явно предчувствуя нехорошее. С таким лицом, подумал Кобрисов, не идут отбивать высоты. Даже когда очень хотят их взять.

И, конечно же, он ее не взял, бедный майор. Он под огнем залег еще поспешнее Галишникова и сразу потерял нескольких, остальные уползли под прикрытие сгоревшего «тигра». Видимо, утратив над ними власть, уполз и он. Больше они оттуда не высовывались. В блиндаж он вернулся весь потухший, зябко вздрагивая и избегая взгляд поднять на Дробниса. Тот и сам не спешил посмотреть на него. Настал черед рассмеяться лейтенанту Галишникову. Это было похоже на рыдание, в его смехе звенели слезы, и слезы текли из глаз, оставляя на щеках борозды. Не забыть Кобрисову, как страшно, с пеной на губах, ругался

лейтенант Галишников.

— Ну, что, папаша? — выкрикивал он, перемежая матерщиной, срываясь в хриплый фальцет, и на его лбу и на шее вздувались жилы. — Не вышло у твоего холуя? Ага, то-то, папаша! Спасибо, хоть посмеяться дал перед смертью. Теперь можно и к стеночке. Со спокойной душой. Ну, где тут меня в расход выведут? Ведь кажется, ясно Верховный выразился: расстрел на месте!..

Генерал Дробнис, багровый лицом и затылком, выслушивал это, отвернувшись от зрелища, для него неприличного, — от впавшего в истерику, плачущего мужчины. Чтобы не уронить себя навсегда, он должен был найтись и что-то совершить невероятное. И он таки нашелся и совершил.

— Лейтенант Галишников, — сказал он спокойно и тихо, — вы свободны.

Кажется, это всех поразило. Лейтенант Галишников, взглянув удивленно, помотал головою и вышел, тяжело ступая. Майор Красовский, пылая, прильнул к биноклю, весь ушел в наблюдение за оставленной им позицией. А у Кобрисова от сердца отлегло: хоть один своим страхом не навлек на себя смерть, но отдалил ее. Между тем была исполнена та часть уговора, которая молчаливо подразумевалась. В том поднебесном кругу, где вращался Дробнис, были же какие-то блатные правила, был свой разбойничий этикет, ему не чуждый. Поистине, Бог эту страну оставил, вся надежда на дьявола.

Поздним вечером, возвращаясь к себе в штабную деревню, проезжая овражистым редколесьем, он увидел в стороне от дороги странное свечение неба. Рассеянный свет из оврага или иной какой низинки озарял стволы сосен и плывущие над самой головою лохмы облаков; при этом слышались слабые хлопки пистолетных выстрелов. На бой это не походило, да и быть его не могло вдали от уснувшего «передка», откуда и возвращался Кобрисов. Он велел подъехать осторожно — и с откоса увидел картину, в которой сразу не смог разобраться. Несколько «виллисов», расставленных полукругом на дне заброшенного глиняного карьера, светили полными фарами, и на границе мрака слабо маячили застывшие фигуры людей.

Все непонятное мгновенно раздражало Кобрисова. К тому же здесь, очевидно, не думали о близ расположенных закрытых позициях артиллерии, с запасами снарядов. Не ровен час, подкравшийся «юнкерс» шмальнет сюда бомбочку, все вокруг взлетит от детонации.

— Почему свет? — спросил он гневно.

На него оглянулись, кто-то посветил в лицо фонарем, ответа

он не дождался. Но скоро и сам разглядел того, кто стоял в центре этого полукруга — в гимнастерке без петлиц, без ремня, с непокрытой головою и босого. Он, впрочем, не стоял, он извивался и подпрыгивал, вскрикивая визгливо при каждом хлопке, как избиваемый плетью. Хоть он и был залит светом, трудно в нем было распознать майора Красовского, еще утром холеного и небрежно-самоуверенного.

— За что? — спрашивал он жалобным голосом, в котором не так боль слышалась, как ошеломление и жгучая обида. — Леонид Захарович, за что?

Генерал Дробнис, в своей знаменитой фуражке, сидел бочком на переднем сиденье «виллиса», вывалив ноги за борт, и постреливал неторопливо. По звуку различался пистолетик Коровина, калибра 6,35 генеральская игрушка, терявшаяся в доброй мужской ладони, последнее утешение незадавшихся полководцев — тремя пальцами поднести к виску. Сразить из него человека одной пулей с десяти шагов было изрядной задачей, но тут, похоже, задача была другая — покарать непременно своей рукой. Дробнис прицеливался тщательно, подолгу ведя стволом сверху вниз, и сажал пулю за пулей в своего плотного майора, — и попадал, в лучшем случае, в края мишени, в мягкие его части. На гимнастерке и галифе у Красовского, на рукавах и на ляжках, проступала кровь. При этом подвергаемому экзекуции не отказывали в ответах на его «за что?»

— Красовский, — говорил Дробнис в перерывах, монотонно и скрипуче, но все больше вскипая злостью, — вам же прочли выписку из трибунала, что вам еще неясно? Вы нарушили священный приказ Верховного главнокомандующего «Ни шагу назад».

— Для меня ваше мнение дорого, Леонид Захарович, а не трибунала, спешил, захлебываясь, выговорить Красовский. — Неужели я вам совсем уже не нужен?

— Мне лично не нужен человек, который меня подводит, марает мою репутацию, предает меня в ответственную минуту… Вы опозорили мои, уже довольно-таки седые, волосы.

— Ну, проверьте меня еще раз! Дайте мне другое задание… смертельно опасное. Вы увидите… Я вас не подведу.

— Вы такое задание имели, Красовский, и преступно его сорвали. И сейчас вы тоже имеете — принять наказание, как подобает советскому воину, тем более командиру. И не надо меня отделять от Верховного. Я не за себя вас наказываю, я бы вас простил, а за преступление против его приказа.

Обойма у Дробниса кончилась, он ее выщелкнул, швырнул в кусты и протянул руку, не глядя. Кто-то из свиты готовно вложил

в нее новую обойму.

— У вас еще есть вопросы, Красовский? По-моему, все ясно. Вы должны были сегодня умереть с честью, а вместо этого умираете с позором.

Мягких частей у майора Красовского было достаточно, и продолжаться это могло еще долго.

— Что вы мучаетесь? — сказал Кобрисов. — Взяли бы автоматчика и парочку выводных, они все сделают грамотно. А так — во что наказание превращается? Ну да, ведь работа ж для вас — непривычная…

Он вложил в свои слова, сколько мог, язвительного презрения, которое, впрочем, ни на кого здесь не подействовало. Дробнис коротко на него оглянулся, в свете фар сверкнул красным огнем его глаз, и снова прицелился. Но вот кто ответил ему — Красовский. Подняв взгляд на Кобрисова, запрокидывая голову, он закричал — с явственно слышимым возмущением:

— А вам не кажется, товарищ генерал, что вы не в свое дело вмешиваетесь? Леониду Захаровичу лучше знать, какое ко мне применить наказание. И во что оно должно превращаться… Так что не суйтесь, понятно? Если я виноват, я умру от руки Леонида Захаровича, но ваших сентенций, извините, слушать не желаю!..

Жалок маленький человек, вверяющий свою жизнь другому, признающий его право отнять ее или оставить. Жалок, но и страшен: если не спасается бегством, не бросается зверем на своего палача, во что же оценит он чужую жизнь? Кобрисов, лишь рукой махнув, побрел прочь. Следом слышались хлопки и взвизги.

Никогда потом он не мог себе простить своих слов насчет автоматчика и выводных. Он их сказал вовсе не затем, чтоб доставить жертве еще мучений и страха, а вышло, что как бы поучаствовал в казни. Когда же не станет у него этой неволи — участвовать во всех делах этих людей, которые ему чужды, ненавистны — и так же враждебны к нему?

Может быть, с того дня стало происходить с генералом Кобрисовым нечто опасное и гибельное, запретное человеку, назначенному распоряжаться чужими жизнями числом в десятки тысяч, — если не хочет он превратиться в ту сороконожку, которая некстати задумалась, в каком положении ее семнадцатая лапка, тогда как она передвигает тридцать вторую. Он ступил на трясинный затягивающий путь, с которого почти никому не выбраться на прежнюю торную тропу, почти никакому сердцу не очерстветь заново. Все чаще он стал ощущать отчаянное сопротивление души, измученной неправедным и недобровольным участием. Он и раньше думал постоянно о

потерях и старался относиться к людям, как рачительный хозяин к неизбежно расходуемому материалу, который следует всячески экономить, — чтобы тот, кому суждено погибнуть, по крайней мере продал свою жизнь дороже, пал бы хоть на сто километров подальше к западу. Теперь же он стал задумываться о том, что роты и батальоны состоят из людей с именами и отчествами, памятными датами, днями рождения, сердечными тайнами, житейскими историями, что они, помимо того, что рядовые или ефрейторы или сержанты, еще чьи-то дети, чьи-то мужья и отцы, и где-то ждут их, сильно надеясь, что какой-нибудь генерал Кобрисов отпустит их с войны живыми и, крайне желательно, целыми. И стало частым непривычное ему, раньше и не сознаваемое как необходимость, обращение к Тому, о Ком он не задумывался путем, лишь тогда вспоминал, когда смерть грозила, или мучило ранение, или нападала болезнь.

То, что принес десантник, застало его врасплох, и он вновь ощутил сопротивление души и обиду: почему это выпало именно ему? Почему не другому, для кого, может быть, вовсе безразлично, кто они там, защитники Мырятина? Могло же и повезти ему, как везло хотя бы Чарновскому: у него целый фланг держали румыны, о которых сам фюрер высказался: «Чтоб заставить воевать одну румынскую дивизию, надо, чтоб за нею стояло восемь немецких».

И как же выскользнуть из этой ловушки? Может быть, только одним путем: завлечь в нее другого, для кого она и не ловушка, а самый обычный городок, опорный пункт Правобережья, за который тоже награды…

…В этот вечер генерал Кобрисов сказал адъютанту Донскому:

— А соедини-ка меня, братец, с нашим соседушкой.

— С которым? — спросил Донской. — Справа? Слева?

— Ну, что ты, братец! Который слева, до него не дозвонишься, он важным делом занят, Предславль берет. С Чарновским хочу поговорить. Если его нет на месте, пусть позвонит, когда сможет. Есть у меня для него сюрприз.

— Так и сказать: «сюрприз»?

— Так и скажи.

2

И вот он подходил к черте решающей, к Рубикону. В тот солнечный, даже слишком щедрый для середины октября день они стояли у окна, генерал Кобрисов с генералом Чарновским, на втором этаже вокзальчика в Спасо-Песковцах, бдительно поглядывая на площадь внизу и на устье впадающей в нее аллеи.

Маленькая площадь, усыпанная облетевшими зелеными листьями тополей, была пуста, стоял на ней только «виллис» Чарновского. Из-под «виллиса» торчали ноги водителя Сиротина — он, как всегда, с охотой чинил чужое. Шофер Чарновского, присев на корточки, подавал советы.

Центром площади был круглый насыпной цветник, на нем сохранился изгрызенный пулями и осколками серый пьедестал «под мрамор», из которого росли ноги с ботинками и штанинами. Сам гипсовый вождь, крашенный в серебрянку, лежал ничком в высоком бурьяне, откинув сломанную указующую руку. Свергли его, должно быть, не снарядом, а поворотом танковой пушки — о том говорили изогнутые, вытянутые из пьедестала прутья арматуры.

— Что ж, Василий Данилыч, считаем — договорились? — сказал Кобрисов, чувствуя нетерпение и даже отчего-то страх.

Чарновский, держа руку на его плече и слегка обвиснув, приклонил к нему голову и легонько боднул в висок. Лицо Чарновского светилось улыбкой, классическое лицо украинского песенного «лыцаря», гоголевского Андрия, чернобровое и белозубое.

— Будь спокоен, Фотий Иваныч, не дрожи. А все же скребет маленько, сознайся? Кошки не скребут?

— С чего бы?

— А может, прогадываешь ты? — Чарновский большим пальцем пырнул его в широкий бок, чуть повыше ремня, от чего Фотий Иванович и не пошевелился. Участок твой, что ты мне отрезать готов, вдруг — золотая жила? А я ее разработаю. Честно сказать, с этим твоим Мырятином мне возни дня на три, не больше. Да к нему — две задействованные переправы. Которые я, между прочим, себе запишу в актив.

— Правильно сделаешь.

— Итак, положен салют Чарновскому — из ста двадцати четырех орудий. А ты с Предславлем, глядишь, и не управишься один. Не будешь тогда жалеть?

— Очень даже буду, — сказал Кобрисов искренне. — Зато ж

какой замах!

— За замах дорого не платят. Платят, когда он удался. Или — если и не удался, но причины были объективные. А тут этого не скажут. Скажут, сам напросился, и положение было на редкость выгодное. Не представляешь ты, как тебе сейчас все завидуют!

— Представляю, — сказал Кобрисов. И тревога в нем еще усилилась. — Но, может, и я тебе кота в мешке продаю?

— Не сомневаюсь, Фотий Иваныч. От тебя разве чего хорошего дождешься?

Лицо Чарновского легко, по-мальчишьи, вспыхивало улыбкой. Шутил он или впрямь догадывался, какого кота скрывал мешок? То, что уступал Кобрисов правому своему соседу Чарновскому — кусок плацдарма с наведенными к нему переправами, но и с не взятым еще городишкой Мырятином, — выглядело не более подвохом, чем любая другая изюминка, орешек, бастион «Восточного вала», как немцы назвали свою оборону по Правобережью Днепра. Возни там, конечно, не на три дня, это так говорится для украшения солдатской речи и чтобы сбить цену подарку. Но то главное, что сильнее всего страшило Кобрисова, от чего он всеми хитростями хотел уклониться, могло быть и вовсе безразличным этому счастливцу, «любимцу фронта». Русские батальоны, брошенные в оборону Мырятина, составлявшие костяк ее, явились бы для него, вполне возможно, только противником, как немцы или румыны, разве что более яростным и особенно опасным — в окружении. А судьбы этих защитников, трибунальские страсти, вакханалия «священной расплаты» — почему в голову это брать солдату, выполнившему долг и приказ? Впрочем, он, может быть, даже приятно удивится, когда узнает…

— Едут, — сказал Чарновский.

Тотчас и Кобрисов услышал завывание моторов и дробный рокот шин по укатанным, вдавленным в почву обломкам кирпича. Из аллеи выкатился бронетранспортер головного охранения с задранным к небу сдвоенным пулеметом; над скошенным его бортом, в маскировочных лягушечьих разводах, торчали головы в касках. Следом появилась машина Ватутина, сделала плавный полукруг и стала рядом с тем «виллисом». Охрана командующего фронтом ринулась рассыпаться по кустам, беря вокзальчик в кольцо. Шофер Чарновского вскочил, напялил пилотку и выпятил грудь. Ноги Сиротина по-прежнему торчали из-под машины — впрочем, невидимо для вновь прибывших.

— Пойти встретить, — сказал Кобрисов.

Но рука Чарновского еще сильнее надавила ему на плечо.

— Не торопись. Ты хозяин, должен на пороге встречать. К

тому же ты сегодня именинник. А я пойду встречу — на правах гостя.

— Боюсь я, — Кобрисов озабоченно вглядывался в пустынное светло-голубое небо, — не приведи Бог, супостат налетит…

— Так ты что, начальство грудью прикроешь? Не хватит, Фотий Иваныч, твоей груди. Ты еще не знаешь, сколько к тебе начальства пожалует. Да ничего, не налетит супостат, уж так ты его прижал — можно сказать, всей тушей!..

Чарновский легко сбежал вниз и, покуда Ватутин все выбирался из своего «виллиса», успел обогнуть клумбу. Шаг его казался побежкой, так был стремителен и упруг. Руки при этом ловко оправляли гимнастерку под ремнем. Китель он не носил никогда, предпочитал гимнастерку — в ней он выглядел стройнее, плечистее, а главное — моложе. Последние три шага он отпечатал, подбросив руку к виску. Ватутин невольно улыбнулся ему, сказал несколько слов — должно быть, свое обычное: «Ты у нас не генерал-лейтенант, а лейтенант-генерал», — и, глядя на Чарновского почти влюбленно, рукою оперся на капот «виллиса», тем позволяя подчиненному стоять вольно.

При каких-то словах Чарновского он слабо поморщился, отмахнулся, как от ерунды, принялся разубеждать и тут поднял нечаянно взгляд к окну. Тяжелое, набрякшее лицо Ватутина отразило миг смущения, точно бы Кобрисов мог его услышать, и тотчас они оба повернулись к аллее, встречая следующую машину.

Следующим прибыл Хрущев. Этого никакая форма, ни награды во всю грудь не делали генералом-строевиком или пусть комиссаром, каковым он и состоял при Ватутине, что-то оставалось неискоренимо тыловое, интендантское. Приплюснутая, с длинным козырьком, фуражка сидела на нем, как сидел бы соломенный брыль. На заднем сиденье адъютант с ординарцем держали на коленях огромный картонный короб, перевязанный красной лентой с бантом, — похоже было на именинный подарок с куклой, говорящей «мама» и противно закатывающей глаза. Выбравшись, Хрущев потоптался на месте — не так чтобы ноги разминая, а как бы утверждая себя на земле. Покончив с этим, он перешел к другому делу — стал распоряжаться, чтоб выгрузили короб и несли бы осторожно. Из жестов его все было понятно без слов.

Третья машина была сюрпризом для Кобрисова. В ней прибыл Терещенко. Что здесь понадобилось командарму, воевавшему Бог весть как далеко, за сто шестьдесят километров ниже по течению, этого Кобрисов не мог себе объяснить. Но еще большим сюрпризом было увидеть, кто поспешил приветствовать гостя

майор Светлооков! И откуда только взялся он, не в кустах ли дожидался встречи? И кажется, они даже знакомы были, да точно, Терещенко ему улыбнулся милостиво, протянул руку, и тот, улыбаясь, склонился в почтительной стойке, как не склонялся никогда перед Кобрисовым. О чем-то они перекинулись несколькими словами, и Светлооков вдруг исчез бесследно, точно кусты раздвинулись, втянули его и опять сошлись. Видно, Терещенке стало неудобно с ним говорить, подходило высокое начальство, Ватутин с Хрущевым, — и в тысячный раз Кобрисов подивился, как можно искусством вести себя восполнить, и с преизбытком, отнятое природой. Терещенко, худенькая обезьянка с обиженно-недовольным личиком, должен бы, казалось, ловко выпрыгнуть и подскочить к встречавшим его Ватутину и Хрущеву, ан нет, он продолжал сидеть, утвердив между коленей палку, и ровно столько сидеть, чтоб к нему подошли и начали разговор над ним, еще сидящим. Грузные люди, начальники ему, они с ним шутили — он выговаривал, не торопясь, что-то обиженное, недовольное.

Из опасений налета кавалькада машин сильно растянулась, гости прибывали с интервалом в три, в четыре минуты. И каждого встречали весело, шумно, будто расстались не час назад, а месяц. Прибыл цыганистый Галаган, командующий воздушной армией, поддерживающей армию Кобрисова, — как всегда, без свиты, «виллисом» он правил сам и так гонял, что с ним не всякий отваживался сесть. Ему всегда выговаривали за лихачество — и в воздухе, и на земле, — выговаривали, уж точно, и сейчас; он только сплевывал и поглядывал с тоскою в голубое небо, летать ему хотелось без конца, в любой час. Прибыл командующий 1-й танковой армией Рыбко — «танковый батько», как его называли, — человек уже сильно пожилой и на вид сугубо штатский, похожий на директора совхоза или завуча сельской школы. Снявши фуражку, положив ее на толстый портфель перед толстым животом, он отирал платком блестящий череп, наполовину лысый, наполовину бритый, и что-то рассказывал, смакуя, — верно, о том, как его повар выучился готовить гуся с яблоками.

Площадь заполнялась, на ней становилось тесно от машин, однако прибывшие еще кого-то ждали, до его прибытия не смея уйти в помещение. И, верно, прибыть он должен был последним, а после него уже никто не смел прибыть.

Приехал и он, наконец, в сопровождении замыкающего бронетранспортера, высокий, массивный человек, с крупным суровым лицом, в черной кожанке без погон, в полевой фуражке, надетой низко и прямо, ничуть не набекрень, но никакая одежда,

ни манера ее носить не скрыли бы в нем военного, рожденного повелевать. Вставши, он оказался далеко не высоким, но при нем все тянулись, как могли, и закидывали головы, что как раз не доставляло ему приятного. Вскочил тотчас и Терещенко, не посмев и мига просидеть, коли тот встал. Узнав его, почувствовал и Кобрисов холодок под сердцем и понял, что не одни легенды, бежавшие впереди этого человека, навеивали страх перед ним, но от него и впрямь исходило что-то пугающее.

Маршал Жуков, заместитель Верховного, едва ли и не сам Верховный, не отвечая на приветствия, лишь коротко всех оглядев, направился к дверям вокзальчика. За ним потянулись почти бесшумно, слышались одни его твердые шаги. И Кобрисова сами ноги понесли вниз по лестнице — успеть распахнуть двери и вытянуться.

Здесь некоторую помощь генералу Кобрисову оказала пружина двери, которую он должен был придержать рукою, отчего его стойка вышла не вовсе истуканной, чуть повольнее. Жесткий взгляд маршала — снизу вверх — ударил ему в лицо, внимательный, вбирающий, точно бы пережевывающий стоящего перед ним, выказывая одно раздумье — съесть его или выплюнуть? Чудовищный подбородок, занимавший мало не треть лица, двинулся в речи, твердые губы обронили слово, до Кобрисова дошедшее чуть запоздало. Слово это было:

— Здрась…

Кобрисов что-то пролепетал, не слышное ему самому. Маршал, плечом вперед, миновал его, перестав интересоваться, но вдруг обернулся.

— Ты кто — швейцар или командующий? Я двери и сам умею открывать. Если командующий, то и командуй, куда идти.

— В зал ожидания, пожалуйста.

Маршал не удивился, но махнул рукой, как машут на дурачка.

Вокзальчик имел один большой зал, высотою в два этажа, с выходами на площадь и на перрон, и несколько служебных клетушек в крыльях. С купольного потолка смотрели на публику закопченные лики: шахтер с отбойным молотком на плече, грудастая колхозница у комбайна, обнявшая сноп какого-то злака, пограничник с собакой, похожей более на отощавшего дикого кабана, летчик и пионеры под самолетным рылом с пропеллером. В сорок первом году вокзальчику шибко досталось — и от чужих, и от своих, — в нем гулял ветер и свивали гнезда птицы, углы густо заросли паутиной. Саперы наспех расчистили завалы щебня, залатали пробоины в куполе фанерой и брезентом, составили рядами уцелевшие скамьи, из кабинета начальника станции

принесли стол. Проломы в стене оставили как есть — и сквозь них пламенела прощальной красой листва кленов и дубняка.

Маршал, все оглядев коротко и более ни на что не глядя, сел за стол и развернулся боком к карте, которую развесили на стенке билетной кассы, прежде остекленной, теперь просто решетке. Кобрисов стал около нее с указкой, ожидая, когда рассядутся. Выглядело — как в школьном классе: учитель за столом, ученики за партами, вызванный — у доски. Урок, однако, начался не сразу — следом за Хрущевым внесли тот короб с красным бантом.

— Гер Константиныч, — обратился Хрущев к Жукову, с чего-то заговорщицки улыбаясь во все широкое круглое лицо с двумя разновеликими и прихотливо расположенными бородавками. — Разрешите, прежде чем начать, вот, значит, вручить скромные подарки всем, это вот, присутствующим от лица, вот, значит, Военного совета фронта. Да, Первого Украинского. Дни у нас, можно сказать, особенные, предстоит, значит, освобождение священного города Предславля, жемчужины, можно сказать, Украины. И я хочу отметить, что вот и солнышко всем нам по этому, значит, случаю как-то так светит, празднует как бы вместе с нами, вот, значит, наше торжество…

Жуков, с каменным лицом, кивнул.

— Хорошо сказал, Никита Сергеич. Главное — коротко.

Короб взгромоздили на стол. Никита Сергеич, еще много чего имевший сказать, потоптался в огорчении, напруживая круглый затылок, и подал знак рукою, как ко взрыву моста. Длинный и от волнения еще удлинившийся адъютант развязал бант, вскрыл короб и отступил. Хрущев, запуская туда обе руки, доставал и каждому подносил, согласно привязанной бирочке, что кому причиталось, в целлофановом пакете: курящим — томпаковые портсигары с выдавленной на крышке Спасской башней Кремля и по блоку американских сигарет, некурящим — шоколадные наборы, тем и другим — по бутылке армянского марочного коньяка, по календарю с картинками и именные часы, тоже американские, с вошедшими только что в моду черным циферблатом и светящимися стрелками. Непременной же и главной в составе подарка была рубашка без ворота, вышитая украинским орнаментом, со шнуровкой вместо пуговиц, с красными пушистыми кистями.

Гости хрустели пакетами, прикладывали рубахи к груди, Жуков тоже приложил и спросил:

— Это когда ж ее надевать?

— Всегда! — отвечал Хрущев с восторгом. — Я вот повседневно такую под кителем ношу. — И, расстегнув китель,

всем показал вышитую грудь. — Хотя не видно сверху, а мою хохлацкую душу греет. Думаю, что и с командармами в точку мы попали, кто тут не хохол щирый? Терещенко — хохол, Чарновский оттуда же, Рыбко — и говорить нечего, Омельченко со Жмаченкой — в обоих аж с носа капает. Ты, Галаган, вообще-то у нас белорус… А Белоруссия — она кто? Родная сестра Украины, их даже слить можно в одну. Вот я только про Кобрисова не знаю — тэж, як я розумию, хохол?

— Никак нет. С Дону казак.

— С Дону?.. Ну, в душе-то — хохол?

— И в душе казак.

— Та нэ брэши, — Хрущев на него замахал руками. — Почему ж я тебя за хохла считал? У нас это, помню, в Донбассе жили такие, Кобрисовы, шахтерская семья, дружная такая, передовая, так ни слова кацапского, все украинскою мовою.

— Бывает, — сказал Кобрисов. Против дури, знал он, лучшее средство дурь. — А в моей станице Романовской три куреня были — Хрущевы, так по-хохлацки и не заикались, все по-русски.

— Притворялись они! — все не унимался Хрущев. — А может, матка от тебя утаила, шо вы хохлы?

— Матка-то, вроде, говорила, да батько разубедил. А я его больше боялся. Так уж… Ну, а за подарок — спасибо.

— Это женщин наших, славных тружениц, благодарите, — объяснил Хрущев. Лучшие, значит, стахановки с харьковской фабрики «Червонна робитныця» наш заказ выполняли. В неурочное время, в счет сверхплановой, понимаете, экономии. Специально для командармов-украинцев.

— Выходит, не для меня, — сказал Кобрисов. И, чувствуя на себе всеобщие взгляды — настороженные, любопытствующие, — он прошел к пустой скамье и положил сверток.

— Нет, ты носи, — сказал Хрущев. Он имел счастливое свойство не замечать производимых им неловкостей. — Носи, Кобрисов, рано или поздно, а мы тебя в хохлацкую веру обратим.

Жуков, прогнав жесткую, волчью свою ухмылку, отодвинул сверток на край стола, расчистив место для рук, сцепил их в один кулак, поиграл большими пальцами.

— Так, полководцы. Оперативную паузу заполнили. Командующий, слушаю ваш доклад.

Кобрисов, оборачиваясь к карте через плечо, взмахивая указкой, казавшейся в его руке дирижерской палочкой, доложил:

— Двадцать четвертого августа, с разрешения командующего войсками фронта, захватил плацдарм против города Мырятин. Через неделю, именно второго сентября, еще один плацдарм — южнее, восемь километров ниже по Днепру. Впоследствии эти два

плацдарма удалось соединить. Одновременно, силами шести стрелковых полков, двух дивизионов самоходных орудий, при поддержке авиации фронта выдвинулся клиньями севернее и южнее Мырятина, создавая угрозу окружения. Основные же силы армии… — Он замолчал на миг и услышал повисшую тишину, даже различил в ней шелест листвы. — …можно считать, всю армию повернул правым плечом на юг, в направлении — Предславль.

Никто не перебил его, и он коротко указал теперешнее расположение своих девяти дивизий, объяснил значение вычерченных стрел, обрисовал разведанные силы противника, напоследок назвал населенные пункты, где сейчас завязывались бои.

— Ближе всего к Предславлю, — сказал он, — нахожусь у села Горлица. Это двенадцать километров от черты города. По докладам командиров, некоторые здания — на возвышенных, конечно, местах — просматриваются в бинокль хорошо.

— Горлица! — не выдержал Чарновский. — Это же дачное место уже! Там у нас комсоставские курсы были, лагерный сбор. Знаю Горлицу… Там я, между прочим, с будущей супругой познакомился.

Собрание загудело, заскрипело скамьями.

— Лирические воспоминания потом, — сказал Жуков. — Горлица эта — вся у нас в руках?

— Со вчерашнего вечера вся, товарищ маршал.

Кобрисов едва удержал лицо, чтоб не расплылось глупой, довольной улыбкой. Жуков, цепким, хищным глазоохватом как бы вбирая в себя карту, поигрывал большими пальцами.

— Все у вас, командующий?

— Пока… все.

— Суждения будут? Высказываются командармы. Начиная с младшего.

Командармов ниже генерал-лейтенанта не было, среди них Чарновский был младше по возрасту.

— Что тут судить? — сказал Чарновский, вставая и осаживая книзу гимнастерку, отчего рельефнее выделялись плечи и грудь. — К генералу Кобрисову у меня претензий нету, кроме… Кроме лютой черной зависти! Доведись мне, я бы все сделал не лучше.

— Но и не хуже, наверно? — хриплым своим фальцетом ввернул Терещенко.

Чарновский ответил угрюмо, не повернув к нему головы:

— Считаешь, Денис Трофимыч, просто повезло Кобрисову? Да, повезло несказанно. Но надо еще свое везение — угадать!

Надо еще уметь свою удачу за крылья схватить. И не упускать!

«Танковый батько» Рыбко, доселе как будто мирно дремавший, положа руки на толстый портфель, приоткрыл один глаз.

— Лучше всего — за гузку ее.

Чарновский, махнув рукою, сел.

— Генерал Галаган, — объявил Жуков. — Ваше мнение?

Воздушный лихач Галаган, смотревший уныло в пролом стены, на краешек неба, высказался не вставая:

— Мое мнение — лихо! Так это Кобрисов провернул, что дай Бог. Рисковый человек, я таких люблю. Я всю операцию наблюдал — и аж сердце подскакивало. Действуй в том же духе, Фотий Иваныч, и мы за тобой, авиаторы, в любой огонь полетим.

И он сделал движение рукою, как будто покачал штурвальную ручку истребителя.

— Откуда ж ты наблюдал, — спросил Терещенко, — что сердце подскакивало? С какой высоты, Иона Аполлинарьич?

Батько Рыбко приоткрыл второй глаз.

— Из стратосфЭры.

Сильнее нельзя было задеть Галагана. Смуглое его лицо сделалось еще темнее.

— Ты, Денис Трофимыч, напрасно язвишь. Я в стратосферу не ухожу, я, когда надо, и брюхом по земле ползаю. Во всяком случае, когда Кобрисов на пароме Днепр переплывал, я его черную кожанку видел. И видел, как он от страха бледный стал, когда на него «юнкерс» спикировал, а с палубы все-таки не уходил. Насилу я этого «юнкерса» увел, так ему генерала хотелось подстрелить.

— Хорошего мало, — заметил Терещенко, — жизнью своей, командующего армией, без нужды рисковать.

Галаган, не отвечая, перевел на Кобрисова тоскующий взгляд ярко-синих (особо ценимых в авиации!) глаз, опушенных густыми черными ресницами. В этом взгляде можно было прочесть: «Черта ли ты, Кобрисов, не летаешь? Милое дело — небо! Туда б за тобой никто из них не полез…»

— Я беру слово, — сказал Жуков.

В зале мгновенно стихло. Маршал, прежде чем что-то сказать, несколько раз повел короткой шеей втеснившем его воротнике, откидывая голову к плечу и закрыв глаза. Углы его рта загибались книзу.

— От вас, Галаган, я ждал именно взгляда с высоты. Орлиного взгляда, как говорит Верховный. Не дождался. Сплошные эмоции. — Он посмотрел пристально на Кобрисова — тем взглядом, от которого, говорили, иные чуть не падали

замертво. — Командующий, вы стоите слишком близко к карте. Я вам советую рассматривать ее метров с полутора. А то вы уперлись в свой замысел и не видите всей картины. Такого авантюрного варианта, какой вы избрали, еще свет не видывал. Вы наступаете в узком коридоре шириной километров… в восемь, что ли?

— Местами и шесть.

— Еще не легче! Слева — река, противник — справа. Движение — с оголенным правым флангом, с растянутыми коммуникациями. По сути, незамкнутое окружение. В которое вы сами втянулись. Противник вас может прошить насквозь. Прямой наводкой. Из вшивенькой 57-миллиметровой пушчонки. В любой час, когда ему заблагорассудится, он вашу армию разрежет на куски. Как колбасу. Ему и прижимать вас не нужно к берегу, вы и так прижаты. Ему только выбрать, с какого куска лучше начать, какой на потом оставить. Вы ослепли? Или думаете, противник ваш — слепой?

— Да ведь пока, товарищ маршал… — начал было Кобрисов.

— «Пока» — это не гарантия, — перебил Жуков. — Это случится завтра. Сегодня. Через час.

— Разрешите малость мне защитить свой замысел?

— Только и жду.

— Вот вы, товарищ маршал, рискнули ко мне приехать, — начал Кобрисов издалека. — По рокаде ехали — и не думали, что каждый час могут ее перерезать. Почему же было и мне не рискнуть? Тем более, я свой риск подстраховал, считаю, неплохо. Всю тяжелую артиллерию я на плацдарм не тащил, оставил на том берегу. С тем, чтоб она вдоль всего берега вела бы дуэль через наши головы, создавала бы защитный огневой вал. И в этом случае, товарищ маршал, узкий коридор — может быть, преимущество наше? Артиллерия, даже гаубичная, работает не на пределе прицела, имеет маневр огнем. Каждый метр, буквально, у нее пристрелян. Скажу, что да, были попытки прорыва и разрезать нас… как колбасу. Были — и сразу нами пресечены. Учтем тем более господство нашей авиации.

Жуков помолчал и спросил:

— Связь с артиллерией — по радио?

— Проводная, товарищ маршал. У меня первая же лодочная группа и кабель разматывала по дну. Трофейный, емкостью в шесть проводов. Потом и второй мы проложили. Предусмотрена, конечно, кодированная радиосвязь, но пока не пришлось использовать.

— Убедительно, — сказал Жуков. — Убедительно защищаетесь, командующий. А выглядит, прямо скажу,

несерьезно.

Он снова вглядывался в карту. Углы его рта при этом выпрямились. Может быть, вспомнил он, как сам же сказал, узнав о захвате плацдарма на голых мырятинских кручах: «Что ж, на войне многие большие дела начинаются несерьезно».

Может быть, со своим звериным «чувством противника», он понимал, что защитники «Восточного вала» не так уж горят желанием воевать, если русская армия проходит мимо, не причиняя им особенного вреда, направляясь к Предславлю, за который, в конце концов, не они отвечают.

— Если честно, — спросил он, — противник здесь оказался пассивнее, чем вы ожидали?

Кобрисов, помявшись, ответил:

— Я, товарищ маршал, на эту пассивность его и рассчитывал.

И немедленно, только того и дождавшись, попросил слова Терещенко.

— Фотий Иваныч, — заговорил он, не вставая, опершись обеими руками на палку, с обидой в голосе. От обиды на голове у него вздуло хохолок. — Мне странно слышать, как ты говоришь: «Рассчитывал». Все только себе в плюс. А почему рассчитывал — не говоришь. Что ж такая неблагодарность к соседям своим, командармам? А может, тебе потому и легко, что другим трудно? Потому что они на себя главную тяжесть приняли на Сибеже? Ты по ровному идешь, а кто-то в оврагах, в болотах лесных барахтается, глину месит, костьми ложится, чтоб тебе в руки Предславль положить…

— Согласен, — сказал Кобрисов, чувствуя, как вскипает в нем раздражение, как затмевает ему голову, и боясь этого, и не в силах будучи удержаться. — Но неужели ж не видно было, что этот ваш Сибежский плацдарм хорошей жизни не обещает? Устроили себе тритатуси, теперь вот мудохаетесь там…

— Попрошу командующего, — сказал Жуков бесстрастно, — придерживаться военной терминологии.

— Виноват, товарищ маршал. Но хотел бы спросить соседей-командармов: черт их там вырыл, эти овраги, пока вы переправлялись?!

Он задал тот вопрос, на который и двадцать, и тридцать лет спустя будут искать ответа и не находить его: что же, заранее не было ясно, что южный плацдарм у села Сибеж — ошибка, западня? Что овраги, леса и болота не преимущества этого выбора, но тяжкое его осложнение? Отчего так невнятны, уклончивы объяснения историков: «К сожалению, Сибежский плацдарм оказался сильно пересеченной местностью, изобилующей…» Когда «оказался»? До или после переправы?

— Что же ты считаешь, — спросил Терещенко, голос был тонкий, ломкий, еле не плачущий, — наши усилия, наши потери общие, жертвы наши — все зря? Почему ж раньше молчал? А сам тихой сапой, понимаешь…

— Он не молчал, — сказал Жуков, нахмурясь.

Да, цепкая его память удержала то совещание в Ольховатке, где и Кобрисов, и Чарновский высказывались против варианта с Сибежским плацдармом, которому сам-то он был защитник.

Терещенко примолк, съежился, только смотрел исподлобья на Кобрисова — с обидой, укоризной, побелевшими от злости глазами.

Жуков, прикусив нижнюю губу, сдвинув брови, мрачно уставился в карту. О чем теперь задумался маршал? Не о том ли, что сам поддался эмоциям, позволил себя втянуть в аферу, доверился очевидному, которое вовсе не было очевидным? Закрыл себе глаза на все иные возможности, которые вот же углядел этот увалень, преподавший всем урок гениальности? Да, принимая тогда свое «несерьезное» решение, он был хоть на минуту гением. Взгляд посредственности цепляется за овраги, излучины, петляет в лесных зарослях, а взгляд гения упирается в пустынный берег и в голых кручах находит решение загадки.

А отгадка так проста была — танки! Нужно было их любить, как этот Кобрисов, чтоб знать, что любят они — ровную, слегка всхолмленную местность, где можно укрыться как раз по башню, а то вдруг вылететь на бугор, отстреляться, вновь затеряться в низинах, в реденьких перелесках и рощицах, искажающих рев и лязг, главное — не теряя темпа…

— Вы генерал с танковым качеством, — сказал Жуков. — Я это ценю. Как же вы их на кручи-то волокли?

— По-всякому. Бывало, и слегами подпирали под гусеницы. Одного вытащим — другого он тащит тросами.

— Небось и сами плечо подставляли?

Кобрисов только повел могучим плечом, и зал заскрипел скамьями, дробно рассмеялся.

— Фотий Иванычу нашему, — сказал Терещенко, — такому лбу, хоть на спину взвали…

— Сколько было машин? — спросил Жуков.

Вместо Кобрисова, встрепенувшись от дремы, ответил Рыбко:

— Шестьдесят четыре. Минус две.

«Батько» всегда знал, разбуди его среди ночи, сколько у кого танков.

— Две еще на том берегу потеряли, — уточнил Кобрисов, неожиданно для себя тоном оправдания. — Теперь-то мы с них пылинки сдуваем…

Снова повисло молчание. Жуков, поворотясь к залу, смотрел на всех недобрым взглядом. Под этим взглядом все казались — или хотели казаться — на голову ниже, опускали глаза. Хрущев ерзал по скамье, точно она была утыкана шильями. Ватутин смотрел прямо, но какими-то отсутствующими глазами.

— Так, полководцы… — начал Жуков зловеще. Но не продолжал. И показалось Кобрисову, что не только он над ними имеет власть, но какую-то и они над ним. Может быть, не меньшую.

Терещенко быстро переглянулся с левым своим соседом по фронту, Омельченко, тот согласно моргнул и поднял руку для слова. Тучный, круглоголовый, луноликий Омельченко, с пробором в рыжеватых волосах, уложенных плойками, настроил себя на тон проникновенный, был сама скорбь и душевная боль.

— Мы тут услышали грубые слова от товарища нашего, Кобрисова…

— Не для нежных ушей? — сказал Жуков.

— Не в том печаль, товарищ маршал, что грубые, мы в своем коллективе по-солдатски привыкли, а — обидные. Упирается человек в свое лишь корыто, а того не видит, что, может, все по плану делается. Что командование фронтом свою задумку имело. Одним такая доля выпала, чтоб, значит, фон Штайнера этого на себя отвлекать, нервировать его, а другим — знамя над горсоветом водрузить. Необязательно всех было посвящать, но теперь-то можно же догадаться, что был заранее спланированный маневр. И как у поэта сказано, у Маяковского, не грех напомнить: «Сочтемся, понимаешь, славою, ведь мы ж свои же люди…»

Вот как все было, оказывается! Вот как было, когда он, Кобрисов, смотрел в стереотрубу на черного ангела с тяжелым крестом на плече, высоко вознесшегося над кущами парка, на ослепительный купол собора, с пробоиной от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри, на дымящиеся руины проспекта, наклонно и косо сходящего к Днепру, и думал о том, какая обидная доля выпала ему: стоять против великого города и только страховать Терещенко — на тот невероятный случай, если б фон Штайнеру вздумалось переправиться на левый берег и запереть Сибежский плацдарм с востока. Вот как было, когда трясущимися руками, подстелив плащ-палатку, он разворачивал карту и колесиком курвиметра вел по извивам водной преграды «р. Днепр», когда раздвигом циркуля отмерял расстояние от Предславля до Сибежа и то же расстояние отложил к северу, и грифельная лапка уткнулась в сердцевину кружка, и прочиталось: «Мырятин». И было, оказывается, предвидено, спланировано заранее, как он, по колено в воде, ища свою подстреленную утку,

раздвинет камыши в плавнях, и посмотрит на тот берег, и поразится его зловещему безмолвию, и услышит толчки сердца в висках…

— Должен я отвечать на упрек, товарищ маршал? — спросил Кобрисов.

— Необязательно, — сказал Жуков. Он снизу послал многозначительный взгляд, которого Кобрисов, однако, не видел, смотрел в глаза Ватутину.

— Николай Федорович, предвидели вы, что я сам попрошу разрешения?

— Почему ж не предвидел? — раздражаясь, спросил Ватутин. — Когда позвонил ты мне в Ольховатку, я же не удивился, тут же согласие дал. А если б не попросил — тебе бы рано или поздно приказали…

— И когда я свои танки быстренько на правый фланг уводил, сам от себя прятал, чтоб другие не увели…

— Ну, всего не предусмотришь. И танки я от тебя не требовал кому-то передать.

Два человека кричали в Кобрисове, и один твердил упрямо: «Не было этого, не было!», а другой: «Остановись же! Вот здесь остановись!» Но, понимая отчетливо, что каждым словом обрубает ниточку, которую протянули ему, он все же не мог не бросить им свой горький, злой упрек:

— Пускай бы вы просто на берегу стояли против Сибежа — и то бы фон Штайнера отвлекали. Нервировали, по крайней мере. А так — слишком дорогая получается мясорубка. — Он увидел грустный предостерегающий взгляд Галагана и все же продолжал: — Он ждал вас на юге — и дождался. А если б сразу начали, где я, да всем гуртом навалились, он бы рокироваться не успел.

— Не доказано, — сказал Жуков. — Не кормите нас гипотезами. Кое-что справедливо говорите, но — не все. С кем согласовывали наступление на Предславль?

Кобрисов отвечал уклончиво:

— Товарищ маршал, а для чего ж тогда плацдармы берутся?.. И что ж меня судить, когда мои части в двенадцати километрах?..

Он удержал на языке, не прибавил того, что кричало в нем: «Да что происходит здесь? Что происходит? Вы там, на Сибеже, навалили горы битого мяса, и все топчетесь, топчетесь который месяц, а я, с потерями вдесятеро меньшими, уже вплотную к Предславлю подошел, но не я сужу вас, а вы приехали меня судить, и никому из вас это не удивительно!.. Ехали сюда — не удивлялись, зачем едете?»

— Никто вас не судит, — сказал Жуков.

— Победитель ты, Фотий Иваныч, — начал было Галаган, но

Жуков его остановил, выставив ладонь:

— Не судим, а разобраться хотим. Как дальше быть.

— Вот я тоже разобраться, — поднял руку Хрущев. — Почему это так, что и судить нельзя? У нас таких нет, чтоб судить нельзя было. Я не в смысле, значит, трибунала, а в смысле суждений, значит. Партия такое право всегда имеет, и нам тоже предоставлено. И победителей тоже, значит, иногда, если они…

— Никита Сергеич, много у тебя? — спросил Жуков.

— Ну… Я по оперативному скажу вопросу. Вот вы наступаете, Кобрисов, да? Наступаете пока, можно сказать, успешно. А поглядите вы через плечо. Через правое. И что у вас за спиной делается? А там, понимаешь, целый город у вас в тылу остается. Мырятин этот, значит. Намерены вы с ним что-то делать или как?

— А на кой он ему? — спросил Галаган.

— Как «на кой»? — удивился Хрущев. — Хорошее дело — «на кой»! Город советский. Занятый, понимаешь, врагом.

На этот вопрос, которого более всего опасался Кобрисов, и должен был ответить Чарновский: «Отрежьте мне этот кусок плацдарма, вместе с Мырятином. У меня перед фронтом более или менее крупных городов нет, я бы и этому рад был». Так должен был сказать Чарновский, но почему-то молчал. Отсев подальше от Кобрисова, смотрел сосредоточенно в пол.

— Командующий, — спросил Жуков, — как у вас складываются отношения с противником в районе Мырятина?

— Нейтралитет у меня с ним, товарищ маршал. Друг друга не тревожим.

— Но он угрожает вашим переправам.

— Угрожал. В основном авиацией. Бывало, по сорок самолетов налетало, а то раз и семьдесят мы насчитали. Но потом генерал Галаган обеспечил здесь наше господство, так что — тихо сидит.

— Но вы же клинья зачем-то выдвинули. Планировали окружение?

— Не было такого плана. Только угроза окружения. Где мне, с моими силами, еще окружать!

— И не надо, если не хотите. Двиньте вы ваши клинья километров на пять. Да он оттуда раком уползет!

Так оно, верно, и будет, подумал Кобрисов. Уползут. А только в последнюю очередь те, кому больше угроз от пленения. Когда паника начнется, не достанется русским ни машин, ни повозок, ни седел, ни танковой брони. Им — прикладами по пальцам, чтоб не цеплялись. Здесь конец боевому содружеству, каждый за себя. Умрите вы, падаль, а нам прикройте отход. И вы же в своей России остаетесь, чего вам бояться — встречи с земляками?..

Заговорил между тем Терещенко:

— Разрешите, товарищ маршал, и с вами немножко поспорить… Как понимать это — «пусть уползет»? Это же предоставление инициативы противнику. Это мы еще ждать должны, как он решит: захочет — уползет, захочет — клинья обрежет. Много чести, мне кажется. Не сорок первый год, теперь мы ему должны навязывать нашу идею, а он — пусть принимает. И тут я у командующего четкой идеи не вижу пока. Я б такую занозу, Мырятин, у себя на фланге не оставлял бы.

Жуков, не отвечая ему, обратился к Кобрисову:

— Сколько бы вам понадобилось еще машин? Если б была у фронта возможность.

Кобрисов задумался, набрал в грудь воздуху, выдохнул шумно.

— Сто бы мне. «Тридцатьчетверочек».

— Почему сто? С потолка берете?

— Так двести же не дадут.

— Генерал Рыбко, могла бы ваша армия сколько-то выделить ему?

«Батько», очнувшись, поближе к животу прибрал свой портфель, точно там они и были, танки.

— Цэ трэба розжуваты, товарищу маршал. Да он же у нас такой озорник, Кобрисов этот. Ему дай сто, хоть и двести дай, он же их все на Предславль угонит…

— Ну, это уж как он распорядится.

— …а то еще куда-нибудь. А сам и знать не будет, где они у него.

— Ничего, найдутся. Он их теряет, он же их и находит.

— Давай, батько, раскошеливайся, — сказал Галаган.

Кобрисов тоже смотрел на «батьку» выжидающе. Кто-кто, а танковый генерал наибольшую нес ответственность за авантюру с Сибежем, должен был предвидеть лучше других, что его «керосинкам» там уготовано сделаться свалкой металлолома, и воспротивиться этому, а сейчас — мог лишь приветствовать возможность перебросить их на Мырятин.

Мучительная дума пересекла «батькин» лоб горизонтальной морщиной. И вдруг он блаженно разулыбался.

— Анекдот вспомнил. Разрешите, товарищу маршал?

— Оперативная пауза, — сказал Жуков.

— Приходят это чекисты с ГеПеУ к еврею: «Рабинович, сдай деньги в госбюджет!» Ну, жмется Рабинович: «Та откуда ж у меня деньги?» — «У тебя-то, может, и нету, а у твоей Саррочки, ГеПеУ знает, припрятано. Давай выкладай». — «А зачем вам деньги?» — Рабинович спрашивает. «Как это „зачем“! Социализм строить». —

«А у вас их нету, денег?» — «То-то и дело, что нету!» — «Так я вам так скажу: когда нету денег — не строят социализм».

На анекдот генералы отвлеклись охотно, у Жукова края рта завернулись кверху.

— А мы его вроде построили, социализм? — спросил он, улыбаясь как-то неуверенно, как бы прося снисхождения. Что-то в его улыбке напоминало беззубого ребенка.

— Как же, Гер Константинович! — укорил Хрущев. — Верховный еще когда говорил: «Завоевания социализьма».

— А, так его еще завоевывать нужно…

— Да нет же, Гер Константинович, это он завоевывает, социализьм!

— За всем не уследишь, — сказал Жуков виновато. — Ну, на то у нас комиссары есть. Ладно, полководцы, оперативную паузу заполнили. Вернулись к Предславлю.

— К Мырятину, — напомнил Терещенко.

— Да, к Мырятину.

К танкам, однако, не вернулись.

Маршал помолчал, умыл толстой ладонью свой чудо-подбородок с «полководческой ямочкой». Наверно, ни при какой погоде сам бы он не стал возиться с городишком районного масштаба, имея впереди «жемчужину Украины», и понимал, наверно, Кобрисова, и потому опять смотрел на всех недобрым взглядом.

— Какая все-таки причина, — спросил он, — что командующий не хочет брать Мырятин? Он же у вас на ладони лежит.

Еще в эту минуту можно было выиграть затянувшийся бой, перетащить Жукова на свою сторону, только высказать самый веский довод.

— Товарищ маршал, — сказал Кобрисов. — Это так кажется, что на ладони.

— Мне кажется?

— Вам не все доложили. Операция эта — очень дорогая, тысяч десять она мне будет стоить.

— Что ж, попросите пополнения. После Мырятина выделим.

— Мне вот этих десять… жалко. Ненужная это сейчас жертва. И одно дело — люди настроились Предславль освобождать, за это и помереть не обидно, а другое дело — я их сорву да переброшу на какой-то Мырятин. Жалко мне их. И ради чего я ими пожертвую, когда мне каждый сейчас, в наступлении, втрое дороже? Есть у меня мысль, что противник как раз и ожидает, чтоб мы здесь потратились материально…

— А мне, — спросил Терещенко, — думаешь, так хочется за

Сибеж ничтожный тратиться? А приходится. Жуков его остановил:

— Уважайте соседа, полководцы. Он не всегда глупости говорит. Что ж, командующий, к вашему доводу следует прислушаться.

Но по голосу чувствовалось: не прислушался нисколько. Любой другой аргумент он бы рассмотрел внимательно и во всех подробностях, этого — он как бы и не слышал. Тем и велик он был, полководец, который бы не удержался ни в какой другой армии, а для этой-то и был рожден. Все было у него — и подбородок крутой с ямочкой, и рост достаточно невысокий, и укажут остряки на первый слог в его фамилии со звуком «У», столь частый у полководцев Суворов, Кутузов, Румянцев, Брусилов, Куропаткин, два Блюхера и Мюрат, Фрунзе, Тухачевский, Клюге, Гудериан, да хоть и Буденный, и даже Фабий, своей медлительностью заслуживший прозвище «Кунктатор», — но главное для полководца пролетарской школы было то, что для слова «жалко» не имел он органа восприятия. Не ведал, что это такое. И, если бы ведал, не одерживал бы своих побед. Если бы учился в академии, где все же приучали экономно планировать потери, тоже бы не одерживал. Назовут его величайшим из маршалов — и правильно назовут, другие в его ситуациях, имея подчас шести-, семикратный перевес, проигрывали бездарно. Он — выигрывал. И потому выигрывал, что не позволял себе слова «жалко». Не то что не позволял — не слышал.

— Стоит прислушаться, — повторил он. — Но вы мой довод не опрокинули. Вот что делает ваш противник. Удар во фронт. По ослабленному плацдарму. С выходом к Днепру.

— Это был бы акт отчаяния, — сказал Кобрисов. — Зачем ему между клиньями лезть?

— Согласен. Но акт возможный. Приказ есть приказ, и солдат его выполнит. И это было бы для нас очень болезненно. Переправы сейчас — самое для нас ценное. Так что подумайте. Подумайте о Мырятине.

Кобрисов запнулся на секунду, было у него чем этот довод оспорить, но тотчас ворвался в разговор Хрущев:

— Вот я, Гер Константинович, ну кто о чем, а вшивый, значит, о бане. То есть я, значит, как политработник волнуюсь. Насчет, значит, укрепления морально-политического духа в войсках. Тем более «жемчужина Украины» и все такое. Вот были мы с Николай Федорычем в Восемнадцатой армии, там такой, значит, начальник политотдела, заботливый такой полковник. Как его, Николай Федорович? Гарнэсенький такий парубок, с Днепропетровска, бровки таки густы. Когда мужик из себя

видный, тоже ж играет значение! Душевно так, заботливо с солдатами перед боем поговорит, освещение подвигов подает, наладил, значить, вручение партбилетов прямо на передовой. «Бой, говорит, лучшая рекомендация». Его, кстати, идея была — символические подарки украинцам-командармам. Хорошо б его сюда для обмена, значит, опытом как-то прикомандировать. Как же его? От же, склероз, вылетело…

— Никита Сергеич, — поморщась, сказал Жуков, — вспомнишь — вернемся к вопросу.

Он уже вставал, заставляя и всех вскочить. Низко напяливая фуражку, подошел к Кобрисову. Выпрямясь и сделавшись на голову выше маршала, Кобрисов увидел мгновенную вспышку раздражения в его глазах, извечного раздражения низкорослого против верзилы. Впрочем, маршал ее погасил тотчас и осведомился благосклонно:

— Командующий, откуда я вас еще до этой войны помню? Не были на Халхин-Голе?

— Был, товарищ маршал.

— А по какому поводу встречались?

Кобрисов, помявшись, сказал:

— А вы меня к расстрелу приговорили. В числе семнадцати командиров.

— А… — Маршал улыбнулся той же улыбкой беззубого ребенка. — Ну, ясно, что к расстрелу, я к другому не приговариваю. Не я, конечно, а трибунал. А за что, напомните?

— За потерю связи с войсками.

— Как же случилось, что живы?

— А нас тогда московская комиссия выручила, из Генштаба, во главе с полковником Григоренко. Они ваш приказ обжаловали и, наоборот, кое-кого к «Красному Знамени» представили. В том числе и меня. Вы же потом и подписали.

Брови маршала сдвинулись на миг и снова разгладились.

— Припоминаю. Ну, видите, как хорошо обошлось. И вы теперь связи уделяете должное внимание. — Он протянул руку. — Поработайте еще, командующий. Желаю успеха.

Генералы, шелестя целлофановыми пакетами, подходили к Кобрисову попрощаться.

— Ты, часом, не в обиде на меня? — спросил Терещенко. — Пощипали тебя, так и ты ж нас тоже. Первый притом. Поверишь ли, больные струны задел!

— И с чего, спрашивается, гавкаемся? — сказал огорченный Омельченко. Общее ж дело делаем, мирно бы надо.

— Ладком? — сказал Кобрисов.

— Именно. Сошлись бы как-нибудь втихаря, ну там

бутылочку уговорили. Почему нет?

— Слушай их, Фотий Иваныч, — сказал Галаган, — а делай все наоборот. Три к носу, держи хвост трубой.

Подошел и Чарновский. Постоял, покачиваясь с пяток на каблуки, поднял хмурое лицо, с еле не сросшимися густыми бровями:

— Извини, что не поддержал тебя. Но и ты себя с людьми не так повел. Мы не об этом договаривались.

— Никаких претензий, Василий Данилович. Поступил ты по совести, тактично.

Чарновский, ярко вспыхнув, что-то хотел сказать, но круто повернулся и вышел.

Остался Ватутин. Он долго стоял у пролома в стене, смотрел, как рассаживаются по машинам, кому-то крикнул, что поедет последним, наконец повернулся к Кобрисову:

— Как самочувствие?

— Душновато, — сказал Кобрисов. — Дышать тяжело. Расстегнуть бы две пуговички. Ежели позволите.

— Давай.

Они расстегнули по две верхние пуговки на вороте и перешли на язык, невозможный у начальника с подчиненным.

— Операция эта все-таки дорогая, — сказал Кобрисов. — Я подумал: а сколько же в Мырятине этом жило до войны? Баб, стариков, детишек ты не считай, одних призывных мужиков сколько было? Да те же, наверно, десять тысяч. Которых я положить должен. Что же мы, за Россию будем платить Россией?

— Да только и делаем, что платим, Фотя. Когда оно иначе было? И будем платить, мы ж ее пока что не выкупили…

— Я старше тебя на девять лет, Николай. Послушай мудрого. Не всегда это доблесть — бой навязывать противнику, иногда умней уклониться, больше потом возьмешь. Ты вот о «котлах» думаешь, об окружениях, да кто об них не мечтает. А знаешь, чем ты прославился уже, чем, может, в истории останешься? Двумя отступлениями. Под Харьковом и на Курской дуге. Это изучать будут, как ты сумел людей сохранить, технику всю вытащить, противника измотать и сразу, без паузы, способен был контрудар нанести.

— Любо тебя послушать, Фотя, — сказал Ватутин, усмехаясь. — Лестно.

— Ты знаешь, что я не только льстить могу.

— Знаю. Не знаю вот, принять ли за комплимент, что одними отступлениями… Ладно, не в этом дело. Отвечу тебе комплиментом — всех ты нас удивил. Переиграл. Да ведь я давно считаю, что тебе по годам, по знаниям пора бы уже и фронтом

покомандовать. Ты прав оказался, а мы — не правы. Ну да, не все мы продумали с этим Сибежем. На поводу пошли у Терещенки…

— А что же Константиныч его поддерживает?

— Так кто же и докладывал Верховному про сибежский вариант? Константиныч и докладывал. Его тоже понять можно… Теперь подумаем вместе что скажет солдат? Что командование фронтом, представитель Ставки — чурки с глазами? Один генерал Кобрисов в ногу шагал? А солдату вера нужна в свое командование, иначе — как дальше ему воевать?

— Атакже, как и воевал. Думаешь, вера в начальство сильно его греет?

— Ты не перекайся со мной, Фотя. Тебе же так откровенно, как я, никто карты не выложит.

— Знаю, — сказал Кобрисов. — Ладно, помолчу.

Ватутин прохаживался по залу между скамьями — грузной поступью, заложив короткие руки за спину, склонив круглую лобастую голову римского центуриона; из-за обвисших щек и резких складок у рта казался он много старше своих сорока трех.

— Терещенко тоже незачем топить. Ну, ошибся. Увлекся. Все тогда увлеклись.

— Его утопишь! — вскинулся Кобрисов. — Поди, считает «командарм наступления», что я сейчас его место занимаю!..

Потому, как быстро, удивленно взглянул Ватутин, видно было, что это для него не ново.

— Еще раз скажу тебе, Фотя: армией ты командовал безукоризненно. И я за то, чтоб ты и дальше Тридцать восьмой командовал. Хотя замечу — Терещенко бы не пришлось уговаривать этот городишко прихватить.

— Как будто не понимаете вы: с потерей Предславля не будет фон Штайнер за этот городишко держаться, сам оттуда уйдет. Если прежде Гитлер его не снимет.

— И опять же — ты прав. И в то же время — не прав. Есть тут один тонкий «политес», который соблюдать приходится. Сибежский вариант согласован с Верховным. И так он ему на душу лег, как будто он сам его и придумал. Теперь что же, должны мы от Сибежа отказаться? «Почему? — спросит. — Не по зубам оказалось?»

— И про все потери спросит…

— Да уж, непременно. В первую очередь — про потери. И в будущем сто раз он нам этот Сибеж припомнит. Значит, как-то надо Верховного подготовить. И не так, что северный вариант лучше, а южный хуже, а подать это как единый план. И надо ему все дело так представить, чтоб он сам к этой идее пришел. Вот для чего и нужен твой Мырятин. Услышит он — трубочку

раскурит, на карту поглядит и сам себе скажет: «Они там, дураки, не видят, что у них под носом делается, а я из Москвы не выезжаю — и все мне, как на ладони, видно!» Тогда с Верховным любо-дорого дело иметь, что хочешь у него проси. Понял ты наконец?

— Все финтим, — сказал Кобрисов печально. — И со мною ты финтишь: уже обсуждалось, как меня от армии отставить. Мне эти финты уже вот так настряли. Как ты-то от них не устал? Вроде не в тех ты уже летах, не в тех чинах…

Ватутин, потемнев лицом, потянулся к воротнику и застегнул пуговки. Сделал то же и Кобрисов.

— Ожидаю доклада о взятии Мырятина, — сказал Ватутин. — План прошу мне представить самое позднее через сорок восемь часов.

— А если не представлю, то…

— Генерал Кобрисов, я не слышал этого!

Все же Ватутин казался подавленным. Молча он прошел к машине, молча кивнул шоферу ехать, ссутуленные его плечи и затылок под фуражкой имели вид какой-то убитый, пришибленный. «Лучше других ты, Николай Федорович, — думал Кобрисов, глядя ему вслед, — стало быть, тоже не свой. Рано или поздно, а и тебя укатают…»

Первым побуждением было этот план все-таки подготовить, то есть еще раз обдумать тот прежний, что он составил сразу после переправы. Несколько часов просидел он в тесной своей клетушке, раскладывая «пасьянс», — какие части отвести безболезненно из района Горлицы, с участков, казавшихся пассивными, какие перебросить к Мырятину из того резерва, что приберегался для уличных боев в Предславле. Не выходило безболезненно, выходило больно, вынужденно и всюду опасно. Единственное, на что была надежда — когда план будет представлен, ему кое-что подкинут, хотя бы полсотни машин от «батьки».

А вечером, подавая ему ужин, ординарец Шестериков вдруг сказал, тяжко вздыхая:

— Не знаю — говорить вам, не знаю — нет…

— В чем дело?

— Да плохо дело. Для нас плохо. Сиротин наш кое-чего услышал тут, под машиной когда лежал. Да лучше я его позову самого.

И вот что поведал смущенный, тоже сильно расстроенный Сиротин:

— Значит, когда это, командующие армии Чарновский до командующего фронта подошли поприветствоваться, то те им говорят: «Ну, как, мол, лейтенант-генерал, настроение?» — «Да

что говорить, — командующие армии сказали, — завидую Кобрисову». — «И зря, Кобрисову не завидуйте, еще, мол, вопрос о командарме, который в Предславль войдет, будет решаться. Есть, мол, такая идея, чтоб это украинец был. У нас же в частях фронта семьдесят процентов украинцы и город великий украинский, так что логично, чтобы и командарм был украинец». — «Так я же, — командующие армии сказали, — тоже ведь хохол, здесь родился, здесь женился, в комсомол, в партию вступил, почему ж, мол, не я?» — «А кто говорит, что не ты? Может, и ты. Вопрос еще решается…»

— Все? — спросил Кобрисов. не поднимая головы, разглаживая карту ладонью.

Было жарко лицу — от унижения ему, генералу, выслушивать шофера, подслушавшего речи начальства.

— Дальше не слышно было, тут первый член Военсовета подъехали, генерал Хрущев, и разговор перебили…

— Ладно, ступай.

Сильно хотелось напиться и было впервые неловко позвать Шестерикова, чтоб принес фляжку. Он бы настроился выпить, как всегда, вместе, говорил бы утешительные слова, и некрасиво было бы его отослать, да и пить в одиночку считал Кобрисов самоубийственным. Самое обидное, но отчасти и верное было в рассказе Сиротина слово «логично». Да, логично она должна была родиться, эта «идея», кому бы ни пришла в голову, как бы ни была омерзительна, гнусна. Ничем другим, видно, не свалить его, Кобрисова, не подкрепить пооблетевшие шансы Терещенко. Логично было и Чарновскому промолчать, не выступить, как договорились. «Хотя напрасно ты, напрасно, Василий Данилыч, — думал Кобрисов. — Не про тебя эта идея». Вот бы над чем задуматься Чарновскому, над какой логикой: почему же одних командармов эта идея касалась? Пойдите же до конца — русских десантников, заодно казахов, грузин — снимите с танковой брони. Летчика-эстонца — верните на аэродром.

И пусть танкист-белорус вылезет из душной своей коробки, пусть покинет свою «сорокапятку» наводчик-татарин. Вот еще тех евреев отставьте, у которых целые семьи в этом Предславле, во Вдовьем Яру, лежат расстрелянные. Всех непричастных отведите в тыл, пусть отдыхают, пьют, гуляют с бабами, сегодня одни лишь украинцы будут умирать за свою «жемчужину».

И апатия, тяжелая, неодолимая, овладела генералом Кобрисовым. Как будто опустошили сердце, вынули то, что стало в последние месяцы главным в жизни, что привязывало к ней; куда-то уплывал и самый облик никогда не виденного им, кроме как в бинокль, великого Предславля, покрывались туманной

мглой черный ангел с крестом и ослепительный купол собора; ему, «негромкому командарму», отводилось его всегдашнее место, его роль — быть «на подхвате» и довольствоваться «разновесами», как Фатеж или Сумы, или станция Лихая. Он проник в замысел своих коллег и понимал, что с этим Мырятином его заставят потерять время, напор, да и сил его ни на что другое не хватит, и покуда он тут провозится, они проделают какую-нибудь рокировку, перебросят войска с Сибежского плацдарма сюда к нему и главную роль отведут, ясное дело, Терещенко — нельзя же его топить, он им свой…

А что обещал Мырятин? Выдвинутые клинья уже не втянуть назад — этого ни перед командованием не оправдаешь, ни перед солдатами, потерявшими в боях товарищей. Значит, окружение? Как он и намечал? А если не уползут из мешка защитники Мырятина, если обречены или сами себя обрекли участи смертников, наподобие финских снайперов-«кукушек», привязывавших себя к верхушкам сосен?

И отсюда вспоминалась ему ранняя весна, когда входили и обычай «ответные» казни на площадях, и именно первая им увиденная, которой не могли же себя не обпачкать вчерашние освободители. Поехали после совещания всем гуртом, было не отговориться, сказали, что политически важно для населения, чтоб самые крупные звезды присутствовали. Вот уж не думалось, что когда-нибудь, да на переломе войны, введут эту казнь — отвратительную, в которой есть что-то идиотски-остроумное: убить человека его собственным весом, притяжением к земле! Мы только надеваем несложное приспособление, а затягивает его сам казнимый… Было их четверо — сельский староста, хлипкий, сильно пожилой мужичишко, двое молодых, лет по девятнадцати, полицаев и немец из комендатуры. Их вели под моросящим дождиком без шапок, со скрученными за спиною руками, было тяжко смотреть, как у них побелели омертвевшие пальцы; у старосты на голове шевелились от ветра реденькие седые клочья, он был как в полусне, голосила и рвалась к нему его, должно быть, жена, вот уже скоро вдова, ее удерживали двое подростков, тоже почему-то без шапок, с белыми лицами; политически неразвитое население все воспринимало как-то растерянно, ошарашенно — может быть, чувствуя себя вторично оккупированными; один из парней-полицаев все оборачивался и спрашивал: «А чо я такого сделал? Чо сделал?» — и никто не отвечал ему. Да кто ж бы из них осмелился пикнуть, хоть в оправдание ему, хоть в осуждение, — из второсортных, нечистых, кто и сами себя чувствовали виноватыми, что остались под немцами? Немец, слегка горбоносый, голубоглазый и белокурый,

крепкий, лет тридцати, шел в расстегнутом мундире, с голой розовой грудью, и усмехался, сверкая ровными белыми зубами. Казнимых взвели на грузовик, поставили у кабины лицами к толпе, желтоволосые мордастые выводные сноровисто накидывали петли, вполголоса командовали: «Подбородочек повыше!», затем лично проверил исходную затяжку длинный кадыкастый лейтенант в очках, с сурово сжатым ртом (особо запомнился бугристый чирей на шее, заклеенный грязным пластырем); он же зачитал выписку из приговора, по его мановению грузовик стал медленно отъезжать. И вот тут немец, что-то прокричав насмешливое, злорадное, — побежал, крепко топая сапогами по днищу кузова, добежал до края и ринулся, рухнул сам, не дожидаясь неизбежного. И пока те трое еще переступали, еще шаг делали, еще полшага, тянулись на цыпочках к последнему глотку дыхания, он уже висел, выгибаясь и крутясь, поворачиваясь из стороны в сторону сине-багровым, надувшимся, залитым слезами лицом. Было похоже, он убил себя сам, но ушел от казни, кто-то из выводных даже крякнул с досады.

Не было ощущения расплаты, а теперь генерал Кобрисов понял, что и не могло его быть. И не потому, что он толком не знал, что такого ужасного натворили эти четверо, чтоб полагалось прервать им и ту крохотную частичку вечности, которая нам отпущена так неумолимо скупо. Нет, изучи он весь свиток их злодеяний и не найди он никакого оправдания, он бы и тогда испытал другое ощущение, неотвязное и унизительное, как если бы все совершалось применительно к нему самому, к его рукам, вот так же бы скрученным сзади и омертвевшим, к его шее, на которую так же сноровисто надевали бы размокшую, смазанную тавотом петлю, проверяли бы, хорошо ли затянется, — и при этом не проявляли бы не только сострадания, но просто любопытства, что же чувствует, о чем думает человек, глядя в лица сородичам своим по человечеству, остающимся в этом мире и собравшимся смотреть, как он будет этот мир покидать. Должно быть, какой-то высший судия насылает на нас это ощущение, наказывая за соучастие, а зритель ведь тоже — соучастник. И, верно, не один Кобрисов чувствовал так: ехали обратно, в штабном автобусе, как-то разрозненно, стыдясь друг друга, и рады были разъехаться каждый в своем «виллисе», никого не позвав, как всегда бывало, к себе в гости, — люди войны, наученные мастерству убивать, причастные к десяткам тысяч смертей. Все-таки это разные вещи: почему-то же для войны годится почти любой здоровый мужчина, но для этого ремесла подбираются люди особые, чего-то лишенные или, напротив,

наделенные чем-то, чего все другие лишены. Генерал, при своих звездах и орденах, чувствовал даже некое превосходство над ним этих расторопных сержантов, которым, видимо, нравилась их работа — и не только тем, что спасала их от передовой, — этого долговязого сурового лейтенанта в очках, который, проверяя затяжку, просовывал скрюченный голый палец между веревкой и теплой шеей казнимого. Больше того, чувствовал перед ними необъяснимый страх, чувствовал и тогда, на площади перед сельмагом, и даже теперь, лежа во тьме на узкой койке, посреди плацдарма, где они уж никак не могли появиться.

Он не знал, смог ли бы скорее отдать свою жизнь, чем отнимать ее у другого, безоружного, судьба ни разу не предъявила ему такого выбора, но и теперешний его выбор был чем-то сходен и нелегок по-своему. И на тяжесть его он пожаловался самому себе, но скорее — тому судии, который должен был услышать его и избавить от страхов и разрешить сомнения:

— Я не палач! Мое дело такое, что у меня должны умирать люди, но я — не палач!

Несколько раз он повторил это, что-то утверждая в себе. Он себя укорил, что был нечестен, когда пытался тайком навязать другому, чего сам страшился. И почувствовал даже облегчение, решив бесповоротно — не прикладывать рук к делу, которому противилась душа.

Командующий, не представивший требуемого плана, подписывает себе отставку. Но за весь следующий день ничего не было предпринято в отношении Мырятина; все распоряжения делались, как будто и не было совещания, ни ультиматума Ватутина, а в те промежутки времени, когда генерала не тревожили, он читал Вольтера. У него была причина читать этого автора, и по его просьбе жена ему прислала первое попавшееся его — «Кандида». Приспустив очки на нос, он читал неторопливо, вдумчиво и все же не понял, почему из многочисленных злоключений героя следует вывод, что «все к лучшему в этом лучшем из миров». Но венчающая фраза — «Нужно возделывать свой сад» — ему понравилась, он даже подумал, что неплохо бы ее ввернуть на каком-нибудь совещании, когда зайдет речь о восстановлении народного хозяйства: «Как говорил Мари Франсуа Аруэ, он же Вольтер, нужно возделывать свой сад». И, закрыв книгу, вздохнул — какие там совещания, это все грезился ему день вчерашний.

Поздним вечером, уже в темноте, подкатил к вокзальчику одиночный «виллис». Адъютант Донской с Шестериковым встретили гостя, но подняться он не спешил. Кобрисов, накинув

на плечи кожанку, спустился в зал. Почему-то не через двери, а через пролом в стене вошел кто-то невысокий и тучный, с портфелем. Это был начальник штаба армии, генерал-майор Пуртов, живший неподалеку, в селе Спасо-Песковцы, где и расположился весь штаб. Здесь он почти не появлялся, Кобрисов сам туда ездил работать с ним, и это появление было как проблеск новой надежды.

Они стояли друг против друга в темном зале, где едва брезжило рассеянным призрачным светом луны, оба величественные по-своему, не любящие лишних движений, а все вокруг чем-то напоминало неубранную после спектакля сцену, при опущенном занавесе.

— Стряслось чего-то? — спросил Кобрисов.

— Фотий Иваныч, осталось двенадцать часов. Думаешь ты что-то предпринять?

— А что б ты мне посоветовал?

— Давай так рассудим. Противник не делал попыток уйти от окружения…

— Правильно. Потому что понимает: у нас на это сил нет.

— Неточно. Потому что он считает, мы по науке должны окружать. Создадим внутреннее кольцо и внешнее. На это действительно сил не хватит. А если нам одним внутренним обойтись? Кто его пойдет выручать в Мырятине? Скажи только «гоп», я до утра успею разработать.

— Ты уже разработал, — сказал Кобрисов. — Вон, я вижу, в портфеле принес. А «гоп» я тебе не скажу. Я, Василь Васильич, с тобой полтора года работаю, и что мне нравилось в тебе — ты на авантюры не шел никогда. Это я, командующий, могу и с дурью быть, мне она положена по чину-званию, а ты мою дурь обязан скорректировать, в рамочки ввести. Понимаю, ты обо мне печешься, хочешь меня выручить, но из-за этого людей губить…

Он не договорил. Эти два человека в равной мере знали, какую новинку таил Мырятин, и не могли об этом сказать друг другу.

— Другой вариант, — сказал Пуртов. — Назовем его: «Имени Терещенко». В принципе — лобовой удар. С юга. Отбросим его хоть на три километра от переправ.

Кобрисов спросил, не скрыв усмешки:

— И долго ты его… готовил?

— Видишь ли, вариант Терещенко тем и прекрасен, что его и готовить особенно не надо. Наступает каждый оттуда, где стоит. Одним словом «Вперед!» Нам бы только начать, а там попросим пополнения.

— И дадут?

— Не могут не дать, — сказал Пуртов не очень уверенно.

— Привык я, Василь Васильич, деньги считать, когда они в своем кармане. Вроде бы оно надежнее. И печальных неожиданностей не будет, а только приятные для сердца сюрпризы. В любом варианте должны мы от Предславля что-то оторвать. Я под расстрел пойду, но этого не сделаю.

Пуртов снял фуражку и держал ее у груди.

— Фотий Иваныч, мы ведь с тобой хорошо работали, правда?

— Душа в душу, Василь Васильич.

— Это лучшее, что было у меня за всю войну. Я это на любой случай тебе говорю. А за эти… варианты — извини. Я тоже на некоторую дурь имею право.

— Что-то мы разнервничались с тобой. Поднимемся ко мне, чайку попьем? Из фляжки, что нам Шестериков выставит.

— Ты ж знаешь — язва. Не хочу лишним быть за столом. И настроился я поработать. Может, что и придумаю. Тогда позвоню. А лучше — заеду.

Кобрисов, провожая его, знал, что не позвонит он и не заедет. Потому что придумать тут нечего. Но был он благодарен Пуртову за визит, за добрые слова, хотя никто третий их не слышал…

…Ватутин дал ему лишних два часа. Позвонив из Ольховатки, он ни о чем не спросил, он сказал:

— Поговорил я тут со Ставкой. Они согласились с моей оценкой, что поработал ты хорошо и сделал много, но — перенапрягся, нуждаешься отдохнуть в санатории, побыть с семьей. Так, недельки три. В общем, особенно мучить тебя не будут, только доложишься по приезде.

«Значит, и расспрашивать не будут», — подумал Кобрисов.

— Спасибо за вашу заботу, Николай Федорович.

— Да уж как водится…

— А не может того быть, что вдруг меня Верховный вызвать захочет?

Ватутин подумал секунду.

— Не исключается.

— Да нет, это я на всякий случай. Чтоб знать, что говорить.

— Скажешь, как есть.

«Провентилировали они свою „логичную“ идею», — подумал Кобрисов. И спросил, что оставалось ему спросить:

— Кому передать армию?

Не унять было дрожи в руке, державшей трубку, и, казалось, Ватутин это слышит.

— Твой начальник штаба за тебя остается пока. Вопрос о командующем еще не поднимался официально.

— Ну, что ж… Я главное дело сделал. В двенадцати

километрах нахожусь…

— Их еще пройти надо, Фотий Иваныч.

— Ну, это уж совсем кретином надо быть — не пройти. Главное все-таки сделано. А там — кто бы ни был. Хоть бы и Терещенко. Для хорошего человека не жалко.

Ватутин промолчал.

— А знаете, Николай Федорович, — сказал Кобрисов, — все равно я буду считать — я взял Предславль!

— Я тоже так буду считать, — сказал Ватутин. — Да если б все от меня зависело… Но это, наверно, не мужской разговор.

— Пожалуй.

— Когда намерен отбыть?

Для генерала не существует «через неделю», не существует и «завтра».

— Сегодня, — ответил Кобрисов.

— Мой «Дуглас» могу предложить, Галаган тебя свезет.

— Спасибо еще раз, но боюсь я.

— Чего боишься?

— Высоты боюсь. А еще больше — Галагана. Он меня как-то по-дружески на бомбовозе прокатил, так руки тряслись неделю. Я уж как-нибудь на своем Сером.

— Во всем ты упрямый, не переделаешь тебя. Попрощаться заедешь?

— Ну, если прикажете…

— Какой тут приказ?

— Тогда не заеду. Крюк большой…

— Как знаешь. До свиданья, что ж…

— Счастливо оставаться.

В четыре часа пополудни тяжко нагруженный «виллис» достиг Днепра и стал спускаться к переправе. Так вышло, что генерал Кобрисов только сейчас впервые увидел ее — изогнувшуюся дугою, громыхающую на зыбях цепь ржавых понтонов, с дощатым настилом и леерами на стойках. С обеих сторон ее стояли по две зенитки, с ухоженными орудийными двориками; вдоль и поперек медленно бороздили реку бронекатера с задранными к небу орудиями и счетверенными пулеметами; в рваных темных клочьях облаков барражировали[14] истребители Галагана. Переправа выглядела прочно обжитой, а ему-то, Кобрисову, всякий прибывавший к нему на плацдарм казался героем! С сильно бьющимся сердцем смотрел он, хотел узнать — не здесь он сам переплывал полтора месяца назад, стоя на палубе танкового парома, так громко называвшейся дырявой самоходной баржи с помятыми бортами и деревянной, в щепу искрошенной рубкой, среди всплесков пуль, воя налетевших

«юнкерсов», ржанья коней, стонов раненых. Не тот был теперь Днепр, по-другому оживленный, по-другому шумный. Истинно, не войдешь в одну реку дважды.

Регулировщик — с полосатым жезлом, с белыми ремнем и портупеей — четко поприветствовал генерала, затем подошел к фанерной будке без двери, где стоял на полочке телефон с зуммером.

— Шура! — кричал он в трубку. — Задержи там, пока генерал проедет!

— Все чином, — сказал восхищенный Сиротин и мягко вкатил машину на податливую шаткую аппарель.

Они проехали середину реки, когда к левому берегу подошла колонна танков, автоцистерн и конных повозок. Тамошний регулировщик ее задержал жезлом — на узком понтоне «виллису» с танком было б не разминуться. Сколько было танков, генерал отсюда не мог определить, хвоста колонны не было видно. Может быть, это и были те сто машин из «батькиной» заначки, которых не хватило генералу Кобрисову, чтоб ехать ему сейчас триумфатором по главному проспекту Предславля. Имя это — «Предславль» — опять зазвенело в нем, но как надтреснутая труба, слышались предчувствие, предвестие славы, но и предсмертный крик воина, падающего с городской стены вместе со штурмовой лестницей. Кобрисов не знал, что то было начало грандиозной операции под кодовым названием «Туман» — отчасти предвиденной им рокировки войск с южного плацдарма на северный. Им предстояло втайне покинуть рубежи на Правобережье и переправиться обратно на берег левый, затем передвинуться на сто Шестьдесят километров к северу, минуя траверз Предславля, и вновь переправиться и тогда уже двинуться на юг — тем коридором, который пробила армия Кобрисова.

Множество хитростей содержала эта затея, не зря названная «Туманом». Не говоря о том, что само передвижение должно было совершаться ночью или в тумане, разрозненными рокадными дорогами, заглушаемое барражирующей авиацией, но для сохранения секретности оставлялись на Сибежском плацдарме ложные батареи, то есть вышедшие из строя или сколоченные из бревен орудия, такого же происхождения макеты самоходок и танков, ящики от боеприпасов, оставлялись и ложные радиостанции, продолжавшие переговариваться и перепискиваться замысловатыми шифрами, управляясь автоматически. Военные историки уверят нас, что люди при этом не оставлялись, что раненые были все вывезены, а убитые преданы земле. Уверят и в том, что хитроумный Эрих фон Штайнер так-таки ни о чем не догадался и немецкие наблюдатели

не заметили, что макеты все-таки неподвижны, рации твердят одно и то же, а чучела в касках и шинелях лишь слегка колеблются от ветра. И вот этой громоздкой, мучительной и не столь уж бескровной, вынужденной операцией будем мы гордиться, называть гениальной новинкою, более напирая на победное ее завершение и заминая бесславное начало, когда можно еще было обойтись и без нее…

— Что я вижу! — вдруг сказал адъютант Донской, разглядывавший тот берег в бинокль. — Регулировщик-то и вправду — Шура. То есть Шурочка. Во всяком случае — в юбке. И кажется, сапожки на каблучках. И сама — ничего, ничего!..

Он передал бинокль генералу. Воспользовавшись минуткой, регулировщица, позволив жезлу висеть на запястье, вынула из нагрудного кармашка зеркальце, критически осмотрела потресканные губы, облупившийся носик, заправила под пилотку выбившийся белокурый локон.

— Товарищ командующий, — спросил Сиротин, — это если девку справную, на каблучках, поставили регулировать, то значит, дело уже назад не повернется?

— Куда ему повернуться, — сказал генерал. — Теперь уже — до Берлина.

Сиротин, воодушевясь, было прибавил скорости, но генерал его усмирил взглядом. Танковая колонна могла и подождать генерала, полагалась ему такая почесть.

И покуда командарм-38, генерал-лейтенант Кобрисов Фотий Иванович, едет по переправе, есть время и у нас хоть коротко рассказать, как сложатся военные судьбы участников того совещания в Спасо-Песковцах. Троим из них не пережить войну. Так радевший и считавший логичным, чтоб «жемчужина Украины» была бы и взята украинцем, генерал армии Ватутин полгода спустя на проселочной дороге получит в бедро пулю украинца-самостийника — возможно, отравленную, — и разгорится гангрена, усилия лучших врачей не спасут ни ногу, ни жизнь. Как и предсказывал Кобрисов, два знаменитых ватутинских отступления будут изучать в академиях и штабах многих армий мира; что же до его последней операции, Корсунь-Шевченковского «котла», она осуществлялась силами не одного, а двух фронтов, но и ватутинскую половину славы сильно пощиплет нахрапистый Конев, поставив на рубеже встречи свой танк и выбив на пьедестале надпись, лично им сочиненную. Не будучи филологом — и против истины не греша, — он проявит, однако, немалую тонкость в понимании русской фразеологии, где подлежащее и сказуемое имеют решающее преимущество перед вялым дополнением: «Здесь танкисты 2-го Украинского фронта

под командованием генерала армии И. С. Конева пожали руки танкистам 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина, тем самым завершив окружение вражеской группировки немецко-фашистских войск…»

Несколько позже в Восточной Пруссии, генералом армии и самым молодым из командующих фронтами, погибнет Чарновский — от осколка, попавшего ему в спину, под левую лопатку. Наверно, вторую бы жизнь отдал Чарновский, чтоб рана была — в грудь… Лихой Галаган, поднявшись в свой 251-й боевой вылет в небо над Балатоном, встретит противника, который покажется ему достойным, чтобы, не прибегая к тривиальной перестрелке, затеять с ним рыцарскую игру «кто кого пересмотрит». Считается, что ни один немецкий ас не принял русского лобового тарана, но, может быть, этот попросту растерялся, не справился с управлением, а только не отвернул он — и долго они не расставались, падая одним сверкающим факелом, покуда их не приняла остужающая озерная гладь… Генералы Омельченко и Жмаченко довоюют достойно, не чересчур выделяясь, но и других не хуже, за что и получат по генерал-полковнику и по Кутузову 1-й степени — кажется, оба в один день. «Танковый батько» Рыбко, носивший в своем толстом портфеле бесконечные разработки и выкладки, соображения и дополнения, сделает карьеру не только военную, но и ученую, как раз к исходу войны разбивши в пух и прах «пресловутую доктрину хваленого Гудериана», после чего уйдет в академию преподавать доктрину свою. Особенно же повезет Терещенко: вступив в командование 38-й армией, он, разумеется, одолеет те двенадцать километров и возьмет Предславль ровно к празднику 7-го ноября. Пройдя по Карпатам, он сильно пошерстит армейский состав, так что по пальцам можно будет пересчитать солдат-ветеранов, начинавших от Воронежа, а напоследок, для вящей иронии судьбы, достанется ему освобождать Прагу — уже почти освобожденную Первой дивизией РОА. Победы маршала Жукова, покрывшие грудь ему и живот панцирем орденов, не для наших слабых перьев, скажем только, что против «русской четырехслойной тактики» не погрешит он до конца, до коронной своей Берлинской операции, положа триста тысяч на Зееловских высотах и в самом Берлине, чтоб взять его к празднику 1-го Мая (опоздал на день!) и чтоб не поспел на подмогу боевой друг Дуайт Эйзенхауэр. Треть миллиона похоронок получит Россия в первую послевоенную неделю — и за то навсегда поселит Железного маршала в своем любящем сердце! Военная стезя генерал-лейтенанта Хрущева проляжет не так звездно, и звук «У» в первом слоге тут не поможет, однако ж война сохранит его для

дела не менее славного — низвергнуть Верховного. Оценим же юмор и художественный дар, с какими запечатлит он Верховного в нашей памяти, вложив ему в руки, как зеркало Афродите, глобус, по которому тот будто бы и провоевал всю войну. Оценим неистовую энергию, с которой еще и еще потопчет он бывшего кумира и хозяина, плиты его пьедесталов употребит на щиты электростанций, бронзу памятников перельет на подшипники, самый его прах вышвырнет из Мавзолея догнивать в простой могиле, но и оттуда, из нового захоронения, достанет-таки его Верховный, достанет не своею набальзамированной рукою, а руками того заботливого полковника, безвестного во всю войну, а зато красавца, любимца и любителя женщин, дружеского застолья и задушевных песен, руками того «гарнэсенького парубка», имени которого так и не вспомнил Хрущев на совещании.

Среди таких биографий — как не затеряться «негромкому командарму» Кобрисову? Кто вспомнит, как он стоял на пароме посередине Днепра, умирая от страха перед «Юнкерсом», пикирующим прямо на него, плюясь огнем из обоих крыльевых пулеметов? А между тем в эти минуты в историю Предславской операции, в историю всей войны вписывалась страница, удивительная по дерзости и красоте исполнения, которой суждено будет войти в учебники оперативного искусства и опрокинуть многие устоявшиеся представления, но и страница загадочная, как бы недосказанная, не сохранившая имени автора.

Страницу эту назовут — Мырятинский плацдарм. Ее, как водится в стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющей надежд на будущее, приспособят к истории, как ей надлежало выглядеть, но не как выглядела она на самом деле, и понаторевшие в этом лекторы из ветеранов, прихрамывая вдоль карты с указкой, убедительно докажут, что Мырятин с самого начала считался плацдармом основным, а не отвлекающим, — эту роль отведут Сибежу, — и было это, конечно же, заранее спланированным маневром, а не так, что случайно ткнулась лапка циркуля. Вот разве что сыщется все-таки дотошный историк, который не пощадит штанов в усидчивом рвении и докопается до истины? Или найдется щелкопер, бумагомарака, душа Тряпичкин, разроет, вытащит, вставит в свою литературу — и тем спасет генеральскую честь?

Впрочем, и этого не надо. Противник, судящий нас порою справедливее, чем мы друг друга, именно генерал-фельдмаршал Эрих фон Штайнер, в своих послевоенных мемуарах «До победы — один шаг» вот что скажет об этой загадочной странице: «Здесь, на Правобережье, мы дважды наблюдали всплеск русского оперативного гения. В первый раз — когда наступавший против

моего левого фланга генерал Кобрисов отважился захватить пустынное, насквозь простреливаемое плато перед Мырятином. Второй его шаг, не менее элегантный, — личное появление на плацдарме в первые же часы высадки. Я понимал его чувства: подобно всаднику, посылающему лошадь на препятствие, он должен был прежде перенести через него свое сердце!.. Но уже на третий ход — русских не хватило. Я так и предвидел, что вместо немедленного, всеми наличными силами, броска на Предславль они предпочтут штурмовать этот городишко Мырятин, который мы сами не считали столь важным опорным пунктом. Это им стоило трех недель промедления и нескольких тысяч убитыми, которых могло не быть. Русские повели себя, как нищие: перед ними лежал алмаз, а они предпочли выторговывать — грошик…»

Но — кончается переправа, блондинка-регулировщица высоко подняла жезл, сама вытягиваясь в струнку, и танковая колонна взревела дизелями, окуталась черным дымом, готовая вступить на измочаленный настил.

У самого съезда возились двое саперов, привязывали к леерной стойке шест с фанерным щитом. По белому полю бежала размашистая черная надпись: «Даешь Предславль!»

— Даю, — сказал генерал. — На серебряном подносе даю. Только руку протянуть.

Так пересек он Днепр в обратном направлении, расставшись с вожделенным, никогда не виденным Предславлем, оставив свою армию, — он, поклявшийся, что никакая сила не сбросит его живым с плацдарма.

Глава пятая.
КТО БЕЗ ГРЕХА?

1

Обиды, обиды… Они жалят сердце! Они душат горло и заставляют ворочаться и скрипеть зубами в неизбывной злости. И выпивка помогает ненадолго, просыпаешься среди ночи, и нет бодрости встать, чем-то занять себя — тут они и впиваются, как ночные зверьки, которые днем прячутся в глубоких норах, а с темнотою выползают и набрасываются скопом. Одно спасение — не противиться, какой-нибудь из них дать себя погрызть; тогда другие, заждавшись своей очереди, уползут до следующей ночи.

Среди всех обид, какие нанесли генералу жизнь и люди, особенно мучили те, которые сам же помог нанести по глупости. Их не на кого было свалить, некому бросить в лицо злой упрек. И к ним теперь прибавилась та последняя, которую нанес он себе при отъезде. Он все-таки сделал эту глупость, поехал через Ольховатку, мимо штаба фронта, с надеждою, что Ватутин, увидев воочию его отъезд, не утерпит, велит задержать, пригласит еще подумать вместе. И может быть, нашлось бы приемлемое для обоих решение. Не мог же Ватутин так равнодушно с ним расстаться — ведь, кажется, ценил его, и столько провоевали вместе! И ведь предлагал же заехать…

Возле Дома культуры, с античными его колоннами и портиком, сгрудились штабные «виллисы», «доджи», верховые кони, шмыгали разных чинов офицеры. И чувствовалось по их суете, что командующий фронтом у себя, не отъехал обедать, ни на плацдарм. Кто-то из них должен же был Ватутина оповестить, да и пост охранения еще при въезде в село небось передал, и сам он вполне мог увидеть из окна, что бывший командарм-38 едет мимо — не спеша, в машине с откинутым тентом. Кобрисова узнали — кто-то вытянулся, откозырял, другие лишь повернулись к нему, и ни один не расшевелился сбегать доложить. И теперь казалось ему и особенно язвило, что Ватутин все видел из окна, шепнули ему, обратили его внимание — и он не приказал остановить, не пожелал на прощанье хоть десять минут посидеть вдвоем — без адъютантов, без соглядатаев. И наверняка те офицеры сообразили, что Ватутину видеть бывшего командарма незачем. Эта штабная мелюзга собачьим верхним чутьем унюхивает кровоточащую рану, а подошвами ощущает дрожь,

какую распространяет по земле агония умирающего тела. А ведь сначала верное было решение — не ехать через Ольховатку! Что за дурак! Никак не научится доверять первому движению души, — как, впрочем, и первому впечатлению от человека, — а они-то, звериные, не обманывают!

За этой обидой дождалась своей очереди самая большая — весенняя 1941-го года, которая всю его жизнь перевернула, сделала его другим. И не сказать, чтобы она совсем была неожиданна. Перевод в столицу, пусть в том же звании и должности, воспринялся как повышение и скорее льстил ему и окрылял, хоть и печалил тоже — расставанием с людьми, с налаженным укладом жизни, роскошными охотами в тайге. Но были и опасения — смутные, в которых и разбираться казалось трусостью. Кобрисова отзывали в Московский военный округ формировать дивизию, намекалось — противодесантную, для охраны столицы; здесь как будто не ожидалось подвоха, а тем не менее сказала жена:

— Смотри, Фотя… Вот так и Василия Константиновича выманили. Уж будто в Москве своего не нашлось формировать, тебя приглашают.

Это правда, взяли Блюхера не прежде, чем отделили обманно от Дальневосточной армии, где никакие чекисты, хоть и сам Ежов, его взять не могли бы. С ним, Кобрисовым, едва ли бы стали так церемониться. А что формировать московскую дивизию призывали дальневосточника, так то был всегдашний государственный принцип — разбивать солидарность, земляческую или национальную, это еще от царей пришло — чтобы в охране служили инородцы. Для Москвы и был Кобрисов инородцем.

Однако ж дивизия оказалась не выдумкой чекистов, уже почти составился ее штаб в Филях, укомплектованы хозяйственные тылы, прибыли с завода первые танки, восемь машин, и даже назначены участвовать в первомайском параде. И он написал жене, чтоб собралась и приехала выбирать квартиру, ему некогда ездить по четырем ордерам. Самого его пока поселили в гостинице «Москва».

Та весна 1941-го была долгая и холодная, обложные изматывающие дожди не переставали до середины июня, а сама Москва поражала и разлитым в воздухе ожиданием иной грозы, военной, и жадным стремлением не видеть, откуда надвигались тучи, надышаться покоем. В кино показывали «Если завтра война», зрелище вполне успокоительное, там наши боевые самолеты выпархивали прямо из подземных ангаров, а танки спускались на тросах с кручи и так же форсировали реку, не

касаясь воды, — об амфибиях, поди, и не слыхивали киношники, — и условный враг в условной униформе погибал несметными полчищами, не вынеся своей глупости. Закрывались посольства Бельгии и Греции, оккупированных германскими войсками, но для лекторов «главными нашими врагами» оставались «Англия на западе, Япония на востоке». Рудольф Гесс, второе лицо в Германии, заместитель Гитлера по партии, перелетел на самолете в Англию — и, наверное, не войну ей объявить, а совсем наоборот, и газеты заикнулись было об «англо-германской сделке», но тут же примолкли, когда англичане миссию Гесса отвергли, а самого его посадили в тюрьму. К туманному Альбиону это симпатий не вызвало, он в любом случае был плохой. В саду «Эрмитаж» конферансье рассказывали анекдоты «с международным уклоном»: Гитлер жалуется товарищу Молотову: «Вот уже полтора года бомбим Лондон, а все не можем его разрушить». — «А мы вам, — ответил Вячеслав Михайлович, — пришлем десяток московских управдомов, они любой город разрушат в три месяца». Смеялись и хлопали, но человеку военному, который знавал бомбежки, слушать это было и тогда стыдно, и еще стыднее потом, когда бомбы упали на Киев и Минск, и эта бомбимая не поддававшаяся Англия первая себя объявила союзницей России.

И был холодным и пасмурным, хоть и не дождливым Первомай, когда впервые Кобрисов, стоя на трибуне для гостей, увидел Вождя. Увидел издали, снизу, и то и дело его заслонял рослый Тимошенко. А впрочем, и времени высматривать было у Кобрисова мало, в общем строю сводного полка Московского гарнизона должны были пройти его танки. Свои БТ-7 он узнавал уже среди всех других, даже не по номерам, а как укротитель в цирке не спутывает своих тигров ни с чьими другими, как будто такими же полосатыми, и их самих различает по именам. Он их узнал сразу — и смотрел напряженно, как они пройдут. Он сам тренировал водителей держать равнение, чтоб ни на сантиметр никто бы не выдвинулся и не приотстал, и уже мог быть уверенным, а все же волновался изрядно. И вот через несколько секунд они должны были пройти траверз его трибуны, и он бы увидел равнение их пушек и корпусов. Но прежде они должны были миновать траверз Мавзолея.

Среди гостей того последнего довоенного парада мало кто услышал, за маршами и ликующими выкриками из динамиков, перемену звука моторов, мало кто обратил внимание, что два танка в шеренге вдруг замедлили ход, и торчавшие из башенных люков головы и плечи командиров сразу же исчезли, и захлопнулись крышки люков. Полной остановки не было, но так

как все двигалось и обгоняло их, как стоячих, то и показалось, что они стоят. Это длилось не более четверти минуты; танки, шедшие следом, плавно их обогнули, а там и те два тоже двинулись и еще до подхода к Василию Блаженному выровняли строй. И, может быть, у кого-то из зрителей крохотная эта заминка оставила впечатление изящного, заранее отработанного маневра, — но, верно, не у военных. А у Кобрисова екнуло и заныло сердце.

После парада он вызвал к себе командиров, выслушал их объяснения о том, что вдруг начались перебои в двигателях, и они приспустились узнать, в чем дело, и, может быть, помочь водителям восстановить ход. Все было просто, ясно, понятно, а тем не менее оставило в Кобрисове неприятный осадок, и он не рассеивался от новых забот, но оставался где-то глубоко, в виде покалывания или ноющей боли. Было особенно неприятно, что тем и начнется его служба в Москве.

На двенадцатый день пришли за ним в номер. Постучались сразу после восьми утра, когда он, выбритый и освеженный одеколоном, надевал фуражку ехать в свой штаб, и, когда открыл — стояли двое в коридоре, вежливо взяли под козырек, сказали, что машина ждет, но шофер заболел и повезет другой, один из них. А почему двое их, новый шофер просил извинить, что подкинет дружка в одно место неподалеку. Долго потом терзало генерала, что он мог бы и догадаться, да ведь и догадался, почувствовал же первоначальным звериным чутьем какую-то игру, но вместе и странное оцепенение — от слишком обидной мысли, что с ним могут обойтись так немудряще, так унизительно просто. Впрочем, уже в машине играть перестали, сказали, что место, куда подкинут генерала, такое, что вся Москва перед ним трепещет и каждый старается побыстрее пройти мимо, даже не посмотреть на эти ворота, к которым вот как раз и подъехали. И, словно бы эти слова были паролем, глухие безглазые ворота раскрылись, пропустили машину и тут же захлопнулись. Генералу еще услужили — «дружок», выскочив первым, раскрыл ему дверцу.

Через каких-нибудь полчаса он был обыскан, лишен ремня и кобуры, бумажника с документами и фотографиями жены и дочек, часов, ключей и даже алюминиевой расчески, и обмакнутые в черную краску пальцы ему прокатывали по бумаге. А следом подвергся и «физиологическому обыску», то бишь предстал голый перед громадной бабой в белом халате, с белым пустым лицом, на котором глаза располагались выше, чем следовало, а рот — малость ниже. Величиною она была с памятник Екатерине в Питере, купно с его пьедесталом.

— Ко мне спиной, — командовала она хоть и грубым, но все

же бабьим голосом. — Нагнитесь. Раздвиньте ягодицы.

— Да что я там могу спрятать? — вскричал генерал.

— Ко мне лицом, — говорила женщина-памятник. — Поднимите половые органы.

— Батюшки, неужто и тут прячут?

Он еще пытался корявыми шутками побороть стыд, довольно неожиданный в человеке военном, ежегодно проходившем медкомиссию, в составе которой были и женщины, подчас хорошенькие. Как ни странно, а перед ними предстоять в чем мать родила он стыдился куда меньше, там все смягчалось легкой игрой, с ними и пошутить было приятно, и на темы пикантные, этими шуточками перекликалось Божье братство полов, так пленительно меж собою враждующих. Вот чего не было там — брезгливого равнодушия к твоему стеснению. И тело твое не рассматривалось с той точки зрения, что и куда можно в нем спрятать. Интересно, когда бы он успел, арестованный внезапно и все время бывший под присмотром?

— Одевайтесь, — сказала пустолицая.

В обыскном боксе ему выбросили его гимнастерку с отпоротыми петлицами и срезанными пуговицами и тоже без пуговиц галифе, которые он должен был придерживать руками. Впрочем, надзиратель дал ему с полметра шпагатика и показал, как одним концом обвязать верхний угол ширинки, а другой конец продеть в пуговичную петельку. Он же, сердобольный, объяснил, почему нельзя пуговицы — чтоб не заточил о каменный пол и не взрезал себе вены. Сапог ему тоже не вернули, а дали шлепанцы без задников, они постоянно спадали с ног, так что ходить нужно было в них, не отрывая от пола, со стариковским шарканьем. И такого, потерявшего вместе с формой нечто весьма важное для человека военного, который себя и в штатском костюме чувствует не совсем ловко, ввергли в одиночную камеру и с грохотом заперли.

В отличие от многих и многих, генерал Кобрисов не счел свой арест ошибкой, тогда как все другие арестованы правильно; их уже слишком было много, правильно арестованных, чтобы не понять, что все отличие его состояло в том, чем всегда отличается твоя боль от боли чужой, — твоя больнее. Но в эти часы ареста у него возникло ощущение какого-то огромного разветвленного заговора, охватившего всю страну; некие силы, дотоле скрытые, вышли из своих укрытий и одержали верх и вот скоро повергнут наземь и придавят сапогом всю могучую структуру государства, все его службы и ведомства, вплоть до Политбюро и самого Вождя. И не нашлось во всем народе силы противостоять повальному изничтожению, потому что заговорщики действовали

умно: они начали с главного звена, захватили службу безопасности и сделали ее своей отмычкой ко многим дверям, душам и умам, а затем они обезглавили и обескровили армию. А она единственная и могла спасти страну от этого внутреннего — а может статься, и внешнего? — нашествия. Знал ли про все это Вождь? Вполне возможно, что и не знал, они достаточно были хитры. А могло и так быть, что знал, но оказался беспомощной жертвой их, игрушкой, которой они вертели, как им было угодно.

И в первый же вечер началось ужасное. За стеной послышался бычий рев мучимого человека, с которым непонятно что делали, при этом терпеливо, почти ласково в чем-то убеждая. Не скоро, из многих бессвязных криков, генерал постиг, что его соседу уже пятые сутки не давали спать. После ночных допросов он валился на пол, но тут же гремело веко глазка и врывались надзиратели его поднимать. Чувствовался человек большой телесной силы, которая его и обрекала на беспомощность, не давала впасть в спасительное беспамятство, чтобы не слышать пинков и шлепков по лицу; и та же могучая плоть требовала могуче хоть получаса, хоть пяти минут сна. «Вот это, сказал себе Кобрисов, — и с тобой проделают». А с ним это уже и проделывали. Не по случайной ошибке поместили его в таком соседстве, и не затем только, чтоб этими ревами и ласковыми пришепетываниями ему самому расстроить сон. С ним еще ничего не сделали наружно, не тронули пальцем, но внутри него точно бы происходила химическая реакция, в которой одним компоненты соединялись, а другие распадались на составные частицы, и все приходило к тому, что вещества конечные были уже с другими свойствами, чем изначальные.

На четвертый день сочли, что он вполне созрел для встречи со следователем. И верно, созрел — поднявшегося ему навстречу старшего лейтенанта, с тонким лицом, с аккуратным пробором в светлых волосах, который с достоинством его поприветствовал глубоким кивком и четко представился: «Опрядкин Лев Федосеевич», — он принял едва не за избавителя и обратился к нему с жалобой, что не может нормально спать. Так сделал он крупную ошибку и выказал свою слабость, и пожаловался неправильно: надо было начальнику тюрьмы и непременно письменно. Не должно быть сговора со следователем, а должна быть — жалоба на нарушение режима.

Следователь, разумеется, принял сообщение близко к сердцу.

— Это меня огорчает, — сказал Опрядкин, указывая место арестанту за столом напротив себя. — И вообще, это не дело — держать вас в одиночке. Сегодня же вас переведут в общую камеру. Там довольно тихо и не тесно: человек пять-шесть. Если,

конечно, желаете.

Генерал согласно кивнул.

— Ну, вот и решили проблему. Я думаю, мы прекрасно поладим. Я помогу вам, а вы мне. Должен вас уведомить, Фотий Иванович, что дело ваше мне представляется чрезвычайно простым. Особенных усилий оно от нас не потребует. Мы за вами наблюдали очень давно и только ждали — на чем вы сорветесь.

— Я сорвусь? — спросил генерал. — Это как же понимать?

— Но вас же все время преследуют неудачи. Сначала — не вышло с японцами. Теперь вы решили сорвать злость на самом для нас дорогом.

— Что вы такое порете? И на чем это я «сорвался»?

— Я думал, вы уже все про себя поняли, — сказал, улыбаясь, Опрядкин. Как вы себе объясняете, за что вас арестовали?

— А это вы мне сказать должны. Я и гадать не стану.

— Не станете? — сказал Опрядкин и поглядел на него пристально и с легкой усмешкой. — Ну-ка, покажите мне ваши руки. Положите на стол. Я вам сам погадаю.

Ничего не подозревая, генерал их положил. И Опрядкин, схватив со стола линейку, быстро шлепнул его сначала по одной руке, затем по другой. Шлепнул не больно, однако именно это оказалось всего обиднее и вызвало непереносимый гнев.

— Ты что делаешь, мразь? — вскричал генерал. — Ты с кем это так?

Опрядкин, откинувшись на стуле, вздохнул почти горестно.

— И не хочется, а придется вас наказать. — Он показал линейкою в угол комнаты. — Вон туда, арестованный. На колени в угол. И чтоб я больше не слышал в моем кабинете этого тыканья и грубых слов. Ну-с, я жду.

Кобрисов сидел недвижно, как бы в оцепенении. Гнев еще затмевал ему голову, и он, понимая, что говорит лишнее, все же сказал:

— Может оказаться, что я ни в чем не виноват. Вы к этому придете. А дело сделаете — непоправимое. Я же этого не забуду.

— Интересно, на кого же вы обидитесь? — спросил Опрядкин. — На родную нашу власть? — И, так как генерал молчал, он напомнил: — А ведь я, кажется, что-то приказал вам? Фотий Иванович, я ведь для родины на преступление пойду. Возьму грех на душу, вызову трех надзирателей, ну четырех, они вас разденут догола и все равно поставят, как я сказал. Только сначала они вас потреплют немножко. Руками и ногами. В кровавый ком превратят, в кричащее мясо. Но, Фотий мой Иванович, зачем? Лучше же без этого. Ведь это уже не вы будете, а, извините, зарезанный кабан. А мне нужно, чтоб вы остались

самим собою — и чтоб вся правда сама выплыла, как на духу. Поэтому — лучше вы это сами сделаете, правда?

Как теперь вспоминалось, когда генерал сделал это, когда прошел туда и опустился, то прежде всего удивлен был, как просто это вышло. И было успокоительное ощущение, что ни пяди своей позиции не оставлено, как если бы он уступил машине.

Опрядкин, стоя над ним, сказал с сожалением:

— Я понимаю, с вами еще так не обращались. Я не хотел никакого насилия, это не в моих правилах. Вы меня вынудили к этому. Ну, а теперь вы расскажете мне, и подробно, как вы готовили ваше покушение.

— Какое покушение?! О чем это вы?

— Не поворачиваться. Лицом в угол, пожалуйста. Как вышло, что ваши танки вдруг затормозили напротив Мавзолея? И что дальше помешало вашим танкистам? Не решились? В последний момент все же отказались от задуманного? Это же очень важно, это меняет квалификацию.

— Что за чушь вы плетете?

— Вы опять грубите, — сказал, вздыхая, Опрядкин и взялся за свою линейку. — Руки назад, ладонями вниз. В следующий раз, если будете грубить, я вам горошку подсыплю. Вы на горохе еще не стояли ни разу? Так, на первый раз довольно. Сейчас вас отведут в камеру, а там вы подумаете хорошенько. Я дал вам намек, бросил, так сказать, ниточку путеводную, а вы уж размотайте весь клубочек.

— Да что я разматывать-то должен? Не понимаю я!..

— А вот и неправдычка, Фотий Иванович. Вы же не маленький, вы все понимаете прекрасно. Если ваши танки во время парада вдруг тормозят напротив Мавзолея — напротив Мав-зо-лея! — то как это называется? По-ку-ше-ние, Фотий Иванович, покушение. На жизнь кого? Не смейте произносить, а только представьте мысленно.

— Да у них моторы глохнуть стали, какое там покушение!

— Сразу у двух машин? Ну, допустим. Но зачем ваши командиры покинули башни?

— Надо ж узнать, в чем дело. Водители — молодые, могли растеряться, не справились с управлением.

— Допустим. Все как будто тасуется. Есть только одна маленькая деталь — зачем они люки за собой закрыли? Закрытый башенный люк означает — что? Боевое положение танка. Бо-е-во-е!

Генерал молчал, не смея повторить: «Чушь!» и не желая все валить на своих лейтенантов.

— Я вижу, вы устали, — сказал Опрядкин. — Лучше вам

поразмыслить наедине со своей душой. Можете встать. — И нажал кнопку вызова конвоя. Отведите в общую.

Тем же вечером генерала перевели в другую камеру, не перенаселенную, где было восемь коек, и одна из них ему предназначалась заранее — не у двери и не у параши, как полагалось бы новичку, а чуть не рядом с окном, где воздух посвежее. Сосед его справа был полный и седой, барского вида, с розовым одутловатым лицом, слева — аскетичный брюнет, долговязый и с впалыми щеками, у кого все лицо, казалось, и состояло из больших очков с черной массивной оправой. Оба лежали поверх одеял и смотрели на него — как, впрочем, и вся камера.

— А у вас тут недурно, — сказал генерал, чтобы что-то сказать будущим соседям.

— Грех жаловаться, — ответил розоволицый барин. — В других камерах, насколько известно, много хуже.

— Это потому, — мрачно сказал очкастый, — что у нас к небесам поближе.

Розоволицый сразу посерел и, замкнувшись, отвернулся.

Несколько дней генерала на допросы не вызывали, и понемногу, когда прошло первое потрясение, он мог оглядеться и прислушаться к тем, кто волею судеб оказался рядом, прежде всего к ближайшим двум соседям. Ему хотелось сравнить, насколько хуже было их положение, чем его, и хоть в этом найти зыбкое утешение.

Оба они ничего хорошего для себя не ждали. Очкастый, как составилось из его реплик, преподавал логику в школе, а до этого, бывши студентом-заочником, зарабатывал себе пролетарский стаж в литейном цехе завода, а совсем до этого был он белым воином, офицером под знаменами Корнилова, и вместе с ним проделывал знаменитый Ледовый поход. В том походе он простудился, схватил крупозное воспаление легких и чудом был спасен влюбившейся в него медсестрою, которая увезла его из армии и спрятала на хуторе у своих родичей. С нею прожили они более двадцати лет, не позволяя себе детей, чтобы случайно перед ними не проговориться и чтоб они не проговорились или не донесли о родителях-белогвардейцах. Но все тайное когда-нибудь становится явным. Был в его корниловском прошлом крохотный эпизод, когда он доставил пакет самому Лавру Георгиевичу, и надо же было случиться, чтоб как раз этот момент был схвачен кинокамерою приезжего оператора. Молодой поручик лихо подлетал на коне к стоявшему на пригорке генералу, лихо осаживал, соскакивал, вытягивался в струнку. И генерал, достав руки из-за спины, принимал пакет, а затем, ласково улыбаясь,

пожимал руку посланца. По этому пятисекундному кадру, включенному в какой-то документальный фильм о Гражданской войне, бывшего поручика, теперь и очкастого, и усатого, опознали сослуживцы и сосед по коммуналке. К тому же бывший корниловец не удосужился фамилию сменить, а она была нацарапана гвоздем на коробке с пленкой. И вот гуманная рабоче-крестьянская власть донимала его вопросом, на который при всем желании он не мог ответить: почему из тысяч пакетов именно этот необходимо было запечатлеть для истории? Небось такое в нем содержалось, что стоило многих смертей и крови бойцам Красной Армии.

Случай розоволицего барина — или, как он говорил, «казус» — был совсем особый. Барин, в звании профессора, читал в университете лекции по уголовному праву и как-то не обратил должного внимания, когда один его студент избрал темой дипломной работы правовую деятельность Временного правительства в период между двумя революциями. Профессор вяло возражал, что это неинтересно, недиссертабельно, что там «темный лес» и «черт ногу сломит», но тем, кажется, еще сильнее распалил любопытство настырного студента; он засел в архивах и выудил нечто сверх-диссертабельное. Это был ордер на арест гражданина Ульянова («он же Ленин»), подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, подписанный в отсутствие прокурора Временного правительства одним из его заместителей — или, как тогда говорилось, товарищем прокурора. Имя этого «товарища» и его подпись удивительно совпадали с именем и подписью руководителя дипломной работы… И что особенно отяжеляло вину розоволицему соседу, так именно его бывшее звание. Прокурор бы этот ордер выписал по служебному долгу, товарищ — не иначе как по велению души.

Поначалу «казусы» его соседей казались генералу таким же бредом, как и его собственное дело, однако своих вин они не отрицали, даже охотно их разбирали вдвоем.

— Да не за это вы сюда попали, — досадливо отмахивался корниловец, — а за лень. За преступное, я бы сказал, бездействие. Ордер-то выписали, а за исполнением не проследили. Вот и выпустили подранка. А это, всякий охотник скажет нам, самый опасный зверь.

— А вам не следовало лезть под объектив, — огрызался товарищ прокурора, и склеротические жилки на его щеках проступали краснее. — Тщеславие вас обуяло, милостивый государь! Хотелось в истории след оставить, вот и дали след.

— Ну, это уж не от меня зависело. Это, если хотите, господин Неуправляемый Случай. А у вас — все вожжи были в руках. И

подумать только скольких людей вы могли осчастливить!

От их бесед генерал поначалу старался быть подальше. Могло же быть, что Опрядкин его подселил нарочно к явным врагам, чтоб подследственный ужаснулся, до чего докатился он, в какой компании оказался. Или же это были «наседки», назначенные спровоцировать его, чтобы потом навесить ему «недонесение». Многое было тут подозрительно: в камеру приводили с допросов — а чаще приволакивали — избитых, окровавленных, языком не ворочавших от смертной усталости, эти же двое приходили целехонькие, их вроде бы пальцем не трогали. Но понемногу, к его удивлению, проходила изначальная неприязнь к явным врагам, а с нею вместе рассеивались и подозрения. Выпал случай заметить, что свои прения они вели и без него. А не трогали их потому, что они в своих винах не запирались, а бывший корниловец так даже своею гордился. И разве его, Кобрисова, если не считать линейки, так уж тронул Опрядкин?

И пора же было открыться им, никуда не денешься. Как-то они втянули и его в откровенность, он им поведал о танках и Мавзолее — с опережающей усмешкой, как о несусветной чуши. Оба выслушали внимательно и задумались.

— А боекомплект был? — первым спросил корниловец.

— Боекомплект? — это генералу как-то не приходило в голову.

— Ну да, снаряды, патронные ленты к пулеметам. Не собирались же вы, товарищ красный генерал, драгоценную усыпальницу гусеницами давить.

— Это же самое важное, — сказал товарищ прокурора. — Это меняет все дело.

— Мог и быть, — отвечал генерал. — В часть пригнали укомплектованными. А в парадах с танками никогда не участвовал.

— Говорите, что не было, — сказал корниловец. — Кто станет проверять? Они тоже лени подвержены, как и все мы.

— Ошибаетесь, дорогой, — возразил товарищ прокурора. — Им ничего не лень! Они и подложить могут задним числом.

— Вот так и говорите, если на то пойдет, — сказал корниловец. — «Вы же сами и подложили». Главное, чтобы вы первый заявили, что не было боекомплекта. И добейтесь, чтоб это в протокол вошло.

Получилось, однако, не так, как советовали генералу соседи. Опрядкин его возражение выслушал, наливаясь лицом, и при этом он медленно, один за другим вытягивал ящики письменного стола, а затем разом их задвинул дверцей — с грохотом, от которого генерал даже вздрогнул.

— Фотий Иванович, — заговорил Опрядкин, вышагивая по кабинету, животом вперед, разбрасывая ноги в стороны и рубя воздух ладонью, — да если б был он, боекомплект, если бы были снаряды, я бы с вами не разговаривал. Я бы вас вот этими руками растерзал, удушил бы. А вот потому, что не было, я и говорю: «покушение». Ну, черт с вами, оформлю через статью девятнадцатую как «намерение». От которого по какой-то причине отказались. Но не потому, что вдруг обнаружилось отсутствие боекомплекта. Придумайте что-нибудь убедительней. Я от вас высшую меру хочу отвести, а вы мне помочь не желаете. Я вам хочу десятку оформить, так давайте же вместе, вдвоем, поборемся за эту десятку!

Генерал уже и не знал, что отвечать на это.

— Но снарядов же не было! — твердил он упрямо. — Патронов к пулеметам не было!

Опять он вздыхал, Опрядкин, и брался за свою линейку.

К некоторому даже удивлению генерала, в камере предложение Опрядкина было воспринято и рассмотрено вполне серьезно.

— Это не так кровожадно, как на первый взгляд кажется, — сказал товарищ прокурора. — Он предлагает компромисс — и взаимовыгодный. Ведь ему тоже надо что-то представить начальству, а вы без десятки все равно отсюда не выйдете. Можно построить очень даже трогательную версию на том, что отказались от покушения. Увидели обаятельные лица вождей, поразились обликом товарища Сталина… что-нибудь в этом роде. И устыдились. Точнее — ужаснулись. Так правдоподобней. Совсем отрицать хуже. Нужно же и следователю дать кусочек хлебца с маслицем.

Угрюмый корниловец этот вариант забраковал напрочь.

— Не стоят они вашего «правдоподобия». Нашли компромиссы — между кошкой и мышкой! Глухая несознанка — вот лучшая защита. Или он должен признать, что взяли боекомплект на парад? Да за это одно — к стенке. Даже если правду можно сказать, все равно врите. Спросят, кто написал «Мертвые души», говорите: «Не знаю». Гоголя не выдавайте. Зачем-то же им это нужно, если спрашивают. А впрочем, — прибавил он, оглядев генерала взглядом отчужденным, едва не презрительным, — я ведь исхожу из своего опыта. У вас опыт — другой. Вся ваша жизнь, товарищ красный генерал, доселе была, в сущности, компромиссом. Так что, может статься, вы со своим следователем и поладите.

Стена отчуждения все время стояла меж Кобрисовым и обоими его соседями, и за надежных советчиков он их все-таки не

держал. В глубине души — в такой глубине, что он постыдился бы себе признаться, — он не стремился эту стену разрушить, он ее даже укреплял, внушая себе, что у соседей все-таки были, не в пример ему, основания находиться здесь и ждать расстрела. Они, как уже, верно, сформулировано было в их обвинительных заключениях, активно боролись против советской власти, он — активно ее защищал. И то, что годилось для них, не могло относиться к нему. Не вполне исключалось, что он бы мог со своим следователем и поладить.

Еще и то способствовало разобщению, что им, москвичам, регулярно доставлялись передачи, а ему, иногороднему, оставалось довольствоваться кашей на хлопковом или конопляном масле, которую приносили в ведре и вышвыривали ему половником в подставленную миску, фунтом липкого хлеба, двумя кусочками сахару и чаем из сушеной моркови и яблочной кожуры; этого было мало ему и это огорчало едва не до слез; он съедал свой обед, так пристроясь, чтоб не видели его лица. Он себя стыдился, он стыдился унижений, каким подвергали его, и не понимал, что тем он себя унижает еще сильнее. Но вот как-то увидел он, что его соседям передачи от жен или детей, которые не отказались от них, доставляют не столько радости, как можно было бы ожидать; корниловец, съедая домашние пирожки с мясом, разломанные надзирательскими пальцами, еще больше мрачнел, а розовый барин, разложив снедь на койке, долго смотрел на нее и проникался к себе такой жалостью, что на глаза у него навертывались слезы. Однажды генерал засмотрелся на него слишком открыто и продолжительно, и товарищ прокурора, заметив его взгляд, расценил это по-своему. Он густо намазал большой кусок хлеба маслом, а сверху нагрузил толстым пластом колбасы и все это протянул генералу:

— Позвольте угостить, не побрезгуйте.

Генерал, спохватясь, отпрянул и помотал головою.

— Они не возьмут у вас, — сказал корниловец, глядя на него почти брезгливо. — Коммунисты же против частной благотворительности.

— Генерал, это прежде всего некрасиво, — сказал товарищ прокурора, держа бутерброд терпеливо в протянутой руке. — Делиться едой — святая тюремная традиция.

— Да я что же… Только чем отдавать буду? Мне-то передачки носить некому.

— Но если бы передачки носили каждому, тогда бы и традиции не возникло. Примите, прошу вас.

И генерал принял тюремный дар и отведал его. Корниловец протянул ему пирожок, генерал принял и его.

Понемногу становился он другим, чем был до этого. Он, как бы даже отстранясь, постигал тюрьму. Ему уже не нужно было объяснять, почему ложку ему дали деревянную, а миску — железную, с толсто закругленными краями. А отчего суп из трески отдавал содой, это он мог сам объяснить соседям по-солдатски: «Чтоб поменьше о бабах думали. А с чесноком было бы наоборот». С интересом, подчас и с восхищением он воспринимал предусмотрительность стражей, но и хитроумие охраняемых. В предбаннике стриг волосы и подбривал усы парикмахер из вольных — все машинкой, никаких бритв, и совершенно голый! Это чтобы он не смог послужить почтовым ящиком между тюрьмой и волей и между клиентами из разных камер. Ночами предпринимались «мамаевы побоища» — повальные шмоны с выгоном из камеры по команде «Все с вещами!», проколы шомполом подушек и матрасов, разрывы швов на одежде, — и никогда ничего не находили, и почта все равно работала: утаенным грифелем, который, бывало, припрятывали в ноздре, на клочке подтирочной бумаги писалась цидулька — два-три слова: «Такого-то — к вышке», «Такой-то наседка» или просто отчаянный зов: «Валя, отзовись!», — послание закатывалось в хлебный мякиш и прилеплялось к банной скамейке снизу. Это было почтовое отделение номер два, номером первым был сортир. Непостижимо меж разгороженными, разобщенными людьми растекались новости с воли, приносимые новыми арестантами, — и против законов человеческой солидарности радовались новичку, точно он был вестником свободы. Его называли «свежей газетой», и главная его весть была — о новых и все расширяющихся посадках. Но, странное дело, это не только угнетало и печалило, но чем-то и обнадеживало: процесс вот-вот перешагнет критическую черту, когда он сделается неуправляемым. И тогда маятник, достигший крайней своей точки, начнет движение обратное.

Новой волною арестов, — что заранее необъяснимо узнавалось в камере, принесло В., знаменитого московского литературоведа. Обрадовались и ему как простому свидетельству, что берут уже всех без разбору, а не только «политиков», и это к лучшему: чем больше людей арестуют, тем скорее исчерпана будет возможность держать столько людей в неволе. Сам новичок был, правда, другого мнения — что возможности России в этом отношении неисчерпаемы, — как, впрочем, и во многих других.

На какое-то время он сделался центром внимания и пребывал в постоянных беседах — групповых или наедине. Ни своей профессией, ни багажом своих знаний генерал никак не соответствовал новому соседу, не мог бы приблизиться

собеседником, а тем не менее стал им — неожиданно быстро.

Как-то, при общем выводе на оправку, досталось им вдвоем выносить парашу. Староста камеры нашел, что они ростом подходят друг другу, и, значит, перекоса не будет, содержимое не расплещется. Литературовед В. был, и впрямь, длинен, только худощ и одышлив, а главное — нервен излишне. То и дело он подергивал слабой своей рукою — и не для перехвата, а по случаю стукнувшей ему в голову идеи.

— Мой генерал, — спросил он, — не кажется ли вам, что коль скоро чаша сия не миновала нас, мы могли бы извлечь из нее… то есть, разумеется, не из нее самой, а из процесса ее несения, ценности интеллектуального порядка?

— Какие же это, к примеру? — спросил генерал.

— Ну, скажем, дать определение новейшей исторической формации: «Коммунизм есть советская власть минус канализация». И что самое приятное, эта формация уже построена!

Генерал лишь оглянулся — не слышал ли кто эти речи. Слава Богу, напарник его говорил, будто с вишневой косточкой во рту, за два шага уже нельзя было разобрать.

— Вы смущены парадоксальностью определения? — продолжал он, кося выпуклым глазом куда-то в потолок, свободной рукою оглаживая лысину, с начесом реденьких черных волос. — А мне представляется, оно ничуть не противоречит тезису основоположника: «плюс электрификация». Все очень симметрично. Применив «плюс», он тем самым не исключил существование «минуса».

— Он ни хрена не исключил, — сказал генерал, сбиваясь на полушепот. Все-то у него симметрично. Хошь в ту степь, хошь в противоположную…

— Браво, мой генерал. Никто не постиг этого человека лучше вас. Вы никогда не пробовали доверить свои мысли бумаге?

— Это, стало быть, особому отделу? Не пробовал. Это уж ваше дело литература.

— Я к литературе имею отношение косвенное. То есть занимаюсь, с вашего разрешения, литературой о литературе.

— Ну, так или иначе, а вы человек писучий?

— Как вы сказали?

— Ну, есть у вас такая писучая жилка, что ли.

— Подозреваю, — сказал литературовед В., - что мысленно вы меня так и называете: «писучая жилка». Я угадал?

Генерал так не называл его, но согласился, что оно и неплохо. С этого дня пошли у них долгие беседы, которые и название получили: «Размышления у параши». Смысл названия

был не столько топографический, сколько исторический — просто, с параши все началось.

Отношения их вскоре сложились так, что генерал мог задать вопрос деликатный и обычно избегаемый в тюрьме: «За что попали сюда?»

— За вину, — ответил «писучая жилка». — То есть посадили меня, как водится, ближние, мои же коллеги, но не безвинно, нет.

— Какая же вина?

— В писаниях моих было много непродуманного. Ну, хотя бы, что Вольтер своими идеями оказал сильнейшее воздействие на русских революционных демократов.

— А он — оказал?

— В том-то и дело, что ни хрена. Скорей — они его презирали, и слово «вольтерьянство» считалось у них ругательством. Но зачем я это написал! Вот и сижу.

— Да ведь чепуха собачья!

— Я тоже так думаю. Расстрелять — не расстреляют, это в следующий раз. Но экскурсия на Соловки, лет на восемь, мне обеспечена.

В свой черед, генерал ему без утайки рассказал о своем. «Писучая жилка», выслушав его, помрачнел.

— А вам, мой генерал, надо бояться.

— Чего?

— А того самого. Что мне не грозит пока. Вам есть прямой смысл бояться и не верить ни одному слову вашего следователя. Вы должны во что бы то ни стало выйти на волю. И держите себя с уверенностью, что вы им еще понадобитесь. Сумейте их в этом убедить. Именно в этом, а не в своей невиновности. Вы им не свой, только не подозреваете об этом. Есть христиане, которые не подозревают, что они христиане. И это — самые лучшие из них. Так и вы. Не свой, вот в чем ваша вина. Однако не все для вас потеряно. Ведь война на носу, мы только не говорим об этом. И наши Ганнибалы, конечно же, не справятся, просрутся. И так как слишком многих убиенных уже не воскресить, то вся надежда будет на вас, мой генерал.

— Да в том-то и дело, что не верят они насчет войны.

— Верят, не сомневайтесь в этом. И боятся смертельно.

— Почему же армию так разоружили, лучших людей — в распыл? Ну, провинились, допустим, так и держали бы их про запас по тюрьмам…

Задавая этот вопрос, он о себе спрашивал, и «писучая жилка» это понял, ответил и с печалью, и с явным желанием приободрить:

— Вы дослужитесь до маршала. Если только выдержите. Боже

мой, как трудна ваша задача! Мало побеждать во славу цезаря, надо еще все победы класть к его ногам и убеждать его, корча из себя идиота, что без него бы не обошлось! Ваши несчастные коллеги этого не поняли, вот в чем они провинились. Но вы спрашиваете, почему нельзя было, учитывая их заслуги, что-то другое для них придумать, почему обязательно — смерть? Не так ли, мой генерал?

— Так.

— Я думаю, правы те умные головы, кто исследует для этого случая модель воровской шайки, законы общества, которое себя чувствует вне закона. Воры и бандиты никакого другого наказания не знают, только смерть. Это даже не наказание, это просто мера безопасности. По тюрьмам будут сидеть те, кто у них не вызывает опасения. Но при малейшей опасности… Вы меня понимаете?

— Что-то слишком они стараются, — сказал генерал. — Зачем столько, удивляюсь я. Одного напугать как следует — это трем тыщам наука.

— О, вы преувеличиваете совокупный интеллект человечества. Оно плохо усваивает уроки истории, то есть даже совсем не усваивает, и приходится эти уроки повторять и усиливать, главное — усиливать. Так что наши следопыты действуют мудро. Инстинктивно, а — правильно. Они проводят величайший исторический эксперимент. Чтобы искоренить неискоренимое — собственность, индивидуальность, творчество — они положат хоть пятьдесят миллионов, а напугают полмира. Эксперимент — бесконечный и заранее обреченный, через тридцать-сорок лет это будет ясно всем. Но на их век работы хватит.

— Что-то мрачно вы рисуете, — возразил генерал. — Что же, они о внуках своих не думают?

— Напротив. Все и делается ради внуков. По крайней мере так часто они об этом твердят, что и сами поверили. Только не знают, что внуки от них отшатнутся в ужасе.

— Ну, кто как. Некоторые и погордятся. Это же как бы новое будет дворянство.

— Вы думаете? А, пожалуй, вы правы… Кстати, как мы условимся их называть? Просто — «они»? Ведь нет им аналога в мировой истории.

— Злыдни, — сказал генерал. — Злодеи.

— Позвольте, мой генерал, не согласиться. И самый главный из них — не злодей. Он — слуга народа. Я не думаю, что ему доставляет удовольствие уничтожить таланты, он даже старается кое-кого защитить. Но это ему не всегда удается. Народ любит

казни, а он — восточный человек, он понимает такие вещи. И глупо называть его извергом. Он просто придумал новые правила игры. Представьте, вы играете в шахматы, и ваша пешка ступает на последнее поле. Ваш противник обязан вам вернуть ферзя. А он берет да этим ферзем вас по голове. Оказывается, он ввел новое правило, только вас не предупредил.

— И какая же тут защита?

— А никакой. Не садиться играть в такие игры, где правила меняются с каждым днем. Как только сели — Господь Бог уже не на вашей стороне, всем теперь заправляет сатана. Вы, мой генерал, по роду своей профессии играете в эти игры, так должны быть готовы ко всему. Пусть вас утешит, что наши худшие опасения все-таки не сбываются. То есть не всегда сбываются.

— Но, может, и у него свои правила, у сатаны? — спросил генерал, усмехаясь. — Не одно злодейство на уме?

— Мой генерал, вы на верном пути. Вам надлежит усвоить: ничто у нас никогда не делается из побуждений добра, то есть делаются и добрые дела, но все равно из каких-то гнусных соображений. Я верю, например, что у вас все кончится хорошо — но не потому, что кого-то одолеет жажда справедливости, кто-то за голову схватится: что же это мы творим! А вмешается — дьявольская сила. Вот на нее и надейтесь. Она окажется сильнее. Бог эту страну оставил, вся надежда — на Дьявола.

Между тем все то, что казалось таким ясным и очевидным в камере, в их «размышлениях у параши», не оказывалось таким в кабинете следователя. Игру, от которой предостерегал «писучая жилка», генерал не мог пресечь, не мог сомкнуть уста и вовсе не отвечать на любые задаваемые ему вопросы. Так, верно, следовало поступить при начале следствия, но не тогда, когда уже согласился хотя бы назвать свое имя и звание — то, что следователь мог вычитать из документов, изъятых у арестованного. И надо было обладать волшебным умением пропускать мимо ушей вопросы и обвинения самые чудовищные, подчас идиотские, от которых кровь бросалась в голову и затмевала сознание.

— Вы же лакей Блюхера! — кричал Опрядкин. — И вы эту связь будете отрицать?

Кобрисов был «лакеем Блюхера» в той же мере, как и лакеем Ворошилова, а связь была такая, что Блюхер командовал, а Кобрисов ему подчинялся. Но теперь выплывало, что слишком хорошо подчинялся, Блюхер на смотрах и учениях ставил его дивизии самые высокие баллы, а его самого представил к ордену Красного Знамени. И говорил не раз, что может вполне положиться на дивизию Кобрисова.

— Это — в каком же смысле? — спрашивал Опрядкин. — Это когда придет время открыть границу японцам?

Свой вопрос повторял он часто, и всякий раз генерал так и видел себя, поднимающего полосатый шлагбаум, и колонну ожидающих грузовиков с желтолицей пехотой.

Об одной детали Опрядкин говорил не без удовольствия, что она далеко не лишняя в его «следовательской копилочке». На обычных стрелковых мишенях, где изображался бегущий в атаку пехотинец, он был в мелкой каске неопределенного образца, скорее английского (напоминание об Антанте). Так вот, генерал зачастую на стрельбищах выражал недовольство этими, утвержденными Наркоматом Обороны, мишенями, говорил, что каски следовало бы намалевать глубокие, как у немцев, какие и придется увидеть стрелку.

— Это что же? — вскрикивал Опрядкин. — Считали возможным противником Германию? И это вы бойцам внушали? Перед лицом вооружающейся Японии?

И самое стыдное, генерал почему-то страшился так и сказать: «Да, считаю Германию!» Он предвидел, какой вопрос за этим последует: а как определил он возможного противника? Ответить ли, что по сходству! Исходя из того, что два медведя не уживутся на одной поляне, в какую сейчас превратилась Европа?

— Да вы это о чем? — вскипал гневом Опрядкин, точно бы прочтя его мысли. — Вы и думать об этом не смейте. Разве не ясно товарищ Молотов сказал, Вячеслав Михайлович: «Мы с немцами братья по крови». Не читали? Быть того не может! Сознательное притупление бдительности в войсках — вот как это называется. Разоружение перед реальным врагом.

Более всего поражало и бесило генерала, как все то, что, казалось бы, могло считаться заслугой, выворачивалось ему в вину. Имел грамоту за высокую дисциплину в частях — но Красная Армия славится не тупым подчинением, а высокой сознательностью; для того и муштровал дивизию, что расхлябанная не соберется тотчас в кулак и не пойдет, куда он прикажет — хоть и прямиком в японский плен. Много внимания уделял противотанковой обороне, защитным приемам одиночного бойца — это прекрасно, но какие же у японцев танки, против них рукопашный следует применять, наш излюбленный бой, которого они избегают, а он-то в дивизии Кобрисова был не в почете, и не странно ли это для конника, знающего цену острой шашке? Учил маневрам отступления — это еще зачем? Это не наша доктрина, мы наступать будем, воевать на чужой территории и малой кровью. А перед кем нам отступать?! Сюда же еще улика — своих командиров, переводимых на восток с

западной границы, поощрял вывозить оттуда и семьи, охотно давал им на это отпуска и сопровождающих для укладки и переезда, выбивал у местных властей жилье для комсостава — да никак целую республику хотел создать на Дальнем Востоке, с последующим отторжением под эгиду Японии?

Так сама земная твердь уходила из-под ног, так любые его поступки оказывались шагами к расстрельной стенке. Иной раз генерал, чувствуя себя спеленутым этими изощренными путами, взрывался и лез напролом:

— Но вы же никаких заслуг не цените! У того же Блюхера — не было их? Или у Тухачевского?

— Какие же, интересно? — вскидывался Опрядкин. — Что вы считаете их заслугой?

— Убираем протокол?

— Убираем, это мне самому интересно. — И Опрядкин захлопывал папку.

— Если война грянет, вы же Блюхеру скажете спасибо, что у нас танки есть. И неплохие танки. А если у нас и самолеты есть, то скажете спасибо Тухачевскому.

Он тут же спохватился, вспомнив, как называл аресты и Тухачевского, и Блюхера головотяпством, преступлением. Но, верно, слышавшие это не донесли на него.

— И скажем, — отвечал Опрядкин с некоторым удивлением в голосе, будто ждал откровенности куда большей. — За танки и самолеты мы и сейчас им говорим спасибо. Вы думаете, товарищ Сталин не ценил их? Не ценил Уборевича, Якира? Очень даже ценил и ценит. Но расстрелять-то их — надо было.

— Да почему «надо»?!

— Они в заговоре участвовали или нет?

— И это доказано?

— Собственноручными показаниями! Признавались, как у попа на исповеди.

Генерал на это замыкал уста. Опрядкин подозрительно озирался вокруг и понижал голос:

— А вы сами — не понимаете, почему их ликвидировать пришлось? Они же стали бы тормозом. Обновлять нужно армию, а они молодым не дали бы ходу. Если сейчас их не убрать, потом будет поздно. Это, если хотите, сверхпредвидение.

— Так вы из людей, из вернейших, заранее врагов делаете! Зачем?

— Фотий Иванович, а из кого же их делать? Бывает, самый лучший враг из своих, который вчера еще другом казался. Больше он злости вызывает. Ну, это в порядке юмора, не под протокол. А если серьезно, то советская власть никаких врагов не боится.

Столько у нее единомышленников — во всем мире, не только в стране, — что их всех и не прокормишь. Так что она себе может позволить такую роскошь — друзей на прочность проверить, а кого и ликвидировать, даже самых верных. Если это надо.

— Опять «надо»!

— Да! Да! Значит, были на то соображения. Вы поймите: советская власть — это ослепительный вариант! Это такая удача в мировой истории, что все наши ошибки не могут нам повредить! Если вы вдруг миллион выиграли, неужели вы пожалеете сто рублей на шампанское? Советская власть может себе позволить все. Уничтожить сотни тысяч, миллионы. И сотни тысяч, и миллионы встанут на ее защиту. Такие ценности написаны на ее знаменах. Вы возьмите меня — кто я был? Подкидыш, беспризорник. С чего началась моя карьера? С того, что я украл одеяло. Укрыться хотелось потеплее, Фотий Иванович, не пропить, нет. Я жил в дровяном подвале, там холодно. А меня накрыли, били сапогами в поддых, лежачего… Вас, кстати, еще не били сапогами?.. И кто меня выручил? Сотрудник ГПУ Удальцов Федор Палыч. Он мне сказал: «Лева, я знаю, ты от меня убежишь, но ты наш человек, Лева, попомни мои слова, ты к нам придешь». Я убежал тогда, скитался два года, воровал в поездах — и вернулся. Я осознал все, что я мечтаю получить, мне только советская власть может дать. Образование, почет, самоуважение. И вот я с одеяла начал, а теперь — старший лейтенант государственной безопасности. А завтра — капитан…

— А послезавтра — майор.

— Да! — вскричал Опрядкин. — Да! А там и старший майор. А это уже равно генералу. А ты, сссука, откуда пришел, — он показывал под стол, — туда и уйдешь! Тебя революция, советская власть генералом сделали, а ты это ценил? Вот с тебя и сорвали петлицы…

— Я не сука, — сказал Кобрисов. — И я генералом мог при царе стать. Может, даже скорее.

— Ну, знаешь ли!

— Знаю.

Опрядкин, не найдя, чем ответить на эту наглость, вскакивал, некоторое время ходил по кабинету из угла в угол, животом вперед, разбрасывая ноги в стороны. Затем, успокоясь, брался за свою папку.

— Н-да, — говорил он, вздыхая. — Наговорили мы тут, напозволялись!..

— Ничего я вам не сказал, — спохватывался генерал.

— А если бы и сказали? Не под протокол же. Зачем же я буду такой поросенок — джентльменское соглашение нарушать? Мне

ваше доверие дорого, вот чего вы понять не можете. Помогли бы мне построить дело, и я бы вам помог как от высшей меры уйти. Можно же на покойника свалить — это он, Блюхер, хотел границу открыть, а вы были слепым исполнителем. Вот вам смягчающее обстоятельство. А иначе — вот какой вопрос возникает: мы все его врагом не считали, но почему это он нас обманул, а вас — нет? Вы ж ему до сих пор верите!..

Генерал молчал угрюмо, и Опрядкин, вздохнув, нажимал кнопку вызова конвоя:

— Уведите.

В камере предложение Опрядкина — все валить на покойного маршала встретили по-разному. Корниловец от обсуждения устранился:

— Наша чванливая офицерская честь и подумать об этом не позволяла. Но у вас на красных знаменах иные заповеди: «Все нравственно, что на пользу пролетариату». Вы сейчас самый что ни на есть пролетариат, вот и думайте.

Товарищ прокурора осторожно заметил, что речь идет все-таки о мертвом, которому ведь ничто не грозит. Корниловец его не удостоил ответом. Совсем иного мнения был «писучая жилка». В очередной «беседе у параши» он сказал:

— Дело тут даже не в чести, а в пошлой прагматике. Этот наш Блюхер, если мне память не изменяет, заваливал Тухачевского — живого. В составе суда, зная, что невиновен, что все бред, приговорил к смерти. И что на этом выгадал? Сам через год угодил под тот же топор… Так что не мучайтесь. Я бы на вашем месте подумал о другом: нарушит ли ваш Опрядкин слово?

— Тоже думаю, — сознался генерал.

— Нет, мой генерал, не нарушит. Расстреливать вас будут другие. А он уйдет в отпуск. Я вижу, вы втягиваетесь в игру, она вас увлекает. Вам уже хочется испытать, держат ли слово урки, бандиты. Держат, у них есть кодекс чести, но только в своем кругу. Так если на то пошло, станьте одним из них. Ну, если не можете совсем отказаться от игры, тогда — притворитесь. Ведь всюду сговор, почему бы и вам не сговориться. От вас не веры требуют, а лишь показать символ веры — так покажите! Убедите их, что вы им верите, не сомневаетесь, что они — рыцари идеи. Им это понравится, и они вам не станут делать худо. А впрочем… Нет, не советую. У вас не получится. Все несчастье, что мы с вами думаем мозгом, а они — мозжечком, гипоталамусом. Это вернее.

— А не упрощаете? — возражал генерал. — Что-то ж действительно там написано, на знаменах, из-за чего люди умирать пойдут.

— Он вас не обманул, — сказал «писучая жилка». — Ваш

Опрядкин не врет. Французская революция написала: «свобода», «равенство», «братство» — и рубила головы, ничуть не опасаясь всеобщего разочарования. А у них — еще проще. Они свой лозунг укоротили до одного слова, но зато могут его написать громадными буквами. Только одно: «равенство». Все остальное — ерунда. «Свобода» — на самом деле никому не нужна, люди просто не знают, что с нею делать. «Братство»? Его нет в природе, нет в животном мире, почему бы ему быть в человеках? А вот равенство — это вещь. Мне плохо, но и тебе тоже плохо — значит, нам обоим хорошо. У меня мало, но и у тебя не больше значит, у нас много! За это и умереть можно. И никаких жизней не жалко. Ни своей, ни тем более — чужих.

— Ну и век же нам с вами выпал — жить! — говорил генерал почти с восхищением.

— Век разочарований, — «писучая жилка» разводил руками и усмехался, подергивая небритой щекой. — Взбесившаяся мечта всех просвещенных народолюбцев — толпа наконец приобрела право распоряжаться собою. Сидели бы спокойно при своих династических монархах, которые и убили, то все вместе едва ли больше, чем ваша славная армия в восемнадцатом году. Видите, как все смещается, когда свергают умеренного деспота, какими были наши цари. Когда в тайге убивают тигра, то размножаются волки, от них урона куда больше. Увеличивается потребление — и каждый хочет воспользоваться своим правом. Сколько прав лежало перед «маленьким человеком» — он охотнее всего воспользовался самым примитивным: тоже быть тираном. Мы с вами говорили о нем, — тут «писучая жилка» на миг устремлял косящий взгляд в потолок, — ему самому много ли надо? Ну, помучить одного-двух, чтоб не напрасно день прожить. В масштабе страны — это пылинка, микроб. Но за это надо заплатить то же самое разрешить и другому, кто тебя поддерживает, ему тоже хочется помучить…

Генерал не рассказывал никому о методах Опрядкина, стыдился рассказывать, тогда как «писучая жилка» делился охотно всем и со всеми. В чем его вина состояла, генерал понять не мог, как и того, стоило ли так упорствовать, что греко-микенская культура ничуть не ниже той, что привнесла Великая французская революция, или что Мейерхольд на десять голов выше Завадского или Охлопкова (а по генералу, так пропади они все трое, чтоб из-за них еще ночами тягали на допросы!), однако же методы следователя Галушко произвели на него впечатление. Этот Галушко тоже себя считал интеллигентом и пути расколоть подследственного выбрал интеллигентные. При аресте и обыске у «писучей жилки» нашли в архиве восемнадцать писем Вольтера —

подлинных, как утверждал владелец и против чего нисколько Галушко не возражал — иначе бы его метод копейки не стоил. Вот что придумал он сжигать по одному письму на свечке, когда подследственный запирался или казалось Галушке, что он не откровенен. Письмо сжигалось в конце допроса, при подведении итогов, так что минутный акт сожжения подследственный переживал заранее долгими часами. И, разумеется, ему прежде показывалось это письмо, даже в руки давалось подержать, дабы он еще раз осознал его ценность.

Уже три письма было так сожжено, и Галушко пообещал, что как доберется до восемнадцатого, то самого владельца оформит к расстрелу — за уничтожение величайших культурных ценностей.

— Да как же он докажет, — поинтересовался учитель логики, а прежде корниловский офицер, — если он доказательства сожжет?

— Очень просто докажет, — отозвался товарищ прокурора Временного правительства, — ссыплет весь пепел в архивный конверт и даст эксперту, а тот понюхает и напишет заключение, что пепел — тот самый. А где сжег? Да у себя дома на свечечке, чтоб не досталось народу.

Самого же «писучую жилку» не так поразила перспектива быть расстрелянным за Вольтера, как то, что Галушко назвал эти письма «величайшей культурной ценностью».

— Так, значит, понимает, что ценность? — прямо-таки бесновался он. Ведает, что творит?

— А они всегда ведали, — сказал корниловец. — Не ведал бы — так не жег.

Генералу было мучительно видеть, как убивается «писучая жилка» из-за каких-то бумажек, и он, отозвав его в угол, осведомился полушепотом:

— Позвольте узнать… А копии с этих писем — составлены? Они в надежном месте? — И, кашлянув смущенно в кулак, добавил: — Если во мне не уверены, то не отвечайте…

«Писучая жилка» взглянул на него с изумлением.

— Боже мой, о чем вы? Да говорите, кому хотите. Копии есть во многих музеях. Они приведены в книгах. Но, мой генерал, он сжигает не копии, он сжигает подлинники!

— Ах, вон что… — сказал генерал. — Да, я понимаю.

И ему самому показалось, что он это понял.

На четвертом письме великого эпикурейца, которое лишь подпалилось с угла — и тут же Галушко его погасил, — на этом письме «писучая жилка», не битый, не тронутый пальцем, сломался. Он согласился подписать все, что ни натолкал ему в протокол изобретательный Галушко, и возвратился в камеру с

просветленным лицом, имея впереди восемь лет Соловков, а при его истрепанном сердце — так и неминуемую быструю смерть.

— Все! — сказал он генералу, вздохнув освобожденно. — Теперь я человек.

И странно, с этого дня внутренне оборонился и генерал против своего Опрядкина, понял, что не все отдано и растоптано, что и в сломе еще не падение человека, можно и сдаваясь победить, если избрать своим оружием смирение, смирение разума перед тупой и дурной силой, которая не есть человек, никак, никогда не может считаться человеком, а потому и оскорбить и унизить не может. И мгновенно это понял Лев Федосеевич Опрядкин, почувствовал своей бесовской интуицией блатаря, что сломался он, а не Кобрисов, когда тот совсем другим человеком явился к нему на допрос. Этот человек не покорно, а свободно протянул руки под его линейку и опустился на колени в углу, о чем-то своем думая. Ни на какие вопросы он не отвечал, он их не слышал.

— С вами невозможно, — сказал Опрядкин. — Я буду вынужден передать вас другому следователю.

Лоб у него заблестел и глаза замерцали от злости, но уголовная этика не позволила взорваться. Он лишь пообещал холодно:

— Завтра же он вами займется по-другому. Я воздерживался от того, чтобы сделать из вас окончательного врага. Я вас рассматривал как оступившегося, но все же нашего человека. Мой коллега решит иначе — что вы отсюда никогда не выйдете. Не должны ни при какой погоде. Даже если в чем-то с вами ошиблись, как же вы после этого будете советскую власть любить? Кто в это поверит?

Ни назавтра, ни послезавтра вызова не последовало, и генерал мог свободно предаться раздумьям, что значило такое обещание. Между тем с его сокамерниками происходили перемены. Вызвали с вещами товарища прокурора, который при этом известии немедленно стал лишаться чувств. Настал для него тот час, о котором он говорил слегка дурашливо: «Суд краткий, как свидание с любимой, чтение вслух самого волнующего произведения — приговора. И в этот же день — исполнение всех желаний. Кажется, дают папироску, но я, к сожалению, не курю. Попрошу, чтоб наручники защелкнули спереди, а не за спиной. С моим животиком это, знаете, неудобно…». Собирать его вещи и выводить из камеры пришлось двум надзирателям и корниловцу, который счел это «последней услугой товарищу». Он даже просил, чтоб позволили ему проводить товарища хоть до конца коридора, но, разумеется, не позволили.

— И зря, — сказал корниловец, — они же с ним намучаются, а я бы сумел его поддержать. Я бы ему внушил, что в Лефортове это делают быстро и элегантно, без лишних издевательств.

Через час выкликнули и самого корниловца.

— К исполнению готов, — сказал он, прищелкнув каблуками.

У него все было уложено, упаковано в солдатский мешок. Время, полагавшееся на сборы, он отвел для прощания с камерой, сказал каждому несколько слов, должно быть заготовленных.

Генералу он поклонился глубоким кивком, и тот ему ответил тем же.

— Знаете, — сказал бывший корниловец, — а все же хорошо, что мы с вами не встретились в бою, правда?

— Правда, — отвечал генерал. — Сейчас-то я куль с дерьмом, а тогда плечико у меня было — будь здоров! Мог до седла разрубить.

— Но вы не знаете, какая у меня была тогда реакция. Ваш удар я бы успел предупредить. Однако, что ж это мы машем шашками после драки? — он помолчал и добавил: — Если вы, господин красный генерал, протянете мне руку, не удивлюсь. Если нет — не обижусь.

Генерал руку ему протянул и пожелал стойкости во всем предстоящем.

— На сей счет, генерал, вы можете быть уверены, — сказал корниловец и снова прищелкнул каблуками.

На другой день отбыл «писучая жилка» на свои Соловки, беззаботный и бестрепетный, точно гору свалил с плеч. Перед уходом он ко всем обратился с речью:

— Сокамерники мои, кто останется жив и отсюда выйдет свободным, а я вам этого всем от души желаю, пусть не забудет и расскажет, что в моем деле, в архиве НКВД, остались пятнадцать подлинных писем Вольтера. Следователь мне обещал, что дело будет храниться вечно. И я надеюсь, что лучше, чем у них, эти письма нигде не сохранятся. Персонально за них отвечает следователь Галушко. А впрочем, это имя можно не запоминать. Запомните — Вольтера.

Камера обещала запомнить и пожелала ему освободиться с полсрока.

К генералу он подошел попрощаться отдельно.

— Мой генерал, я навсегда запомню наши беседы у параши. Они были чрезвычайно интересны, полезны и плодотворны. Вы согласны?

— Я тоже запомню, — сказал генерал.

— Это не может быть иначе. Ах, мой генерал, неужели вы все это когда-нибудь забудете? Нет, вы теперь — другой. Но я хочу

надеяться, что вы стали христианином, который уже знает, что он христианин, и равно любит как друзей своих, гак и врагов. И когда грянет тяжкий час для нашей бедной родины, вы, мой генерал, покажете себя рыцарем и защитите ее — со всей человеческой требухой, которая в ней накопилась.

— Не знаю, — сказал генерал. — Да кто их защищать-то будет, сукиных сволочей, когда они такое творят?

— Вы, мой генерал. И — наилучшим образом!

Они обнялись, похлопали друг друга по спине и прослезились немножко.

После отбытия этих троих он себя почувствовал совсем одиноко, тоска обострилась, но с теми, кто их сменил, он уже не хотел сближаться. Он думал.

Он думал о том, что человек обязан выйти с ружьем в руках на порог своего дома и защищать этот дом и свою семью, не щадя своей жизни. Безоружный, он обязан умереть достойно, не целуя сапоги палачам. Но кто осудит, если мучения пыток он не вытерпел, не согласился терпеть, да просто не рассчитан на это — как танк не рассчитан, чтобы его резали газовой горелкой! И он твердо решил: когда они его позовут в ту комнату — почему-то ему казалось, что это делается в особой комнате, — когда они только достанут мерзкие свои орудия, он скажет: «Не надо этого. Пишите там, что хотите. Я подмахну». Но это, решил он, только если своими показаниями никого другого не потянет он за собою в смертную яму. На себе самом он поставил крест. «Писучая жилка» ошибся. Никакая дьявольская сила не вмешалась, чтобы его, Кобрисова, спасти.

И, как бы в подтверждение этого, однажды утром надзиратель забрал у него гимнастерку, а взамен выдал серую, больничного вида, пижаму — тоже без пуговиц, застиранную до ветхости, но хоть не пахнущую потом. А поди, пропитана бывала обильно, подумалось ему, потому что в этом, наверное, и приводят в исполнение, нельзя же командира Красной Армии в форме, даже и со срезанными петлицами… Соседи по камере смотрели на него сожалеюще. И он, почувствовав себя уже отъединенным от них, от всего человеческого, не устыдился жалких своих обносков, но сформулировал раздумчиво: «Тут всякая мелочь направлена к унижению человека. И так — до последнего его шага».

На другой день, когда его выкликнули, была в тюрьме необычная тишина. На целый час запоздали утренняя каша и чай. И вызвали его в необычное время — в полдень, и никто не встретился по пути, не пришлось отворачиваться к стене. Шаги его и надзирателя звучали гулко в гробовой тишине. Что-то чувствовалось напряженное и зловещее в этих переменах.

Но встретил его в кабинете тот же Лев Федосеевич Опрядкин. Встретили полутьма от наглухо затянутых штор, мягкий свет лампы, отвернутой, чтоб не беспокоить, и странные предметы на столе, заменившие толстую папку, бутылка коньяка, две бутылки минеральной воды, нарезанный уголками торт.

— Как это понять, гражданин следователь? Новые методы воздействия?

— Никаких методов, — сказал Опрядкин. — Поскольку вас от меня забирают, хочу попрощаться по-хорошему. Чтоб не поминали меня лихом.

Он разлил коньяк в пузатые фужеры и протянул на серебряной лопатке увесистый ломоть с ядовито-зеленым и розовым кремом. Генерал помотал головою.

— Напрасно отказываетесь, Фотий Иванович. Последний довоенный торт. Сегодня еще можно купить без очереди.

Тут вспомнились генералу непривычная тишина и что никого другого не вызвали сегодня на допрос.

— С кем же война, гражданин следователь?

— Вам ли спрашивать, Фотий Иванович? С вашим предполагаемым противником, с кем же еще.

Ни в голосе, ни в лице Опрядкина не выразилось смущения. Не в первый раз и не в последний наблюдал генерал в соотечественниках своих эту чистосердечную правоту: «Тогда было такое время и такая была установка, и я говорил так, а теперь время другое и другая установка, и я говорю другое. И просто смешно меня в этом укорять». Некоторые еще добавляли, что нужно знать диалектику. Генерал и не укорял, только спросил:

— И когда ж это он напал, мой противник?

— А почему вы думаете, что это он напал? А может быть, мы его упредили?

Генерал лишь пожал плечами. «Если бы упредили, — подумал он, — ты бы меня коньячком и тортиком не угощал».

— Вчера, в четыре утра, — сказал Опрядкин. — Вероломно, без объявления войны.

Он все стоял с куском торта на лопатке, в глазах его уже разгоралось мерцание злости, и показалось, он сейчас вмажет этот кусок арестанту в непокорное рыло. Было омерзительное предощущение сладких сгустков, ползущих по лицу, спадающих с носа и губ. И тогда арестант не выдержит, расплачется от унижения и бессилия.

Лев Федосеевич вдруг улыбнулся. Он понял генерала по-своему:

— Боитесь отравы? Не тот вариант, Фотий Иванович… Зачем?

Хотите, с любого края отведаю? Да хоть от вашего же куска.

Он и вправду отведал. Генерал, которому эта мысль в голову не приходила, подивился только: был, значит, и такой вариант, отчего же не применили? Ему все еще не верилось, что он понадобился. И вдруг увидел на диване свою отглаженную гимнастерку с пришитыми петлицами, придавленную тяжелой кобурой.

— Что ж, гражданин следователь, — сказал он, поддергивая спадающие штаны, но уже голосом построжавшим, уже как имеющий власть, — вместе будем теперь отечество спасать?

— Каждый на своем месте, — отвечал скромно Опрядкин. — И я вам не «гражданин следователь», а товарищ старший лейтенант. А вы, товарищ генерал… вам сейчас пришьют пуговицы, а то так не годится… поедете в свой наркомат. Вам доверяют дивизию.

— Что, уже другую формировать?

— Дивизию вам дают на западе. Она сформирована, но, насколько я знаю, отступает в беспорядке. Есть мнение, что под вашим командованием она отступать не будет. В противном случае могут вас и расстрелять. Это жалко, все мои труды пойдут прахом. — Под тяжелым взглядом генерала он перестал усмехаться и добавил: — Полетите сегодня ночью.

— А семью мою известили, что я освобожден?

— Вашу семью не ставили в известность, что вы под следствием. А сегодня за вашей семьей посланы люди, два расторопных тыловика — помочь уложиться и переехать. Ваша квартира в Москве готова. В самом центре, на улице Горького.

Генерал медленно повернулся выйти, еще не до конца веря, что его сейчас не остановят:

— Пойду сам уложусь.

— А все же напрасно вы моим угощением побрезговали, — сказал Опрядкин даже с какой-то печалью. — Эх, Фотий Иванович, золотая вы ошибка моя! Если б вы знали, какие звезды решали вашу судьбу! А без мелкой сошки все-таки не обошлось, без Опрядкина Льва Федосеича. Это его участие вас спасло. Ну, и, конечно, то, что товарищ Сталин особо доверяет кавалеристам.

— Давно уже я не кавалерист.

— А это неважно. Вы кавалерист по Гражданской войне. И не возомнили о себе. Товарищ Сталин не любит тех, кто возомнил. Может быть, ваше счастье, что вы тогда не слишком прославились. Я так и написал в характеристике: «Скромен. Чтит товарища Сталина как спасителя социалистического отечества». И, как видите, помогло!

Генерал это сообщение принял молча.

— Есть вопросы? — спросил Опрядкин.

— Есть, — сказал генерал. — Можно считать беседу нашу законченной?

— Вас просто тянет в камеру, — сказал Опрядкин с досадой. — Что вам укладывать? Все ваше здесь, поедете прямо от меня.

— Должен я с соседями попрощаться.

— О! — воскликнул Опрядкин, сверкнув глазами. — Вы уже причастились, освоили тюремную этику. И вы так и пойдете — в этом рубище?

— Так и пойду. Неужели при генеральских петлицах прощаться?..

— Ну-ну, — Опрядкин покачал головой в изумлении. — Когда попрощаетесь, не оглядывайтесь на дверь. Иначе вернетесь к нам.

— Знаю, — сказал генерал.

— Знает он, — подтвердил надзиратель. — Ученый…

Опрядкин его осек пронзающим взглядом. И велел сопроводить арестованного уже как вольного.

Всех дней генерала Кобрисова не хватило узнать, что означали загадочные слова Опрядкина: «Какие звезды решали вашу судьбу!» Он это понял так, что на каком-то столе его судьба случайно была переложена из одной папки в другую, и этим-то все решилось. Но ничего случайного не происходит в заповедной области судьбоносных бумажек. Две звезды и в самом деле рассиялись над его судьбою. В первые же часы войны на стол будущему Верховному, на его подпись, легли два списка. Имя Кобрисова было в обоих. Один был представлен начальником Генерального штаба Жуковым и содержал три сотни имен командиров, ожидавших своей участи в камерах московских тюрем. Для всех них Жуков не просил ни оправдания, ни помилования, а лишь отложить следствие либо исполнение приговора до окончания военных действий. Предполагались эти действия недолгими и победными, ну а пока требовали возвращения этих людей в строй. Второй список, представленный Генеральным комиссаром госбезопасности Берия, был изъятием из первого; содержалось в нем более сорока имен разного калибра — от майора до генерала армии — тех, кого не расстрелять было бы уроном для тайной службы и личной обидою для ее шефа.

Верховный просмотрел оба списка и первый оставил без следов своего пера или ногтя, а во втором против некоторых имен поставил вопросительный знак. Это могло читаться и как сомнение в целесообразности их ликвидации, и как требование

так их доследовать, чтобы все сомнения отпали. В отношении же Кобрисова знак ? скорее всего означал:

«Такого — не знаю. Что за птица?» Кроме хозяйственников, не обеспечивших должной боеспособности Красной Армии, в списке преобладали авиаторы, недобитая тухачевщина, как сюда затесался конник?

Ни первого, ни второго списка Верховный не подписал. Но, так как из второго он все же сделал изъятие некоторых имен, то значит, с другими косвенно согласился, и весь остальной список мог считаться механически утвержденным. А так как он сам был изъятием из первого, то утверждался механически и этот список Жукова, и всем, кто в нем состоял, даровались жизнь и свобода вплоть до конца войны, а с ними, стало быть, и возможность заслужить прощение.

Судьба Кобрисова могла бы и так решиться, чтобы примкнуть ему к тем двадцати пяти, которых в октябре, в дни панического бегства из Москвы, увезли в Куйбышев и частью в Саратов, и там оказались напрасными все их препирательства на допросах, стойкость в перенесении пыток, надежды оправдаться перед судом — их расстреляли без суда, по приказу Берии. Судьба же Кобрисова пребывала в шатком равновесии. Берия не знал его — и не имел вожделений непременно ликвидировать. Но не знал и Верховный — и не вспомнил бы справиться: «Как там с этим конником, не расстрелял и за компанию?» И тут к звездам двух сиятельных генералов, Жукова и Берии, присовокупились, чтобы одной из них пересиять другую, лейтенантские кубики Опрядкина.

В те же первые часы войны лубянские стены пронизали два слуха, очень нестойких и противоречивых; собственно, еще не слухи, но робкие дуновения их. Одно из них говорило, что политика меняется и некоторых подследственных, возможно, возвратят в строй. Это дуновение отразилось морщинкой раздумья на лбу коллеги Опрядкина, а оттуда перенеслось и на лоб самого Опрядкина. Будет, стало быть, спущен план возвращения, а где план, там и перевыполнение его, там передовики и отстающие. Он даже представил себе плакат, на котором пожилой чекист, с серебряными височками, с шевронами и скрещенными мечами на рукаве, полуобняв чекиста молодого, белозубо ощеренного, спрашивал: «А ты, сынок, скольких невиновных возвратил в строй?» Опрядкин от этой картинки отмахивался, как от собачьей бредятины, — какие могли быть «невиновные», если арестованы органами? — а все же обеспокоился, как бы не попасть в отстающие, кто не осознал суровости момента, не проявил гибкости, какой потребовали от

нас, чекистов, судьба страны и воля вождя.

И само дело Кобрисова уже посыпалось — в части его намерений сдать Дальний Восток японцам, маскируясь фальшивыми предостережениями о другом противнике. Что ж, скажет Военная коллегия, предостерегал насчет немцев, так немцы и напали, какое же тут «притупление бдительности», надо что-то другое поискать. За покушение на любимых вождей, даже в виде намерения, можно бы и казнить мерзавца, то есть непременно и беспощадно казнить, но… преступление-то — групповое. А где ж те лейтенанты, непосредственные исполнители? А те лейтенанты небось тряслись со своими танками на платформе эшелона или уже вступили с ними в бой. Высокая коллегия могла спросить: «Их что, отпустили воевать? Доверили судьбу Родины?» И тогда бы их следовало вернуть изо всех контратак, в которые они удалились от правосудия, или же, если успели погибнуть, выкопать из братской могилы, отрубить кисти рук для опознания и закрыть дело ввиду кончины обвиняемых. Это не избавляло следователя от взыскания, но все же смягчало его. Однако их местонахождения Опрядкин не знал — и не мог узнать срочно.

А слух другой, противоположный, был о том, что некоторые дела будут сворачивать, то есть участь недоследованных будет решаться не судом и не индивидуально, а оптом, и даже в их отсутствие, ибо зачем же им присутствовать и своими объяснениями отнимать время, разве сам факт ареста не доказывал их вины? Такое вот укороченное судопроизводство предоставлено самим органам с началом военных действий. Сказать честно, это не нравилось Опрядкину, ведь тогда обесценивались все усилия следователя, его замысловатая игра, тонкие методы. Просто весь интерес пропадал, а вне этого интереса старший лейтенант госбезопасности Опрядкин был человек незлобивый, даже по преимуществу добрый. И не было ему резона подводить Кобрисова под вышку, если это не сулило Опрядкину капитанской шпалы в петлицу или хоть малого ордена. К тому же, коль скоро отпала версия с японцами, переменился и Опрядкин к своему «крестнику»; даже симпатия к нему возникла, а к себе чувство горделивое, что он своего подследственного все же уважал и ценил, вел себя с ним тонко, деликатно, ничего ему не повредил, не покалечил, даже и не опустил по-настоящему, то есть не подверг унижению губительному, и сохранил для родины как значительную боевую единицу. С чистой душою он вынул из дела Кобрисова уже составленное обвинительное заключение и вложил другое, всего на полстранички, что основания для уголовного преследования

имеются, но в этот грозный час важнее для социалистического отечества использовать генерала Кобрисова по профессии. Совсем безвинными и он, и его лейтенанты быть не могли, поскольку органы не ошибаются, но в виде исключения можно было им позволить доблестью либо пролитой кровью заслужить прощение. Что же до танков, затормозивших у Мавзолея и правительственной трибуны, то здесь потребовалась экспертиза по двигателям внутреннего сгорания, и этому эксперту Опрядкин поставил вопрос, отчасти содержащий в себе ответ: «Возможен ли отказ танкового двигателя даже при тщательной его подготовке? Если да, то возможен ли он одновременно у двух машин?» Эксперт, привыкший к другим заключениям, взглянул на Опрядкина удивленно и, уловив, что на сей раз от него ждут объективности, написал, что отказ может иметь место, в особенности при неловких действиях водителя, участвующего в таком напряженном ответственном мероприятии, как парад на Красной площади. Возможен и отказ одновременно у двух машин, поскольку оба экипажа находятся в одинаковом психологическом состоянии. На том дело Кобрисова было приостановлено, и все дальнейшие действия Опрядкина были выражением чистой радости избавления, включая коньяк и торт, купленные не на казенные деньги, но на его собственные.

Так судьба генерала Кобрисова не склонилась к тому, чтобы стать ему двадцать шестым расстрелянным в октябре в Куйбышеве или Саратове, а склонилась к тому, чтоб оказаться в огромном коридоре Наркомата Обороны, в толпе командиров, числом не менее ста, выпущенных в тот день из московских тюрем. Здесь были люди с треснувшими ребрами, затянутые под гимнастерками в корсеты из бинтов и уклонявшиеся от объятий, были с поврежденными ногтями, упрятавшие свои руки в перчатки и избегавшие рукопожатий, были с припудренными синяками и выбитыми зубами, они предпочитали не улыбаться. Были и те, кого, как Рокоссовского, и дважды, и трижды выводили расстреливать, зачитывали приговор и стреляли поверх головы, отчего эти непробитые головы покрывались в одночасье сединою. Был и тот, опухший от битья и бессонницы, кто ревел быком за стенкой, сводя с ума соседей, — он оказался из «испанцев», то есть воевал в Испании под именем «камарада Хуан Петров» и едва жизнью не поплатился «за сговор с Франко». В общем их гудении особенно выделялся изумленный голос одного, подвергшегося более чем странной процедуре: нынче утром к нему явились, увезли в военную прокуратуру и там велели расписаться, что он извещен об освобождении из-под ареста и прекращении его дела за недостатком улик. А он и не арестовывался вовсе, а он и не

знал ни о каком деле. И вот теперь, напуганный задним числом, он все не мог успокоиться, он вибрирующим голосом и с блуждающей улыбкой спрашивал, не могут ли они там одуматься и не означает ли вызов его, что где-то вверху спохватились, а где-то внизу недопоняли, и такой шумел, едва не впадая уже в истерику, покуда его не прервали окриком: «Вот будешь базлать — накаркаешь. Плюнь и забудь!» Если не считать этого чудака, то все находились в приподнятом настроении, и о том говорили их лица, сияющие вдохновением и готовностью. Война началась, говорили эти глаза, говорили жесткие обтянутые скулы, говорили рты, сохранившие и не сохранившие свои зубы, и вот теперь мы докажем им, докажем родному Сталину, что мы никакие не враги народа, мы любим свой народ и всем нам дорогую советскую власть и нашего вождя, мы до сих пор не имели такой возможности — доказать свою преданность и любовь, разве только клятвами и слезами, но ведь Москва слезам не верит, а вот теперь у нас эта возможность есть, и наша ли вина, что нам ее подарили немцы? А вскоре принеслось дуновение или чье-то распоряжение, чтоб все присутствующие командиры сосредоточились по одной стороне коридора, так как по второй его стороне сейчас должны пройти.

И вот они выстроились длинно и стройно, и каждый — согласно уставу видел грудь четвертого человека, считая себя первым, а по коридору, под его высокими сводами, шли двое. Они вышли из высоких дверей и шли неторопливо по ковровой дорожке, один за другим: передний- в полувоенном френче и в бриджах, заправленных в мягкие сапоги, шедший за ним — в кителе и в широких штанах с лампасами. Была некая странность в том, как они шли и как говорили друг с другом. Для них словно бы не существовало этой шеренги командиров, нависших над ними в почтительной стойке, они шли словно бы по пустому залу, и шедший впереди говорил что-то злое своему спутнику, не оборачиваясь, а тот отвечал, заходя то справа, то слева, посверкивая стеклышками пенсне. Они говорили громко, порою даже кричали, но так неразборчиво, что речь их казалась каким-то лепетом. В то же время отчего-то сомнений не было, что они говорят именно о тех, мимо кого проходили, совершенно не принимая их во внимание, — как замечательно это умеют кавказцы, отключаясь от всего окружающего, живя в своем языке, в своем племени, в своей истории.

Остановясь против Кобрисова, первый что-то стал говорить, толи ему адресованное, то ли шедшему сзади. Тот, во всяком случае, продолжал отвечать, стараясь, как казалось, его успокоить, поправляя свое пенсне и криво улыбаясь. Прямо перед

Кобрисовым стоял некто, обидно маленький, рыжеватый, с грубым рябоватым лицом; он смотрел в лицо Кобрисову с ненавистью; топорщились, как у рассерженного шипящего кота, обвисшие усы, трепетали крылья мясистого грубого носа, — и что-то он лепетал злое, раздраженное и угрозное. В тяжелом взгляде желто-табачных глаз горели злоба, и страх, и отчаяние, как у подраненного и гонимого зверя. В продолжение тех секунд, что он смотрел на Кобрисова, тот чувствовал головокружение, ватное тело будто проваливалось куда-то, ноги его не держали. Показалось, стоявший перед ним что-то спрашивал у него, он повторил свой вопрос, но отозвался стоявший за спиной у него, и тотчас сквозь желтые прокуренные зубы выхаркнулась ругань. Не понимая ни слова, Кобрисов явственно различил в невнятном лепете, в гортанных обрывках фраз: «Трусы, предатели, зачем выпустили, никому верить нельзя…» Так слышится злая брань в собачьем лае, в крике вороны. Видеть это и слышать было и страшно, и брезготно — мог ли так вести себя человек военный, да просто мужчина, мог ли — Вождь! Ибо стоявшее перед ним, рябоватое, затравленное, лепечущее, это и было — Сталин.

И никакого заговора против Вождя не было, вдруг промелькнуло где-то на самом краю сознания у Кобрисова. Вождь был сейчас со своей армией, готовой за него умереть, и ненавидел ее, и в чем-то подозревал, и не желал говорить с нею на языке, понятном ей. Как насмерть испуганный припадает памятью к облику матери, к ее лицу и рукам, так и он припадал к родной грузинской речи. Унизив, изнасиловав чужую ему страну, он теперь убегал туда, к своему горийскому детству, к мальчишеским играм, к семинарии своей, где он себя готовил стать пастырем духовным. И выглядело это, как обильный верблюжий плевок во все лица, обращенные к нему в трепетном ожидании.

Кобрисову потребовалось усилие, чтобы не отвернуться, а еще большее чтоб удержать лицо от гримасы злости и презрения. Вождь постоял и двинулся дальше. В напряженном молчании всего набитого людьми коридора слышалась поступь его мягких сапог, поступь танцора на свадьбах, тифлисского кинто, но никак не твердые шаги командующего. Шаги Берии звучали слышнее. И даже когда они двое уже ушли анфиладою, командиры еще стояли в молчании, потрясенные, только сейчас, казалось, осознавая, что же стряслось с несчастным их отечеством и какие его ожидают судьбы.

Этой ночью, летя к фронту в пустом холодном брюхе бомбардировщика, генерал Кобрисов был под тем же гнетущим впечатлением. Рассеялось оно еще нескоро — когда он окунулся в

свои военные дела и все более стал ощущать, что судьбы отечества меньше всего зависели от мягкой или твердой поступи вождя, а больше от душевного настроя свидетелей. Этот настрой заставляет иной раз видеть и слышать то, чего на самом деле и не было. 3-го июля, слушая по армейскому приемнику речь вождя, перебиваемую бульканьем воды в стакане, Кобрисов непостижимым образом различал и дрожь голоса, и сдерживаемые слезы, и стремление проникнуть в каждое, ответно устремленное сердце — все то, чего много позднее, увидя и услыша эту же речь в кинохронике, отнюдь не обнаружил; лишь неожиданное обращение «Братья и сестры!» отличало этот очередной, ну, может быть, чуть более торопливый, доклад. Никакого обещания не было, ни удержанных слез, ни сдавленного дыхания, одно сухое бубненье с акцентом. Это у него, Кобрисова, дрожало в ушах, это в нем клокотали слезы, это ему жаждал ось поднести к пересохшим губам стакан. С идолом ничего подобного не происходило, в нем — ничего не дрогнуло. Он себе не дал труда вложить в свою речь даже толику волнения, пусть бы и актерства, не попытался войти в роль иную, чем раз и навсегда усвоил. Он знал заведомо, что его воспримут, как хочется ему и независимо от того, удастся ему или не удастся увлечь свою послушную аудиторию.

2

Казалось генералу, он не забудет ни один из дней войны, они впитались в поры его души и тела. Но вот прошло полтора года, и многое, многое кануло в море забвения, над которым высились разрозненные островки, а между ними колыхались среди зыбей всплывшие обломки, которые неизвестно к чему должны были причалить. Так помнилось ему теперь то причудливое, горестное, порою ужасное, что сам он мысленно называл — «поход на Москву».

Третье утро войны застало его в просторной горнице добротного каменного литовского дома, на краю большого села близ Иолгавы, где он вручил командующему армией свое предписание на должность комдива. Окна в горнице были предусмотрительно распахнуты, цветочные горшки сняты с подоконника на пол. Било в уши тугими резиновыми ударами, которые ощущались всей кожей лица, и в большом резном буфете вздрагивала посуда. В двух с лишним километрах отсюда вела бой его дивизия, которую он еще не видел. Она вела бой наступательный — за Иолгаву, которую сперва прошли насквозь и оставили немцам почти без выстрела, а теперь, занятую немцами, пытались у них отнять.

Генерал Кобрисов уже знал, что командир дивизии застрелился утром 22-го, не вместив в свой разум, почему он должен «всячески избегать провокаций», когда его людей убивают. Командование перенял начальник штаба, который решил «действовать по обстоятельствам», но был вскоре убит. Командовал теперь комиссар, который иного боя, кроме наступательного, не знал и знать не хотел. Всем троим, по-видимому, чужда была великая наука отступать. Иначе б постарались оторваться километров на сорок, закрепиться на выгодных рубежах, встретить противника при нулевой внезапности.

Командарм, весьма пожилой и болезненного вида, с впалой грудью, сидел, глубоко утонув в диване, прижимая руки к животу. Это не было ранение, это была разыгравшаяся язва. При нем находилась медсестра — женщина крупная и полнотелая, ее щедрая плоть рвалась наружу из тесной шевиотовой гимнастерки с тремя лейтенантскими кубиками; толстые круглые коленки, в нитяных телесных чулках, принципиально не желали быть укрощаемы юбкой. Она сидела с расстегнутым воротом и открыто ласкала, гладила командарма по его лысеющей голове. От

близких разрывов она тоже вздрагивала всем телом, купно с буфетной посудой, и вся была охвачена страхом, но не за себя одну, больше за командарма. Время от времени он ее руку отводил, но было видно, ему вовсе не претит страх женщины за него; даже, кажется, помогает принять важнейшее для него решение.

— Я так боюсь за него! — призналась женщина Кобрисову, хоть это было излишне. — Не дай Бог прободение…

Кобрисов подумал, что бояться следовало бы другого «прободения» трибунальской пулей за оставление Иолгавы, но ничего говорить не стал, увидя его запавшие виски с реденькими волосами, не столько прилизанными, сколько мокрыми от пота: боль, наверное, была нешуточная.

— Ну-ну, так ты мне и вправду накаркаешь, — сказал командарм ворчливо и как бы чувствуя неловкость перед посторонним.

Он еще раз взял предписание, пробежал глазами и отложил бумагу на диван. Следом взяла и посмотрела бумагу женщина, и он не одернул ее. Кобрисова это неприятно кольнуло.

— Разрешите вопрос, — сказал он. — А зачем ее брать, Иолгаву?

— Как «зачем»? Есть директива Генерального штаба отбросить противника за линию границы, есть на то воля Сталина.

— Он так прямо и приказал — взять Иолгаву?

— Это и не нужно приказывать, общая установка такова. Ни пяди земли врагу.

— А тогда разрешите другой вопрос. Зачем оставляли Иолгаву?

Женщина посмотрела на Кобрисова укоряющим взглядом, в котором так ясно читалось: «Ну, зачем, зачем вы мучаете его? Вы же видите, он болен и так страдает!.. И вы сами — разве не делаете ошибок?»

— Разрешите считать, я дивизию принял, — сказал Кобрисов. — О чем вам и докладываю.

— Вот и отлично! Я надеюсь, под вашим командованием…

— Есть мнение, — не перебил Кобрисов, а использовал небольшое замедление в речи начальства, — что под моим командованием она в полном порядке отступит.

— Я такого приказа не отдам.

— Я отдам. И, поскольку своего расположения у вас нет и вы находитесь в моем расположении, то я вас направлю в госпиталь. В свой, дивизионный. А госпиталь — эвакуирую в первую очередь.

— Я мог бы тут, в медсанбате… Все-таки при войсках…

— Не приличествует командующему. Там будете раненых стеснять. И самим неудобно будет, крику много.

Командарм посмотрел на медичку жалобно — зачем он меня обижает? Она такой же взгляд метнула в Кобрисова. Но следом посмотрела на своего гарнизонного мужа продолжительно и красноречиво: дурачок мой, ты же ничего не понимаешь, это же наше спасение. Она быстрее него поняла, что это наилучший выход. Кто-то перетянул тяжкую его ношу на себя.

— Я, право, чувствую себя предателем, — сказал командарм, с той интонацией, с какой начинают фразу, не зная, чем ее закончить. — Сваливаю на вас всю ответственность…

— Да ведь я вас, можно сказать, силком отправляю, какое ж тут предательство. Могу и конвой назначить, если будете сопротивляться лечению.

Спустя десять минут, прошедших по большей части в неловком молчании, была подана к крыльцу штабная «эмка», командующий в нее сел — не без поддержки медсестры — и навсегда исчез из жизни Кобрисова.

Нет, это еще не вся была ноша. После отступления от Иолгавы сделалось ясно — если вообще что-то могло быть ясно, — что внятной боевой задачи у всей армии нет, и что Кобрисов принял решение не только за свою дивизию, но и за четыре остальных. Так повис в воздухе, истекающем зноем, задымленном бесконечными лесными пожарами, вопрос — кто же станет на армию!

Пятеро комдивов сошлись на лесной поляне, усыпанной песком вперемешку с хвоей, уселись вокруг костерка, в котором пеклась картошка; адъютантам велено было отойти за кусты. Слово, как водится, предоставили младшему по званию, полковнику Свиридову, вида и впрямь моложавого, даже несколько гусарского; он себя без долгих церемоний объявил председателем собрания и секретарем, объявил и единственный в повестке дня вопрос — выборы командарма. Сам же и предложил кандидатуру Горячева, старшего всех годами.

Генерал-майор Горячев, пожилой, морщинистый, с полным ртом стальных зубов, но телом крепкий и плотный, из бывших конников, снял фуражку, обнажив голову, бритую наголо, и вытер ее платком — сразу потемневшим от пыли.

— Имею самоотвод, — сказал он, глядя угрюмо на свой платок. Сложившуюся обстановку не понимаю. Не могу объяснить людям, почему они должны так действовать, а не иначе. Не знаю, куда вести людей, чего от них требовать. Кобрисов — знает. Может быть, и не знает, а только вид делает. Но и на это нужно мужество, а у меня его нет, извините.

Платок он двумя пальцами опустил в костер, и все смотрели зачарованно, как белая ткань корчится, точно живое существо, которому больно умирать в пламени. Затем посмотрели молча на Кобрисова.

— Тоже не знаю, коллеги, — сказал Кобрисов. — А вид делаю потому, что люди должны чувствовать: они не брошены, как падаль на дороге, кто-то о них думает. Из этих соображений, согласен армию принять.

— Кто еще выскажется? — спросил Свиридов.

Генерал Черномыз, прокопченный и пропыленный, чьи гимнастерка и галифе свидетельствовали, что он из тех, кто не брезгает ползать под огнем, сказал:

— Я бы все же Кобрисова послушал, какой у него план. А тогда я решу, принять мне его с этим планом или же не принять. А не так, чтобы он все взял на себя, а у нас бы у каждого голова не болела. Родину все любят горячо, а ответственность — не так горячо.

Последний опрошенный, генерал Новицкий, человек склада нервического, с изможденным лицом, пребывающий, видно, в большом ошеломлении, сказал раздраженно, едва не истерично, что выполнит любой приказ, но пусть это будет наконец приказ, внятный и членораздельный, ему надоели общие слова и всеобщий бардак.

— Значит, так, коллеги, — сказал Кобрисов. — Контрнаступления не обещаю, еще не полный идиот и псих. Обещаю — драп. Не простой, а планомерный. Покамест я в верхних эшелонах не вижу ясности, считаю главным долгом — сохранение армии.

Свиридов предложил всем подумать минуты три.

— Руки поднимать не будем. А просто, кто согласен, прошу встать и приветствовать нового командующего согласно уставу.

Сам он остался на ногах. Через минуту и все поднялись в молчании.

Кобрисов, тоже встав и всем козыряя, сказал:

— Благодарю за доверие. Завтра до рассвета, с Божьей помощью, побредем потихоньку. А сейчас прошу садиться: может, спеклась уже картошка. И вот, я вижу, у Свиридова фляжечка пояс оттягивает. Разрешаю угостить товарищей.

Было потом и сказано Кобрисову, и внесено в его послужной список, и вошло в анналы Генерального штаба, что вверенная ему армия семь раз на своем пути попадала в окружение и столько же выходила из него, но сам он удивлялся такому выводу. Его можно было сделать, если только предположить, что немцы наступали неразрывным фронтом и что в каждом захваченном населенном

пункте они оставляли по гарнизону и, значит, всегда имели свободные резервы, чтоб тут же заблокировать любое появившееся у них в тылу инородное тело, — чего на самом деле не было и быть не могло. Как иначе могли бы существовать обширные полости и каверны, в которых так вольготно размещались партизанские владения, месяцами не знавшие особых утеснений, постоянно державшие оккупантов в напряжении и страхе? Применительно к своей армии генерал избегал говорить о кольце окружения — к тому же, как полагается, двойном, к тому же и семикратном, — но предпочел бы говорить о подкове, обращенной своим разрывом то в одну, то в другую сторону, так что всегда оставался выход. Да потому, наверно, и считается, что найти подкову — к счастью: она обещает, что положения безвыходного у вас не будет.

Еще говорилось потом, что это чудо какое-то, что армия уцелела, не имея связи с высшим командованием, а Кобрисов скромно помалкивал, что потому-то она и уцелела, что лишилась руководящих указаний сверху и жила своим умом. А когда спрашивали его, откуда же черпалась информация о положении в стране, без которой воинское объединение просто погибает, он отвечал маловразумительно, с оттенком генеральской придури: «Разведчиков надо хорошо кормить. Лучше всех. Тогда они свою работу ценят и про свои три „О“ забывают». Имел он в виду те три «О», которыми всегда оправдывают разведчики невыполнение задания: «обнаружены», «обстреляны», «отошли».

Дни стояли стеклянно-ясные, безветренные, и далеко разносились запахи гари; казалось, армия идет сквозь непрестанный, со всех сторон окруживший ее, пожар. Горели трава и ветви деревьев, горели хаты, горели нефть и сталь, электроизоляция и резина. Горело мясо.

Вся масса войск двигалась тремя колоннами, друг от друга в два, в три километра. Он настоял, чтоб не шли вразброд, но хоть подобием строя, чтоб не было «партизанщины». Так легче идущему преодолеть потрясение оставленности, безвестности. Обозы и госпитальное хозяйство переместили в середину, как это было в Запорожской Сечи. Были головная походная застава, заставы боковые и тыльная, и была постоянная между ними связь посыльными. Ночами походные заставы превращались в походное охранение. Правда, решив однажды проверить, как же несется это охранение, он многих застал спящими, свалившимися от непомерной усталости. К счастью, еще не миновала та пора, когда немцы ночами не воевали. Всех провинившихся он приказал собрать и сказал им, что они этой ночью предали своих товарищей, на первый раз прощается, но впредь проверяющий

будет пристреливать спящих, не затрудняясь их будить. Однако и сам он больше не проверял и не требовал об этом доклада, зная, что ничего другого не останется, как примириться.

Немцы, сперва наседавшие на пятки, вскоре оказались справа и слева, временами забегали вперед. По целым дням слышались отдаленные ревы моторов, лязганье сотен гусениц. Попозже объяснят генералу Кобрисову и покажут на карте, что маленькой его армии угораздило втереться меж двумя жерновами танковыми армадами Гота и Гудериана. А наша агентура вызнала, что два корифея блицкрига друг с другом не ладили, совместных операций избегали и своими флангами старались не соприкасаться. Ох, если б соприкоснулись! Позднее они и вовсе разошлись: Гот повернул на Ленинград, на соединение с Геппнером, Гудериан — к фон Клейсту, на Киев. Преследовали Кобрисова части пехотные, мотоциклетные, кавалерийские, без конца донимали самолеты. Поначалу немцы рьяно пытались что-то отрезать, окружить, но постепенно эти попытки ослабили. Может статься, это объяснялось тем, что какой-нибудь нижестоящий генерал не решался доложить генералу вышестоящему, что с ним соседствует и движется в ту же сторону некое войсковое соединение русских, ибо неизбежно последовал бы вопрос, долго ли соседствует с ним это русское соединение и почему до сих пор оно не разгромлено. Но хотелось объяснения другого: армия, все разрастаясь и усиливаясь, вызывала к себе все большее уважение, вынуждала противника остерегаться ее, и при этом не слишком досаждала ему, она бои не навязывала, она их принимала и при первой возможности из них выходила. Было похоже, у нее своя боевая задача, очень дальняя, которую немцам еще не удалось разгадать.

А задача была, как и обещал генерал Кобрисов у костерка, чтобы как можно больше сберечь людей к тому часу, когда он даст бой решающий и переломный на выгодном рубеже. Одной этой задачи хватало, чтоб занять все его мысли и силы. Там, где отступавшие не опередили в бегстве свои тылы, там они имели обозы с армейским продовольствием, были у них сухари, мука и крупы, мясные и рыбные консервы и сухофрукты, сахар, жиры, каша в концентрате, были и кухни, и свои пекарни. Слишком поспешные теперь продовольствовались кормами подножными и подручными, прореживали колхозные поля и огороды, в селах брали что попадалось под руку. Увы, скоро кончились благодатные земли сплошь курортной Прибалтики, и сразу почувствовался тот резкий перелом, который всегда поражает путника, ступающего на землю Белоруссии: он видит приземистые темные хаты, взывающие к жалости, золотушных

детей и неулыбчивых взрослых, болотистые, скудно родящие низины; в этом краю зачастую только и знали картошку и молоко. Еще был приблудный скот, остатки стада, угнанного на восток, чтоб не досталось ни оккупантам, ни — так уже вышло — оккупируемым. Это огромное, мычащее и блеющее, не доенное, по пути рожающее и околевающее стадо расстреливалось немецкими самолетами, чаще всего штурмовиками «Ju-87», наравне с пастухами-перегонщиками и просто беженцами, но только скотинке не полагалось ни лечения, ни похорон, она невыносимо смрадно разлагалась вдоль дорог в невыносимую июльскую жару, а уцелевшие особи разбредались по лесам или чаще возвращались к своим дворам — и так становились добычей армии.

Армейские снабженцы и самостийные добытчики не делали различия между скотинкой казенной и личной, это к хорошему не могло привести. Близ Молодечно немцы точным фланговым вклинением отсекли головную заставу, а позади выбросили десант. В кольце оказалась вся штабная группа, с которой двигался Кобрисов, — и в кольце огненном: лес, в котором при всей сырости много было сухостоя, загнившего на корню, подожгли с разных сторон огнеметами и зажигательными бомбами. Стены жара сходились неумолимо, треща и стреляя горящими головешками, в панике люди припадали к земле, ее сыростный запах казался заменою воздуха, которого совсем не стало. Палило затылок и уши, казалось — они уже дымятся. Но это и пересилило страх перед пулями. И, уже не думая об опасности иной, а только жаждая глотка дыхания, генерал с полусотнею людей предпринял бросок сквозь пламя. И еще надо было перебежать широкую просеку, которую немцы простреливали насквозь пулеметами с мотоциклов. Навести окружение столь точное воздушная разведка не могла, помогли, без сомнения, местные жители. Впрочем, об этом не думалось, когда перебегали сквозь пулеметные трассы, перепрыгивая через упавших, кому не повезло и кто, может быть, своими телами заслонили более счастливых. Воздух ворвался в легкие опьяняюще, они должны были разорваться от его напора, иссохшей гортани было от него больно. В прохладном лесу, где они отдышивались после перебега, попадались бочажки, еще хранившие воду после давнего — может быть, еще майского — ливня. Она была тухла и вонюча, покрыта ряской и пеной лягушечьей икры, иссекаема зигзагами водяных насекомых. Спасшиеся люди, став на колени, разгребали себе касками более или менее чистую воронку, зачерпывали и пили — и не могли напиться. Он выпил тогда одну за другой четыре полных каски. И

лишь после этого ощутил боль и что сапог полон крови.

Свои две пули он, разумеется, не мог не схлопотать. Одна повыше другой прошли насквозь, не задев кости, но идти он не мог, и его сначала понесли на носилках, сделанных из ветвей и шинели, потом раздобыли ему лошадь под седлом.

Он ехал, вытянув забинтованную ногу поверх стремени — слабый и беспомощный, не могший без чьей-нибудь поддержки слезть по нужде. Но наружно он был — всадник, былинного облика воитель и вождь, и, не зная этого, являл собою притягательную силу — человека, знающего, куда вести. Если б он передвигался на машине, если бы суетился, даже распоряжался энергично, он был бы от многих взоров без пользы скрыт, но человек на коне, пребывающий в спокойствии и раздумье, помещает себя в центр внимания, он вознесен над головами толпы и владеет ее тревогами и надеждами. Он ехал, ослабив поводья, бросив руки на луку седла, морщась от боли, но чувствуя постоянно обращенные к нему взгляды. И далеко окрест разносилась весть о генерале, собирающем несметную силу для отпора.

Нога распухла, и опухоль ползла к колену; было похоже на гангрену, и оставалось только перетянуть ногу жгутиком и отсечь клинком. В деревне близ Орши хозяйка избы усадила его, завернула штанину, приложила к опухоли тряпицу, сочившуюся пахучим настоем из травок и корней, пришептывала над нею, затем помазала слюною коровы, лизавшей своего раненого теленка. Неизвестно, какой был тут главный ингредиент, но день на третий, на четвертый опухоль стала опадать.

…Теперь уже не помнилось, с какого дня пристроился к его стремени новый для генерала и по меньшей мере странный человек, бригадный комиссар Кирнос. Как-то вдруг с высоты седла генерал обнаружил его подле себя, вышагивающим в мрачной задумчивости. В любой толпе военных он бы выделялся обликом неискоренимо штатским: тяжелыми кирзовыми сапогами с прямыми голенищами, слишком широкими для его тонких голенастых ног, слишком длинной гимнастеркой, сбитым набок ремнем, впалой своей грудью и выпяченным животиком. Чем-то напоминал он больную нахохленную птицу семейства журавлиных, скорее всего неспокойным лихорадочным видом, заостренным носом, исступленно горящими круглыми черными глазами. Вспомнилось — он комиссарствовал в той дивизии, которая предназначалась Кобрисову, и это он предпринял контрнаступление на Иолгаву. И вообще-то не расположенный, как многие боевые командиры, к политработникам, генерал его тотчас отставил от командования и попросил впредь не

утруждать себя военными делами. Можно было ждать возмущения, обиды, но нет, с видимым облегчением Кирнос уступил эту должность одному из полковых командиров, которого сам же генералу и рекомендовал, и вот появился рядом и вышагивал часами неотступно.

— Чем могу вам услужить, комиссар? — спросил генерал слегка насмешливо.

— У вас ромб в петлице и у меня ромб, — мрачно ответил Кирнос. — Мы можем и на ты.

Он не спрашивал, а утверждал непререкаемо, генерал не нашелся возразить. Полевая сумка у Кирноса, оттягивавшая ему плечо, под напором содержимого расправила все свои гофры и уже не застегивалась; генерал в ней предположил смену белья, полотенце и мыло, принадлежности для бритья, но оказалось иное. На вопрос, чем это сумка так набита, Кирнос едва не с гордостью показал пачку тонких книжечек, частью во что-нибудь обернутых, частью своего, красно-малинового, цвета.

— Партийные билеты, — пояснил он. — От коммуниста должен остаться партийный билет. Это доказательство, что он жил не зря и погиб не зря.

Он поведал, что начал собирать свою пачку в первые же часы войны и теперь пополняет ее после боев, после обстрелов и бомбежек. Генералу рассказывали, как он бродит среди убитых и обыскивает их карманы, которые у рядовых бойцов помещались внутри галифе; чтобы до них добраться, надо было расстегнуть ремень и пуговицы на ширинке. С немалой досадой он пожаловался генералу, что далеко не все партбилеты удается собрать. Накануне, к примеру, сидел он на берегу речушки с командиром батальона, беседовали, курили — и были разбросаны близким разрывом шального снаряда. Кирнос остался невредим, только в голове у него до сих пор звенит и слух ослабел — но это, впрочем, уже проходит, — а вот у комбата отделившуюся верхнюю половину туловища перенесло через речку. Бесконечно жаль настоящего, пламенного коммуниста, но еще досаднее оттого, что в кармане его гимнастерки остался партийный билет. Нельзя ли, спросил Кирнос, послать за ним людей, ведь это все-таки память о командире Красной Армии, не говоря о том, что билетом воспользуется враг.

У генерала возникло легкое головокружительное ощущение нереальности того, что пришлось услышать, но и поразило соображение, что эти тоненькие книжечки, пожалуй, долговечнее фанерной таблички на колышке, с надписью химическим карандашом. А к тому же и сведения у Кирноса были подробнее, в графе «Уплата членских взносов» он записывал, к примеру:

«Погиб 16-го июля в бою у деревни Барыбино» и далее координаты этого боя по карте-двухверстке.

«А что же, беспартийным учет не полагается?» — хотелось спросить генералу, но не стал.

— Речушка-то узенькая, Евгений Натанович, — сказал он как можно серьезнее. — Чего б тебе самому не сплавать?

Кирнос поднял к нему страдающее, искаженное гримасой стыда лицо.

— Не умею, Фотий Иванович. С детства никак не мог научиться.

Он сказал, что не боится ничего, самое страшное для него на войне форсировать водные преграды.

В горящем лесу он был рядом с генералом и простреливаемую просеку перебегал не спеша, точнее переходил журавлиным шагом, тревожась больше о драгоценной сумке. Это он и высказал предположение, что немцев навели местные жители. И с удивлением, все еще не улегшимся, стал рассказывать, как проходили через Каунас и как его жители провожали отступавших:

— Кто-то пустил слух, что высадились на город парашютисты, немецкий десант, и мы это так объясняли бойцам. На самом деле это были не парашютисты. Они бы стреляли, бросали гранаты, но в нас бросали из окон цветочные горшки, куски штукатурки, шлак с чердаков, кирпичи, а то и детские посудины опорожняли на наши головы. Я должен составить политическое донесение, как мне это оформить? Как воздействие вражеской пропаганды? Или раскрылись подлинные настроения народа, который так и не влился в полноправную семью, не успел за два года привыкнуть к новой жизни? Я не могу написать, что это были отдельные жители, это был чуть не весь город. А если это народ, то чему он сопротивлялся? Отступлению?

— Тебе это для себя нужно? — спросил генерал. — Или для политдонесения?

— Я себя и партию не разделяю.

— Это я усвоил, что не разделяешь. А кому все же конкретно пишешь?

— Партии. Но не теперешней, которую испохабили и разложили, которая утратила все лучшее, что в ней было, а той, какая должна быть — и будет.

— А, ну это долго… Это значит, пока что — себе… Да ничему они не сопротивлялись. Просто зло срывали.

— Но что мы им сделали? Чем так насолили?

— А разве ничем? В гости пришли без спросу. Расположились, как хозяева.

— Так они же сами позвали! Они же пожелали присоединиться! Большинством голосов!..

— Евгений Натанович, это кто же и когда армию на свою землю звал?

— Как?! Историю надо знать. В начале века армяне позвали русскую армию против турок.

Генерал об этом услышал впервые и сказал коротко:

— Ну, так то — армяне.

Час спустя, проведя его в полном угрюмом молчании, Кирнос ему сказал:

— Ты избрал мудрую тактику — всех прощать.

Но генерал никакой тактики не избирал, просто владело им твердое сознание, что все эти люди, окружавшие его, не виноваты. Не по своей вине они проиграли первые бои на границе — только идиот мог приказать им сражаться там, и значит рассматривать условную и случайную линию как боевой рубеж. Сражаться — и где ручеек журчит, и где она — середина реки, и где низ холма. Так облегчили немцам задачу — ворваться на их плечах на позиции укрепленные, заранее предусмотренные для обороны и теперь бесполезные. Вот он услышал о факторе внезапности, который составлял временное преимущество немцев, а единственная внезапность была в том, что величайший полководец всех времен и народов оказался недоучкой и дезертиром, на целых одиннадцать дней устранившимся от командования. Что же после этого винить тех, кто сорвал петлицы или зарыл документы? Или тех, кто поднял руки, а потом бежал из плена, пробирается к своим? Генерал велел принимать всех до единого, не делая никаких попреков. Свинтил знаки различия — будешь рядовым. Бросил винтовку — возьми у погибшего в бою, добудь у врага. Знамя потеряли вступайте в ту часть, которая его сохранила. Если вообще они нужны, знамена…

Иной раз целыми часами шел Кирнос рядом, словно бы и не чувствуя едущего шагом генерала, погруженный в свои мрачные неповоротливые мысли. И однажды, разомкнув бледно-лиловые свои губы, спросил вдруг:

— Фотий Иванович, скажи мне, ты отступаешь или наступаешь?

— Как это? — генерал удивился искренне.

— Ну вот ты говорил, что главное — оторваться от противника, ради этого можно многим пожертвовать. Но мы же от него не отрываемся. Мы с ним непонятно как сосуществуем.

— А не надо мешать ему, и он нам мешать не будет. Зачем ему облегчать разведку боем? Чем больше огрызаешься, тем больше он про тебя узнает.

— Но вот я вижу, в некоторых частях пушки волокут — без снарядов! Зачем такая бессмысленная растрата энергии? И так ведь лошадей не хватает. Мы свою артиллерию в Каунасе, поскольку снаряды кончились, всю побросали в Неман. Заводили моторы тягачей и направляли в воду.

— Ух, какие ж бесхозяйственные мужики!

— Чтоб не достались врагу!

— Так и самим же не достались! Затем волокут, Евгений Натанович, что снаряды легче найти, чем стволы. Этих пушечек полковых, семьдесят шесть миллиметров, много выпущено, снаряды для них найдем. Ну, и бросить жалко. Одни прицелы каких денег стоят!

Кирнос едва не час вышагивал молча, потом спросил:

— А все же ты не ответил мне: ты отступаешь или наступаешь?

— Сам не знаю, — отвечал генерал. — Иду на восток, в Россию. Хочу, понимаешь ли, концом копья Волгу потрогать. Говорят, часовенка там поставлена, где она вытекает из родничка. Там я посижу, подумаю — и скажу тебе, жива ли Россия или уже нет ее.

— А злость ты чувствуешь?

— Чувствую, Евгений Натанович. Огромной силы злость.

— На немцев?

— Не только на немцев. Больше даже — на своих.

— А чувство мести — горит в тебе?

— Да кое с кем бы я посчитался…

— Так я скажу тебе, — произнес Кирнос почти торжественно, с просветленным лицом, с горящими глазами. — Так ты таки наступаешь!

Генерал ответил, пожав плечами:

— Разницы не вижу. Иду вольный по своей земле. Никто не гонит меня, да вроде и не препятствует никто. А в душе — тоска.

Кирнос, оглядясь вокруг, не подслушивает ли кто их разговор, сказал, понижая голос до свистящего хрипа:

— Этого не может быть, что мы такие одни! Ведь говорят, что мы, земляне, навряд ли единственные мыслящие существа во Вселенной. Почему же в России таких, как мы с тобой и все наши люди, больше нет? Ты представь себе, какие полчища сейчас движутся к Москве! И сколько ненависти они в себе несут, сколько обид накопилось. Но это же не армии, это орды, неорганизованный сброд. Ты, Фотий Иванович, сейчас, может быть, единственный командир, у кого под началом — армия! Я все думаю об этих пушках и прихожу к выводу, что ты прав. Нужно добиваться полного комплектования. Чтоб у нас все было

свое!

Пожалуй, генерал, уже хорошо пуганный, сорок дней проведший в камерах Лубянки, заподозрил бы провокацию, если б не полнейшее, безграничное простодушие собеседника. Оно не могло быть игрой, иначе пришлось бы признать этого Кирноса гениальным актером, каким он до смешного не был.

— Вот, оказывается, какой ты собственник, — сказал генерал, усмехаясь. — Может, и свой трибунал заведем? Свою гауптвахту?

— Я серьезно.

— А серьезно, так у нас покамест только пленные свои. И то не знаем, что с ними делать.

Было их с десяток — взятых в разное время «языков», которых отпустить за ненадобностью нельзя было, они бы стали «языками» для своих, а расстрелять — жалко и не за что. Немцы были послушны, сносили терпеливо все тяготы пути, они форсировали реки бок о бок со своим единственным конвоиром, которого они обожали, приносили ему обед с кухни, а когда он прилегал вздремнуть, охраняли его сон и его оружие. Похоже, они были рады, что война для них кончилась, для полного счастья недоставало только уверенности, что их все же не расстреляют.

— Своя артиллерия, свой госпиталь, — перечислял Кирнос мечтательно. Будут и свои танки, и самолеты…

— Вот ты в облаках и паришь, Евгений Натанович, — перебил генерал. Нам бы о патронах думать, где их пополнить, а ты — о танках… Госпиталь у меня! Ты б в этот госпиталь сунул нос. Что армию больше всего характеризует? Отношение к раненым. Слава Богу, мы их не бросаем, не дожили до этого, а толком их полечить не можем. На мою ногу бинтов хватило, а бойцам сестрички любовные подарки делают: свое исподнее режут на ленты и этим перевязывают. А к ранам прикладывают подорожник. Нажуют и прикладывают…

— Но ведь заживают раны, Фотий Иванович?

— Да уж… Заживают.

— Мы все это возьмем по дороге. Я тут приложу все усилия. И надо быстрее, быстрее идти на Москву. Надо противника опередить, чтоб он не ворвался на наших плечах!..

— Ну, это, положим, хороший генерал не допустит. Только зачем опережать? Знаешь, когда медведь на охотника наседает, хочет его задрать, куда верная собачка медведя кусает? Не в морду, нет, она его за вислую задницу тяпает. Вот и я его, как та собачка, сзади тяпну. И покамест фриц со мной отношения не выяснит, в Москву он не войдет.

— В Москву мы войдем, Фотий Иванович! — восклицал Кирнос, уже голос не приглушая, и желваки гуляли по его худым

щекам, поросшим иссиня-черной щетиной. — Оборону там ничего не стоит взломать, да ее и нет, она вся погибла на границе, разговоры о резервах — пропаганда, мне-то лучше знать, чем кому бы то ни было. Самое большее там — три полка НКВД. Кремлевскую дивизию можно не считать, это для почетных караулов, это опереточное войско. И то уже, наверно, разбежалось…

— Но мы же, как-никак, радио слушаем. Вождь любимый — из Кремля говорил.

— Почему ты так уверен, что из Кремля? Если тебе говорят, что это передает радиостанция «Коминтерн», так ты думаешь — из Москвы? А может быть, из-за Урала уже вещают? Из Сибири? Из-за Полярного круга?.. Нет, какая наивность!

— Может, и так. Да что-то блазнит мне, что Москва не сгинула!

— Это ты себя убеждаешь. Это политика страуса. Значит, еще не понял ты, что все погибло. И тебе не только армию придется взять на себя.

— А что еще? — спросил генерал едва не испуганно. Кирнос, подняв к нему лицо, искаженное мукой, выкрикнул:

— Все! Буквально все!

— Ну-ну, — сказал генерал примиряюще, — перегрелся ты, возьми фляжку у меня в подсумке, водички попей…

Кирнос продолжал, словно бы не слыша его, а может быть, и впрямь не слыша:

— Тебе выпала историческая роль: принять на себя все руководство страной, объявить себя единовластным и полномочным диктатором. Да, диктатором. И кто будет этому сопротивляться — предъявить ультиматум. Если не примут, перебить беспощадно. Да! «Если враг не сдается, его уничтожают».

— Господи, твоя воля, — генерал возражал терпеливо, как будто уговаривая больного. — Хорошую ты мне работу придумал.

— Я не придумал. Так складываются обстоятельства.

— Да зачем это мне? Почему мне?

— Потому что больше некому.

Вспомнив, должно быть, свои же слова: «не может быть, что мы такие одни», он добавил:

— Ну, возможно, еще десяток-другой генералов найдется, которым этот бардак осточертел. Пусть будет — совет. Или — военная хунта. Или черт его знает как это будет называться, неважно, лишь бы страну спасти, завоевания революции!.. Почему-то я думаю, что ты будешь — старшим.

А я при тебе комиссаром. Я помогу тебе избежать многих

ошибок…

«А своих не наделаешь?» — подумал генерал.

Остальной путь до вечера Кирнос молчал, погруженный в свои загадочные раздумья. Разговорился за ужином, в хате, словно и не замечая хозяйки-старухи, собравшей им на стол с дюжину картофелин в мундире, две больших луковицы, бутылку мутного самогона.

— Можно объявить себя военным диктатором, — сказал он, макая картофелину, с лепестками неснятой кожуры, в тряпицу с солью. — Но лучше народным президентом. Которого выбрала армия в ситуации чрезвычайной. Это не противоречит духу марксизма-ленинизма, а если угодно, то и букве — учению о вооруженном восстании. Революция обязана себя спасать любыми средствами.

Хозяйка, приглашенная выпить с ними, взглядывала на Кирноса испуганно-уважительно. Едва ли что понимала она в речах двух фронтовиков, поедавших ее картошку, и, верно, не чаяла услышать эту музыку в бедной своей хате, в которой вчера только побывали немцы — и пренебрегли, ушли. И непонятно было, как же эта музыка, возвратившаяся из недавних времен, звучала в ее ушах — сладостно или зловеще? Об этом спросил себя генерал, приняв некую дозу, так горячо, блаженно растекавшуюся внутри. И еще о том он подумал, что, наверное, прав был Верховный, когда во всех подозревал врагов. В сущности, каждый мог им стать. Но ведь сам же он эту вражду и породил.

Генерал хотел спросить у Кирноса, что он про это думает, но такие вопросы нельзя было задавать даже и в тылу врага. Впрочем, когда беседа приняла пьяный оборот, Кирнос об этом заговорил сам, прихлопнув ладонью по столу и затем помахивая перед лицом генерала длинным согнутым пальцем:

— Он… ты знаешь, о ком я говорю… он должен быть низложен. Это первое, что надо сделать! И судить всенародно. Он должен ответить за все свои преступления.

Генералу, хоть он думал сходно, отчего-то захотелось противоречить:

— Что ты так на него свирепствуешь? Тебя лично — чем он обидел?

— Я понимаю твой вопрос. «Кем бы ты был, неистовый еврей, если б не революция, не советская власть? Ты бы свой нос не высовывал из местечковой лавки, где торговали все твои предки до четвертого колена». Шучу, Фотий Иванович… Это — под влиянием возлияния… Итак, отвечаю: меня лично ничем советская власть не обидела. Мне революция, можно сказать,

открыла все пути. Имею политическое образование, которого ты таки не имеешь, возможность жить идеями, духовной жизнью. И что же, я за это должен ему простить тридцать седьмой год?

Генерал удивился, что именно такого ответа и ждал.

— Да что за год такой интересный, скажи на милость! Вот слышал я… в одном заведении, где пришлось мне сорок дней побывать: «Сейчас еще что, а вот тридцать седьмой!» Ну, что же тридцать седьмой? А то, что самих начали хватать, «своих», которые других раньше хватали. Забыл Тухачевский, как он кронштадтцев на льду расстреливал и в проруби спускал? А вспомнилось, поди, когда самого… Главное — самого. Не-ет, я не в обиде на него за тридцать седьмой. Да за одно то, что он Бела Куна шлепнул, я б ему памятник поставил. Этот Бела Кун тридцать тысяч офицеров пленных расстрелял в Крыму. Которые по его призыву к его сапогам оружие принесли и положили. Могли бежать, но не бежали, остались новую Россию строить — революционную! А он их собрал — что значит «собрал»? предложил собраться — и всех перестрелял в долине.

— Он свое получил, — сказал Кирнос. — Я согласен, многие свое получили справедливо — за настоящие, не выдуманные преступления. За то, что уничтожали испытанные партийные кадры…

— В чем испытанные? В живоглотстве, в живодерстве, ты меня прости. Я так говорить могу, потому что и сам руку прикладывал к неправому делу. И прощения себе не нахожу. В молодые годы я за басмачами гонялся. Да кто такие эти басмачи — с ихними английскими маузерами? Где они скачут на своих арабских скакунах? По московским улицам? Нет, по барханам своим. Да я-то зачем полез в ихние барханы? Я-то чего грудью встал за бедных дашнаков? Они меня об этом просили? Еще придет время — внуки этих дашнаков песни сложат про басмачей — и национальными героями назовут. Вот как!..

Хозяйка им постелила на полу, накрыв цветистой занавеской два полушубка. Генерала вполне устроило это ложе, мощам Кирноса оно было жестко, он постелил еще и шинель.

Спали, накрывшись одной шинелью, но вскоре генерал почувствовал, что лежит один. Кирнос сидел на лавке у окна, в которое яростно светил молодой месяц, курил, что-то шептал про себя. В звенящей тишине ночи, с таким уютным пиликаньем сверчка, был пугающе странен этот шепот, похожий на страстную молитву.

— А примет ли она, Россия, свободу из наших рук? — спросил генерал.

Кирнос, тяжко вздохнув, ответил, что сам об этом думает и

просит дать ему еще немножко подумать. Утром, едва тронулись дальше в путь, он продолжил этот разговор с полуслова:

— Что значит «примет ли»? Есть историческая необходимость, народ это обязан понять и поймет. Мы установим подлинное коммунистическое правительство. В духе священных для нас заветов Ленина. То, о котором мечтали лучшие умы человечества. То, что и называется «диктатура пролетариата», а не тирана, возомнившего себя гением. Если только получится у нас, я благословлю эту войну!

Генералу от этих слов делалось уныло. Не под эту ли музыку «диктатура», «священные заветы», — стоял он на коленях в углу и протягивал руки для битья линейкой? Умереть за Россию, за народовластие — это да, это понятно. Но умереть за «диктатуру пролетариата»? А что это? Те чумазые слесари и такелажники, те грузчики и шоферы, которые опохмеляются пивом у ларьков и говорят непечатно о бабах — это их диктатура? Да что они про нее знают?

Кажется, он свои мысли все же выразил вслух, потому что Кирнос откликнулся:

— Но мы установим диктатуру человечную. Которую каждый примет как свою.

— А такие бывают?

— Мы установим, чего бы это ни стоило!

— Правильно. А кто возражать будет — того к стенке.

— Что ж, расстрел во имя человечности, самый массовый и жестокий — я за. Но это в последний раз!

…Лошадь погибла где-то между Оршей и Ярцево. Нежданно зашли над лесом «юнкерсы» и сбросили бомбовый запас на головы людей, не успевших не то что разбежаться, но хотя бы пасть на землю. Генералу никто не помог, он остался в седле и только ждал, удивляясь, отчего так долго не впиваются обильные осколки, визжащие над ухом, не изрешетят его и лошадь. Ему не досталось, досталось ей. Впервые с тех пор, как научился ездить верхом, он утратил власть над лошадью; не слушаясь рывка поводьев, она кинулась вскачь сквозь кусты и попала обеими ногами в какую-то рытвину или в барсучью нору. Сквозь грохот бомбежки он услышал треск ломаемой кости и затем жалкий задушенный, едва не человеческий вскрик. Упав, она ему придавила больную ногу, он света не взвидел от боли, а она продолжала биться, порываясь встать и снова падая…

Подбежавший Кирнос не знал, что делать, как помочь ему выпростать ногу.

— Она встать не может, Фотий Иванович. Обе ноги передние…

— Знаю, что передние, — прохрипел генерал. — Пристрелить ее надо. Быстрей!

Кирнос, выхватив пистолет, направил его в морду лошади и так сморщился, побелев лицом, как будто в него самого направили вороненое дуло.

— В ухо! — кричал генерал. — Самое верное!..

Кирнос, вставив пистолет в ухо лошади, которая сразу и странно притихла, бесконечно долго не нажимал на спуск.

— Да не мучь ты ее! — взревел уже генерал, едва не теряя сознание.

Кирнос, отвернув лицо, выстрелил. Несколько секунд спустя решился он взглянуть на дело рук своих — и ужаснулся разбухшему, раздавшемуся черепу, выпученному глазу. Лошадь перестала биться, но вылезти генерал все не мог. Кирнос, точно в столбняке, замер во весь рост под осколками. Помогли трое бойцов, которые, передвигаясь на корточках, оттащили лошадь за хвост.

— Ты в жизни в кого-нибудь стрелял? — спросил генерал.

— Никогда. В первый раз.

Лошадь раздобыли другую, много хуже убитой. С той крепкой литовской кобылкой, могшей чуть не призы брать, было не сравнить водовозного флегматичного мерина, с отвислым брюхом и нелепыми белыми пятнами по буланой масти.

Кирносу мерин не понравился, вызвал едва ли не омерзение.

— Типичное не то, — сказал Кирнос. — При первой возможности достанем тебе совсем белого.

— Белых в кавалерии не бывает. Бывают — соловой масти. И тогда будет истинное коммунистическое правительство?

Шутка тоже не понравилась Кирносу. Он промолчал.

На другой день он изложил свой план — ему не под силу осуществлять защиту идей с применением оружия, для этого нужны другие свойства души. И он сосредоточится исключительно на руководстве партией.

— Это моя стезя. А ты отвечаешь — за армию.

Генерал покорно свою обязанность принял.

— Надо еще подобрать способных командиров — возглавить руководство военной промышленностью. В наших рядах такие есть. Но самое главное дело на тебе и на таких же боевых генералах. Надо переломить ход войны. Выиграть эту войну. Ты — сумеешь.

— Думаешь, так уж я в стратегии силен?

— А кто такие были Чапаев, Котовский, Фрунзе, наконец? В военном отношении были неучи, не в пример тебе. Но был в них революционный дух, вот чего тебе не хватает. Надо же наконец-то

вплотную познакомиться, что писали Маркс и Энгельс, что говорил Ленин. Тебе бы кое-что почитать. Хотя бы «Критику Готской программы». У меня она как раз законспектирована.

— Я и саму-то Готскую программу не читал.

— Саму — не надо. Надо — критику. Ты поймешь, что жил до сих пор в темноте. Ну, скажем, в полумраке. А здесь ты попадаешь совсем в другой мир, где все просто, предельно понятно, кристально ясно.

Ночью приснилась генералу «Критика Готской программы». Он ее увидел отчетливо — в белом балахоне, с прорезями для глаз. Она выходила к нему, приплясывая, как на танцульках деревенских выходят девки к парням, вызывая отколоть коленце. Почему-то было ясно, что это женщина, и что она — неживая, и почему-то ее звали «Критика Готской программы». Кажется, она сама так себя называла. Проснулся он удивленный и несколько расстроенный: «Ох, неспроста бабы снятся!»

Однажды — уже под Ярцевом это было — прибилась, вырвавшись из своего окружения, группа человек в семьдесят. Кирнос, выявив коммунистов, поставил их на партучет, провел с ними краткую политбеседу. Впрочем, суетливых этих сокращений: «партучет», «политбеседа», которые жизненного времени отнюдь не сберегают, он не употреблял, но всегда — «партийный учет», «политическая беседа». Вернувшись, он рассказал о «случае возмутительном» — как эти люди попали в засаду. Завела их к немцам вертлявая бабка, у которой всего-то конфисковали кабанчика. Конфискацию она приняла спокойно, разве что губы поджала, и вызвалась проводить гостей в соседнее село, где будто бы кричала: «Так вам и надо, извергам, всю жизнь порушили, испакостили, изговняли, так пусть вас тут всех перестреляют!».

— А не перевелись еще Сусанины на святой Руси, — подивился генерал. — И что ж, укоротили бабку? И речь бабкину, и бабкин век?

— Да, пришлось… Без суда. Я понимаю… Но есть же законы военного времени!

— А той бабке, небось, всего пятьдесят стукнуло…

— Не знаю. Ты что, жалеешь ее? Ту, которая за кабанчика сочла возможным человеческими жизнями расплатиться?

— Расплатилась-то она, — заметил генерал, чем вогнал Кирноса в мрачное раздумье. — А представляешь, что был для нее этот кабанчик? Небось, имечко было у него. А как же, покуда растят его — член семьи. А перед тем, как зарезать, прощения у него просят. И почему ж его надо было под мобилизацию отдавать? За что?

Кирнос, снизу вверх, посмотрел удивленно, сказал то ли серьезно, то ли шутя:

— Вот не знал, что у генерала Кобрисова кулацкие настроения.

— А нет кулацких настроений. Они — человеческие. Ты мне скажи, комиссар, вот этого коника мы по какому праву конфисковали у сельчан?

— По праву армии. Население обязано считаться с нуж дами армии.

— Не то говоришь, Евгений Натанович. Армия имеет права, когда она защищает население, когда наступает. А когда она драпает — нет у нее никаких прав. Молочка попросить — и то нету. Только водички из колодца.

— Спорно. И к чему ты это ведешь?

— А к тому, что мы всегда все по праву берем — и все авансом, все в кредит. Когда ж отдавать будем? И чем?

Кирнос, с лицом, которое сделалось от злости каменным, сказал упрямо:

— Есть обстоятельства, когда надо суметь подавить в себе жалость. Сентиментальность — только выглядит, как человечность. Но это — суррогат. Истинная человечность бывает иногда на вид страшна. Но — оправданна.

Ответная волна злости затмевала генералу голову, стучало от нее в висках. Как ни странно, а первым, кого пришлось бы расстрелять, оказался бы Кирнос. Чем не диктатор, дай только волю! Но если пришло на ум, что кого-то для общего счастья надо в расход пустить, то почему не с него начать, с Кобрисова?

Некоторое время двигались молча, затем генерал спросил:

— А ты, Евгений Натанович, крестьянские волнения подавлял?

— Не приходилось. Но что такое классовая борьба в деревне, я представление имею.

— Да? — удивился генерал. — А я вот не имею. Хотя, можно сказать, поучаствовал. Вот, хочешь, расскажу тебе про классовую борьбу. В одной волости помогали мы с коллективизацией. Не так чтобы сильно возражал народ, но надо было семенной фонд обеспечить будущему колхозу, а с этим делом всегда сложности большие. Так что пришлось оказать помощь… не останавливаясь перед применением оружия. И вот, крепкий мужик один, по-нашему с тобой — «кулак», попросил соседа-бедняка, Афоню… вот, даже имя запомнил… попросил спрятать у себя несколько мешков зерна. Тот согласился — не за деньги, и не за долю хлеба, а вовсе бесплатно — потому что не любил этих экспроприаторов, то есть нас с тобой не любил, а хозяев крепких, наоборот, уважал,

считал — тот богат, кто умеет свое беречь и использовать, а не тот, кто чужого нахапал. И не думал никто этого Афоню обыскивать… Посадили кулака в холодную — на хлеб и воду, сказали, что сгноят, если не скажет, куда упрятал зерно. День на десятый он сознался. И где хлеб, сказал, и кто его прячет. Взяли того Афоню, повезли в райцентр, на показательный суд. На одной подводе они с кулаком ехали. И он соседа простил по-христиански. Ни словом не попрекнул того, кто его выдал, всю его судьбу покалечил. А ждала их обоих судьба лютая, одно облегчение — что короткая… А кто же классовый враг-то был? А я и был, Фотий Кобрисов, нынешний советский генерал. И вот понял я: армия существует не для этого. Не для того, чтоб я баб и стариков побеждал да принуждал. Что это за «преобразование» такое, что должны его под дулами и штыками проводить?

Кирнос ни слова не сказал в ответ.

…К августу стало совсем худо. Едва тащилось усталое ослабевшее войско, в изодранном обмундировании, в обувке, которая «просила каши», да и десяткам тысяч ртов этой каши уже не хватало, армейские обозы истощились вконец, а земля, по которой шли, была разграблена и нища. С огородов все уже было вырыто, на полях сожжено, в лесах сорвано и убито все, что могло быть пищей. Уже не нужно было призывать командиров отказаться от своего дополнительного пайка в пользу бойцов, голодали все одинаково, и генерал голодал со всеми наравне. Подступало бездонное, безвылазное отчаяние.

В таком вот отчаянии, когда с утра во рту маковой росинки не было и не обещалось быть, они с Кирносом сидели на земле, прислонясь спинами к дереву, бессильные пальцем шевельнуть и языком. Кирнос еще вдобавок мучился без курева.

И вышел на поляну солдатик — в горбатой шинельке с бахромою на полах, пригляделся к ним, склонив набок голову в добела выцветшей пилотке, и произнес в горестном изумлении:

— Бог ты мой, командующий с комиссаром не евши сидят, бедненькие. А нам-то хоть сухари выдали. Дай-кось поделимся.

Сунув руки в карманы едва не по локоть, перегибаясь с боку на бок, он что-то нашарил, вытащил каменный армейский черный сухарь и разломил его надвое.

— Нате-кось, поточите зубки.

Предприняв такие же глубокие изыскания, он вытащил и ссыпал Кирносу на ладонь горстку махорки, вперемешку с сухарными крошками. Двое высокорослых и вышестоящих мужиков смотрели оторопело в курносое лопоухое лицо солдатика, едва доставшего, наверно, до плеча им. Они не догадались поблагодарить его, а он того и не ждал; ушел

довольный, что кого-то сумел ублажить, сам себе объясняя убыточную свою щедрость:

— Нельзя ж так людям — совсем без ничего.

Генерал Кобрисов, с сухарем в руке, чувствуя в горле комок, скосился на Кирноса — у того в глазах стояли слезы. Стыдясь их и злясь на себя, он их утирал кулаком с зажатой в нем махоркой.

— Я это не смогу забыть… Никогда! — выдавил он из себя. — Я судил о жизни и ничего о ней не знал, а теперь я знаю все. И я благодарю войну — за то, что дала мне это узнать.

Генерал говорить не хотел. Он знал, что голос его прервется.

— А мы даже не спросили, как его зовут, — сказал Кирнос. — Наверно, и спрашивать бессмысленно, этот он и есть — народ… О котором мы оба с тобой ничего не знали.

«Так сразу ты все узнал, — подумал генерал. — Даже завидно. А я вот и раньше не знал и еще больше не знаю».

…По всем прикидкам генерала, он должен был вывести армию куда-то севернее Москвы, скорее всего к каналу Волга — Москва, который мог бы стать рубежом окончательным. Он таким и стал, когда в ноябре подползли к нему танки Рейнгардта и Геппнера. Есть сведения, что немцам удалось даже переправиться через канал, но лишь на сутки, и место переправы оказалось, по-видимому, ближайшим для них подступом к Москве. По одним отсчетам, это в 17-ти километрах от нее, по другим — в 35-ти. И то, и другое верно, все дело в том, откуда считать — от окружной железной дороги, бывшей тогда границей города, или от Спасской башни Кремля, служившей издревле как бы начальным верстовым столбом. Суждено и генералу Кобрисову принять участие в тех боях и выбыть из них по оплошности — может быть, извинительной, — чтоб быть чудесно спасенным руками Шестерикова и наступлением Власова. Но это случится в декабре, а в августе 1941-го было еще так далеко до Волги, которую мечтал он потрогать концом копья…

…В августе он дошел до малого городка под названием, которое показалось ему знаменательным: «Владимирский Тупик»; в тридцати километрах от него брала начало из родника другая великая река России — Днепр. Впрочем, и об ее истоке не узнал он, поставлена ли над ним часовенка или нет. Вероятно, он проявил бы побольше любознательности и упрямства, если б мог предвидеть, что когда-нибудь свяжется его жизнь с тем же Днепром, но в его полноводном течении, с плацдармом на Правобережье, с городишком Мырятином, с другой армией, не этой, которую он потерял, отправясь на французский коньяк в Большие Перемерки.

В этом Владимирском Тупике впервые за войну увидели

трамвай. Может быть, то была единственная на весь город линия, у нее и номер-то был первый. Вагоны, один красный, другой синий, были с двумя токосъемными дугами — во избежание вольтовых вспышек ночью. Здесь блюли светомаскировку. Стекла вагонов были крест-накрест заклеены полосками газетной бумаги, и трамвай вез на себе плакат: «Трус и паникер — пособники врага!» Все в этом мобилизованном воинственном трамвае показалось генералу трогательным и беспомощным. Он необъяснимым чутьем почувствовал, что перед ним до самой Москвы — едва ли не пустое пространство. И он представил себе, как его пересекает орда войск, врывается в столицу, растекается по ее улицам и площадям, как его танки, невесть откуда взявшиеся, лязгают по брусчатке и наполняют городской пейзаж черным дымом. Он первым делом отворяет все тюрьмы, а затем, надев шпоры, сопровождаемый своими командирами и толпою недавних арестантов, входит в ворота Кремля, поднимается широкой лестницей, идет по ковровым дорожкам высочайшего учреждения. Здесь обрывалась его фантазия. Далее он не заглядывал — как человек военный, который не привык строить далеко идущие планы. Никогда ни одно сражение не было по такому плану выиграно. Война сама подскажет, что делать.

Стало вдруг ощутимо, что впереди уже никаких немцев нет. Похоже, они на что-то напоролись и растеклись в стороны, опасаясь попасть между двумя огнями. Казалось, уже и нет препятствий все же дойти до того родничка, но вдруг головная застава уперлась в чью-то оборону и была обстреляна. Разведка принесла новость: там, в окопах, слышится явно русская речь. А затем понемногу, постепенно стало происходить то, что и всегда бывает в таких случаях, когда наступающие и обороняющиеся говорят на одном языке. Плотная оборона оказалась вполне проницаемой, нашлись такие смельчаки, назвавшиеся «ходоками» или «землепроходцами», которые сквозь нее хаживали погостить и возвращались. С той стороны тоже были «ходоки» и «землепроходцы», они смущенно выведывали: «Вы ж не против нас, верно?» Так, сутки напролет, стояли одна против другой две силы, неизвестно чем и почему разъединенные и томимые взаимным притяжением.

И вдруг все оборвалось. От последних гостей стало известно, что весь передний край в одну ночь заполнился частями НКВД. И как будто передний край отсекли, он ощетинился пулеметными гнездами, засадами снайперов; где протоптаны были тропы мира, поднялись ряды кольев с прядями колючей проволоки, зазмеились в травах и лопухах спирали Бруно. А где и так нехожено было, выросли таблички, извещавшие путника о

минных полях. Затем появилась громкоговорительная установка, огласившая окрестность призывами переходить к своим, не слушаясь провокационных приказов командиров. Гарантировались освобождение от наказания, возможность — после надлежащей проверки — встать на защиту любимой родины.

Генерал с Кирносом слушали это сквозь распахнутые окна хаты, на окраине села, и оба молчали. Кирнос был мрачен и нахохлен, лоб его бороздили мучительные складки. Он курил и морщился, не поднимая взгляд. И отчего-то было впервые неловко вдвоем.

Затем появился в небе двухмоторный десантный ЛИ-2, с красными звездами на крыльях и фюзеляже. Это был первый самолет, от которого не надо было прятаться. И люди, высыпавшие на улицы, смотрели на него завороженно. Он полетал кругами, должно быть что-то высматривая, затем от него отделились и зависли над лесом три парашюта.

Были у троих этих посланцев одинаково жесткие лица с глазами ястребиными, которые сверлили и повелевали, вынуждая к заведомой покорности. Было похоже, они себя подготовили к возможной смерти и перешли ту грань, за которой уже ничего не страшно. И оттого неподавимый страх возникал в душе собеседника. Такие лица, подумал генерал, бывают, наверно, у расстрельщиков. Позднее, повидав эту категорию людей, он убедился, что у хорошего расстрельщика, любящего свое дело, лицо зачастую пухловатое и задумчивое, рот небольшой, чувственный и женственный, а глаза мечтательные, с поволокою. Нет, перед ним были отчаюги, боевики, профессионалы ножа, стрельбы навскидку, костоломных и смертельных ударов руками и ногами. Такие часто вербуются из блатных.

Один из них, с перебитым носом, представился старшим, второго тоже назвал по имени и званию. Третьего почему-то ни он не назвал, ни сам тот не назвался. Этого можно было и не заметить, но за генералом был уже тюремный опыт, камерные предания, из которых он почерпнул, что во всякой группе славных чекистов есть непременно один, который себя не называет; он-то и есть главный. В разговор этот неназываемый не вступал, а только смотрел в упор с нескрытой враждебностью.

Они потребовали оставить их наедине с командующим. Кирнос взглянул на генерала вопросительно и тотчас опустил голову и застыл, как будто ждал себе приговора. Было несколько тяжких секунд, покуда генерал размышлял, а те трое не сводили с него взглядов. Он думал о том, что это всего лишь излюбленная их «проверка на вшивость» и что подчиниться ей унизительно, но

не менее унизительно ей воспротивиться, выказав тем свой страх. Он не думал о том, что в эти секунды решает он судьбу другого человека.

— Подожди у себя, Евгений Натанович, — сказал он как можно спокойнее, беззаботнее, всем видом не придавая важности этому требованию парашютистов. — Мы тут с товарищами ненадолго…

Кирнос встал медленно, точно бы отклеиваясь от лавки, с бледным, сразу обострившимся лицом, зачем-то расстегнул и застегнул свою драгоценную сумку, еще раз взглянул на генерала — показалось, с укором и жалостью. Никто из них троих не смотрел на него, покуда он не вышел.

— И охота вам была с неба прыгать? — сказал генерал. — Хорошо, что ноги не переломали об деревья. А что б вам было чинно не прийти, парламентерами?

— Это как? — спросил старший, обдав его ледяным взглядом. — К вам с белым флагом?

Тот, который не назвался, смотрел с презрением.

— Не учел, — сказал генерал, — что так нынче положено встречать окруженцев.

Было тягостное унылое чувство разочарования: вот он пришел к своим, к соотечественникам, о встрече с которыми все же не переставал мечтать, а вышло, что прежде всего утратил свободу, какая была у него в самые горестные дни, в задымленных лесах и вонючих болотах, и теперь остается лишь пригнуть голову и покорно стать в стойло. Кто еще так мог бы встретить его, кто еще так обожает соотечественников своих, как русские?

— Какие намерения, генерал? — спросил старший, с перебитым носом.

Второй смотрел так, словно вот сейчас выстрелит. Третий, который не назвался, его усмирил взглядом, в котором ясно читалось: «Погоди, никуда он у нас не денется».

— Куда ж мне от вас деться? — сказал генерал. — Вы намерения мои наперед знаете.

— Отчасти знаем, — сказал перебитоносый, с неопределенной угрозой в голосе, налегая локтями и грудью на стол, за которым сидел против генерала. — И кое-какие настроения, имеющие место в вашей, с позволения сказать, группе войск, себе представляем.

— С позволения сказать, у меня армия, — сказал генерал.

Никто из троих не возразил ему, но как не возражают сморозившему явную глупость. А в голове пугающе пронеслось, что, наверно, кто-то же слышал его с Кирносом беседы и как-то

сумел передать — да через тех же «ходоков», «землепроходцев»…

— Ваше соединение, — сказал старший, — придется расформировать по отдельным частям. Есть указания о выходящих из окружения. В таком виде ваша армия существовать не может. Будете противиться — предъявлю вам ордер на арест. На ваше имя, подписанный.

— Вы рискуете. Не забудьте — находитесь в расположении моих войск.

— Мы вас отсюда выведем и черезо все расположение проведем под конвоем, без ремня. Уверяю вас, генерал, ни один человек из вашего войска за вас не вступится.

Тот, который не назвался, застыл и, казалось, моргать перестал, смотрел колючими глазами в упор. Второй смотрел на него вопросительно: может быть, не церемониться, взять и скрутить? И то и другое показалось генералу разыгранным приемом. Не раньше они его могли бы вывести под конвоем, чем он отдал бы приказ разоружиться. Иначе зачем бы им тратить время на беседы? Но едва отдаст он этот приказ, они его, уж точно, скрутят.

— Как люди военные, — сказал генерал терпеливо, — вы должны понимать, что выход из окружения такой массы войск — дело сложное и опасное.

— Как военный человек, — сказал старший, — вы тоже должны понимать: наши люди идут на риск, когда выходят на соединение к неизвестным частям. Неизвестно, кто вы такие в данный момент. Может быть, продались давно немцам. Может, нападете и всех нас перестреляете, как куропаток.

Веселая мысль пришла в голову генералу, и он ее высказал:

— Почему ж так неуверенно: «Может быть, продались», «Может быть, нападете»? Неужто людей ваших, осведомителей, не было в моей армии?

— Я только указываю основания для законного недоверия, — сказал старший. — А без наших людей нигде не обходится. И они представили свои рекомендации. Потому и настаиваем на разоружении.

Генерал закрыл глаза на несколько мгновений, ощутил себя как бы в одиночестве, где можно было принять верное решение, и сказал:

— Оружие сдать отказываюсь. Противник от меня в опасной близости. Оставить людей на фронте безоружными хоть на час — это гибель. Этого я не прикажу. Можете в меня стрелять. Можете убить, но тогда уже вам самим придется объявить моим людям, чтоб сложили оружие. Жалко, я не увижу, что они с вами сделают.

Все трое переглянулись. Такой поворот беседы, очевидно, был у них предвиден. Тот, который не назвался, еле заметно кивнул.

— Тогда так, — сказал старший, — по одному полку, в походном строю, оружие — тоже по-походному, на ремне за спиной. Орудия, минометы зачехлены, снаряды и мины, если они есть, отдельно.

— В общем, шаг вправо, шаг влево — считается побег?

— Считается — сопротивление. Выходить в строго указанные время и место. В других местах, при попытке прорваться, будете расстреляны артиллерией и танками.

— А у вас они есть?

— Будете расстреляны всеми огневыми средствами обороны, какие имеются в наличии.

— Блефуете вы, никаких сил и средств нет у вас. Разве что ополчение. А это я знаю, что такое. Я с ополчением в Гражданскую навоевался.

Их молчание сказало ему, что он угадал. Он, впрочем, возражал только чтобы выгадать время и все как следует обдумать. Он знал, что и полчаса взять на размышление не может. Эти полчаса ему зачтутся потом в трибунале. Но ему, даже к удивлению его, хватило и минуты. Оказалось, он давно все это обдумал.

Никуда не уйти было — ни от тех перспектив, какие обещал Кирнос, ни от тех требований, что сейчас были ему предъявлены. Всюду неизбежность.

Еще частичку времени он выгадал себе, спросив:

— А кто же полки поведет? Мои командиры или вы своих назначите?

— Второе, — ответил старший. — Вам же нужны провожатые. Кто вашим людям укажет проходы в минных полях?

— Да как-то находили мои люди проходы, ухитрялись… А я с комиссаром в какой роли выступим?

— За вами придет машина.

— Закрытая? С провожатыми?

Старший, поглядев на того, кто не назвался, ответил холодно:

— Можно и в открытой.

— Так, — сказал генерал. — И найдутся такие, кто мою армию возьмет?

— Хоть отбавляй, — сказал старший, усмехаясь все еще напряженно.

Генерал тоже усмехнулся и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

— В июне что-то не много было охотников. А тут нашлись…

— Так уж два месяца прошло, пора и в чувство прийти.

Ординарец, ворвавшийся с грохотом, всех заставил вздрогнуть. Парашютисты, повернувшие головы к двери, не привскочили, но в руках у всех троих оказались пистолеты.

— Товарищ генерал! — кричал ординарец с порога, не замечая наведенных на него стволов. Этот предшественник Шестерикова и поступал, и выражался своеобычно и несколько невпопад. — С Евгением Натановичем — беда!

— Что за беда? Припадок сердечный?

— Хуже.

— Арестовали, выручать надо?

— Хуже. И сказать вам не смею. Беда, и все тут!

Генерал, поняв, что он не врет, кинулся со всех ног, даже подумать не успев, что незваные гости его догонят и скрутят.

В отведенной Кирносу хате бросились в ноздри генералу запахи жженой бумаги и порохового дыма. Кирнос, в странном белом тюрбане, полусидел в углу, куда свалился с лавки после выстрела. Пистолет лежал рядом на полу.

Перед тем, как выстрелить, он обвязал голову полотенцем, чтобы не разнесло череп. И все равно было видно, что в этом комке собраны разрозненные части. Никакой записки он не оставил, лишь аккуратная высокая стопка партбилетов была на столе и несколько страниц из школьной тетрадки в косую линейку, исписанных карандашом, — политдонесение, начинавшееся отчетом о Каунасе. Командирская сумка его была пуста, в перевернутой каске — пепел и клочья разорванных и полусгоревших бумаг. Это были его письма, фотографии, давние конспекты, испещренные поздними карандашными пометками.

«Что же ты сделал, Евгений Натанович? — спросил генерал. — Побоялся, что я твои мысли несоответствующие перескажу кому следует? За кого ж ты меня держал?»

Но дело было не в этом, совсем не в этом.

Как многие самоубийцы, он сохранил на лице выражение, с каким убивал себя, — и это было выражение муки, непосильного для души страдания и тяжкой своей вины. Не перед кем-нибудь, перед самим собою. Точно бы он себя казнил за свое святотатство. Так оно, верно, и было.

Парашютисты стояли за спиной генерала, он затылком чувствовал их дыхание. И не назвавший себя разомкнул наконец уста:

— Интересно, чего это он боялся?

Генерал, вспомнив, что Кирнос говорил ему о жене и сыне, сказал:

— Ничего он не боялся. Контузия у него была.

…Куда девались потом эти парашютисты, генерал не мог бы

вспомнить. Они как будто испарились — бесследно и стремительно, как и те части НКВД, заполнившие передний край. Похоже, произошло это при первых же залпах немецкой артподготовки, слишком массированной, чтоб остались сомнения насчет неминуемого удара. И уже ни о какой проверке окруженцев не могло быть речи, вся забота была — как развернуть в краткие часы громоздкое тело армии для удара упреждающего. Спешно формировались несколько батальонов, куда входили на равных и вчерашние окруженцы, и те, кто их встретил близ Владимирского Тупика, неподалеку от истока Днепра.

В закатный час генерал вышел на крыльцо проводить их. Он их провожал на запад и сам смотрел туда же, где небо цвело тревожным оранжевым цветом, все больше густеющим, переходящим в темно-свинцовый. Батальоны уходили в ночь, чтобы на несколько часов, пока развернется армия в боевые порядки, заслонить ее своими телами. Артиллеристы катили пушки на конной тяге, пехота — с тяжелыми скатками через плечо, в ботинках с обмотками — пылила следом по улице села и пела про них — голосами, соответственно уставу, бодрыми и молодцеватыми:

Час пробил,
Труба зовет.
Батарея, стройся!
Гром гремит.
Война идет.
Заряжай,
Не бойся!

За плечами этих солдат — за километрами, окопами, батареями, бетонными надолбами и рельсовыми «ежами», и все же за плечами этих солдат — лежала великая столица, погруженная во мрак и тревожное ожидание. Войска готовились к легендарной обороне.

И дико было представить генералу Кобрисову, как бы он взламывал эту оборону, покуда еще такую жиденькую, как подавлял бы сопротивление этих людей, ничего не подозревавших и которые так тепло, с чистыми сердцами, приняли его людей, накормили их, поделились «наркомовской нормой» и махоркой.

Но не так же ли дико — плечом к плечу с ними, локоть к локтю, кровью и плотью своими оборонить истязателей и палачей, которые не имели обыкновения ходить в штыковые

атаки и выставляли перед собою заслон из своих же вчерашних жертв?

А может статься, и завтрашних?..

Глава шестая. ПОКЛОННАЯ ГОРА

Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?

Н. А. Некрасов, «Железная дорога»

1

Чем ближе к Москве, тем чаще возникали на пути контрольно-пропускные «рогатки», где вместо шлагбаумов перегораживали шоссе грузовики, стоявшие впритык радиаторами друг к другу, нагруженные мешками с песком, и лишь по предъявлении документов дежурному и по его команде раздвигались, давая пройти «виллису». Документы предъявлял адъютант, всякий раз извлекая их из целлофановой обертки — как из платка или онучи. Генерал молчал, старался глядеть в сторону, с видом брезгливым и настороженным, мучительно ожидая каких-нибудь расспросов. Но дежурные ни о чем не спрашивали, только быстро и косо оглядывали машину и, почему-то вздохнув, козыряли на прощанье. Адъютант вновь, не спеша, заворачивал документы в целлофан. Но, кажется, они успели все-таки отсыреть.

Впрочем, все меньше генерала Кобрисова раздражали эти мелочи, все реже вспоминал он свои споры с Ватутиным, с Жуковым и уже уставал переигрывать то совещание в Спасо-Песковцах, которое постепенно приходило к одному варианту — тому, какой и был в действительности, — а все чаще задумывался, что ожидает его в Москве. В общих чертах он представлял себе разговор в Ставке, после которого и в самом деле месяца на полтора, на два отпустят отдохнуть скорее всего в Архангельское, благо зима на носу, походит на лыжах, проделает эти ихние дурацкие «процедуры». После чего, вероятно, позовут формировать новую армию — не для себя уже, разумеется, для чужого дяди. Или дадут училище — выпекать шестимесячных лейтенантов. А то — засадят в каком-нибудь управлении Генштаба бумажки перебирать до конца войны. Дальше за тот барьер, который назывался «конец войны», — он не заглядывал,

там ему как будто и места уже не было. И все чаще звучали в нем чьи-то, невесть где подхваченные, слова: «Жизнь сделана». Оказавшаяся такой короткой, вот она и подошла к своему пределу.

А в самом деле, куда ему теперь вкладывать силы, чем увлечь себя? Дачей в Апрелевке? Неужели дойдет он до того, что жизнь заполнится радостным созерцанием муравья, переползающего тропинку в саду, или дрожью крыл стрекозы над прудом — после того как ее наполняли карты и планы сражений, конский топот и лязганье гусениц, сладкий воздух вокруг грохочущих батарей? Всякое созерцание пугало его, оно было началом угасания всех желаний, кроме желания покоя. День ото дня будет все безобразнее — погружение в непременный послеобеденный сон, потом — сон при гостях, покуда последняя дрема не смежит веки навсегда. Чем привязать себя к жизни, чтоб подольше выдержать одолевающее притяжение небытия?

Что скажет жена, он тоже представлял себе — огорчится, конечно, а в глубине души все же и обрадуется, что он, слава Те, Господи, отвоевался, жив, с нею рядом. Вот с дочками будет потруднее: не раненый, не контуженный, как он им все объяснит? Разве втемяшишь им в головы, в которых сейчас кисель вместо мозгов, что бывают, хотя и редко, такие случаи, когда снимают именно за успех? Нет же, навсегда он будет для них — незадавшийся полководец, несправившийся командарм. Где «не справившийся»? Да под несчастным Мырятином! А сколько он стоит, этот Мырятин? Десять тысяч? Пятнадцать? Легко считать, если ты пришел на готовую армию, не тобой сформированную. А если ты сам ее собирал — с бору по сосенке, из маршевых необстрелянных рот, из частей, раздробленных в окружениях, сохранивших свои знамена и потерявших свои знамена?

Почему-то он спорил с дочками, будто они и в самом деле его корили, и чувствовал к ним неприязнь, и к жене ее чувствовал — за то, что не родила сына. Вторую-то, собственно, и затеяли, потому что хотелось парня. И добро бы они пошли в нее, она хороша была молодая, но каково было узнавать в них свою «корпулентность», мясистость лица, и каково еще будет с ними потом, на выданье. Лошади, думал он, вот бы о чем побеспокоились, а то все с расспросами, с упреками!.. Ах, как сейчас недоставало сына, который бы все принял к сердцу, как если бы сам прошел с отцом от рубежа к рубежу, и понял бы его без долгих слов, и не осудил. Сыну-то можно было бы объяснить, что жить им довелось в стране, где орденов и всяких иных наград выдается больше, чем в какой бы то ни было другой, и где никакие заслуги не имеют цены, стоит тебе лишь пошатнуться.

Уже замелькали подмосковные названия, он узнавал знакомые места, или ему казалось, что узнает, и сердце сжималось от робости и тоски. Он уже рад был, что день кончается и к своему дому на улице Горького он подъедет совсем к ночи. Дочки уже будут спать, а жена выйдет встречать в халате и в косынке, низко надвинутой на лоб, — простоволосая она давно уже не ходила, а все в косынках, стянутых спереди узлом, — она повиснет на нем, заплачет от радости, и он скажет ей только: «Покорми нас, мать, да и спать уложи, завтра наговоримся». В хлопотах ей и гадать будет некогда, почему вдруг приехали, а утром он уже явится в Ставку, и после того гадать будет не о чем.

Но прежде, чем кончился день, кончился бензин в баке, и покуда искали, где заправиться, ходили туда с канистрой, быстро, неумолимо стемнело. А ехать без света, с одними синими подфарниками, не хотелось, все-таки не фронт, зачем зря себя мучить. Заночевали в дежурке, возле «рогатки», и была грустна и бессонна для генерала последняя эта ночь перед Москвой, все он кряхтел и ворочался на скрипучей койке в жарко натопленной комнатке. Он зло завидовал своим спутникам, мигом провалившимся в сон, и чувствовал себя уже безнадежно состарившимся, изношенным, едва не больным.

И что-то тревожило его, дергало, вырывало из сна — всегдашнее его беспокойство, что он чего-то не сделал, не успел. Девушке Нефедова так и не написал он, как обещал. Читая Вольтера, отвлекался от всех своих забот, а о той, не виденной, все-таки помнил. Но так быстро все отошло от него вместе с армией, он сразу оказался не у дел. И написать ей — тоже не было его делом. И куда-то непременно он должен был вернуться, где давно ждали его, — это, он уже знал, началось засыпание, это пришел сон, который несколько раз ему снился, так что уже не помнилось, сон это или воспоминание о яви. Было мглистое утро поздней осени, и вокруг были товарищи его, юнкера Петергофской школы прапорщиков; с ними он шел к вокзалу, где предстояло им разделиться: одни уезжали в Петроград, другие их провожали. Еще, значит, не распалось их мужское содружество, а выпили они перед тем не на прощанье, а оттого, что настроение было молодое и приподнятое. Но, странное дело, это однокашников своих он видел молодыми, тогдашними, а себя — нынешним, пожилым, с ноющими суставами, и от этого ныло сердце: может быть, это он среди мертвых? А значит, и среди убитых им?

В те дни на улицах Петергофа много появилось революционной матросни, братишек из Кронштадта и

Ораниенбаума, с пулеметными лентами крест-накрест и маузерами, свисавшими только что не до земли, они задирали офицеров и юнкеров, приставали с вопросами: за кого ты и против кого, — и если ты говорил, что не за и не против кого бы то ни было, то они решали, что ты за того, против кого они, и затевали драку. Ходить по Петергофу надо было втроем, вчетвером. Кобрисова, рослого и на вид опасного, да при солдатском Георгии на груди, не трогали и одного, но вслед выкрикивали оскорбления и угрозы «будущему золотопогоннику». А накануне они устроили митинг на площади перед вокзалом и призывали не оказывать никакой поддержки гнилому продажному контрреволюционному буржуазному правительству, засевшему в Зимнем дворце. Между тем едва не половина юнкеров школы для того и спешила в Питер, чтоб заступить на охрану этого правительства, а другая половина не видела в том нужды или вовсе была против, но не заодно с братишками. В этом и была сложность: и те, кто уезжал, и кто оставался, и сами эти полосатые братишки — все были сплошь революционеры. И все люто враждовали с революционерами, которые были также и контрреволюционерами. К революции призывал главарь большевиков Ленин, но и генерал от кавалерии Корнилов был спаситель революции, он ее спасал от революции Ленина, а министр-председатель Керенский спасал революцию от революций их обоих. Получалось, что у каждого своя революция, а у противника она была — контрреволюция, и, кажется, один Кобрисов не имел ни того, ни другого, поэтому и не знал, ехать ему в Питер или остаться, и этого было не решить на коротком пути к вокзалу.

Петергофский вокзал имел две платформы, выходившие из-под высокой остекленной арки и далее крытые легким навесом на чугунных, фасонного литья, опорах; ближняя сейчас пустовала, и юнкера спрыгивали с нее на рельсы и шли ко второй платформе, где стоял поезд, карабкались на высокие трехступенчатые подножки, колотились в запертые с этой стороны тамбуры. За пыльными стеклами вагонов мелькали фуражки и лица отъезжавших. Решиться надо было в какие-нибудь секунды, потому что уже пробил второй звонок и вскоре было бы не успеть перебежать через рельсы: приближался встречный из Питера. В этом месте своего сна чувствовал Кобрисов неодолимое оцепенение, сковавшее и ноги, и все его большое тело, чувствовал страшную, изнурительную раздвоенность — ему хотелось и опередить встречный поезд, и чтобы он скорее налетел и не пришлось бы уже перебегать. Вот уже последние, кто хотел того, перебежали, вцепились в поручни, повисли гроздьями, и тут

поезд тронулся медленно, как бы в раздумье, и они оглядывались на тех, кто оставался, и так до самой последней секунды, когда встречный налетел с грохотом и заслонил их. Вспоминал об этом Кобрисов с грустью и теснением сердца, оказалось это не простым расставанием, но великим русским разломом. Он это смутно чувствовал и тогда, хотя отъехавшим надлежало всего несколько дней отстоять в карауле у Зимнего и вернуться. Не вернулся никто.

А уже через год так сложилось, к тому привело Кобрисова его оцепенение, что где-нибудь в Сальской степи он летел на своем чалом Буяне, с оттянутой назад шашкой, распяливая рот криком: «Даешь Котлубань!» — а встречно летели с оттянутыми шашками и с криком бывшие дружки, Мишка и Колька, теперь смертельные враги ему — только из-за того, что они перебежали через рельсы, а он нет… Он не знал, как все это объяснить своим дочкам, и надо ли объяснять, имея на погоне две генеральские звезды. Но почему-то опять он злился и доказывал им, что выбор уехавших оказался не лучшим — было повальное бегство из Крыма, чужбина, голод, позор нищеты посреди чужого богатства и роскоши. Хотели бы они, что их папка зарабатывал им на жизнь, играя на гармони в ресторанах? Или бы в цирке показывал вольтижировку? Да пошли они прочь, не о чем ему с ними разговаривать!

Но понемногу приходило к нему смирение, и прежде всего он примирился с женою, зная, что в споре его с дочками она, конечно, примет его сторону и пресечет неуместные расспросы. Она примет его сторону в споре с целым светом и найдет слова самые убедительные и выскажет их не сразу и не впрямую, но исподволь, в час по чайной ложке, и выйдет само собою, что все кругом карьеристы и шкурники, один ее Фотя — талант и храбрец, которого ценить не умеют. Это у нее так славно получалось!

У нее много чего получалось хорошо, а ведь, кажется, и не так умна была. Однако ж ума этого хватило, чтоб заставить его когда-то, притом издали, споткнуться об ее лицо. Кажется, впервые он задумался всерьез, что за таинственное существо связало с его жизнью маленькую свою жизнь. Таинственное это существо, Маша Наличникова, произрастало в деревне близ Вышнего Волочка, верстах этак в тридцати, а по другую сторону того же Волочка, и на таком же почти расстоянии, дислоцировался тогда его полк. Каким таким чудом они могли бы встретиться? Но все дело в том, что деревня ее была не просто глушь, но глушь с обидою на железную дорогу, проходившую вблизи, на магистраль Москва — Ленинград, глушь с завистью к

поездам, проносившимся мимо их полустанка, на котором не всякий-то местный поезд останавливался, к спальным вагонам, освещенным то вечерним оранжевым, то ночным синим светом, из которых вылетали душистые окурки и дерьмо из уборных. Развлечением было прогуляться до полустанка, там в буфете посидеть с пивом, закусить бутербродами с заветренной черной икрой, а Вышний Волочок был уже просто праздником, о котором вспоминалось неделями. И таинственное существо задумалось, как из этих праздников перенестись в другую жизнь, которая год за годом проносилась мимо. Услышанные в школе слова основоположника насчет «идиотизма деревенской жизни» запали ей в душу и уже не могли быть вытравлены позднейшими уверениями о высокой духовности «раскрепощенного советского крестьянства» — в них лукаво прочитывалось именно «закрепощение», и в самом воздухе реяло, что надвигается нечто неотвратимое, и этого идиотизма еще должно прихлынуть, так что от него уже будет не избавиться. Еще пока можно было ей, беспаспортной, проявив некоторое упрямство, отпроситься на какую-нибудь великую стройку, но ее страшили рассказы вернувшихся оттуда; в ее представлении с этими стройками нерасторжимо связалось житье на голом энтузиазме, в грязном и тесном общежитии, с клопами и вшами, с пьяными гитарными переборами во всякое время суток, грубая, уродующая женщину одежда и неженски тяжелый труд, с производными от него неизлечимыми женскими недомоганиями, драки и поножовщина, приставания, насилия и аборты, которые в девяти случаях из десяти кончались гибельно. А еще, рассказывали, могло быть и так, что лагерную жизнь строителей в одночасье обносили колючей проволокой и на вышках поселяли часовых с винтовками, которые должны были этот лагерь охранять от тех романтиков, кто попытался бы из него бежать… Насколько все это правда, она не знала. Но знала, что живет в стране величайших возможностей, где возможно все.

Был и второй путь — и все чаще она, девятнадцатилетняя, думала о нем, сознавая и цену себе, и что цена эта с каждым годом возрастала, но не беспредельно, а где-то должна была достичь своего пика и дальше пойти на снижение. Этот момент надлежало ей точно угадать, чтобы тут как раз и встретить того, кто сильной своей рукой выведет ее отсюда — в свою неведомую жизнь. И она принялась набрасывать в своем воображении облик своего избранника, а точнее того, кто избранницей сделает ее. Она ему не пожалела роста и ширины в плечах, годков отвела ему на шесть больше своих — ибо на семь было бы уже многовато, вернее старовато, а младше того был бы уже почти сверстник, а

сверстников она, как многие девицы, презирала, — она его одела в командирские шевиотовые гимнастерку и галифе, перепоясала скрипучими ремнями, обула в хромовые сапоги со шпорами, и в подчинение ему дала эскадрон, лицом наделила полнеющим и значительным, голову обрила «под Котовского», а для некоторого гусарства, подумавши, провела ему по верхней губе ниточку усов. Получился у нее вылитый Фотий Кобрисов. Впрочем, как потом выяснилось, она не целиком его выдумала, а однажды увидела в Вышнем Волочке на бульваре, и сразу он ей понравился, и она стала думать в том направлении, как до него добраться да присушить его, чтобы не смог увильнуть от предназначенного им обоим судьбою. И оружием в нелегком этом предприятии выбрала она — семечки.

Земли вокруг Вышнего Волочка не так обильно поливаемы солнцем, как Украина, где волнуются желтые моря подсолнухов, но уж если кто их взрастил у себя, то может реализовать их быстрее и подороже, нежели украинцы. Маша Наличникова с подругами установили свои мешки на притоптанной земле близ вокзала, и торговля у них пошла хорошо. Также безостановочно, как лузгаются семечки, они отмерялись стаканом и ссыпались кому в кулечек, тут же ловко сворачиваемый из газеты, а кому в подставленный карман. Часа через полтора они все и распродали и, поместивши выручку в прелестные сейфы — кто за чулок, а кто за лифчик, — направились поискать ей достойное применение. Не так много было в этом городе соблазнов — сходить в кино на фильму «Катька, Бумажный ранет», накушаться мороженого от души и еще в запас, упиться до икоты лимонадом или яблочным суфле, покататься на карусели в парке, пострелять в тире — и посчитать себя вполне удоволенными. Маша Наличникова этих соблазнов избежала. Маша Наличникова явилась в фотоателье с картинкой из журнала, изображавшей Юлию Солнцеву в кино «Аэлита». Прекрасная шлемоблещущая марсианка Аэлита, полюбившая землянина-большевика, тоскующая в межпланетной пустыне о своей несбывшейся и не могшей сбыться любви, смотрела в три четверти и слегка вверх, и выражение лица имела надмирное, которое чрезвычайно нравилось Маше и с которым она находила лестное сходство у себя.

— Вот я хочу, как здесь, — сказала Маша.

Ей возразили было, что как же без шлема, не получится «как здесь», но Маша настаивала, что шлем — это не главное, а главное — то выражение, которое она сейчас состроит.

Мастер, похожий на старого композитора, с беспорядком в редеющей шевелюре, ее понял и усадил так, что она свое выражение видела в зеркале. Накрывшись черной накидкой, он

надвинул на Машу громоздкий деревянный ящик, прицелился, изящным округлым движением снял крышечку с объектива и, выждав одному ему ведомую паузу, надел ее. Он сказал, что у него выйдет «даже лучше, чем здесь», что было воспринято Машей охотно и с душевным трепетом. Он был очарован моделью и заранее попросил разрешения выставить Машин портрет в витрине. Маша неохотно согласилась, но, когда он стал ей выписывать квитанцию, она его огорчила, не пожелав зайти через неделю посмотреть пробные отпечатки.

— Да чо ж там смотреть? — сказала она. — Я ж вижу — мастер. Приехать я не смогу, в Москву меня вызывают на два месяца. Вы лучше по почте пришлите, мне куда надо перешлют.

— Но мало ли что, — сказал мастер. — А вдруг вы моргнули?

— Я, когда надо, не моргаю, — ответила Маша.

Он записал ее адрес, чего Маша и добивалась маленькой своей хитростью. В этот день она посетила еще три ателье, расположенные на том же бульваре, и там тоже расставила капканы. Хотя бы в один из них командир эскадрона должен был попасться. Маша поскромничала, он попался во все четыре.

Небрежный прогулочный его шаг по бульвару сбился тотчас, едва он скосил глаза на витрину. Снятая в три четверти справа, смотрела мимо него прекрасная Аэлита. Надмирный взор ее был отуманен любовью, но адресован кому-то другому, располагавшемуся за срезом кадра, — это и досадно было, и горячило воображение. С большой неохотой оторвавшись от магнетического лица, он пошел дальше — и через два квартала опять споткнулся о лицо чрезвычайно похожее, но только отвернутое еще дальше от него. Теперь Аэлита показала ему свой левый профиль, который выглядел еще надменнее и как-то более инопланетно. Впрочем, исчерпав этот свой облик, она с ним рассталась для выражения чувств земных. В третьей витрине он увидел ее запрокинутый фас, с блуждающими глазами; лишь какого-то «чуть-чуть», лишь полградуса недоставало, чтобы получился образ женщины, поневоле уступающей натиску возлюбленного. На это невозможно было спокойно смотреть мужчине, вся вина которого состояла лишь в том, что он опоздал ко встрече. Командир эскадрона был уязвлен, расстроен, повергнут в чувство гнетущее. Но витрина четвертая обнадежила его, здесь он увидел фас наклоненный, с глазами, стыдливо опущенными долу, со смиренным пробором в строго расчесанных волосах; здесь превыше всего ставились девичья честь, целомудрие, скромность, и давалось понять, что еще не все для него потеряно…

Он кинулся узнавать, кто она, эта девушка, он умолял и брал

фотографов за грудки; ему отвечали, что здесь занимаются искусством, а не сводничеством; он настаивал, что его воинская часть давно охотится за этой знаменитой ударницей, чей снимок они увидели в местной газете и загорелись с нею переписываться; его не стали уличать в несуразице и предлагать ему в газету же и обратиться; красного командира поняли как надо и пошли ему навстречу — знаменитую ударницу земледелия и животноводства, проживающую там-то и там-то, зовут Марья Афанасьевна Наличникова.

В ближайший же выходной по селу проскакал и двое верховых. Они скакали уверенной рысью, разбрызгивая жирную весеннюю грязь, и спешились у избы Наличниковых. Вошедший первым, с красным бантом на широкой груди и ниточкою усов по верхней губе, смущаясь, напомнил Маше, случайно одетой в самое свое нарядное, что комсомол является шефом Красной Армии, и вот они с товарищем налаживают смычку с молодежью окрестных сел, и вот порекомендовали им в первую голову познакомиться с активисткой Машей Наличниковой. «Ври дальше, подумала Маша, — так сладко ты врешь!». В свой черед, она возразила обоим товарищам, что они ошибаются, комсомол шефствует не над Красной Армией, а над Краснознаменным Военно-Морским Флотом, и, кстати, от морячков, которые тут поблизости в отпуске оказались, пришла ей уже целая пачка писем, с предложениями несерьезными — руки и сердца, а если говорить о серьезном общении, то она прямо не знает, когда и время-то найти для этой смычки, все дела, дела… Усатенький был смущен и не нашелся что сказать, но выручил товарищ, который пригласил Машу посетить их воинскую часть с лучшей ее подругой и совершить прогулку на конях, которые у морячков навряд ли имеются. Был здесь момент, для Кобрисова опасный: Маша могла обратить внимание не на него, а на товарища, и это было бы досадным и, может быть, непоправимым уроном. Но Маша, отвечая на приглашение согласием, обратилась именно к нему, и сделала это даже подчеркнуто. Несколько позже призналась она Кобрисову, что весь его вид никакую девушку не мог бы обмануть: у него на носу было написано, что он приехал не просто знакомиться, он приехал знакомиться с будущей женой.

— Ну, естественно, — сказал Кобрисов, — я же тебя уже выбрал.

— Нет, — сказала Маша, — это я тебя выбрала. И раньше, чем ты меня.

Почин Маши Наличниковой оказался заразительным и был подхвачен. Тем же путем, через те же фотоателье, но уже под Машиным руководством, прошла не лучшая ее подруга, а

младшая ее сестра, которая досталась в жены товарищу, тоже эскадронному командиру. Затем, хоть и с трудностями, но выдали сестру старшую, уже несколько засидевшуюся в свои двадцать четыре, за молоденького заместителя Кобрисова. Сестра двоюродная тоже удачно вышла за полкового начфина, а троюродная так совсем поднебесно — за начальника полкового коннозапаса. Попозднее, когда подходило время нянчить у Кобрисовых детей, выписывали жить в гарнизоне двух Машиных племянниц, одну, а потом другую, и тоже хорошо их выдали — за начальника продфуражного снабжения и за ветеринарного фельдшера. С неустроенной личной жизнью никто отсюда не уезжал, и род Наличниковых все шире вторгался в жизнь гарнизона, заодно и вышневолоцким посевам маслосемян светило расшириться до размеров желтых морей Украины. Положение Кобрисова все укреплялось и укреплялось, прорастая узами служебными и родственными, и всем брачующимся Наличниковым казалось, что будут они теперь одна большая нерасторжимая семья. Но никто б не уготовил им расставания более неизбежного, чем выходить за военных, которые, каждый в свой час, разъезжаются по разным гарнизонам и никогда не старятся там, где были молодыми.

Память еще немножко хотела задержаться на том времени, когда еще была любовь вдвоем, без третьего. Что особенно он ценил в своей подруге жизни, так то, что она не считала свое завоевание окончательным. Не в пример другим женщинам, которые, добившись своего, точно бы садятся в поезд и всю дальнейшую свою жизнь считают обеспеченной дорожным расписанием, она его завоевывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Она за свою молодость, отданную ему, сражалась смолоду, а не как все другие, лишь спохватясь. Разменяв только третий десяток, почувствовала уже беспокойство — и помолодела непостижимо как, постригшись короче и приняв новое имя — Майя. Действительно, чем-то майским повеяло, ранневесенним, и она дала почувствовать, что может быть другой. А чем бы еще его завлечь? Стать вровень с ним — сильной и умелой амазонкой. Так и пришло в их жизнь третье прелестная каурая трехлетка Интрига, строптивая дочь Интернационала и Риголетты, унаследовавшая, как то полагается кавалерийской лошади, первые слоги их имен.

Вооружась шамберьером, он их обеих гонял на корде до пота и мыла красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребячьем восторге, в состоянии ощутимого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной рыси, чтоб всадница и лошадь сливались — нет, не в единый механизм, а в одно

великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм. Отрабатывали «манежную езду», «полевую езду» и тот упруго-напряженный рысистый бег, что звался длинно и торжественно: «марш кавалерийской дивизии в предвидении встречного боя», а в довершение, на закуску, атака с шашкою наголо, «аллюр три креста». Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать, и тогда наконец труднейшее и опасное:

— Бросить стремя, руки в стороны, галопом на препятствие!

От избытка чувств и чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь чтоб не задерживалась переменить ногу, он их подхлестывал длинным пастушеским посылом, с пистолетным щелканьем, норовя попасть лошади под брюхо, а жене любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно приподнятому стременем. Брюки она сама себе сшила, и так они ее обтягивали, что голова у него кружилась и хотелось эту ткань разодрать. Конники его эскадрона сходились посмотреть на такое диво и только головами качали, как же это командир свою бабу мучает. Она — терпела. Но терпела чутко. Едва заметив, что не всегда он ее бьет за дело, а вовсе из другого к ней интереса, возмутилась:

— Что ты меня почем зря хлещешь? Всю исхлестал!

— Терпи, раз уж вызвалась, — ответил он. — В прежнее время берейторы великих князей били по ногам, и те ничего, терпели.

Она задумалась, сделала круг и подъехала снова.

— А княгиней?

— Чего «княгиней»?

— Великих княгиней тоже по ногам хлестали?

— Ну, это уж я не знаю… Наверно.

— А вот узнай сперва точно, а тогда и хлещи.

Но вот однажды, усталая, вымотанная вконец и даже заметно подурневшая, она подъехала и объявила ему с высоты седла, с улыбкой чуть печальной и чуть загадочной:

— Придется нам перерыв сделать. Скоро ты у меня отцом станешь.

Так она и кончилась, любовь вдвоем, без третьего, который (или которая) ее прерывает навсегда и превращает в нечто уже другое. Через два года так же, и теми же словами, объявила о второй дочке. А когда внесли ее в дом, сказала, едва порог переступив:

— Больше рожать не стану. Сына, видать, не будет.

Но и потом, и долго еще, была Интрига — не до старости, но до «морального износа», когда хозяину пришлось пересаживаться с коня на танкетку с двумя гробовидными броне-крышками.

Пришли к выводу, что миновало время коней лихих и легендарных тачанок, стреляющих назад, будущей войне понадобится танкетка, стреляющая вперед, а не намного спустя и танк с поворотной башней, — и пришлось переучиваться, и жена разделила новое его увлечение, научилась водить гусеничные чудища. Заставила себя полюбить и ружейную охоту, только бы вместе быть с мужем и чтоб он любовался ею, какая она у него боевая подруга. На самом деле убийство претило ей, и в дичь она постоянно промахивалась, тогда как по мишеням сажала всегда в черное, не ниже восьмерки. Как было бы славно оказаться с нею посреди зимы в охотничьем домике в лесу, без никого другого, пострелять, побродить на лыжах, да просто побыть вместе, ведь не старость еще! Санаторий, куда непременно сошлют его, чтоб был под присмотром, вызывал отвращение и страх — и тем, что придется общаться, и что любое слово будет записано, не исключая слов ночных.

Он вспоминал лето 1940 года, санаторий для высоких чинов в Крыму, близ Ялты, где доскребали последних, кого упустила затянуть в себя великая мясорубка. Там старались выспаться до десяти вечера, потом уже не спалось, подъезжала машина, слышались шаги по лестнице, шаги по коридору, приближение и стук в чью-то дверь, еще не твою, ломкий дрожащий голос того, за кем пришли. В эти минуты наставала великая тишина, так что слышно было не только на этаже, но, казалось, во всем санаторном корпусе. Бывало, они ошибались может быть, и не преднамеренно, — заставляли пережить всю процедуру опознания, установления личности, а потом что-нибудь не сходилось с ордером, отчество или год рождения, но обязательно самым последним вопросом, и человеку, уже попрощавшемуся со всем земным, приносили извинения, что нарушили покой, желали приятных сновидений. И для всех других, кто уже вздохнул облегченно, опять начинались мучения. Шли дальше по коридору, поднимались по лестнице, спускались, искали. Ни у кого не спрашивали дорогу. Никогда не спешили. И никогда не уезжали пустыми. За тот месяц, что Кобрисовы пробыли там, освободилась, наверное, четверть всех комнат. В них не поселяли, поскольку у арестованных еще текли сроки путевок.

Он старался жить, не умирая раньше времени, как если бы ничего вокруг не случалось. Вставал в шесть утра, выходил в парк, там делал зарядку и бегал среди кипарисов и пальм, затем спускался к морю. К спуску вела широкая аллея самшитовых кустов, рододендронов, алых и белых роз, и не миновать было обогнуть центральную клумбу, настоящий скифский курган, густо усаженный цветами, на котором высилась белая гипсовая фигура.

Всякий раз, приближаясь к ней, упираясь взглядом в белые бриджи, заправленные в высокие гладкие сапоги, он подумывал о своих невыясненных отношениях с прообразом. Фигура была обращена к зданию и видна изо всех окон, которые выходили к морю. Одна рука фигуры покоилась за обшлагом полувоенного френча, другая протянута к зданию, — в такой позиции Вождю вести было некуда и некого, и скорее это так читалось, что он предлагает выложить ему на ладонь доказательства преданности и любви.

В то утро, сходя в парк по широкой лестнице с колоннадой, генерал почувствовал необъяснимое беспокойство. Аллеи, по которым обычно к этому часу уже расходились и разбегались любители зарядок и пробежек, были пустынны, весь парк точно бы вымер. Потом оказалось, что несколько отдыхающих, прервав свой отпуск, уже отбыли на такси в Симферополь, надеясь успеть на утренние поезда, другие собирали чемоданы, третьи не знали, какой выход лучше, предпочли довериться судьбе. Все же один попался навстречу знакомец, тоже генерал и тоже энтузиаст продления полноценной жизни, в пижаме и с полотенцем через плечо. Было, однако, похоже, что он так и не окунулся, а возвращается с полдороги. И почему-то он не поздоровался, и шел, не поднимая глаз, а поравнявшись, сказал тихо и не разжимая рта, как чревовещатель:

— Не ходи дальше, Кобрисов.

Все мужество этого человека Кобрисов смог оценить, когда, не поняв, в чем дело, все же продолжил свой путь и — увидел, к чему приближаться ему не следовало и крайне желательно было бы не увидеть. Неизвестный злоумышленник, по всей вероятности, воспользовался лестницей или же был он недюжинным метателем, во всяком случае его злоумышление не так просто было устранить. И всякого, кого бы здесь застали, сочли бы виновником или соучастником или что тоже было предосудительно — бездействующим зрителем, который одобряет содеянное, а то даже и любуется им. Не поворачивая головы, он почувствовал всей кожей щеки и шеи, что на него смотрят десятки глаз. Весь корпус притих и все окна были зашторены, и за портьерами стояли, с гулким сердцебиением, герои Перекопа и Халхин-Гола, победители Колчака, участники прорыва линии Маннергейма. Поворотясь медленно и как бы небрежно, как бы и не увидев ничего такого, он побрел обратно, стараясь, чтобы его шаг не выглядел торопливым. Вдруг он осознал, что делает ошибку, для видимой непричастности ему бы следовало как раз пройти к морю и окунуться, но поворачивать было поздно, это бы выглядело подозрительной суетой. Оказавшись наконец в своих

апартаментах, возле спящей жены, он стал думать, не раздеться ли ему и не сказаться ли спящим, если постучатся, но так ничего и не решил и тоже стоял за портьерой, ощущая, с какой стороны у него сердце, и молясь, чтобы это как-нибудь само собою устранилось, исчезло, испарилось.

Мадам генеральша проснулась около восьми, когда полагалось идти к завтраку, и сразу почувствовала неладное. Она спросила, почему зашторено от солнышка и кого это ее ненаглядный там высматривает. Он ей сказал, кого и что. Она, больше вопросов не задавая, тотчас поднялась, надела свой роскошный халат с павлиньими глазами, затянулась поясом с кистями и вышла.

Вскоре она выплыла внизу, держа наперевес легкую садовую лестницу, за ней семенила бабуся-нянечка с ведерком и шваброй. Лестницу уперли в белый живот, нянечка взлезла на цоколь, поднялась по ступенькам к белой груди. Мадам генеральша ей подала ведерко и швабру, а сама осталась внизу и давала руководящие указания. Героям и победителям пришлось наблюдать святотатственное елозенье намоченной швабры по лбу и носу, особенно старательно по усам и под усами. Затем бабуля, поднявшись на ступеньку выше, совершила нечто и вовсе непристойное: задрав полу своего халата, да так неловко, что приоткрылись байковые нежно-сиреневые трусы до колен, схваченные резинками, она этой полой протерла все места, которые осквернила швабра. Мадам генеральша кивком одобрила ее работу и помогла слезть.

Она вернулась недовольная, хмурая и сказала, для чего-то понюхав руки:

— Икра баклажанная. И всего делов.

Тут же она завалилась досыпать. А проснувшись, уже ничего этого и не помнила. Она не вспоминала об этом никогда. И несколько позже он заподозрил, что она и недосыпала вовсе, а думала. Она думала, как она станет об этом говорить в дальнейшем. И решила — никак.

Она, рубившая не хуже иного мужика лозу по верхушкам, знала — этому неодолимому давящему страху подвержен каждый, он со всех сторон, он снизу и сверху, он рассеян в воздухе, которым дышишь, и растворен в воде, которую пьешь. И он самых отчаянных храбрецов делает трусами, что вовсе не мешает им все же остаться храбрецами.

Для нее муж остался тем же, кем и был, и она, как прежде, не подвергала сомнению никакой поступок его, никакое слово. Даже особенно она это подчеркивала — жестом, улыбкой, говорившими так красноречиво: «Ничего я в этом не понимаю, знаю только, что

Фотя всегда прав. Убейте меня, а он прав». Это и умиляло его, но зачастую и раздражало, а вот теперь казалось таким необходимым. И так трогала его сейчас эта ее святая неправота, что он проникся к ней нежностью, какой давно от себя не ждал, он даже примирился навсегда, что не родила сына. И сердце защемило от мысли, что она, единственный его человек, кто при любом повороте судьбы с ним останется, где-то уже совсем близко, в каких-то сорока пяти километрах, а он почему-то медлит, не спешит к ней. В окнах еще и не брезжило, когда он не выдержал, растолкал своих спутников, велел собираться и заводить.

Хмурые от недосыпа, они, наверно, кляли его в душе и, наверно, думали, что вот уже скоро от него избавятся, и он за это злился на них, злился на слишком медленный бег машины. А между тем шоссейка сделалась шире, побежали молоденькие саженые сосны, еще серые перед рассветом, замелькали среди них позиции зенитчиков, истребителей танков, стянутые за обочину рельсовые «ежи», бетонные надолбы — и все четверо оживились, заерзали на сиденьях, предчувствуя конец пути. И вот увидели Москву — сверху, с холма.

— Вот она и Поклонная, братцы-кролики, — сказал генерал. И тронул за локоть вертевшего головою водителя. — Притормозика, Сиротин.

Выбравшись из машины, он медленно, закинув руки за спину, прошел несколько метров до спуска.

2

То, что принимал генерал за Поклонную гору, на самом деле не было ею. Единственный из четверых москвич, но москвич недавний, он не знал, и никто не мог ему подсказать, что еще километров пять или шесть отделяют его от того невысокого и не столь выразительного холма, шагах в двухстах от филевской избы Кутузова, где и стоял Наполеон, ожидая напрасно ключей от Кремля. Генерал же Кобрисов находился в начале того длинного и крутого спуска к убогим домишкам и садам Кунцева, где, однако ж, впервые чувствуется несомненная близость Москвы. Теперь здесь многое переменилось, сады повырублены, сместилось в сторону и само шоссе, а весь спуск и низина застроены 14-этажными домами-«пластинами», расставленными наискось к улице, линяло-бежевыми и в проплешинах от облетевшей кафельной облицовки, на каждом из которых сияет какой-нибудь краснобуквенный транспарант: «Свобода»,

«Равенство», «Братство», «Мир», «Труд», «Май». И не найти уже того места, где в один из последних дней октября 1943 года остановился закиданный грязью «виллис», не определить достоверно, где же она была, Поклонная гора командарма Кобрисова.

Тем не менее была она, и Москва для него начиналась внизу, под краем огромной черно-сизой тучи, завесившей все Кунцево и дальние, еле различимые скопления домов и труб. Аэростаты заграждения — серебристые на фоне тучи и темные, уродующие небо, на узкой полоске зари, — медленно вплывали в серый мглистый рассвет. Он обещал редкое солнце поутру и унылый полдень, с ветром и моросящим дождем.

Ничего доброго не обещала генералу столица, где испытал он унижение, которое не уляжется в беспощадной памяти до конца его дней, где в один час был он ссажен с коня и растоптан в прах, где лубянский следователь Опрядкин ставил его на колени в угол и шлепал по рукам линейкой, — вот и вся пытка, но, может быть, не так жгуче, не так раздирающе вспоминалось бы, если б дюжие надзиратели, втроем, избивали в кровавое мясо и зажимали пальцы дверьми? Как изжить из сознания, чем выжечь склонившееся к тебе лицо, этот убегающий подбородок, тонкие бледные губы и светло-ледяной взгляд, аккуратный пробор в прилизанных желтых волосах, голос насмешливо-ласковый и поучающий: «Фотий Иванович, ну вы ж не маленький, если ваши два танка на первомайском параде вдруг тормозят напротив Мавзолея — напротив Мав-зо-лея! — то это на юридическом языке называется — как? По-ку-ше-ние. На жизнь кого? Не смейте произносить, а только представьте мысленно… Закрытый башенный люк означает — что? Боевое положение танка. Бо-е-во-е!» Не легче было и себя вспоминать — как, оборачиваясь из своего угла, кричал визгливо, точно в истерике: «Но не было же боекомплекта! Снарядов — не было! Патронов — не было!» И огорченный Опрядкин, вздыхая, брался опять за свою линейку. «Ну, честное слово, вы, как дитя малое. Да если б были снаряды и патроны, я бы с вами не разговаривал, я бы вот этими руками вас бы растерзал!.. Ну, черт с вами, оформлю вам „намерение“, будет законная десятка… так давайте же вместе поборемся за эту десятку!» И ведь была глухая мысль — не поладить ли на этом, хотя лучше других мог бы предвидеть, как это все произойдет: серо-зеленые мундиры вдруг хлынут через Неман и Прут, и двухвостые бомбовозы с крестами на крыльях поползут с прерывистым воем над Киевом, Ленинградом и Минском, и тот же Опрядкин в своем кабинете «вот этими руками» подаст ему отглаженную гимнастерку с уже пришитыми петлицами, вернет

ремень с тяжелой кобурой, широким жестом покажет на свой стол, где пухлую папку сменили коньяк и круглый, нарезанный уголками торт. «Напрасно отказываетесь, Фотий Иванович, последний довоенный торт». И видно было по ледяным глазам, с каким бы удовольствием вмазал он жирный сладкий ломоть арестанту в непокорное рыло! Да только вся непокорность арестанта на том и выдохлась, что отказался от угощения. Вместо того, чтобы хрястнуть, пустился в язвительные беседы: «Стало быть, гражданин следователь, вместе будем теперь отечество спасать?» — спрашивал, рукою придерживая спадающие штаны, на что Опрядкин отвечал спокойно и с достоинством: «Каждый на своем посту. И я вам в данный момент не гражданин следователь, а товарищ старший лейтенант. А вы, товарищ генерал… вам сейчас пришьют пуговички, а то ведь спадут, нехорошо… вы поедете в свой наркомат, вам доверяют дивизию». И была мысль, сжигающая, мстительная, бессильная, — повстречать бы этого Опрядкина одного на улице, затащить в подъезд… Но тем же вечером пришлось вылететь — принимать свою дивизию, которая в панике отдала Иолгаву и в панике же пыталась ее отнять…

Но вернулся он и сейчас на коне. Его опять охватили робость и беспокойство. И было досадно — зачем так спешил, какой такой «святой неправотою» себя тешил, пора бы уже трезво смотреть. Он постоял над безлюдным спуском и вернулся к машине.

— Привал, — объявил он своим спутникам.

Все трое смотрели на него с недоумением. Он объяснил мрачно, насупив брови:

— Рано еще, восьми нет, куда денемся? И прибраться бы надо, побриться, в столицу прибываем.

— Она? — спросил водитель, кивая с улыбкой вдаль, в сторону Москвы.

— Она самая, Сиротин. Не верится?

— А метро тут близко? Я вот две вещи посмотреть мечтаю — Кремль и метро.

— Будет тебе и Кремль, будет и метро…

Генерал первым спустился с невысокой насыпи на лужайку. Адъютант Донской, глядя бесстрастно-иронично на его широкую сутулящуюся спину, на складчатую шею, отметил про себя, что в этой очередной дури, пожалуй, есть свой резон. Появляться — особенно в данной ситуации — следовало при полном параде и лучше слегка припозднясь.

Сиротин вырулил на обочину, все трое вылезли, разминали затекшие ноги, курили, а глаз не могли отвести от манящей Москвы.

Шестериков приволок из машины мешок и противогазную

сумку, туго набитые, выбрал место поровнее и расстелил на траве плащ-палатку, а поверх старую, отслужившую срок шинель адъютанта, которую всегда с собою возил для таких случаев. Трава поседела от инея и приминалась с звенящим шорохом, от которого делалось зябко. Он выудил из мешка термос и все принадлежности для бритья, взбил помазком пену, усадил генерала на шинель и повязал ему на грудь салфетку, затем, передвигаясь вокруг него на коленях, быстро и ловко выбрил до розового блеска. Ножничками немецкой золингеновской стали подровнял ему брови и дал посмотреться в круглое автомобильное зеркальце.

Адъютант Донской побрился сам. Водитель Сиротин погладил себя по щекам и раздумал бриться.

Слово «привал» Шестериков понимал капитально, во фронтовом смысле постелил белую камчатую скатерть и выставил на нее консервы, буханку белого хлеба в целлофане, четыре граненых стопки, флягу с водкой и едва початую бутылку коньяка — французского, из провинции Содпас. Бутылку он, впрочем, отставил подальше, вытоптав каблуком в земле лунку, чтоб стояла твердо и не свалилась впоследствии от размашистого жеста. Аккуратно, финским ножом с наборной рукояткой — из пластинок цветного плексигласа и алюминия — он взрезал большую немецкую банку с маринованными лиловыми свеколками; банку американскую, четвероугольную, красоты необычайной, с розовым фаршем в желе, вскрыл специальным, к ней же припаянным ключиком, наворачивая на него полоску жести и тем отчасти губя красоту; на дощечке, гладко выструганной, нарезал хлеб и всем положил немецкие вилки, из алюминиевого сплава фантастической невесомости, с выдавленными на ручках орлами и свастиками. Что еще он забыл? Спохватясь, переменил генералу салфетку. После чего присел, умиротворенный, сцепив на коленях большие руки, картофельной желтизны, с узелками набухших вен.

Генерал смотрел на его работу внимательно, склонив голову набок и чему-то усмехаясь. Вдруг он спросил:

— Что же теперь, Шестериков? Куда твои таланты девать?

Он задал тот вопрос, который давно предвкушался Шестериковым и имел свой заготовленный отрепетированный ответ, и сердце Шестерикова ощутимо дрогнуло. Он знал, что дважды такие вопросы не задаются, иного случая ему не представится, и все же не выдал волнения, ответил просто, как будто даже беспечно, в широкой улыбке показывая крепкие прокуренные зубы:

— Насчет талантов, Фотий Иваныч, что уж тут такого

особенного… Главное, живы были бы, руки-ноги при себе, и чтоб печали нас миновали. Потом добавил, вздохнув: — Много перемен бывает, а не все же к плохому. Может, еще обернется как-то…

Донской коротко взглянул на него, удержав усмешку, как удерживают зевоту.

— Какие там перемены, — сказал генерал. — Ну, прошу к столу.

Все четверо придвинулись, ноги положив на траву. Генерал откупорил коньяк, налил адъютанту и себе, поставил перед водителем и ординарцем, чтоб и они себе налили.

Шестериков быстро сказал Сиротину:

— А мы с тобой — водочки, верно?

Сиротин взял осторожно коньяк, пощупал с недоверием цветистую наклейку и рельефный узор, поглядел на мир сквозь темное, глубокой прозелени стекло и отставил в лунку.

— Да, не про нас питье. Только добро переводить.

Первый тост, как было принято в этом маленьком кругу, не произносился, а лишь подразумевался, он был за всех тех, кого уже с ними не стало, поэтому выпили молча и не чокаясь, затем, соблюдая очередность, принялись выбирать себе из банок мясо и свеколки. Генерал и адъютант под вилками держали салфетки, ординарец и водитель — куски хлеба.

Неожиданно маленький пикник был потревожен негромкими голосами. Обочиной шоссе шли женщины — в телогрейках, в платках, в резиновых сапогах, держа на плече лопаты. Небольшая толпа женщин, растянувшаяся на подъеме, взобралась на гору и проходила поверху, обтекая забрызганный грязью «виллис», — явление четырех фронтовиков, расположившихся на лужайке под насыпью, и среди них — генерала, было для кунцевских жительниц, верно, в диковинку, они враз умолкали и проходили, как бы не глядя, лишь кто помоложе посмеивались и перешептывались.

— Эх, бабоньки, гвардейцы пищеблока! — пожалел их Сиротин, слегка уже разомлевший. — Картошку, поди, заготовляют. Какая теперь картошка!

— «Какая»! — сказал Шестериков. — Самая дорогая, сверхплановая. Которую в сентябре не собрали. Небось теперь и себе наберут, не только государству.

— Ну, все он знает! — изумился Сиротин.

— Как же не знать, ежели лопаты каждая свою несет. Совхозные — они там побросали, в будке. А своей-то — глубже достанешь.

— А мы-то, дураки, — сказал генерал недовольно, — в

рощицу не догадались съехать, расселись на виду пировать. Люди-то изголодались…

Одна из женщин остановилась как раз над ними и, скинув лопату с плеча, запричитала сиплым, простуженным или прокуренным голосом:

— Ой, ну, что ж это вы, мужчины, на сырой-то земле устроились! Так же ревматизм схватите…

— Не жалей нас, мамаша, — Сиротин ей показал стопку, вновь наполненную, — у нас от всех ревматизмов лучшее лекарство.

— Уже я тебе «мамаша», — сказала женщина. — Я думала — сестра старшая. А это все обман, лекарство твое. Тебе-то, молодому, еще все нипочем, а товарищ генерал у вас — пожилые, им бы поберечься.

— Ну, уж и пожилые, — обиделся генерал слегка игриво. — Я еще таких молодых двоих заменю.

Она в ответ слабо улыбнулась, показывая этим, что есть вещи, о которых ей-то уже думать поздновато, и генерал ей сказал серьезно:

— Спасибо тебе, дочка. За твою заботу.

— Ой, да за что ж спасибо! — Она вдруг обрадовалась, что может чем-то помочь этим четырем сильно бедствующим мужчинам. — А вы б, знаете, вон до будочки б доехали, там и обогреечка есть, стол есть, лавки. А нас там до обеда никого не будет, вам свободно. А то на вас даже смотреть зябко.

— Ничего, дочка, — сказал генерал. — Мы привычные. Спасибо тебе.

— Зато какой пейзаж! — сказал Донской, слегка уже порозовевший от коньяка, поведя рукою в сторону Москвы.

Женщина не нашлась ответить ему. Ее подруга — с таким же серым, опавшим лицом, — приотстав от толпы, сказала ей строго:

— И что ты, Любаша, к людям пристала, смущаешь. Люди себе хорошее место выбрали, Москву наблюдают. И радио, может, хотят послушать.

— Это где же радио? — спросил генерал.

— А вона! — Женщина, которую назвали Любашей, вновь осветилась улыбкой. — Вона же, на столбе. Не заметили?

Шагах в пятнадцати позади машины свисал с телеграфного столба огромный репродуктор с черным квадратным граммофонным раструбом. И впрямь, не заметили, миновали.

— Он горластый, — сообщила Любашина подруга. — Нам на картошке слышно, как известия передают. А вы сами — с фронта будете?

— Откуда ж еще! — обиделся Сиротин, для него все мужчины

делились на фронтовиков и дезертиров. Она сделала таинственное лицо.

— А сейчас отдохнуть приехали? Или — на переформировку?

— Есть у нас дела, — ответил сухо Донской.

— Ну, ладно, — заторопилась Любаша. — Отдыхайте, приятного вам.

Обе женщины пошли дальше, вскинув лопаты на плечо. За ними от Кунцева еще шли, группками и порознь, и одна — молоденькая, круглая, как бочонок, в своем ватнике, перетянутом в поясе концами серого шерстяного платка, крикнула звонко:

— Фронтовикам, дролечкам, горячий привет от трудящего тыла! Как там орелики наши, хорошо бьются?

— Ох, и бьются, лапонька! — отвечал Сиротин. — Так бьются, что клочья летят!

— С наших-то? Или с фрицев?

— С наших — чуть-чуть, с фрицев — покудрявее.

— То-то веселые вы. А за компанию к вам — нельзя?

— А это спросим, — Сиротин поглядел вопросительно на генерала.

— Отчего ж нельзя, — сказал генерал. — А кого ж мы тут ждали?

Она прыснула и сделалась пунцовая, но тотчас заробела, прикрыла рот ладошкой и затесалась среди других.

Мужчины же, дождавшись, когда пройдут, выпили еще — за Победу, закусили и снова выпили — за Верховного и ощутили некое вознесение от принятого внутрь, от запахов отогревающейся земли и травы и оттого, что ждала их вдали Москва, понемногу высвобождаясь из-под сизых лохмотьев тучи. Донской, привстав на колени, вытащил свой самодельный портсигар, на котором сапожным шилом выколоты были скрещенные, перевитые гвардейской лентой штык и пропеллер, а повыше и пониже рисунка — «Будем в Берлине, Андрюша!» и «Давай закурим, товарищ, по одной!» Все по одной и взяли, кроме генерала, от которого они ладонями отгоняли дым. То была непременная минута молчания, долженствующая отграничить разговоры суетные от разговора сокровенного и значительного, и она длилась, длилась, никто не осмеливался ее прервать, все ждали слова от генерала, и он это понимал, только не мог собраться — что же ему сказать этим людям, с которыми он прожил, провоевал полтора года и которым завтра уже будет не до него?

Запомнят ли они этот час? Понимают ли, поймут ли когда-нибудь, зачем он выкроил этот привал, ведь другого случая побыть им вместе, вчетвером, может быть, не представится? И

еще вопрос — так ли уж хотелось им этого на прощанье? Вот сидит его шофер, Сиротин Вася, великий химик насчет раздобыть и обменяться и столь же великий модник: гимнастерку он себе обкорнал снизу, так что она едва выглядывает из-под ремня; ремень у него — конечно, офицерский, с пятью-шестью антабками, на них болтаются ножичек в чехольчике, зажигалка на цепочке, «парабеллум» с длиннейшим, плетенным из красной кожи темляком; в погоны — чтоб не топорщились и не гнулись — вставлены целлулоидные пластинки; голенища сапог — тоже офицерских — вывернуты желтым наружу; мало того, он еще шпоры нацепил, да пришлось приказать, чтоб снял, ведь мешают же на педали нажимать (уверял, что нисколько). Водитель он в меру лихой, в меру осторожный, и машина у него ни разу не подвела, но кто-то внушил ему, что с этим генералом он войну не вытянет, — это уже по тому чувствуется, как Сиротин поглядывает на него при обстреле или налете: будто не с неба и не со стороны, а именно от него, генерала, жди погибели… Вот сидит его адъютант, майор Донской, в общем-то порученец толковый и памятливый, только излишне много думающий на тему: отчего бы ему самому чем-нибудь не покомандовать, бригадой там или даже дивизией, да не пробиться в генералы? Другие же преуспели, в те же тридцать с чем-то, отчего бы и не ему? А черт его знает отчего, есть у него как будто и способности, и знания какие-то, и с начальством обхождение, и, что называется, «личная храбрость», да все чего-то строит из себя, непонятно — что, но бабы-то, поди, вернее чувствуют, чего мужик стоит: он вот крутит галантную платонику с рыжей Галочкой из поарма, а эта самая Галочка наставляет ему ветвистые рога с начальником артразведки, о чем вся армия только что песни не поет встрою… Вот сидит его ординарец Шестериков, самый близкий ему человек на войне, прямо-таки свирепо заботливый и без которого действительно как без рук, изучивший все его прихоти, научившийся столы сервировать и подавать крахмальные салфетки, страдающий оттого, что не припасено белого вина к рыбке или красного — к мясу. Мечта у него — служить у генерала и после войны; не сказать, что вовсе несбыточная, о том же и сам генерал, и мадам генеральша подумывали, да так уж оно повернулось, что либо ему на «передок» в автоматчики возвращаться, либо другому так же служить верно… Вот они, его люди, все, что еще на несколько часов осталось ему от армии, от ее мудреной жизни, из которой он выпал, как выпадают на ходу из поезда. А поезд летит себе дальше, не заметив потери, и нельзя ее замечать, невозможно приостанавливать ход из-за каждого, кто выпал, чтобы не утерять

налаженный ритм, чтобы и быт не потревожить, который так тяжко складывался и наконец сложился. Да, сама война стала бытом — как вон у тех кунцевских женщин, что сажают и выкапывают картошку среди артпозиций и противотанковых «ежей», уже их не замечая, либо спокойно вешая на эти «ежи» свои ватники и авоськи. И армия валит на запад, таща с собою свои моды, свои интриги, свои суеверия и свою счастливую, спасительную забывчивость, и, черт дери, в этом тоже есть логика, тоже заключена та самая «непобедимость»!

Он вот бы о чем сказал, пожалуй, но слова как-то не шли или шли самые пустые, вроде того, что «ну, братцы-кролики, не поминайте лихом», и не выручало хмельное вдохновение. Может быть, потому не выручало, что всех троих братцев-кроликов вызывал к себе для бесед майор Светлооков из «Смерша», наверняка вызывал, не мог не вызвать, да оно ведь и чувствуется люди после этого как-то иначе смотрят, иначе говорят, — и никто из троих про это не сказал генералу, и Шестериков не сказал — вот что всего обиднее было, всего больнее! — некогда жизнь спасший, столько раз выпивавший с ним наедине. Какую верность выказал, а этого испытания не прошел! О, нет, никого из них не хотелось винить, и даже Шестерикову упрека особенного не было: в чем-то же и ты виноват, если посмели тебя предать, так и начни с себя почему не отставил их, почему хотя бы не отдалил, сколько можно, свою свиту, почему вид делал, будто ничего не произошло? Да вся история России, может статься, другим руслом бы потекла, если б отказывались мы есть и пить со всеми, кого подозреваем. А может, на том бы она и кончилась, история, потому что и пить стало бы не с кем, вот что со всеми нами сделали. Но не об этом же было говорить к застолью, тем более — к последнему. О чем же тогда?

В репродукторе, что висел на столбе и о котором успелось забыть, вдруг щелкнуло — раз, другой, — послышались хрипы и вроде как визг пилы, затем в его черном нутре прорезался женский голос, сказавший время, поздравивший дорогих радиослушателей с добрым утром и приказавший им слушать последние известия. Черный раструб и впрямь был горластый, рассчитанный на всю округу, чтоб широко разливалось над рощами, лугами, оврагами, над огородами и позициями, захватывало бы небось и половину Кунцева.

— Я чего спросить хотел, — очнулся водитель. — Почему ж они «последние» называются, известия? Еще солнце не взошло. Надо их «первые» называть. А последние — это уж вечером.

Генерал досадливо поморщился.

— Ты послушай, Сиротин, послушай. Может, и нас касается,

нашему фронту приказ…

И, едва сказав, сам понял, чего так ждал все двое суток пути. Ждал, отодвигая в сознании, как ждут приговора. Жаждал услышать и страшился услышать — кто же теперь стал на армию? кто ее дальше поведет, к новым победам и жертвам?

Голос, выплеснувшийся из черного раструба, был теперь мужской, гортанно-бархатный, исполненный затаенного до поры торжества:

— ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО…

Женщины, копавшие картошку, распрямили спины и замерли, опираясь на свои лопаты. В орудийном дворике прислушались, подняв головы в касках, зенитчики.

— ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ВАТУТИНУ…

Дыша коньяком, придвинулся Донской — шепнуть: «Угадали!», удивленно взглянули Сиротин и Шестериков. Генерал всем ответил коротким кивком и слушал, уже не поднимая глаз.

— АРТИЛЛЕРИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА СЕРАПИОНОВА… ЛЁТЧИКАМ-ШТУРМОВИКАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ГАЛАГАНА… СТРЕЛКАМ И ТАНКИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КОБРИСОВА…

Сам обомлев, он не видел, как вытаращились на него ординарец и водитель, как привстал на колени адъютант, побледневший от волнения. А голос пропал на долгий миг и вернулся, набрав новой силы, загремел звонко-трубно, державно-ликующе в холодном, изжелта-голубом воздухе:

— …К ИСХОДУ ДНЯ НАШИ ВОЙСКА ПОСЛЕ РЕШИТЕЛЬНОГО ШТУРМА, ПРЕОДОЛЕВ УПОРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА И ЗАВЕРШАЯ ОКРУЖЕНИЕ, ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИЕЙ…

Еще пауза, крохотная и тягучая, как вздох перед разбегом, как замирание перед прыжком с высоты…

— МЫ-РЯ-ТИН!..

Вот как просто — и вместе торжественно — произнесено было, кинуто в пространство это труднейшее в мире слово. И, точно бы враз истощился запас сил, ликования, голос приспустился в спокойные низины, даже чуть потускнел:

— ПРОТИВНИК, ПОНЕСЯ ТЯЖЁЛЫЕ ПОТЕРИ, ОСТАВИВ НА ПОЛЕ БОЯ ТЫСЯЧИ УБИТЫХ И РАНЕНЫХ, ДЕСЯТКИ И СОТНИ ТАНКОВ, ОРУДИЙ, АВТОМАШИН И ИНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ…

— Ну, прямо сотни! — сказал Сиротин. — Насчет техники всегда заливают. Десяточки — и то слава Богу… Адъютант Донской на него цыкнул.

— …ОТБРОШЕН НА ОДИННАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ И ОТСТУПАЕТ В НАПРАВЛЕНИИ…

— После штурма, — заметил адъютант, придвигаясь, скорбно приподняв бровь. И снова стал — весь внимание.

Генерал молча кивнул: да, он слышал. Да, после штурма. И — «завершая окружение». Что значило это — «завершая», но не — «завершив»? В голове у него сильно шумело, и далекие дома Москвы, которые он видел отсюда, казались не существующими в объеме, а словно бы намалеванными на громадном колеблющемся полотне. А голос, бухающий в уши, словно бы долетал, разрастаясь, из полутемной прохладной глубины мраморного зала. И не поддаться его ликованию было невозможно, думать иначе — дико, кощунственно.

— …ПРИСВОИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ «МЫРЯТИНСКИХ» И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ… приказывалось осеннему хмурому небу и стылой, усыпанной желтыми листьями земле. — ОРДЕНА КУТУЗОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ШЕСТАЯ МЫРЯТИНСКАЯ ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ… ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СТО ДЕСЯТЫЙ МЫРЯТИНСКИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛК САМОХОДНЫХ ОРУДИЙ…

Был избран и задействован тот самый вариант, который сложился сразу после переправы, а задумывался раньше еще — может быть, на пароме, пересекавшем Днепр, — и который он сам от себя прятал, когда узналось, какую угрозную новинку скрывает Мырятин. Как потом не хотелось этого окружения! Как сожалел он о выдвинутых неосмотрительно клиньях, мечтая втянуть их потихоньку обратно, как какой-нибудь рак или краб инстинктивно утягивает защемляемую клешню, и морочил головы штабистам, говоря, что не время, что руки не доходят, что есть поважнее цель, что нужно еще прикинуть, подправить, прежде чем отдать им «Решение командующего» для детальной разработки, И так и не подправил, не вернулся к нему, против своего же замысла рогами упирался на том совещании в Спасо-Песковцах. И вот он задействован, брошенный на полдороге план, кому-то там впопыхах подвернувшийся под руку, и уже ничего не исправить, ни одной жизни не вернуть, истраченной согласно этому плану… В паузе было слышно, как шелестит бумага на столе у диктора, но другой шелест возникал в ушах генерала, покалывая сердце тревогой, — шелест еловых лап, опадающих с брони танков, когда перед рывком из укрытий командиры пошевеливают башни вправо и влево, проверяя поворотные механизмы. С ревом и свистом пронеслись «горбатые»[15] — низко над окопами, не заботясь об ушах онемевшей пехоты, бережа от «мессеров» слабые свои животы. Пришел тот момент беспомощности, когда все, что должно было и могло быть сделано, уже отдано в другие руки и теперь на три четверти, на

девять десятых он не властен что-либо изменить. Наклонилось огненное жерло — и литейщик отшагнул от формы, в которую полился расплав. Теперь все зависело от сотен и тысяч воль, от желаний или нежеланий, от чьей-то смелой дерзости или трусливой осторожности, от чьей-то расторопности или головотяпства, но больше всего — от крохотных серых фигурок, рассыпавшихся по белой пелене снегов. Была еще поздняя осень, и никакого снега там, под Мырятином, еще не выпало, но генерал их видел такими, как в первых наступательных боях под Воронежем, — крохотные серые фигурки на белой, слегка всхолмленной равнине. Они бегут, бегут, оглашая поле протяжным «А-а-а!» — и падают, и тотчас же отползают в сторону, чтобы в другом месте подняться через несколько секунд. Но отползают только живые, мертвые не выполняют этого требования устава, они просто падают и остаются лежать… Что они знали, что успели прослышать — о споре его с Ватутиным, с самим Жуковым, о том, почему их командующий оставил армию, и какая операция дороже, а какая дешевле? Но вот артиллерия перенесла свой огонь на двести шагов вперед, и ракета позвала их на рубеж атаки — о, как тянет назад окоп, уютная глубина его, как трудно подняться над бруствером, как заранее жалят тебя всего невидимые осы! — но они поднялись и пошли, пошли, пошли по кочковатому болотистому полю, перепрыгивая воронки от мин и витки проволоки, разрезанной этой ночью саперами, чувствуя холод в низу живота и горяча себя криком, всеми силами подавляя страх смерти, страх боли, увечья… И сделали его тем, кем он был сейчас, — командармом, принимающим сводку победы.

Он не видел их лиц, а лишь затылки под касками и ушанками, лишь спины и плечи под серым сукном, подпрыгивающие на бегу. Ни одного имени не мог он вспомнить, и не было утешением, что это и не дано командарму, который не может увидеть свою армию, разбросанную на многие версты, по хуторам, селам и даже городам, как может любой батальонный увидеть сразу весь свой батальон, даже полковой командир видит свой полк, хотя бы на торжественном построении. И как вообще представлял он себе ту или иную часть, то или иное соединение? Прежде всего — лицо командира, его голос, ну еще начальника штаба, еще нескольких офицеров — и как он обедал у них, и чем кормили и поили, а потом уже — войска в каре, молчаливая пехота, замаскированные орудия, забросанные ветвями танки…

— …МОСКВА САЛЮТУЕТ ДОБЛЕСТНЫМ ВОЙСКАМ, — разлеталось из раструба, ДВЕНАДЦАТЬЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ ЗАЛПАМИ ИЗ СТА ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЁХ…

— Ну, поскупились, — не утерпел Сиротин.

Донской снова на него цыкнул.

«И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ», — звенело еще в ушах генерала. Он сидел на шинели, склонив отяжелевшую голову, а в это время серые фигурки уже достигли окопов первой линии, прыгают с разрушенных брустверов на тех, кто успел вернуться после артобстрела, и с руганью, хряском и лязганьем бьются там, делают свое проклятое мужское дело. Они себя не слышат, как же услышать им этот голос, роняющий слова так ликующе звонко, объявляя как о высшей награде:

— И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ…

Он падал с высоты и ударялся обземь, как отбивая золотые слитки — цену их усталости, страха, безумной жажды выжить, жаркого мучения ран — пулевых, колотых, резаных… и какие еще бывает раны? — цену их злобы к врагу, сумевшему опомниться и вернуться в окопы и встретить огнем — кинжальным, фланкирующим, косоприцельным… и какие еще есть огни?.. Потом все стихло, не слышно стало и шелеста.

Однако голос вернулся. С новой бодростью диктор читал о награждениях и повышениях, и генерал — как сквозь вату — опять услышал о себе, а скорее почувствовал на плечах некое прибавление тяжести, а на груди — легкое жжение привернутых к кителю наград. Все это надобно было как-то переосмыслить и как-то примерить к себе, словно бы Героем и генерал-полковником стал не он, Кобрисов, сидевший на разостланной шинели со стопкой в руке, а некто другой, стоявший сейчас в вышине, над дымными, чадными полями сражения, как над расчерченной стрелами картой…

Он не сразу почувствовал, как Донской взял его руку со стопкой и наливает ему из бутылки.

— Товарищ командующий, за вас хотим… Разрешите? — кажется, в третий раз он говорил, глядя восхищенно и преданно. — А я бы добавил — за перспективу. За генерала армии Кобрисова. За командующего фронтом. Я серьезно.

Сиротин и Шестериков сидели, раскрыв одинаково рты, на лицах блуждали одинаковые блаженные улыбки.

— За ореликов надо бы, — сказал генерал, насупясь. — Которые жизнь отдали, но обеспечили победу.

Сиротин и Шестериков слегка посуровели и спешно себе налили из фляжки.

— Тем самым и за вас, — сказал Донской с нажимом в голосе.

— «Тем самым»!.. Мы-то тут при чем?

Глаза адъютанта сделались строгими, в них появился

металлический блеск.

— Чужого не берем, товарищ командующий, — сказал он твердо, поднимая стопку. — Виноват, у меня свое мнение.

В его строгих, в его преданных глазах, однако ж, мог прочесть генерал мучительную, судорожную работу мысли: «А действительно — мы-то при чем? И кто его в список вставил? Ватутин — по старой дружбе, на прощанье? Или — сам Жуков, в виде отступного? А может быть… Нет, не может быть. Ну, не может Верховный всех упомнить! А скорей всего — просто машинка сработала. Пока мы тут двое суток шкандыбали… Ах, как чисто сработала! Снятие-то еще не оформили, не согласовали, а новый еще не стал на армию… А Москве — что? Москва смотрит — чья армия Тридцать восьмая? Кобрисова? Звезду ему на грудь, этому Кобрисову. И на погон заодно. Что мы, не знаем, как это делается?» Впрочем, возможно, и не об этом думал адъютант Донской или не только об этом, а еще и о том, как он теперь пройдет по ковровым дорожкам Генштаба, чуть позади генерала и чуть поодаль, все остается прежним, ничего не меняется, лицо и походка те же, но смысл-то — совсем другой!

— За ореликов, — повторил генерал тоном приказа.

Адъютант Донской склонил голову, подчиняясь с видимой неохотой. Все выпили и зашарили вилками в банках.

— Значит, говоришь, чисто сработала машинка? — спросил генерал, усмехаясь. Глазки его, из-под толстых бровей, блеснули озорством и злорадством.

Донской замер с куском во рту, щеки у него ярко вспыхнули пятнами. И, глядя на его растерянную, чеканность утратившую физиономию, генерал ощутил, как в нем самом поднимается волна грозного веселья, мстительной радости, жгучей до слез, поднимается и несет его.

— Не бурей, Донской, не бурей! — Он хлопнул адъютанта по плечу, отчего тот мало не сломался в спине. — Верно говоришь: свое берем! Чисто, не чисто, а пускай нам хоть кто словечко скажет. Чихали мы с высокого косогора! Мы еще за этот Мырятин попляшем, верно?!

Он потянул из-за воротника салфетку. Шестериков, с радостно вспыхнувшей улыбкой, кинулся к нему.

— Дайте сменю, Фотий Иваныч. Немножко желеем залили.

— Ступай ты… со своим желеем!

Кряхтя, багровея лицом, генерал поднялся на ноги. Шестериков и адъютант вскочили тоже и поддержали его под локти. Он вырвался от них и, скомкав салфетку в кулаке, погрозил этим кулаком кому-то вверх, в пространство.

— Чихали, говорю! Вот что главное… С высо-окого косогора!

«Никак, он и в самом деле плясать собрался? — подумал адъютант Донской почти испуганно. — А ведь с него, черта, станется».

Генерал, притопнув, взмахнул салфеткой и запел хриплым, не прокашлявшимся баритоном:

Ах, мы ушли от прррроклятой погони,
Перррестань, моя радость, дрррожать!
Нас не вввыдадут верррные кони,
Ворррроных — уж теперь не догнать!..

Трое спутников его встали навытяжку, не зная, куда себя деть; между тем на них уже обращали внимание — подходили солдаты, оставившие свои зенитки, подходили робко женщины с огородов, воткнув в землю свои лопаты, притормаживали проезжавшие шоферы — и все смотрели, как грузный, хорошего роста генерал приплясывает около разостланной скатерти с выпивкой и закусками, взбрыкивая начищенным сапогом и помахивая над головою салфеткой.

Застелю мою бричку коврами,
В гривы конские — ленты вплету,
Прррроскочу, прррозвеню бубенцами
И тебя подхвачу налету!..

Адъютант Донской смотрел на него, кусая губы с досады, чувствуя в душе странное уязвление. Не то чтоб ему чересчур неловко было за генерала, это бы еще полбеды, но он вдруг почувствовал, что сам бы он, приплясывающий и припевающий обочь шоссе, со своей поджаростью, со своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка» глазами, выглядел бы совершенно невозможно, несусветно, и никогда бы эти женщины, солдаты, шоферы не смотрели на него с просветленными улыбками, как смотрели они на эти восемь пудов… чего? Он и сформулировать сейчас не мог чего, но, Бог ты мой, как все вдруг сделалось неважным — и что им теперь запоют в Генштабе, и как они будут выглядеть перед тамошними офицерами, проходя вдвоем с генералом по ковровым дорожкам, и даже что скажет, узнав, рыжая Галочка из поарма…

На дикой скорости подлетел со стороны Можайска «студебеккер» с надставленными бортами, груженный брюквой, и стал, клюнув носом. Водитель, лет сорока солдат, опустив стекло,

долго приглядывался, что происходит, потом закричал весело, кивая вверх, на черный раструб, из которого изливался теперь победный марш:

— Что берем, бабоньки? Неужто Предславль?

— Мырятин какой-то, — отвечали женщины.

— Чего? — Он приставил к уху ладонь совочком. То ли был глуховат, то ли ему мешал подвывающий двигатель.

— Мырятин! Уши прочисти!..

— Сятин? — переспросил водитель «студебеккера». — Хороший город Сятин. Я, правда, не был, но слыхал. — Он послушал марш и опять закричал: — Мелкоту отмечаем! А как Харьков сдавали — кто помнит, бабоньки? Одна строчечка была в газетке!

Генерал вдруг замер с открытым ртом. Он дышал тяжело, лицо малиново наливалось гневом.

— Я те щас дам «мелкоту»! — Он полез наверх, к шоссейке. — Я те щас покажу «Сятин»! Стратег выискался, Рокоссовский, Наполеон… Засранец! Предславль ему подавай. А Берлина, деятель тыла, не хошь сразу?

Водитель, при виде генерала, подбиравшегося к нему снизу, с салфеткой в тяжелом кулаке, обмер и стал бледнеть. Как бы сама собою, судорожно подкинулась к виску ладонь. Как бы сам собою, «студебеккер» тихонько тронулся и, взревев, бешено рванул со спуска.

— Гопник несчастный! — кричали вслед ему женщины, с мгновенно вспыхнувшей злостью к дураку, испортившему праздник.

— Дезертир!

— Чтоб ты взорвался!

— Чтоб тебе, падла, всю жизнь этой брюквой питаться!

Генерал, выбравшись наконец на асфальт, плюнул вслед «студебеккеру», уже и не видному за спуском. И, точно бы его сил только на то и хватило, вдруг поник, обвис, шумно засопел, замычал, как от боли.

— Орелики мои! — Все его обиды нахлынули на него разом, от слез защемило в глазах, и он, не таясь женщин, вытер глаза салфеткой. — Эх-ма, орелики…

Отчего так грустно стало, почти невыносимо душе? Из-за этого дурака тылового? Или оттого, что, битый по рукам учительской линейкой, стоял на коленях носом в угол, и это никогда не забудется и ничем не искупимо? Неужели никогда, ничем?.. Он стоял одиноко посреди шоссе, никто не осмелился к нему подойти близко, и он смотрел поверх голов на облако, медленно наползавшее со стороны Москвы, изборожденное серо-

лиловыми извилинами, а снизу чуть позолоченное краешком восходящего солнца. Облако меняло свои очертания, различались на нем то надменная голова верблюда с отвисшей губой, а то журавль с изогнутой шеей и распахнутыми крыльями, и вдруг оно заулыбалось, явственно заулыбалось — злорадной ухмылкой Опрядкина. Той самой ухмылкой, не затрагивающей ледяных глаз, с какой он протягивал на тарелочке жирный сладкий ломоть. «А все-таки вмазали они тебе этот торт, — сказал себе генерал. Было и впрямь, как тогда, предощущение противной сладости на губах, сползающих с носа и подбородка липких сгустков. — Нравится? И кушай на здоровье!» Тут ему вспомнились его предчувствия, что с этим Мырятином непременно должно связаться что-то роковое для него — может быть, даже смерть, и будут его косточки лежать где-нибудь в городском скверике, под фанерным обелиском, — кажется, так теперь, после гибели Опанасенко в Белгороде, хоронили генералов? Ну, не связалось роковое, погребальные дроги миновали его, страхи не сбылись — много ли они значат, наши предчувствия? но он-то их пережил! Не подумали об этом отставившие его от армии. Не подумали, как ему далась одна эта переправа, где его сто раз могли подстрелить, как селезня.

Почему-то ему казалось обязательным, чтоб те, кто вырывает у нас кусок изо рта, еще бы при этом задумывались, как он нам самим достался. Но ведь нашелся же кто-то, неведомый судия, кто увидел всю цепь его унижений и своим вмешательством разорвал ее, постарался поправить, что можно еще поправить. Могла, и в самом деле, «машинка» сработать, но мог же и сам Верховный углядеть, оценить, что не в Мырятине, заштатном городишке, все дело, а что плацдарм Мырятинский — ключик не к одному Предславлю, но, может быть, и ко всей Правобережной Украине, и подчеркнул его имя — желтым ли ногтем, черенком трубки: «Есть мнение, что в отношении товарища Кобрисова допущено нечто вроде несправедливости. Пожалуй, я к этому мнению присоединяюсь. Нельзя так людьми разбрасываться. Тем более он у нас, если я не ошибаюсь, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Или я ошибаюсь?» Да, могло и так быть. Ну, и что, если даже Сам? «А только то, — сказал себе генерал, — что вместо одного куска два кинули…» Почему все так поздно к нам приходит, так безнадежно поздно! Хотя бы и вернули его на армию — разве сам он останется тем же? Непоправимо никакое зло — и не оставляет нас прежними.

Адъютант Донской, поднявшийся следом за генералом на обочину шоссе, наблюдал за ним пристально, с язвительной усмешкою на тонких губах. Право же, мудрено было поспеть за

этими причудливыми изменениями: только что генерал плясал и пел, а теперь вот ушел к столбу, стоял одиноко под ревущим репродуктором, держась рукою за столб, опустив голову без фуражки. Ветерок лохматил ему редкие волосы, вид был неприкаянный. «Перебрамши малость», определил Донской. И сформулировал по привычке: «Восемь пудов неизъяснимой скорби». А более всего коробило майора Донского, что генерал дал основание женщинам и солдатам-зенитчикам, собравшимся около машины, вслух обсуждать его.

Женщины поняли генерала по-своему. Иные согласно заплакали и утирались концами платков, иные так объясняли себе и другим:

— Бедненький, как за сынов убивается!..

— Вот судьба-то — всех разом…

— Поди, в одном танке сгорели.

— Чего ж он тогда плясал?

— Дак им же всем Героя присвоили. Он уж потом-то сообразил, что посмертно.

Далее, на взгляд адъютанта, пошло уже и вправду несусветное: одна из женщин все же осмелилась, подошла к генералу и, взяв его за рукав, принялась утешать, что не такой-то он старый, жена ему еще и двоих, и троих народит, а он ей отвечал, что чихать он на все хотел с косогора, но люди-то не патроны, их экономить надо, каждого жалко.

— Еще бы не жалко! — отвечала женщина со слезой в голосе. — Зато их народ не забудет, памятник всем поставит… Долее адъютант Донской уже не мог терпеть.

— Шестериков! — позвал он. — Сходи-ка за ним, приведи.

— Почему я? — спросил Шестериков. — Вам же ближе.

Донской было заметил, что ближе-то к генералу как раз ординарец, но сказал другое:

— Я при командующем для более важных дел. А ты за его состояние отвечаешь, за физическое. И знаешь, как с ним обходиться.

— Если б знал! — проворчал Шестериков. — Каждый день им, что ли, звезды перепадают?

Но все же полез наверх.

Женщина робко попятилась и отошла подальше. Генерал услышал, что кто-то тянет из его руки салфетку, поднял голову, увидел Шестерикова, смотревшего на него грустно и укорительно.

— Фотий Иваныч, пойдемте, нехорошо вам тут.

— Нехорошо? — глаза генерала были мутны. — Хочешь сказать, я нехорош?

— Ну, и это тоже…

Сказавши так, Шестериков почувствовал, что власть его, маленькая, но ощутимая власть ординарца над своим хозяином, богом, уперлась в предел, который переступить страшно. Генералу же вспомнилось мимолетное: как он, выплясывая, вдруг словно бы напоролся на этот же, грустный и укоряющий, взгляд своего ординарца.

— Что, на костях плясал?

Шестериков зябко повел плечом и не ответил.

— А ты, — спросил генерал, — всегда со мной такой… откровенный?

Шестериков тотчас понял, о чем он говорит и о ком, и опустил глаза. И от этого генерал уверился, что да, было такое, доверительные беседы, о которых умолчал верный человек. Да и нельзя было бы слишком ошибиться — у того же Опрядкина читал он показания бывшего своего адъютанта, бывшего шофера, бывшего ординарца, снятые особистами дивизии задолго до его ареста после «разоблачения» Блюхера. Никто не отказался показывать на «любимого командира». Никто, правда, особенно и не закладывал его, даже старались, каждый в меру своего ума, как-то его выгородить, но никто же и не сообщил ему о тех беседах. Что же мы за народ такой, думал генерал. И злые слова шли на язык: «Кому ж ты доложишь, как я себя вел? Твой-то майор Светлооков — где он теперь?» Но вид Шестерикова был такой убитый, что слова удержались действительно непоправимые. Можно ли было совсем забыть, как этот же самый человек, попавший в сети матерого, закаленного «смершевца», да неизвестно еще, насколько в них запутавшийся, и неизвестно, что и как отвечавший при тех беседах, этот же человек в сорок первом, не так далеко отсюда, у села Перемерки, тогда еще незнакомый, только что встреченный, повалился рядом в кровавый снег, один отстреливался, вытащил, от верной смерти спас, а могло быть — и от плена, от участи того же Власова?

— Прости, если что худое сказал, Шестериков. — Генерал почувствовал себя так, будто он те слова произнес. — Прости, брат…

— Фотий Иваныч! — Шестериков, с горящим лицом, подался к нему. — Я все собирался, да никак… Я вам расскажу, как получилось…

Генерал хотел было отстранить его рукою, но только поморщился.

— Не надо, — сказал он, тряся головою. — И слушать не стану. Зачем это мне? — И повторил: — Прости, брат.

Хмель наплывал и схлынывал волнами, и в голове никак не

укладывалось, что делается вокруг и почему делается. Водитель Сиротин, не усидевший один внизу на плащ-палатке, взобрался с фляжкой в руке к машине, уселся на свое сиденье, вывалив ноги на асфальт, и всем желающим наливал из фляги в крышечку.

— Женщины и девушки! — орал Сиротин, перебарывая радио. — Красавицы вы мои! Я правду вам скажу: на войне — все, как в жизни. Кому гроб, кому слезы, кому почет на грудь. Поэтому за всех выпить полагается!.. Выпьем и отдадим все силы фронту. Все силы!..

Адъютант Донской высился на обочине одиноким столбом, кривил губы насмешливо-брезгливо, но вмешаться не спешил. Уже какая-то, мигом захмелевшая, бабка, дробненькая и темноликая, в расхристанном ватнике не по росту ей, пританцовывала, притопывала огромным башмаком, истошно гикая и то попадая в такт бравурного марша, а то нарочно невпопад. Бабка из своих малых сил очень старалась всех развеселить, насмешить — и явно преуспевала: парни-зенитчики, спешившиеся шоферы, женщины с огородов, запрудив шоссе, сгруживались вокруг нее, и кто подхлопывал в ладоши, кто подгикивал, кто просто смотрел с невольной, не сгоняемой улыбкой. Поглядывали с улыбками и на него, генерала, — как из отодвинувшейся перспективы, из окуляров перевернутого бинокля; уже, поди, выяснилось вполне, что не погибли генеральские сыновья, чепуха это, все у него в ажуре, и, стало быть, за него тоже праздновали, за его, как с неба свалившиеся, звезды. Худые пареньки с тонкими шеями, кормленные по тыловой норме, в шинельках второго срока, с бахромою на полах и на рукавах, в ботинках с обмотками, женщины с опавшими или одутловатыми лицами, чуть только разгоревшимися, порозовевшими от выпитого, от смеха, в тяжелых, как доспехи, уродующих ватниках, в заляпанных грязью и обвисших юбках, в пудовых сапогах, — так выглядел этот, всегда непонятный, народ. И генерал представил себе, как бы он вдруг объявил всем этим людям, что там, в Мырятине, русская кровь пролилась с обеих сторон, и еще не вся пролилась, сейчас только и начнется неумолимая расправа — над теми, чья вина была, что им причинили непоправимое зло, — и еще добавь, добавь, сказал он себе, что и сам его причинял с лихвой! — и они этого зла не вытерпели. У каждого была своя причина, но то общее, что сплотило их, заставило надеть вражеский мундир и поднять оружие против своих — к тому же и неповинных, потому что истинные их обидчики не имели обыкновения ходить в штыковые атаки, — это общее, заранее объявленное «изменой», не простится одинаково никому, даже не будет услышано. И как не считались

они пленными, когда поднимали руки перед врагом, не будут считаться и теперь. Скажи он все это — и что произойдет? Проникнутся эти люди чужими сломанными судьбами? И хотя б на минуту прервется или омрачится праздник? А может быть, тяжкий грех — прерывать его, омрачать? Может быть, все то, что он сказал бы, и не важно — в сравнении с этой скудной радостью, какую доставил взятый вчера и никому из них не известный «Сятин»?

Наверно, есть, думал генерал, еще какая-то справедливость, другая, которой он не постиг, а постиг — Верховный. Он-то лучше всех изучил, что нужно этому народу. Не для себя же одного придумал он эти салюты, не для себя настоял в ноябре сорок первого: «Парад на Красной площади состоится, как всегда». Говорили, это ему посоветовал Жуков. Но так ли важно, кто подал совет, да были же и другие советы, важно — какой из них он принял, а принял — как полководец, понял, что такое война. А может быть, и большее он успел понять — что люди, к которым он был так жесток, мучил, убивал, гноил, единственные и верные его спасители, — и человеческое в нем дрогнуло? Не мог же так просто, на ветер бросить: «Братья и сестры!» Так Бог не обращается к человеку! То был — «отец», а то вдруг — «братья», «сестры». С горной высоты сошел смиренно, почувствовал себя равным со всеми, одним из всех. И в самые страшные дни, на пределе отчаяния, сказал вовсе не парадно, а как мог бы любой, как равный всем: «Будет и на нашей улице праздник». Какие слова нашел! Какое в них послышалось обещание! Отныне все по-другому пойдет — еще не сейчас, а когда немца прогоним, последнего немца с последней пяди России, сейчас только об этом думать! Вот и ему, Кобрисову, протянул руку — поверх всех голов, над интригами завистников — и разрубил узел, который никак не развязывался, враз облегчил бремя, все мучившие его мысли, в которых не дай Бог кому признаться, прочел — и отвел: «Мелочи, мелочи, не имеет значения». И остановил на пороге Москвы, как будто пригвоздил, предупредив все нелегкие разговоры в Генштабе. И отметил-то как — в числе немногих, самому Ватутину не дал Героя, а ему, Кобрисову, пожаловал… И оставил только одно, не отменимое никакими наградами: помнить и угрызаться, что план по Мырятину был составлен наспех и брошен на полдороге, и все потери, которых могло не быть, повисли на нем…

Между тем содержимого фляжки там, ясное дело, не хватило, и явилась на свет пятилитровая канистра из-под моторного масла с чуть разбавленным спиртом-сырцом. Адъютант Донской и тут не вмешался. Шестериков, охнув, кинулся было спасать канистру,

но генерал его удержал за локоть.

— Не надо, — сказал он, всех, кого видел, любя и жалея. — Не жмись. Гуляют люди!

… Гуляли, наверно, и там, в Мырятине. Еще на западной окраине автоматчики вышибали немцев с верхних этажей и чердаков, и артиллерия на всякий случай старательно расстреливала колоколенку на холме, безглазую и пустую; еще искали «керосинщиков», поджегших мебельную фабрику, только что занятую и оприходованную как спасенное имущество, — пока не выяснилось, что сами же и подожгли ненароком; еще не различить было, где перестрелка, а где так, салютуют от избытка чувств, а уже кто-то спал вповалку посреди газона в скверике; уже в центре телеграфистки и радисточки сменили тяжелую кирзу на сапожки с каблучками, пошитые на заказ, и собирались выйти погулять на главный проспект; уже кто-то разведал, где дополнительное спиртное, и тащил его в родную роту сразу в четырех касках, держа их за ремешки; уже дымили на площади походные кухни, и осмелевшие мырятинцы пристраивались в очередь с кастрюльками и горшочками — и снова вдруг начиналась пальба: обстреливали немецкий взвод, который вышел сдаваться аккуратным строем, но с таким грязным лоскутом, что его не признали за белый… И может быть, вся вот эта неразбериха и нужна была, чтоб люди пришли в себя и понемногу забыли, как на мглистом рассвете они стояли в сырых окопах, чувствуя холод в низу живота, молясь про себя и ожидая ракету.

Потом они узнают, потом объяснят им, что это было великое наступление.

Генерал вытер пальцами под глазами и увидел перед собою адъютанта вытянутого, как палку проглотил, с генеральской шинелью на локте.

— Товарищ командующий, — сказал Донской простуженным голосом. И поправился, нарочито выделяя новое обращение: — Товарищ генерал-полковник… Виноват, но все-таки ехать пора. Тут уже, в конце концов, я отвечаю.

Генерал молча кивнул. Дал себя одеть в шинель, нахлобучил фуражку.

— Ожидается, что мы сегодня прибудем, — напомнил Донской, застегивая на нем пуговицы. — Хорошо бы до одиннадцати. Время есть, но нужно же в себя прийти.

— Хорошо бы, — сказал генерал.

Он шел к машине охотно, даже покорно, слегка поддерживаемый адъютантом под локоть. Люди, которых он смутно различал, сразу отчего-то притихшие, расступались перед

ним широким коридором. Внизу, под насыпью, Шестериков торопливо совал в мешок стопки, вилки, ножи, салфетки, сворачивал скатерть, плащ-палатку, шинель. С двумя громоздкими свертками он поднялся к машине и сунул их за передние сиденья, под ноги адъютанту и себе.

— Получше не мог уложиться? — спросил генерал.

— Фотий Иваныч, дак тут ехать-то сколько…

— Сколько б ни ехать, а фронтовую укладку соблюди. Чтоб ничего не торчало, ноги бы не мешало вытянуть.

— Ну, я на колени возьму.

— Не надо на колени.

Генерал заговорил строго, посверкивая глазками из-под насупленных бровей; в нем появилась какая-то мрачная решимость, и адъютант Донской почувствовал в груди некое замирание: «Никак, он сразу туда решил ехать». Это даже восхитило Донского — в высочайшее присутственное место заявиться вот такими, как есть, на заляпанном «виллисе», во всем повседневном, полевом, пропахшими грязью дорог, потом, бензинной гарью, немножко и коньячком — тоже не повредит в такой день! — пропахшими фронтом. И еще бы разыграть, что не слыхали о Приказе, пусть-ка сначала им сообщат, поздравят. Если в том и есть генеральская дурь, то — высокого свойства. Интересно, подумал он, из ста генералов сколькие так бы и поступили? А сколькие — не посмели бы?

Однако ж генерал сто первый, лучше всех изученный Донским, поставил ногу в «виллис» и спросил водителя:

— Как у тебя с бензином, Сиротин?

— До Москвы-то? — Сильно порозовевший Сиротин, переваливая малопослушные ноги с асфальта к педалям, беспечно рассмеялся. — Да на нейтралке с горушки домчим, даже без зажигания. На одном, тарщ командщ, эн-ту-зи-азме!

— А до Можайска? — спросил генерал. — Хватит без заправки?

В груди адъютанта Донского явственно что-то стало опускаться.

— Товарищ командующий… Виноват, но — Москва! Нас ведь сегодня в Ставке ждут…

— Кто? — спросил генерал, тем же мстительным голосом, каким он кричал про чиханье с косогора. — Кому там без нас не прожить? Ставка нам уже все сказала. Сам сказал!..

— Еще раз виноват… Хоть я и перебрал малость, — последнюю фразу Донской произнес с нажимом, — но осмелюсь настаивать. Это чрезвычайно важно! Вы же потом с меня взыщете…

Генерал, широко взмахнув рукою, показал ему на репродуктор. Победные марши смолкли, из черного раструба изливалась тягучая печальная мелодия.

— Вот это мы приняли? — спросил он, глядя в упор в бледнеющее лицо адъютанта. — Звезды на грудь и на плечи — приняли, я спрашиваю? То, что ты говоришь — «свое»… Значит, и все остальное должны принять! Кровь пролитая, люди погибшие — не зовут тебя, майор Донской?

Шестериков, укладывавший возимое добро в бортовые коробы, выпрямился и поглядел на генерала с удивлением, с восторгом, но и с мольбою.

— Ставка-то — Бог с ней, оно и лучше туда носа не казать. Но неужто домой не заедем? Фотий Иваныч, дочек не повидаем? Майю нашу Афанасьевну — не порадуем? С меня не то что вы — она с меня взыщет!

— Порадуются и без нас, — буркнул генерал. — Приказ небось уже слышали. Что мы им другого скажем?

Он поглядел на Москву, всю в проплешинах от лучей бледного холодного солнца, проникавших в разрывы облаков. Он поглядел на нее без всякого интереса, и это яснее всего сказало Донскому, что убеждать его, соблазнять чем бы то ни было — бессмысленно: ни тем, что им все-таки есть резон хоть показаться в Генштабе и кое-что разведать, ни тем, что они вполне бы могли, без особенных угрызений, провести сутки в Москве, хлебнуть столичного воздуха и увезти кое-какие воспоминания, ни даже несколькими часами дома, с семьей, которую генерал может и до конца войны не увидеть. А то и вовсе не увидеть.

— Так чего, заводить? — спросил Сиротин. — Куда поедем?

— Указан тебе маршрут, — сказал Донской потухшим голосом.

До Сиротина, однако, не все дошло толком. Он смотрел на домишки и сады Кунцева и улыбался.

— Эх, да как же не погулять, салют не поглядеть, в кои-то веки? На метро не прокатиться? Был я в белокаменной или не был?

Генерал, грузно усаживаясь, отвечал ему еще сдержанно:

— Нагуляешься, Сиротин. После войны. Ребенок ты? Не видал, как из пушек бабахают? Давай заводи.

Но и запустив мотор, Сиротин еще не все до конца понял.

— А может, сгоняем? Ну, на часок хотя бы… Ведь дело ж какое!..

Генерал, багровея, затрясся от гнева.

— Что, совсем окосел? Трезвей у меня щас же, мобилизуйся! Какое у тебя там дело? У тебя на фронте все твои дела! В армии!

Понял? И крути назад! Крути, говорю!

Сиротин поспешно схватился за рычаг, со скрежетом включил передачу. Выкручивая руль до отказа, он взглядывал на генерала испуганными глазами, словно с недобрым предчувствием; лицо его было несчастное, едва не плачущее. Люди, все видевшие и слышавшие, медленно расступались перед широким тупым рылом «виллиса». Солдаты-зенитчики поднесли ладони к каскам, женщины крестились. Темноликая бабка, поднявши троеперстие и кланяясь, крикнула шепеляво: «Сохрани вас Господь, касатики!..» Лица у всех были печальны, точно бы на них отражалась истекавшая из черного раструба тонкая пронзительная щемящая нота.

Генерал, против устава, всем откозырял сидя.

Адъютант Донской, стиснутый, скорчившийся на заднем сиденье, чувствовал в душе уязвление — оттого, что не разгадал эту очередную дурь. Вина, разумеется, была его, но винил он в своей ошибке почему-то генерала, которому не преминул съязвить:

— А хорошо бы, товарищ командующий, нас на первом КПП[16] не завернули без надлежащего предписания.

— Нас-то? — Генерал не оглянулся, а лишь откачнул голову назад. — А хотел бы я посмотреть тому в рыло, кто нас от войск завернет. Черта ему лысого, хренушки — нас теперь от армии отставить! Успеть бы только, успеть… Нам бы вчера там быть. Давай, Сиротин, жми!

Круто вильнув и оставив на шоссе две синусоиды грязи с обочины, «виллис» взревел и пошел, набирая ходу, в сторону Можайска. Еще раз, из-под брезента, с отчаянием на лице, оглянулся водитель Сиротин. И более все четверо на Москву не оглядывались. Траурный марш отдалялся и затихал, все сильнее бил в стекло и хлопал брезентом ветер.

Прав оказался генерал Кобрисов, а не адъютант Донской — на первом КПП их не только не завернули, а еще поздравили и передали о них по телефону на следующую «рогатку», чтоб пропускали без замедления. Их кормили и водку им отпускали без продаттестатов и заправляли бак бензином, не спрашивая талонов и накладной. Среди машин, спешивших на запад, маленький «виллис» не мог затеряться и застрять, он переходил из одних предупредительных рук в другие.

Сегодняшний день — весь целиком — принадлежал генералу. Весь этот день он ехал триумфатором, потому что столбы с черными раструбами попадались на всем его пути, и каждый час гремело из них, как с неба:

— …СТРЕЛКАМ И ТАНКИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА

КОБРИСОВА…

И державно ликующий голос разносился широко окрест — над холмами и ухабистыми дорогами, выбегавшими к шоссе, над мокрыми простреляннными перелесками, над печными трубами деревень и хуторов, испустившими свой последний дым два года назад:

— …И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ…

Всякий раз, подъезжая к такому столбу, водитель Сиротин притормаживал, чтобы еще раз послушать и дать послушать генералу, а потом рвал, как угорелый, мучая мотор, губя покрышки. И ветром дороги отбрасывало, уносило вдаль, за корму:

— ВЕЧНАЯ… ПАВШИМ… НЕЗАВИСИМОСТЬ… РОДИНЫ…

Этого, впрочем, генерал как будто и не слышал. Он сидел неподвижно, вцепясь обеими руками в поручень у приборной панели, выставив на ветер толстое колено, обтянутое полою шинели, и смотрел хмуро и сосредоточенно в летящее навстречу пространство. Адъютант Донской, перегибаясь с заднего сиденья, заботливо укутывал ему горло серым, домашней вязки, пушистым шарфом.

Он мог бы этого и не делать. Генералы — когда они едут к войскам — не простужаются.

Глава седьмая.
СНАРЯД

1

Майор Светлооков сидел один в комнатушке сельской хаты на Мырятинском плацдарме. Он сидел за столом лицом к окну, держа около уха трубку телефона, другой рукой машинально расправляя шнур. Быстро вечерело, но огня он не зажигал, не хотелось занавешивать окна и сидеть потом в слепой и глухой норе. Спасо-Песковцы не переставали быть ближним тылом, а теперь, с наступлением, они оказались неожиданно в зоне боевых действий. Разумеется, штабное село охранялось, но лучше было все видеть и слышать и иметь под рукой пистолет, вынутый из кобуры.

То, что сообщали майору Светлоокову, отражалось на его лице игрою бровей и губ — отражалось бы, если б не так стремительно сгущавшаяся темнота.

— Зоечка, друг мой, — говорил он. — Ты там сидишь на коммутаторе, на главном, можно сказать, пульте управления, так ты пресекай, пресекай эту болтовню по связи. Чтоб у тебя отводная трубка от уха не отлипала. И как услышишь, что маршрут сообщают и время, прерывай тут же. В разговор не встревай, замечаний не делай, а тут же прерывай.

— Я так и делаю, майор, — отвечала трубка.

— Кто еще знает, кроме начштаба? Ну, начальнику разведотдела полагается это знать, а кто еще?

Трубка ему перечислила трех-четырех посвященных.

— Да, — сказал майор Светлооков, — это уже не секретность. Уже, как пить дать, где-нибудь утечка произошла, что барин едет. Ну, хоть бы просто трепались, анекдоты рассказывали, насчет баб опытом обменивались, а то ведь такие вещи по проводу сообщают! А вот подслушают, да устроят барину перехват в лесу, да в плен возьмут… У них же мечта — нам ультиматум предъявить.

Люди, которых называли бандитами и предателями, рыскали вокруг по весям и малым хуторам, и вели они себя дерзко. Из страха окружения они подались не на запад, куда бы им следовало прорываться любой ценой, а на восток, к берегу Днепра, — этого не объяснить было никакой логикой, но лишь инстинктом загнанного животного, которое бежит туда, где не

так пышет огонь или не так леденит дыхание смерти, — хотя там-то как раз она и поджидает его. Спасаясь от окружения незавершенного, из которого еще можно было вырваться, они попали в такое, откуда им выхода не было вовсе.

— А Светлооков — ему безопасность обеспечь! — сказал майор Светлооков с досадой. — Волшебники мы, что ли?

— Скромничаете, майор, — сказала Зоечка и рассмеялась серебряным смехом. — Я-то вас считала волшебником.

— Уже не считаешь?

— Считаю, считаю. Кого же мне еще с вами рядом поставить!

— Ну, придется нам с тобой этой ночью попотеть…

— Фи, — сказала Зоечка, — не ожидала, что вы так вульгарно…

— Ну, я хотел сказать, потрудиться.

— Не лучше.

— Слушай, Зоечка, ты что-то у меня сегодня игривая. Уговор был какой? Всякие шуточки на скользкие темы во время работы отставить. А тебя только туда и тянет. Где он сейчас примерно?

— Не примерно, а точно — к Торопиловке приближается.

— Там он ночевать не захочет. И в Спасо-Песковцах не захочет. Он в свой вокзальчик поедет. А там сейчас неизвестно кто и что. Я звоню — без результата. Линия туда обрезана?

— Нет.

— Это почему? Сказано же было: все линии, которые могут быть захвачены, обрезать.

— Можете не беспокоиться, я все концы в руках держу.

— Н-да? — спросил он с гнусавой ухмылкой. — Это хорошо, Зоечка. Я так и вижу тебя, как ты концы необрезанные в ручках своих нежных держишь. Впечатляющая картиночка!

— Ну вот, — обиделась Зоечка, — вы же сами на скользкие темы…

— Виноват, виноват… А ты сейчас и командующего могла бы прослушать?

— Командующего — это что! Я вас могу.

— Ого! А ты знаешь, Зоечка…

Он хотел продолжить: «А ты далеко пойдешь!». С некоторым даже испугом, но и восхищением он отметил, что она уже высвободилась из-под его первоначального подавляющего авторитета и неуловимо наглеет. Вот уже называет его не «товарищ майор», а просто «майор». И нет смысла делать ей замечание, это ведь не Зоечкина особенность, а той службы, которой принадлежали они оба и которая, по самой природе своей, разрастается и наглеет, наглеет и разрастается. Знать о людях больше, чем они того хотели бы, и чтоб это не сказывалось

на посвященном в чужие тайны? Невозможно.

— А ты молодец, — прервал он свою затянувшуюся паузу. — Благодарность от лица службы.

— Служу Советскому Союзу.

— Неправильно говоришь. От лица нашей службы. На это наши люди отвечают глубоким сосредоточенным молчанием. — Трубка помолчала. — Вот, правильно. Сейчас я по карте посмотрю, где эта Торопиловка. Что ж, дорогая моя…

— Приятно слышать.

— Не в смысле — дорогая женщина, а дорогая помощница.

— Тоже приятно.

— Придется нам сегодня, Зоечка, проявить себя волшебниками. Тут что главное сейчас… когда уже произошла утечка и не исключается подслушивание. Нужно создать… как бы это выразиться?.. хорошую неразбериху.

— Я это поняла, майор. Можешь на меня положиться.

— Зер гут, — сказал он весело. И подумал, что лучше с этой Зоечкой не ссориться, слишком она влезла во все дела. — Созваниваемся. Ты знаешь, где я буду. Адье!

Он положил трубку, прокрутил отбой и несколько мгновений сидел неподвижно, в рассеянности продолжая расправлять шнур. В окнах все больше чернело, и темнота понуждала его приступить к делу.

«Эх, Фотий Иванович, зачем?! — произнес он мысленно. — И что вам в Москве не посиделось? Не побыли дома, с женой любимой, с дочками подрастающими, а прямо к нам. Ведь расплатились же с вами! Неужели мало? Звезду на погон и Звезду на грудь — фактически за одну только переправу… за один лишь замах! Другой бы доволен был выше головы, а вам подавай Предславль!.. Один Бог знает, как я вас уважаю. Но ведь правду говорят: жадность фраера губит!»

— Ну, что поделаешь, — произнес он вслух. — Вызываю огонь на себя.

Но и после этих слов он сидел, огорченно вздыхая, и не мог себя заставить подняться, невмоготу было перенести всю тяжесть свою на ноги. Он надел фуражку и, взяв со стола пистолет, поставил его на предохранитель и вложил в кобуру. Казалось ему, на это ушли все его силы. При свете было бы видно, что лицо его хмуро и печально.

2

Приблизительно в этот час в маленькой землянке на левом

берегу Днепра сидели за столиком, друг против друга, командир батареи 122-миллиметровых гаубиц и наводчик первого орудия. Сидели они хорошо, у них еще были полторы фляги водки-сырца, полбуханки хлеба, пачка печенья из офицерского пайка и большая, килограммовая банка американской мясной тушенки, из которой они себе накладывали в миски понемногу, чтоб банка подольше была украшением стола. И был у них повод выпить — за перемену позиции. Их батарея покидала свое расположение и перебиралась на новое место — уже на том берегу, на плацдарме, который они два с лишним месяца поддерживали огнем. Комбату отчасти и жаль было покидать обжитую землянку, такую низкую, что в ней едва он мог распрямиться, а зато дивно пахло от пола, укрытого еловым лапником и ссохшейся полынью. И сначала они говорили о том, что следующие свои землянки они выроют поглубже, в них будет потеплее, — и не так, добавлял наводчик, чтобы десять рыл друг у друга на голове, а по двое, скажем, или хотя б по пятеро, — но потом вспомнили, что и в прошлые разы это же обещали себе, и пришли к тому, что, наверное, и не понадобится их рыть вообще, потому что пошло наступление и, может быть, жить они будут в хатах наконец, а не в земле.

Попивая и закусывая, они с душевной приязнью смотрели друг на друга при свете коптилки, сделанной из снарядной гильзы от малой зенитки, — наводчик, мужичок лет тридцати, с лычками сержанта, юркий и расторопный, а когда надо степенный и немногословный, и комбат, возрастом помоложе его лет на восемь и всячески старавшийся это свое досадное отставание преодолеть с помощью усов и деланной басистости в голосе. От чадящего фитиля ноздри у них были черные. Кроме того, у наводчика темнело вокруг правого глаза и несколько припухла бровь. Наводчик имел пагубную привычку — закончив наведение, не сразу отстраняться от прицела, а еще мечтательно задумываться о траектории снаряда, покидающего ствол, и мысленно провожать его в полете до самой цели, которой он никогда не видел, так как стрелять ему приходилось всегда с закрытых позиций. Из-за этой мечтательности и задумчивости ему частенько доставалось от толчка, который не целиком поглощался дульным тормозом и противооткатной гидравликой. Резиновый наглазник окуляра удар, конечно, смягчал, но и натирал ему надбровье.

Они сидели достаточно долго, чтобы почувствовать произошедшие в них изменения. Наводчик первого орудия с удивлением осознал, что жизнь его была бы решительно неполна, если б не повстречался на его путях-дорогах командир батареи 122-миллиметровых гаубиц. Со своей стороны, и комбат должен

был признать, что в жизни своей не встречал человека лучше, чем наводчик первого орудия. И с некоторым удивлением он вспоминал, как совершилось это открытие. Наводчик пришел к нему отпроситься часика на три, на четыре в село под названием Свиные Выселки, — там, в дополнение к местному контингенту, располагался армейский госпиталь с разнообразным женским персоналом и, к счастью, немногой охраной, — и скрепя сердце комбат отказал ему, мотивируя тем, что уже много людей ушло, а на батарее осталось мало, вот разве только вернется кто-нибудь до срока, тогда почему ж не отпустить… Надежды на это не было никакой, но разговорились, комбат почел своим командирским долгом расспросить подчиненного, как складывается жизнь его на батарее, чем заполняется личное время и что пишут из дому; слово за слово, выставилась на столик фляжка, достанная из стенной ниши, где она сохранялась в земляной прохладе, выпили по четверти кружки, потому что нельзя же так разойтись, потом еще по четверти, потому что «надо ж повторить», а к третьему наливу появилась ответно фляжка другая, как бы вынырнувшая из шинельного рукава наводчика, его «вступительный взнос», с которым он бы в любой компании был принят сердечно; тут, само собою, продолжили и воспрянули, а вскоре и вознеслись, и наводчик совершенно перестал жалеть, что не поперся по осенней грязище и по холоду за пять верст в эти Свинячьи Выселки.

— А почему это происходит? — спрашивал он с упрямством в голосе. — Вот почему?

— Да, почему? — спросил комбат. И спохватился: — А что происходит?

— Вот такие встречи. Почему, капитан, я тебя в мирной жизни не встречал? Потому что не мог. Увидеть — мог, а разобраться не мог, кто хороший человек, а кто, понимаешь, сволочь. А тут и разбираться не надо. Лично я считаю, на фронте — кто воюет, конечно, — все люди хорошие. И чем к переднему краю поближе, тем лучше.

Комбат был с этим вполне согласен, но считал, что если он возражать не будет, спор у них быстро выдохнется, поэтому сказал:

— Ну, это не совсем так…

— Так! — сказал наводчик и вытаращил глаза. — Резкое уменьшение. Резкое! То есть уменьшение кого? Сволочей. Их, понимаешь, передовая отсекает. Напрочь! Это вот как будто кто их отодвинул на край земли. Нету их! Не чувствуются! Вот что война сделала.

Комбат понимал инстинктивно, что нетрезвый разговор по душам все же должен одолевать некое сопротивление, не такое

маленькое, чтобы его перешагнуть, не заметив, но все же мягкое и формы как бы округлой, чтоб его можно было и обойти, не доходя до резкостей и излишних телодвижений. И он говорил тоном мягким, лишь легонько подначивающим:

— А мы же ее кончить скорей хотим, войну.

— Правильно!

— Ну, так они ж опять придут, сволочи.

— Придут, куда им деться.

— А нам куда деться?

— А нам — никуда. Жить дальше. С ними. Но зато — пожили. Зато вот я тебя встретил, а ты меня.

Комбат все порывался ответить наводчику, но не получалось сформулировать, что есть какая-то сила в их общей жизни, вовсе не случайная, не тупая, не механическая, а очень даже направленно сволочная сила, которая специально заботится, чтобы людям было хуже. Сейчас эта злая сила отодвинулась от них двоих за тридцать, за сорок километров, но как обозначится перелом окончательный, так она снова к ним явится. Она никуда не девалась, эта сила, она за ними шла по пятам. Вот они очистили землю до Днепра, и скоро и она придет на эту землю и все захватит в свои руки.

— Не захватит! — закричал наводчик, и это означало, что какие-то слова комбат все же сформулировал и произнес. — Все не захватит! Нас с тобой, капитан, она не разобьет нипочем. Мы как стали братья, так и дальше останемся.

— Так за что выпьем? — спросил комбат.

— Вот за это, — ответил наводчик. — Что встретились мы с тобой.

— Выходит — за войну?

— Выходит — да…

И, ощутив подступившее желание немедленно закурить, наводчик потянулся к кисету. Как раз в эту минуту загудел зуммер. Оба посмотрели друг на друга вопросительно. Комбат с опаской взял трубку.

Звонили с дивизионного узла связи, сказали, что будет говорить шестой, согласно нехитрой конспирации — командир дивизиона. Комбат, быстренько мобилизуясь, как это хорошо умеют облеченные ответственностью фронтовики, подчас в усмерть пьяные, застегнул ворот и сел прямо, вытянув шею.

— Что поделываешь, капитан? — спросила трубка.

— Пока ничего, — отвечал комбат голосом трезвым, только излишне громким. — Ну, то есть уже ничего, а до этого поделывал.

— И что же ты там поделывал?

— А все, что надо. Батарея приведена в походное положение. Дело только за тягачами. Как придут тягачи — двинемся, задержки не будет.

— Люди твои — все на месте?

Комбат глубоко вдохнул и выдохнул медленно и бесшумно в сторону от трубки.

— Н-никак нет, не все. Кой-кто в отлучке.

— А куда ж они отлучились? И кто это позволил? Праздник устроили!..

Командир дивизиона говорил так, как привык при грохоте пальбы, в тишине это выходило излишне крикливо, и казалось, он сильно гневается.

— Мне, товарищ шестой, тягачи обещали не раньше пяти. Ну, позволил людям друзей навестить — и своих тут, соседей, и в селе, у кого завелись. Ведь столько тут стояли, надо же попрощаться по-человечески. Но — чтоб к пяти ноль-ноль были бы, как штыки! Ну, отдохнуть же надо, понимаете?

Командир дивизиона был из тех, кто понимал.

— Не хотелось тебя дергать, капитан, поскольку ты с позиции снимаешься, я Шурупову звонил — он лыка не вяжет. Ты тоже хорош, хотя на ногах, я чувствую, стоишь.

Комбат при этих словах привстал с табуретки. Наводчик смотрел на него пристально и с яростной надеждой, что не придется никуда идти.

— И вот думаю, — продолжал командир дивизиона, — бывают же чудеса, вдруг ты мне боевую задачу сумеешь выполнить…

— Почему это не сумею? Минимум людей у меня имеется.

— Ну, раз так — переводи батарею в положение боевое. Тут, понимаешь, сообщают о прорыве большой группы. Из окружения, понимаешь. Захватили машины, понимаешь, носятся по нашим тылам, нападают, стреляют. Надо пресечь. От тебя тоже потребуется огневой налет. Всеми орудиями. Задачу понял?

К унынию, к великой досаде, комбат себе представил, что его людям, которые уже зачехлили орудия, свели станины и взяли их на передки, долго и нудно перетягивали стволы в заднее, походное положение, все это укрыли маскировочными сетями, плащ-палатками, еловым лапником, теперь предстоит эта работа в обратном порядке, а потом, по выполнении огневой задачи, все опять начинать сначала. Когда же они поспят до пяти?

— Так точно, товарищ майор, — сказал комбат, вытягиваясь и упираясь головою в бревна потолка. Оправляя гимнастерку под ремнем, он прижимал трубку к уху плечом. — А кто у меня глазами будет?

Он имел в виду корректировщика огня.

— Будет офицер один, ты его не знаешь. Он к тебе обратится по-старому. Не забыл, как в последний раз тебя звали?

— Это… Как его?.. Резеда.

— Помнишь хорошо. Глаза будут нормальные, он дело знает. Сейчас он туда выехал, позвонит тебе на батарею, укажет координаты цели.

— Все понял, иду на батарею, — сказал комбат. И, положив трубку, поглядел с сожалением на оставляемый столик. — Вот, никогда за войну пить не следует. Тут она как тут.

Покуда наводчик надевал шинель — так размашисто, что занимал этим надеванием три четверти землянки, — и покуда нахлобучивал ушанку, задевая локтями потолок, комбат связался с батареей и объявил боевую готовность. Потом комбат надевал шинель и ушанку, занимая три четверти пространства, а наводчик, локти расставя, оборонял от задева водку и закусь. Полминутки помедлив, дав себе свыкнуться с неизбежностью, они вышли в ход сообщения. Ход был капитальный, шириною двоим разойтись, с отлогими утрамбованными стенками, а дно усыпано мелким речным песком, крахмально поскрипывающим под ногами. И наводчик подумал, что хорошо бы стенки еще обложить, как у немцев, аккуратно нарубленными и проволокой перевязанными ветками. У них и тропинки между землянками и блиндажами выложены такой плетенкой, в любую непогодь грязи в жилье не нанесешь. Но потом он подумал, не без грусти, что у немцев времени много, вот они и возятся, а у нас, русских, его всегда не хватает, очень уж часто приходится задумываться о разном, и куда-то оно девается незаметно. И в утешение себе он решил, что если бы и впрямь ходы сообщения были такие благоустроенные, так еще бы жальче было отсюда уезжать.

Огневая позиция батареи была расположена среди редколесья, орудийные дворики хоть и разбросаны друг от друга в отдалении, но все проглядываемы меж кустов и деревьев. В брезжившем свете луны, не видной за облаками, даже приземистая серая туша последнего, четвертого, орудия виднелась отчетливо. А от Днепра загораживала всю позицию плотная стена елей и берез, их вершинки сейчас чернели на темно-синем, как острия частокола. Батарейцы, повыполз-шие из своих землянок, хотя и в малом числе и довольно-таки замедленно, шевелились уже при орудиях. Станины они развели, теперь только сошники забивали в грунт, да из снарядных погребков подтаскивали ящики со снарядами и зарядными гильзами.

Наводчик первого орудия к этим делам не прикасался.

Первое орудие было и основное, для него рассчитывались установки для стрельбы, по оси его ствола, при надобности, строился батарейный «веер», с результатами его пристрелочного огня согласовывали свою цифирь наводчики других орудий. И наводчик номер один сразу же прошел к своему особому, привилегированному месту — слева, перед самым щитом, — снял чехол с прицела, снял кожаную крышечку с окуляра панорамы и положил в карман шинели, затем маховиком подъемного механизма стал задирать уже перетянутый в боевое положение ствол. Как по сигналу, толстые стволы других трех гаубиц тоже поднимались в ночное небо, к плывущим лохмотьям облаков. Командир первого орудия отсутствовал, он ушел в село попрощаться со своей двухмесячной зазнобой, «закруглить роман», как он поведал всему огневому взводу, но он и не нужен был наводчику, поскольку сам командир батареи расположился невдалеке, у хода сообщения, накрытого плащ-палаткой. Там в нише сидел связист с телефонами дальней связи и внутренней батарейной. Комбат сел около него на землю, подоткнув под себя полы шинели и свесив ноги в окоп, и развернул на коленях свой координатный планшет.

Было холодно, промозгло, и наводчик, вздрагивая под своей шинелькой, согревался предвкушением, как они вернутся в теплую землянку. Наверное, и другим номерам поредевших расчетов хотелось поскорее в свои норы, однако стояли терпеливо и молча.

— Вас, товарищ капитан, — сказал связист и снизу, из-под плащ-палатки, протянул ему трубку.

Комбат, пошатнувшись, наклонился и поймал ее.

— Поработаем, Резеда? — сказала трубка. Голос был незнакомый, какой-то неуловимо наглый и заранее насмешливый, тотчас вызывающий раздражение. — Как слышишь?

— Слышу, — сказал комбат. — Ты кто?

— А чего ты хриплый такой? — вместо ответа спросила трубка. Простудился? Или же сильно перебрал?

— Слышу, — повторил комбат, давая понять, что в эти «разговорчики» он не вступает. — Спрашиваю, кто ты?

— Кто я? Тоже на «ры», только не Роза и не Ромашка, а — Ревень.

— Так это ж не цветок, — удивился комбат.

— Не пахнет, это верно, зато от запора помогает. Старички говорят. От ревматизма тоже полезно. Ладно, что там у тебя пристреляно на рокаде — между Озерками и Голубковым? Вот, около рощи… Как ты ее зовешь, роща Кудрявая?

— У меня много чего пристреляно, — сказал комбат

обиженным тоном. — Так это ж когда было! Больше двух месяцев…

— Но ты же свои таблицы не скурил, я надеюсь? Или ты их в печке сжег?

— Чего это мне их сжигать? — возмутился комбат.

— Ну, напрягись там. Усилься. Должен наизусть помнить.

— Пожалста… Выезд из рощи Отдельная, где развилка. Дальше влево — дуб одиночный, от обочины метров сорок. Раскидистый такой… Не знаю, стоит он там или уже нет…

— Не такой раскидистый, но есть. Ты по нему шмоляешь, и чтоб он тебе все раскидистый был. Значит, репер номер один — развилка, репер номер два дуб одиночный, бывший раскидистый. Правильно я тебя понял?

В отуманенной голове комбата все происходило, как у сельского киномеханика в потрепанном фильме. Одни кадры застывали надолго, потому что лента рвалась и останавливалась, другие промелькивали стремительно, когда она с места пускалась вскачь. И все же, как ни был силен хмель, а комбат заподозрил, что с координатами цели что-то напутано. С какой такой стати обстреливать ему рокадную шоссейку? Она звалась рокадой уже не потому, что была параллельна фронту, который далеко от нее ушел, но параллельна Днепру. И проходила она совсем близко от переправы. Можно сказать, глубокий тыл. Неужели так много туда просочилось из Мырятинского то ли «мешка», то ли «котла»? Он знал, что и по берегу Днепра идет охота на беглецов из окружения, но действовали оперативные отряды, тяжелая артиллерия не задействовалась. И даже такая несусветная мысль посетила его голову: а не разыгрывает ли его этот Ревень?

Может быть, ни черта он там не корректирует, а сидит где-нибудь в теплом укрытии, смотрит в карту-двухверстку и тычет пальчиком — где, по его мнению, что-то должно быть. А хотя, черт его знает, ведь звонил же о нем шестой…

— Э! — сказал комбат. — Ты там не ошибся, Ревень? Похоже, я по своим ударю.

— Ты охренел там спьяну? — кричал ему в ухо наглый голос. — Какие они тебе свои? И с какого дня, интересно? Виселица по ним плачет, а ему — свои.

Комбат, развернув планшет, посветил на него фонариком. Хотя довольно было света невидимой луны.

— А ты сам-то где находишься, Ревень? — спросил комбат.

— Где я? Скажу тебе по секрету: на конце провода.

— На каком… конце?

— На том. На противоположном. Давай сосредоточься. Пощупаем твою пристрелку, цель номер один.

— А я тебя не могу поразить?

— Можешь вполне. Ну, такая наша горькая участь, приходится иногда и на себя огонь вызывать.

Когда эти слова дошли до сознания комбата, они ему показались лучшим доказательством, что координаты даны верные. За любую ошибку, свою ли собственную, или огневиков, корректировщик расплачивался своей жизнью. И комбат проникся наконец доверием к Ревеню, который спервоначалу показался ему несимпатичным. Он даже усовестился, что подумал о своем боевом товарище нехорошо.

— Цель номер один, — повторял за Ревенем комбат. — Прицел восемь, левее три. Первому орудию один снаряд огонь!

Наводчик приник к панораме и, вращая маховики, отсчитал табличные деления от горизонта орудия и от вспомогательной точки — вбитого в землю невдалеке белого шеста. За правым его плечом тяжелый снаряд упадал рылом в полукруглое приемное ложе казенника, вдвигался на своей смазке вглубь, до упора в поясок, и мягкая медь пояска толчком вбивалась в устья нарезов. Следом вползла зарядная гильза. Лязгнул затвор. Осталось протянуть руку и, не глядя, нашарить спуск.

Уже необратимо тугой на ухо, сильнее — на правое, он легче прежнего переживал свирепый грохот выстрела, но ощущал всем существом тяжкий присед и подпрыг всей гаубицы, резкий отлет ствола и неспешный его возврат, звонкий выброс горячей дымящейся гильзы и тотчас ударявший в ноздри запах дыма, окалины и горелого масла.

Вскоре же заверещала трубка дальней связи, и комбату стали сообщать поправки на перенос огня. Комбат громко переспрашивал, уже оглохший, другое ухо зажав ладонью.

В это время наводчик думал о том, как слова комбата, влетающие в трубку, бегут один за другим по проводу в оболочке, проложенному под Днепром, в холодной глубине, между камней, осколков и не всплывших трупов, и далеко на том берегу вылетают из трубки в ухо корректировщику. А его слова той же дорогой бегут навстречу. Интересно, что будет, если обоим заговорить одновременно? Наверно, слова встретятся где-нибудь на дне и дороги друг другу не уступят, так что никто ничего не услышит. Хотя, вроде бы, не с чего им друг в друга упираться, могут и разойтись мирно. Говорили ребята из первой лодочной группы, погибшие потом со своим лейтенантом Нефедовым, что сам командующий армией выделил артиллеристам немецкий кабель с гуттаперчевой изоляцией, емкостью в шесть проводов. Долгонько же он прослужил, этот кабель, — немцам на их же голову.

Да если бы только немцам! С неожиданным облегчением наводчик услышал, что никуда еще не попал. Со вторым снарядом то же случилось, хоть и поближе к цели. И от всего вместе наводчику было не по себе: и неловко за свое облегчение, и грустно отчего-то, и схватывало странное, невнятное опасение, будто кто-то подсматривал за ним, подслушивал его неуместные, непозволительные настроения. Чем бы он перед этим тайным соглядатаем мог оправдаться? А перед собою? Все-таки он стрелял не по фрицам, которые пришли на чужую землю и Бог знает что на ней творили, а по людям, на этой земле родившимся. Про них говорили, правда, что они еще хуже немцев, и объясняли это тем, что они подняли оружие против своих. Однако ведь и он стрелял не по чужим… Странно, он никогда не ставил себя мысленно на место немца, а на их место — пробовал.

Было дико, что земля плацдарма, уже освоенная, обжитая, стала таким опасным районом, где не так-то просто было передвигаться — и в одиночку, и группами. Несчастные беглецы, они бродят там — в немецкой форме, ищут советскую, снимают ее с убитых, кого не успели убрать похоронщики, нападают из засад на проезжающих по дороге, убивают без пощады, только бы переодеться и как-то затеряться в массе людей, которые возвращаются после госпиталя, разыскивают свою часть. А главная их цель — переправиться через Днепр, дальше они надеются затеряться совсем. Они выходят к реке, чтоб переплыть его или только воды испить — и по ним стреляют из пулеметов с бронекатеров либо сверху — с самолетов. Никто не ожидал, что они прихлынут к Днепру, думали — под угрозой окружения они уйдут на запад с немцами. Они не захотели с немцами, хотели сдаться своим, приходили поодиночке и целыми взводами, но скоро узнали, что их путь в плену — до ближней стенки, и уже не сдаются. Сейчас, говорят, все делается, чтобы не давать им покоя, спать не давать ночью. А днем, когда их голод одолевает и тяжкие мысли, им и так не спится. И ходят по деревням и хуторам голодные, усталые, затравленные люди. На дорогах и лесных просеках их ждут машины с оперотрядами «Смерша», прочесывают заросли, обходят овраги и воронки, штыками тычут в копны сена.

Накануне вернулся с того берега почтарь, заехал взять письма на батарее и рассказал — он как раз подъехал к переправе, когда пригнали к берегу с полсотни пленных. Все сошлись на них посмотреть. Смертникам велели спуститься с кручи на плес. Они, может быть, думали — их будут допрашивать, что их с немцами свело, приготовили ответы, хотели высказать свои обиды. Им объявили сверху в мегафон: «Плывите. Кто доплывет, пусть землю

целует, которую предал, просит у родной земли прощения». Они спросили: «Да что ж плыть, вы же стрелять будете?». — «Стрелять не будем». — «Обманете. Когда это вы не стреляли?» — «А сейчас не будем. Слово чекиста». И не стреляли. А послали катер вдогонку, он по ним носился зигзагами, утюжил и резал винтом. Вскипала кровавая волна. Не выплыл никто.

— Батарея! — кричал комбат в трубку внутренней связи. — Прицел восемь, левее шесть, два снаряда осколочно-фугасных огонь!..

И наводчик это так понимал, что не по танкам сейчас бьют, не по иной броне, а по живой плоти.

Объясняют ребята-«смершевцы», что и рады бы их в плен брать, да не удержать их взаперти. И не в том дело, что бегут, это-то можно пресечь, но когда их отлавливают, они сразу же начинают думать, как себя убить. Однажды, перед тем, как запереть в сарае, их обыскали кое-как — и на одном-единственном куске телефонного провода они все повесились. Когда очередной переставал хрипеть и дергаться, его вынимали из петли и спешил просунуть голову следующий. Кажется, вот и расплата, сами себя наказывают люди. Ан нет, так они, наоборот, «уходят от расплаты». Должно все совершаться по приговору, а не так, что каждый сам себе прокурор. И вообще, казнь важна не так для злодея, как для зрителей. Поэтому в Мырятине как будто ожидается массовая и публичная…

Временами наводчик чувствовал знобящий страх — будто он сам был среди них, искал и находил обмундирование по себе, но его все равно разоблачали, и подступал мгновенный ужас погибели, а затем блаженное облегчение, что он, слава Богу, не с ними. Если б не те деревья, что загораживали батарею со стороны Днепра, виден был бы сейчас темный берег, по которому они спускаются к воде, как дикие звери к водопою, каждый миг ожидая нападения, смерти. Он вздрагивал от холода снаружи и от холода в душе и старался думать о том, как он и комбат, с которым его соединила почти что родственная связь, вернутся в землянку и продолжат свой диспут. Может быть, поговорят о том, что случилось, какая темная вода протекла между своими? Или лучше о чем другом?..

— Добре шмоляешь, Резеда! — влетело в ухо комбату. — Почти что вывел снаряды на цель. Только разброс у тебя страшный, по площади лупишь. Упорядочи как-нибудь свой эллипс, дай ты мне залп вдоль рокады! Ты понял? Со смещением влево на два деления. Вдоль рокады!

Комбат понял. Дабы «упорядочить» злосчастный эллипс рассеивания, он должен был из всех четырех стволов выстроить

фигуру, которая у артиллеристов называется «параллельный веер», а для этого прежде найти ориентир, удаленный в бесконечность, и затем уже принять поправку от него. Вершинки елей и берез, заслонявших берег Днепра и всю его ширину, для этого не годились. Не подходили для этого и шесты воздушной проводки, что вела от батареи к переправе. Зацепиться бы, подумал он, хоть за облачко, если б только оно стояло на месте. Но вот отнесло ветром темные лохмотья, закрывавшие полнеба, и враз посветлело. Небо окрасилось тем нежным жемчужным сиянием, как когда ждешь молодого месяца. Он поднял голову и увидел тонкий, двоившийся в его глазах серп, отвернувший острые свои рожки влево. Он был такой большой, такой ослепительный, сочный, какой бывает только в украинском небе. И комбат обрадовался месяцу. Усилием глаз он совместил оба силуэта в один и сказал себе: «То самое, что доктор прописал!» Это и был ориентир, которого недоставало ему для «веера».

— Батар-рея! — закричал он в трубку. — Вспомогательная точка — Луна! Наводить в правый срез Луны-ы-ы!

Наводчик опять припал к прицелу, приладил свой правый глаз к глазку панорамы, прижал натруженную свою бровь к ее упругому резиновому оглазью. Огромный месяц возник над перекрестьем, такой близкий, что на нем можно было различить извилистые потемнения — должно быть, лунные овраги. «Вот бы куда зафигачить, зафинтифлюрить!» — подумал наводчик и представил себе крохотный цветок разрыва на серебряно-голубой поверхности нашего спутника. Вращая маховик подъемного механизма, он привел перекрестье к выпуклой стороне дуги, к ее серединке, к самому краешку, и затем, беря надлежащую поправку, ушел несколько вверх и влево. Месяц рассекал своим верхним рогом густую синеву ночи и заполнял почти всю нижнюю половину круга.

— Цель номер два! — протяжно, певуче закричал комбат. — Батар-рее три снар-ряда беглый огонь!

Хоть один из двенадцати должен был попасть. «Хорошо бы — не мой», подумал наводчик. Он не отстранился и почувствовал болезненное нажатие на свою несчастную бровь. В тысячный раз он пропустил, как же снаряд покидает ствол, и дал себе зарок больше не думать об этих глупостях. К счастью, это был последний залп.

— Хорош, хватит, Резеда! — закричала трубка. — Все садишь… Куда столько? — Помолчав, Ревень сказал глухо и, как показалось комбату, даже с какой-то досадой: — Считай, цель уничтожена… Свободен, Резеда.

— Счастливо оставаться, Ревень, — сказал комбат.

— Будь здрав. Иди выпивай дальше.

Но еще много оставалось дел на батарее, в которых комбат и наводчик, по недостатку людей, участвовали до скончания, и к тому времени, когда они возвратились в землянку, оба успели порядком отрезветь. Таким образом, сладостный процесс вознесения для них начался снова. Их прерванный спор продолжился с того же места, где был оборван звонком шестого, однако же претерпел некоторые изменения. Наводчик был заметно поколеблен во мнении, что люди на передовой сплошь хорошие. На этом теперь настаивал комбат — но больше для того, чтоб не утратилось наслаждение беседой.

О темной воде, протекшей между своими, они не говорили.

3

РАПОРТ

Командующему войсками фронта

генералу армии ВАТУТИНУ

1. Сего, 2 ноября 1943 года, согласно Вашего приказа, вступил в командование 38-й армией вверенного Вам фронта, о чем докладываю.

2. Личный состав частей и соединений армии о моем назначении оповещен.

3. При этом направляю Докладную записку членов Военного совета армии о случившемся инциденте с бывшим командующим Героем Советского Союза Ф. И. Кобрисовым, а также по обстоятельствам гибели и по линии организации похорон сопровождавших его людей.

Терещенко

Вступившему в командование

38-й армией

генерал-полковнику ТЕРЕЩЕНКО

членов Военного совета армии:

генерал-майора ПУРТОВА

генерал-майора ФАРТУСОВА

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

1-го ноября сего года, в 20.45, автомашина «Виллис», бортовой № 090678, с находившимся в ней командующим 38 А, генерал-полковником Героем Советского Союза Кобрисовым Ф. И. и его сопровождавшими: офицером для поручений командующего майором Донским А. Н., ординарцем мл. сержантом Шестериковым С. Т. и водителем ефрейтором Сиротиным В. П.,

передвигаясь в районе расположения 114-го мотострелкового полка 17-й Мырятинской стрелковой дивизии, на участке дороги Озерки — Голубково, в 50 метрах близ рощи Отдельная, была накрыта прямым попаданием снарядом гаубицы противника, предполагаемого калибра 155 мм. Что было замечено с наших позиций и поднята тревога.

По прибытии офицеров полка на место смертного происшествия, тела погибших находились в неузнаваемом виде, останки сильно разрознены, однако их принадлежность указанным лицам была установлена по сохранившимся в карманах обмундирования пеналам-медальонам с личными данными каждого. Командующий Кобрисов Ф. И. был обнаружен в 45 метрах на той же дороге, лежа без сознания, в состоянии контузии, направлен в госпиталь. В настоящее время состояние тяжелое, но обнадеживающее.

Об особой опасности этого участка дороги командующий Кобрисов Ф. И. был предупрежден выставленными дозорными на развилке, но объясняют, он их не послушался. Предполагается, что попадание было случайное, выстрел одиночный, не прицельный, беспокоящего действия.

Сбор останков произведен максимально тщательно, похоронной команде было дадено указание распределить их равномерно на три гроба с досыпкой для тяжести землей, взятой с места смертного происшествия, гробы закрыть и заколотить, обить траурными материалами полностью.

Захоронение состоится завтра, 3-го ноября, в 14.00 в Центральном парке культуры и отдыха гор. Мырятина в общей могиле всех троих с отданием воинских почестей: маршами сводного оркестра 17-й СД и салютом выделенных представителей от лучших соединений и частей армии, с выступлениями на митинге местного населения представителей партийных и государственных организаций, общественности города. На месте захоронения устанавливается временный обелиск с позолоченными именами погибших и пятиконечной красной звездой. В дальнейшем предполагается установить постоянное мемориальное сооружение, напоминающее о вечном подвиге героев-освободителей Мырятина.

Место гибели майора ДОНСКОГО Андрея Николаевича, младшего сержанта ШЕСТЕРИКОВА Сергея Тимофеевича, ефрейтора СИРОТИНА Василия Петровича нанесено на маломасштабную оперативную карту, карта вместе с наградами и личными делами погибших находится в сейфе политотдела армии, ответственная ст. лейтенант Бычкова Г. И.

Семьям погибших смертью храбрых посылаются

индивидуальные письма.

Память о погибших останется навечно в сердцах личного состава 38-ой армии.

Подписи:

Пуртов

Фартусов

Верно:

Г. Бычкова

Примечание: а/м «Виллис», бортовой № 090678, числившаяся за командующим 38 А, согласно акта подлежит списанию как неремонтабельная.

4

Пятнадцать лет спустя, умирая тяжело, безобразно, страшно, он пожелал, чтоб его свезли на то место за Кунцевом, до которого он доехал тогда, в 1943-м. Жена заказала такси, помогла надеть пальто и теплые ботинки «прощай, молодость», дочки свели по лестнице и усадили, но дальше подъезда не сопровождали. Они не испытывали большого интереса к тому, как он воевал, к его воспоминаниям «о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах». Но их, конечно же, огорчали его слабость и уменьшение в объеме и в росте, которое он считал началом ухода в небытие.

Про его исхудалость сказала младшая:

— Ничего, папка, это значит только, что раньше ты состоял из воды.

Право, этим можно было утешиться.

Заказанный таксист оказался едва ли не еще худее, с изможденным лицом, изрезанным глубокими морщинами, с глазами водянисто-голубыми, в которых теплилась некая святость, — такие лица бывают у сильно пьющих, которые уже не нуждаются закусывать. Увидя своего пассажира, он вылез ему открыть дверцу и спросил:

— Куда повезем товарища гвардии полковника?

Сказал весело, а посмотрел с жалостью. «Хорош же я», — подумал генерал даже без грусти и ответил без упрека, усмехаясь бескровными губами:

— Что-то много ты мне отвалил.

— Не ниже, — сказал шофер. — Глаз у меня наметанный.

— Оно и чувствуется, — сказала жена.

Был канун октябрьских праздников, и Москва украшалась флагами, транспарантами, портретами дорогих и любимых. Праздник этот был ненавистен генералу — «по погодным

условиям», как он говорил, и в самом деле, долго же они выбирали денек для переворота! Но был канун и другого праздника 15-летия освобождения Предславля; годовщины того дня, который провел он в госпитале почти без сознания, в семье генерала почтительно и молчаливо считались его личными праздниками. К этому дню ему присылали приглашение на встречу ветеранов 38-й армии в какой-нибудь московский ресторан, на этот раз — в Белый зал «Праги»; приглашал новый председатель инициативного комитета, бывший политрук пулеметной роты, ныне майор в отставке Безгласный. «Вы прошли с армией, — писал он, — славный путь от Воронежа до Предславля». И хотя это было правильно, даже больше, чем правильно, ибо до Предславля генерал не дошел, а лишь до Мырятина, все равно была обида. Почему его, генерала, приглашает какой-то майор? А что он тогда делал, этот Безгласный? Небось в писарях сидел, бумажки подшивал, вон какую подпись выработал себе как у министра обороны!.. Никогда не приглашали его, если обещался быть Терещенко, и то не была деликатность устроителей; они не знали, хочет ли он видеть Терещенку, но знали очень хорошо, что Терещенко его не желает видеть. В этот раз до Терещенки было, поди, не дописаться, он командовал не захудалым округом и шел на маршала, вот и приглашали Кобрисова. Не пошел бы, даже если б здоров был.

Не отвечал он и на приглашения приехать в Предславль — и так и не увидел его. Не хотел читать про его восстановление, не смотрел про него кинохронику. Завещал быть похороненным в Мырятине, но дочки, узнав об этом, попросили папку не делать глупостей, ему полагается Новодевичье, и если ему все равно, где покоиться, то не все равно будет семье и потомкам. Теперь не было никакого завещания. И не нужно было никакого, все и без него к рукам прибирали дочки.

С некоторыми трудностями, но их преодолевая, дочки повыходили замуж, старшую муж оставил, и у младшей, кажется, тоже к этому шло, но все же поднялись новые поколения, и каждой вновь образованной семье что-то выделялось в квартире. Ему с женою осталась комнатка самая маленькая, но, правда, не проходная и не запроходная — генерал уже разбирался в таких вещах. Впрочем, и в холле ему отвели кусок территории, отделив стационарной перегородкой до потолка, и там, где некогда посиживал Шестериков и рассматривал фотоальбомы, там теперь сидел генерал и вымучивал свои мемуары. Бумажки, которые уговорили его писать, поскольку хотелось наконец-то всей правды о войне, он раскладывал на кухонном столике, который хотели выбросить, а он упросил оставить.

И еще была Апрелевка, он эти два гектара получил сразу после Победы вместе с дешевым финским домиком, но до сада и огородов дело не дошло, дочери не имели к этому интереса, а думали только, как бы эту «виллу» разделить да распродать, и он уже жалел, что взял на себя эту мороку. Тут бы царствовал Шестериков, но не было Шестерикова.

С улицы Горького свернули на Садовое кольцо. Высился справа Маяковский, которого этим летом ставили краном, — зрелище было не слишком приятное: накинули петлю троса на шею, а голову укутали мешковиной. Этим летом генерал еще мог сюда прийти пешком… Стихи генерал всегда любил и ничего не имел против памятника, который полагалось ругать, вот только не понять было, что у него с правой рукой; похоже, он доставал карманные часы — не сходить ли пообедать в сад «Эрмитаж» наискосок. За спиной поэта, заслоняя чуть не все окна в здании, поднимали на веревках колеблемый ветром портрет Хрущева. Генерал смотрел недоверчиво — тот ли он самый, кто приезжал к нему на плацдарм и дарил украинскую рубашку с вышивкой и кистями? Вот какую власть забрал, самого Жукова сплавил в отставку — без которого за полгода перед тем ни за что бы не удержался. И никакие мемуары без него не обходились. Литературный костоправ, молодой шалопай, которого приставили от Воениздата к генералу «оживлять» его записи и устные рассказы — и не научили, что к генералам полагается приходить вовремя, как условились, — этот будущий писатель сказал, что сейчас не время культа и можно не упоминать Верховного, но без встречи с Никитой Сергеевичем не обойтись, все летосчисление теперь ведется «от Рождества Хрущева». Встречу на плацдарме шалопай забраковал, попросил вспомнить что-нибудь задушевное, а лучше того — героическое. Вспомнилось задушевное и даже немножко героическое: на Воронежском фронте как-то приехал Хрущев знакомиться с новой армией, и Кобрисов его встречал у въезда в штабное село. А была ранняя весна, и все поле было в проплешинах оголившейся земли. Живописная могла быть встреча, ее даже приехали снимать киношники, да все испортил налетевший «мессершмитт». Никите Сергеевичу самое верное было плюхнуться в грязь, с маскирующей жухлой травой, а он, не желая пачкать свою бекешу, улегся на белом как сахар снегу. Пилот «мессера» только, поди, из крайнего изумления не попал в такую прекрасную мишень, но, конечно, заставил всех поволноваться. Адъютант все падал на Никиту Сергеевича, прикрывал своим телом, а Никита Сергеевич его сбрасывал и ругался. Эпизод шалопаю понравился, но забодал категорически редактор Воениздата. Он же сказал, что

надо что-то придумать, раз не вспоминается. Как это — придумать, если не было? А очень просто, все придумывают, и никто этого проверять не станет. Важно, что в такое-то время и в таком-то месте встреча могла быть. И уже было придумалось что-то подходящее, как поползли слухи, что урежут пенсии генералам. И что-то расхотелось придумывать…

А Верховный — тот гектары дарил, Апрелевку. Широк был, этого у душегуба не отнимешь. Вот по этому Садовому кольцу в июле сорок четвертого прогнал пятьдесят семь тысяч пленных — показал немцам Москву, их показал Москве, изголодавшимся, измотанным войной людям сказал этим: не так страшны они, как вам кажется, и праздник наш — не за горами. И как точно он выбрал время: самая глубина лета, июль, но он пообещал, что можно уже не бояться, в это лето немцы наступать не будут. В августе такое обещание уже было бы лишним. В чем действительно был мастер — вот в таких эффектах, повышающих дух армии и народа и о которых нельзя вспомнить без умиления и восторга! Так цезари по Риму протаскивали варваров, прикованных к колеснице. И вообще генерал был не прочь рассказать о встрече с Верховным, да если б можно было о той, в Наркомате Обороны, во второй день войны; ну, немножко можно бы смягчить акценты, с годами ту встречу он переосмыслил, и вспоминалась она уже без отвращения. Так и об этом почему-то нельзя, самое лучшее — вообще не упоминать.

«А тебе, — спрашивал он себя, — обо всем хочется помнить?» Приходили приглашения от ветеранов другой армии, которой он командовал после 38-й, он никогда не откликался. Сказать честно, он не был уже полководцем, это в нем умерло. Больше, чем за год, ни одного ордена не имел он в розницу, все из тех, что давались оптом по всему фронту. Приезжал командующий фронтом Попов, говорил с грустным упреком: «Фотий Иваныч, ты воевать — думаешь?» Они были оба генерал-полковники, оба Герои, так что сурово попенять Кобрисову он не решался, а впрочем, и человек был мягкий, поэтому и не досталось ему ни маршальских звезд, ни ордена «Победа». «А я что же, Маркиан Михайлович, по-твоему, не воюю?» — «Да как-то странно ты воюешь. Целое хозяйство тут развел, коровы у тебя тут, женщин полно, то и дело свадьбы играются, а немца — совсем не тревожишь». «Зачем я его буду тревожить, раз он меня не трогает? Будет общее наступление — пойдем помаленьку, а чего бабахать зря? Немца напугаешь — он мне потом неделю жить не даст». — «Говорили мне, Кобрисова придется вожжами удерживать, а ты инициативу проявить не можешь. Даже не поинтересуешься, что у тебя на левом фланге делается…»

«Чайком не побалуемся? — спрашивал в ответ Кобрисов. — Велю самовар поставить, а покуда закипит, да сгоняем по чашечке, нам и доложат, что там на фланге делается. На каком, вы говорите? На левом?» Командующий от чая не отказывался, только говорил со вздохом: «Разучился ты, Кобрисов, воевать…» А Кобрисов все большее облегчение, даже и удовольствие, находил в том, чтобы уходить под защиту своей дури. Это сделалось его стилем. Думая об этом сейчас, вспоминал он подслушанный разговор двух солдат, рывших ему окопчик, молодого и пожилого. «А вот по стилю, по стилю существенно они друг от друга отличаются, командующие наши?» — допытывался молодой. А другой, летами и фронтовым опытом постарше, сворачивая цигарку из «Боевого листка», ему отвечал: «Как же не существенно? В одном дури поменьше, в другом поболее, вот и отличаются…» Ах, молодец какой! Право, ничего умнее не услышал Кобрисов о себе и своих коллегах за всю войну.

Не дожидаясь победного конца, предложили танковое училище. Что успели его выпускники на войне? «Отметиться», как он говорил. Впрочем, кто-то из них поучаствовал в штурме рейхстага, а кто-то в Прагу успел на раздачу пирогов, даже иные в составе 38-й… В их памятных фотоальбомах он был в красивом овале, и указывалось, что это он формировал 38-ю. Все как-то к ней сходилось, которую у него отняли. И если подумать, так и он тоже, наперекор своей неудачливой судьбе, освобождал Прагу, помог чешским повстанцам вышибить эсэсовцев. Чехам, правда, еще до этого помогли власовцы, бывают же совпадения. Ну, что же, и хорошо, что закончил Власов свой извилистый безнадежный путь добрым делом, и мог бы Верховный это учесть и не казнить его, а простить на радостях. Да ведь на добрые дела нужно еще право заслужить, кто ж его даст изменнику! И что ж бы это за Победа у нас была, какие такие радости — без «справедливого народного гнева», без «священной расплаты»?..

Ехал и теперь по Кутузовскому проспекту, здесь тоже были Хрущевы и прочие дорогие и любимые, из-за них пропустил он Бородинскую панораму и неприметную Поклонную гору и пропустил начало, когда таксист стал рассказывать жене о своем участии в Московской битве:

— …а танки он гонит, понимаешь, гонит, а танки у него — ох, злые! И все куда-то в сторонку побежали. Ну, а мне что — больше всех надо? Тоже и я в сторонку. Не так что драпаю, но — в темпе. Я вам скажу, Майя Афанасьевна, где лучше всего бежать. Лучше всего — в середке. Я молодой хорошо бегал, всех мог обогнать, но мне как бы инстинкт говорит: «Не спеши, не спеши…» не дай Бог, политрук с пистолетом навстречу выскочит:

«Стой, трусы-предатели!» — или же заградотряд из пулеметов чесанет — первые пули твои будут. А всех вперед пропустить — тоже плохо, немец-то догоняет, в спину из автоматов чешет, и никто тебя не загораживает. Так что лучше в середке. Но я вам скажу, Майя Афанасьевна, когда в середке плохо, а лучше в сторонку. Это если «мессер» налетит — по-нашему «мессер», а по-ихнему «мессершмитт», — именно он в середку весь боезапас всодит, потому что скопление, за одиночными ему гоняться — охота была!.. А тут «юнкерс» налетел, восемьдесят седьмой, «лапотник» мы его звали, тоже злой был, бомбочкой по нам — шарах! Оглушило меня — и лежу в воронке. Не знаю, кто меня в воронку столкнул, а очнулся — лежу засыпанный, в голове, извините, звон. И вот говорят, вся жизнь человека за одно мгновение проходит. Ну, вся не вся, частично… Но много передумать тогда пришлось. И зачем, думаю, люди войну придумали?.. Ох, мамочки, война!.. Не дай Бог!..

«Не понимаю, — думал генерал. — Кто ж тогда победы одерживал, если такие были защитники отечества, то в середку норовили, то в сторонку?..» И с удивлением признавал, что да, именно они. Всегда окруженный людьми храбрыми, и еще старавшимися в его присутствии свою храбрость показать, он составил себе впечатление, что и вся армия в основном такова. А на самом деле только малую часть ее, как в гранате запал, составляют те, кто воевать любит и без кого война и трех дней бы не продлилась, а для людей в массе, «в середке», она только страшна и ненавистна. Так, может быть, ничего удивительного нет, и ничего позорного, что и он задолго до конца почувствовал отвращение? Правда, еще двенадцать лет после конца он командовал танковой академией, но что это за война была — разучивать операции, которые никогда не повторятся? Понемногу и вспоминать войну расхотелось, жизнь заполнили анализы и диагнозы, рассказы об операциях совсем иного рода, о том, как готовили и как давали наркоз и через сколько часов он очнулся. Правда была в том, что он умер там, в Мырятине. Там и должен был лежать. Предвидение было верным, не обмануло. И погребальные дроги не миновали его.

Но вот сегодня он вдруг услышал какой-то неясный зов, почувствовал беспокойство и тоску; пришло сожаление, как в юности о пропущенном свидании, и боязнь куда-то опоздать, и смутное ощущение, что где-то ждут его, да не где-то, а именно там, куда он держал сейчас путь.

Проехали Кунцево — и вот приближались к вершине того холма. Он помнил, что это место было на первом подъеме от границы Кунцева, но ту границу уже перешагнули ничтожные

строения и домишки, они карабкались на подъем и зрительно скрадывали его. Он искал, где же тот столб, на котором висел тогда репродуктор. Ни репродуктора не было, ни столба, а красовалась трансформаторная будка с черепом и костями. Но все рельефы запоминал он хорошо и попросил остановить почти там же, где и тогда, только на противоположной обочине.

— Проводить тебя, Фотик? — спросила жена. — Или ты хочешь один?

— Один.

— Конечно, один, — подтвердил таксист. — Дело такое, Майя Афанасьевна. Мужское, военное. И выскочил открыть дверцу.

— Прими таблетку, — сказала жена. И дала запить чаем из термоса.

На слабых подкашивающихся ногах он пересек шоссе и медленно сошел с насыпи на лужайку.

Где же тут расстелили плащ-палатку? И где стояли фляга с водкой и бутылка французского коньяка из провинции Содпас? А сохранилась ли та лунка, что вытоптал Шестериков для бутылки? Лунок этих было здесь несколько, любая могла быть его. В самом общем все было то же. И такая же погода была, только холода тогда не чувствовали, в гимнастерках сидели. Но место, которое он узнал точно — по приметам, которые трудно было бы назвать, но трудно и ошибиться, — все же оказалось не таким, как помнилось ему. С него Москва была как-то виднее, различимей, и спуск был покруче, и лес был, кажется, ближе. Что же он, отступил? Или так повырубили? Но самое большое «не то» было то, что без людей, которые это место оживляли тогда, само оно было другое. И сразу иссякла надежда, что, оказавшись здесь, он их вызовет в памяти так зримо, так осязаемо, что они заговорят.

Он постоял, пересилил приступ боли и двинулся вверх, к машине. Он с трудом поднимался к ней — и не знал еще, что это были его последние шаги по земле.

…Точно так же не знал он, когда на рокадной дороге вылезал из «виллиса», что больше не сядет никогда на свое сиденье рядом с Сиротиным. Тот, кто выехал его встречать, остановился метрах в ста впереди и весь оставшийся путь проделал пешком, помахивая фонариком, хотя вполне хватало лунного света. Он подошел, осветил себя, откинул капюшон брезентового дождевика и оказался начальником штаба Пуртовым.

— Василь Васильич, здравствуй! Ты что ж без оркестра?

— Слава Богу, не разминулись. Пройдемся-ка, Фотий Иванович, я что сказать тебе должен. А ты, — сказал он Сиротину, — тут постой на обочине. И оружие лучше наготове

держать, а то у нас неспокойно.

Они отошли порядочно далеко от машины, и Пуртов все молчал, как будто не зная, с чего начать.

— Куда ты меня тащишь? — спросил Кобрисов.

— Нет, куда ты притащился! — остановясь, заговорил Пуртов горячим полушепотом, будто кто-то мог подслушивать из кустов. — Зачем ты вернулся, Фотий Иванович, ведь убьют же тебя, неужели не понимаешь?

— Так на то и война, чтоб убивали. А вернулся я — Предславль брать, не меньше.

— Который уже ему обещан, Терещенке. Неужели он тебе его подарит? Неужели главный орден с груди сорвет и тебе нацепит? Пойми ты, все утряслось уже, успокоилось — и тут ты приехал… А ведь воевать надо, «жемчужину Украины» освобождать. Нет тебе места в армии. По крайней мере сейчас нет. Потом, может, и будет, подберут Терещенке армию, он легко с одной на другую переходит. Всегда я на твоей стороне был, а сейчас — прошу тебя, уезжай немедленно!..

— Нет места мне? В моей армии — нет?..

Он больше не мог говорить, обида и гнев душили его. Оставив Пуртова, он пошел к своей машине. Он прошел больше половины пути, когда загромыхало в лесу, все ближе и громче, и он понял, что это убивают его, и ускорил шаги. Он, заговоренный, спешил быть со своими людьми. Тогда бы все остались живы. Что-то случилось бы, но не смертельное. Не успел… В лицо, в грудь, в живот ударила горячая и твердая, как бревно, взрывная волна, изжелта-красный фонтан огня взлетел над маленьким «виллисом», и глаза ему ослепило, уши заткнуло непереносимым, убойным грохотом, а затылком и всей спиной ощутил он удар истерзанного асфальта…

…Какая острая, какая пугающая боль вдруг пронизала сердце! И как заломило в ключицах. Он едва поднялся к машине — и увидел вопрошающие лица жены и таксиста, выскочившего перевести его через дорогу. Все же он перешел сам и постарался выглядеть хорошо.

— Прими еще таблетку, — сказала жена.

Он подумал, что если возьмет, то этим испугает жену, и помотал головой:

— Еще первая действует.

Но когда поехали, его совсем развезло. Сидя один на заднем сиденье, он старался заговорить боль. Они к нему не оборачивались, и он мог откинуть голову и закрыть глаза. Но оказалось, шофер продолжал видеть его в своем зеркальце.

— А товарищ гвардии полковник что-то, я смотрю, заскучал…

И в этот миг крохотная фигурка возникла на том берегу, за понтонным мостом, по которому ехал генерал, сидя справа от Сиротина. Она приближалась, и он узнавал ее. Тяжелая сумка с крестом оттягивала ей плечо и сминала погон, и маленький браунинг «Лама» висел на поясе — его подарок, с которым тоже она не рассталась. Она была молода и стройна, она была прекрасна в своей выгоревшей, застиранной одежде фронтовой сестры, прекрасно было ее лицо, не тронутое временем, девически-мужественное, бесхитростное и доверчивое и выражавшее гордый вызов, — такое увидишь ли среди сегодняшних лиц? И она ждала его там, хотя не звала и не махала рукою, а просто стояла и смотрела на него. Но разве не она ему предсказывала, что дальше он не ступит ни шагу? «Я вижу, как ты лежишь на том берегу, сразу же за переправой, совсем без движения…» И он чувствовал разрывающую сердце тоску по ней и страх перед тем, что должно было с ним случиться. «Зачем я тебе, больной старик?» — спросил он ее, избегая назвать по имени, потому что где-то рядом была жена, которая остается жить и помнить об его измене. Она бы любую измену простила ему, но не эту, последнюю, с которой уходят насовсем. «Умирание — тоже наука, — подумалось ему отчетливо. — И к этому надо готовиться…»

А та все ждала его — терпеливо, но и властно, и требовательно, и он чувствовал себя виновным перед нею. Как будто кого-то он предал, обманул, не исполнил долг. «Я все исполню! — пообещал он ей, и показалось, она кивнула ему, поверила. — Я еду к тебе…» Изо всех сил он удерживал на устах ее имя, чтобы не прозвучало оно, и это удалось ему — и он почувствовал облегчение.

— Довезем, Майя Афанасьевна, не сомневайтесь! — услышал он голос шофера. — Не отдадим гвардии полковника!..

И кончилась переправа, и боль оставила его совсем — ибо он въезжал в расположение своей армии…

— Он не полковник, — сказала жена. — Он генерал-полковник.

Это были последние слова из мира внешнего, но изнутри, из глубины сознания, возникали голоса, очень похожие на его голос, как будто он разговаривал сам с собой. Так оно, верно, и было.

«Если мы умерли так, как мы умерли, значит, с нашей родиной ничего не поделаешь, ни хорошего, ни плохого». — «И значит, мы ничего своей смертью не изменили в ней?» — спрашивал другой голос. «Ничего мы не изменили, но изменились сами». А другой голос возражал: «Мы не изменились, мы умерли. Это все, что могли мы сделать для родины. И

успокойся на этом». — «Одни умерли для того, чтобы изменились другие». — «Пожалуй, это случилось. Они изменились. Но не слишком капитально…» — «А со мной, со мной что произошло?» — «А ты разве не знаешь? Ты — умер». — «Но я, — спросил он, — по крайней мере умер счастливым человеком?»

Никто ему не отвечал, и он больше ни о чем не спрашивал, он перестал мыслить, дышать, быть.

…Хочется верить, однако, что в тот далекий час, въезжая в расположение своей армии, все они четверо были счастливы.

Был счастлив генерал Кобрисов — тем, что Мырятинский плацдарм оказался самым красивым — и недорогим — решением Предславльской операции, и красоту эту оценили даже те, кто попытался скинуть его с Тридцать восьмой. Сбитый с коня и ставший пешкою, он все же ступил на последнее поле, и пусть-ка попробуют не признать эту пешку ферзем! И сердце его было полно солдатской благодарности Верховному, который его замысел разгадал и понял, что Мырятин был ключом не к одному Предславлю, но ко всей Правобережной Украине. И если так хочет Верховный, чтобы Предславль был взят именно к 7-му ноября, ну что же, он сделает все возможное, чтоб так оно и было. В конце концов, всем необходим праздник. Он думал об этом, проезжая по переправе, трясясь по пустынной рокаде, залитой серебряно-голубым светом, и видя далекие синие подфарники машины, на которой выехали его встречать.

Был счастлив ординарец Шестериков, что не придется коротать век без генерала, еще столько всего впереди у них, одной войны года на полтора, а еще же будет в их жизни Апрелевка, воспоминания о днях боевых, о том, как встретились, это уж без конца! Ну, а погибнуть придется — так вместе же.

Был счастлив адъютант Донской, наблюдавший визуально все тернии генеральской судьбины и пожелавший себе, чтоб миновала его чаша сия. Преисполнясь мудрости, он так себя и спросил: «Ну зачем, зачем тебе, Андрей Николаевич, эта головная боль!» И все чаще прикидывал он на слух, и все больше нравилось ему слово «адъютант». Что-то в нем слышалось энергичное, красивое, молодое.

И был счастлив водитель Сиротин, освободясь от своих страхов, что с этим генералом он войну не вытянет. С последней «рогатки», где они заночевали, он сумел-таки дозвониться до Зоечки, он сообщил ей маршрут и время прибытия — и мог быть спокоен за всех четверых. Они уже не были песчинкой, затерянной в бурном водовороте, всемогущая тайная служба распростерла над ними спасительные крыла — и никакой озноб, ни предчувствие, ни мысль о снаряде, готовом покинуть ствол, не

мучили его в ту минуту, когда подвыпивший комбат, выстраивая «параллельный веер», скомандовал наводить в правый срез Луны, и грустный наводчик, подкручивая маховики, ловя в перекрестье молодой месяц, приникал натруженной бровью к резиновому оглазью панорамы.

1996

Москва — Niedernhausen

notes

Примечания

1

Командный пункт.

2

ПТМ — противотанковая мина.

3

Наблюдательный пункт.

4

Генерал армии Н. Ф. Ватутин — в описываемое время командующий 1-м Украинским фронтом, генерал-лейтенант Н. С. Хрущев — Первый член Военного совета этого фронта. Номера частей, соединений, объединений (38-я армия и т. п.) — конечно же, условность.

5

Политотдел армии.

6

Генерал имеет в виду, что связь в войсках устанавливается от вышестоящего к нижестоящему.

7

Этими плитами облицованы в Москве, на ул. Тверской, цоколи зданий Центрального телеграфа и соседних.

8

Боевые товарищи.

9

Запрещено.

10

Уолтер Кристи (Walter Christie) — американский конструктор, заложивший принципиальные основы танкостроения. Немцы называли «русскими Кристи» советские танки ввиду слишком откровенного заимствования его конструктивных решений. В отношении «Т-34» это несправедливо.

11

Кирпонос Михаил Петрович (1892–1941) — генерал-полковник, командующий Юго-Западным фронтом. В окружении под Киевом, согласно официальной версии, погиб в бою, по слухам — застрелился.

12

Франц Гальдер — начальник Генерального штаба сухопутных войск. После 20 июля 1944 года Гитлер на эту должность назначит Гудериана.

13

КС — самовозгорающаяся жидкость, названная так по инициалам изобретателей — Качугина и Солодовникова. На Западе ее называют «коктейлем Молотова» (никакого отношения он к ней не имел).

14

Барражирование — дежурство самолета в воздухе. При этом он летает над охраняемым объектом по замкнутому маршруту — кругу, квадрату и т. п.

15

Штурмовики «Ил-2».

16

Контрольно-пропускной пункт.